

“РОССИЯ — СУДЬБА”

В середине сентября, выступая перед участниками Валдайского клуба, Владимир Путин с неожиданной для публичного мероприятия серьёзностью и глубиной высказался о национальной идее. Президент сумел найти незатёртые слова и говорил с непоказной заинтересованностью.

Поиски национальной идеи уже много лет находятся в центре внимания журнала “Наш современник”. Неслучайно и в октябрьском номере мы публикуем размышления на эту важнейшую тему старейшины российской политики Николая Ивановича Рыжкова. Мы убеждены: без идеологии и конкретно без национальной идеи страна существовать не может.

Не менее важные мысли содержались в гуманитарной части выступления. Путин говорил о ценности человеческой личности, о необходимости преодолеть конфронтацию, угрожающую расколом общества. В последние годы такие заявления не звучали с высоких трибун. Тем более эти слова президента дорогого стоят.

Между тем российская пресса лишь вскользь проинформировала читателей о столь значимом выступлении. Ведущие газеты ограничились сдержанным, а подчас ироническим пересказом речи, приведя ряд вырванных из контекста, не всегда показательных цитат. Поэтому редакция “Нашего современника” пошла на необычный шаг: мы полностью публикуем выступление В. Путина, сопроводив его отзывами давних авторов журнала А. Проханова и Г. Зюганова.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ПУТИНА НА ВАЛДАЕ

Путин выступал с блеском. Он светился — его освещал недавний глобальный успех, которого он достиг на переговорах с американцами по поводу химического оружия Сирии. Усилия Путина предотвратили войну, которая грозила полыхнуть не только на Ближнем Востоке, но, быть может, и во всём мире.

Этот успех в мировой игре определял его лексику, управлял смыслами его стратегического выступления. Он сказал, что Россия — не Восток и не Запад, не Азия и не Европа, а суверенная драгоценная цивилизация, не размываемая и незыблемая, без которой мир выглядит пустым и бессмысленным.

Он сделал это заявление с такими страстью и искренностью, что я увидел в этом преображённого Путина. Он был не успешным менеджером, которому поручили делопроизводство страны. Не рабом на галерах, который надрывно исполняет непосильную работу. Это был лидер, отождествивший

свою судьбу с судьбой государства, рассматривающий русское дело как дело всей своей жизни. Для него Россия — место, где довелось ему родиться, предстоит прожить жизнь и в урочный час умереть. Россия — судьба. И какой бы она ни была, великое счастье быть причастным к этой судьбе.

Александр Проханов

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВАЛДАЙСКОМ ФОРУМЕ*

Добрый день, уважаемые друзья! Дамы и господа!

Надеюсь, что место для ваших дискуссий, для наших встреч выбрано удачно, и время хорошее — это самый центр России, центр не географический, а духовный, это одна из колыбелей нашей государственности. Наши выдающиеся учёные-историки так и считают, так и писали в своих исследованиях, что вот именно здесь и складывались элементы российской государственности, имея в виду, что великие реки — и Волхов, и Нева — были естественными средствами сообщения, естественными коммуникациями того времени. И вот здесь постепенно начала зарождаться российская государственность.

В этом году, как уже было сказано, клуб собрал беспрецедентный состав участников — более 200 российских и зарубежных политиков, общественных, духовных лидеров, философов, деятелей культуры, людей с очень разными, порой противоположными взглядами и со своей оригинальной точкой зрения.

Вы уже дискутировали здесь несколько дней. Я постараюсь вас долго не утомлять. Но всё-таки я позволю себе высказать свои суждения по тем темам, которые вы так или иначе затрагивали в ходе дискуссий на этих встречах. Речь идёт не просто об анализе российского исторического, культурного, государственного опыта. Прежде всего я имею в виду всеобщие дискуссии, разговор о будущем, о стратегии и ценностях, ценностной основе развития нашей страны, о том, как глобальные процессы будут влиять на нашу национальную идентичность, о том, каким мы хотим видеть мир XXI века, и что может принести в этот мир совместно с партнёрами наша страна — Россия.

Сегодня с необходимостью поиска новой стратегии и сохранения своей идентичности в кардинально изменяющемся мире, в мире, который стал более открытым, прозрачным, взаимозависимым, в той или иной форме сталкиваются практически все страны, все народы: и русский, и европейские народы, и китайцы, и американцы, и общество из практически всех стран мира. И мы, конечно, в том числе здесь, на Валдае, стремимся лучше понять, как на этот

* Выступление В. В. Путина публикуется по тексту, размещённому на сайте kremlin.ru.

вызов пытаются ответить наши партнёры, потому что, да, мы, конечно, встречаемся здесь со специалистами по России. Но мы исходим из того, что наши уважаемые гости излагают свою точку зрения на взаимодействие, на взаимосвязь между Россией и теми странами, которые вы представляете.

Для россиян, для России вопросы “кто мы?”, “кем мы хотим быть?” звучат в нашем обществе всё громче и громче. Мы ушли от советской идеологии, вернуть её невозможно. Приверженцы фундаментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 года, похоже, так же далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма. Очевидно, что наше движение вперёд невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции. А сегодня мы видим новый виток такой конкуренции.

Основные направления сегодняшней конкуренции — экономико-технологическое и идейно-информационное. Обостряются и военно-политические проблемы, и военно-политическая ситуация. Мир становится всё более жёстким, порой отвергается не просто международное право, но даже элементарные приличия. Нужно быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении, но всё-таки главное, что будет определять успех, — это качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь в конце концов и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние — это производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный характер.

Между тем сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализации на свою национальную идентичность, но и последствия национальных катастроф XX века, когда мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности. Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Ведь вопрос ответственности перед самим собой, обществом и законом — один из основополагающих не только в праве, но и в повседневной жизни.

После 1991 года была иллюзия, что новая национальная идеология, идеология развития, родится как бы сама по себе. Государство, власть, интеллектуальный и политический класс практически самоустранились от этой работы, тем более что прежняя, официальная идеология оставляла тяжёлую оскомину. И просто на самом деле все боялись даже притрагиваться к этой теме. Кроме того, отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала своё будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались.

Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства, общества не сработало, так же как и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национального характера. К слову сказать, не срабатывает такой подход и во многих других странах. Прошло то время, когда готовые модели жизнеустройства можно было устанавливать в другом государстве просто как компьютерную программу.

Мы также понимаем, что идентичность, национальная идея не могут быть навязаны сверху, не могут быть построены на основе идеологической монополии. Такая конструкция неустойчива и очень уязвима, мы знаем это по собственному опыту, она не имеет будущего в современном мире. Необ-

ходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и идеи, осмысление наших культурных, духовных, политических традиций с разных точек зрения с пониманием, что это не застывшее нечто, данное навсегда, а это живой организм. Только тогда наша идентичность будет основана на прочном фундаменте, будет обращена в будущее, а не в прошлое. Это главный аргумент в пользу того, чтобы вопрос идеологии развития обязательно обсуждался среди людей разных взглядов, придерживающихся разного мнения о том, что и как нужно делать с точки зрения решения тех или иных проблем. Нам всем: и так называемым неославянофилам, и неозападникам, государственным и так называемым либералам — всему обществу предстоит совместно работать над формированием общих целей развития. Нужно избавиться от привычки слышать только идейных единомышленников, с порога, со злобой, а то и с ненавистью отвергая любую другую точку зрения. Нельзя даже не перекидывать, а пинать будущее страны, как футбольный мяч, окунувшись в оголтелый нигилизм, потребительство, критику всего и вся или беспросветный пессимизм. А это значит, что либералы должны научиться разговаривать с представителями левых взглядов и, наоборот, националисты должны вспомнить, что Россия формировалась именно как многонациональное и многоконфессиональное государство с первых своих шагов, и что, ставя под вопрос нашу многонациональность, начиная эксплуатировать тему русского, татарского, кавказского, сибирского и какого угодно ещё любого другого национализма и сепаратизма, мы встаём на путь уничтожения своего генетического кода. По сути, начинаем уничтожать сами себя.

Суверенитет, самостоятельность, целостность России безусловны. Это те “красные линии”, за которые нельзя никому заходить. При всей разнице наших взглядов дискуссия об идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех её участников. Патриотизма, конечно, в самом чистом значении этого слова. Слишком часто в национальной истории вместо оппозиции власти мы сталкиваемся с оппозицией самой России. Я уже вспоминал об этом. Пушкин сказал об этом. И мы знаем, чем это заканчивалось — сносом государства как такового. У нас практически нет такой семьи, которую бы обошли стороной беды прошлого века. Вопросы оценки тех или иных исторических событий до сих пор раскалывают страну и общество. Мы должны залечить эти раны, восстановить целостность исторической ткани. Нельзя больше заниматься самообманом, вычёркивая неприглядные или идеологически неудобные страницы, разрывая связь поколений, бросаясь в крайности, создавая или развенчивая кумиров. Пора прекратить замечать в истории только плохое, ругать себя больше, чем это сделают любые наши недоброжелатели. Критика необходима. Но без чувства собственного достоинства, без любви к Отечеству эта критика унижительна и непродуктивна.

Мы должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без изыятий должна стать частью российской идентичности. Без признания этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперёд.

Ещё один серьёзный вызов российской идентичности связан с событиями, которые происходят в мире. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнёрство, веру в бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьёз говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют даже или называют их как-то по-другому, стыдливо пряча суть этого праздника — нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убеждён, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису.

Что ещё может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причём даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства не должно быть поставлено под сомнение.

Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства, ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом, природой многообразия мира.

Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны выработываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств либо группы стран, что должно действовать международное право, а не право сильного, не кулачное право, что каждая страна, каждый народ не исключителен, но уникален, конечно, самобытен, имеет равные права, в том числе право на самостоятельный выбор своего развития. Таков наш концептуальный взгляд, он вытекает из нашей собственной исторической судьбы, из роли России в мировой политике. Наша сегодняшняя позиция имеет глубокие исторические корни. Россия сама развивалась на основе многообразия, гармонии и балансов, приносила такой баланс и в окружающий мир. Хочу напомнить, что и Венский конгресс 1815 года, и ялтинские соглашения 1945 года, принятые при очень активной роли России, обеспечили долгий мир. Сила России, сила победителя в эти поворотные моменты проявлялась в благородстве и справедливости. И давайте вспомним Версаль, заключённый без участия России. Многие специалисты, и я с ними абсолютно согласен, считают, что именно в Версале были заложены корни будущей Второй мировой войны. Потому что Версальский договор был несправедлив по отношению к немецкому народу и накладывал на него такие ограничения, с которыми он в нормальном режиме справиться не мог, на столетие вперёд это было ясно.

Ещё на один принципиальный аспект хочу обратить внимание. В европейских, да и в ряде других стран так называемый мультикультурализм — во многом привнесённая, искусственно сверху внедряемая модель — ставится сейчас под сомнение, и понятно почему. Потому что в основе лежит своего рода плата за колониальное прошлое. Не случайно сегодня политики и общественные деятели самой Европы всё чаще говорят о крахе мультикультурализма, о том, что он не способен обеспечить интеграцию в общество иноязычных и инокультурных элементов.

В России, на которую пытались в своё время навесить ярлык “тюрьмы народов”, за века не исчез ни один, даже самый малый этнос. Все они сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и своё историческое пространство. Вы знаете, я с интересом узнал — не знал даже: в советское время так внимательно к этому относились, почти каждый маленький народ имел своё печатное издание, поддерживались языки, поддерживалась национальная литература. Кстати говоря, многое из того, что делалось в этом смысле раньше, нам нужно бы вернуть и взять на вооружение. При этом у нас накоплен уникальный опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур. Эта поликультурность, полиэтничность живёт в нашем историческом сознании, в нашем духе, в нашем историческом коде. На этом естественным образом тысячелетие строилась наша государственность.

Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как “цветущая сложность”, как государство-цивилизация, скреплённая русским народом, русским языком, русской культурой, Русской православной церковью и другими традиционными религиями России. Именно из модели государства-цивилизации вытекают особенности нашего государст-

венного устройства. Оно всегда стремилось гибко учитывать национальную, религиозную специфику тех или иных территорий, обеспечивая многообразие в единстве. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм, другие религии — неотъемлемая часть идентичности и исторического наследия России в настоящей жизни её граждан. Главная задача государства, закреплённая в Конституции, — обеспечение равных прав для представителей традиционных религий и атеистов, права на свободу совести для всех граждан страны.

Однако идентификация исключительно через этнос, религию в крупнейшем государстве с полиэтническим составом населения, безусловно, невозможна. Формирование именно гражданской идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со своими этническими, религиозными корнями — необходимое условие сохранения единства страны. Как политически, идейно, концептуально будет оформлена идеология национального развития — предмет для широких дискуссий, в том числе и с вашим участием, уважаемые коллеги. Но глубоко убеждён в том, что в сердце нашей философии должно быть развитие человека, развитие моральное, интеллектуальное и физическое. Ещё в начале 90-х годов Солженицын говорил о сбережении народа после тяжелейшего XX века как о главной национальной цели. Сегодня нужно признать: полностью переломить негативные демографические тенденции пока и нам не удалось, мы только немного отступили от опасной черты утраты национального потенциала.

К сожалению, в истории нашей страны ценность отдельной человеческой жизни часто была невелика. Слишком часто люди оставались лишь средством, а не целью и миссией развития. У нас больше нет не только права, но и возможности бросать в топку развития миллионы людей. Нужно беречь каждого. Именно образованные, творческие, физические и духовно здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующего веков.

Роль образования тем важнее, что для воспитания личности, патриота нам нужно восстанавливать роль великой русской культуры и литературы. Они должны быть фундаментом для самоопределения граждан, источником самобытности и основы для понимания национальной идеи. Здесь очень много зависит от учительского, преподавательского сообщества, которое было и остаётся важнейшим хранителем общенациональных ценностей, идей и установок. Это сообщество говорит на одном языке — языке науки, знания, воспитания. И это на огромной территории — от Калининграда до Владивостока. И уже тем самым это сообщество, имея в виду учительское, преподавательское сообщество в целом, в широком смысле слова, скрепляет страну. И поддержка этого сообщества — один из важнейших шагов на пути к сильной, процветающей России.

Ещё раз подчеркну: не сконцентрировав наши силы на образовании и здоровье людей, на формировании взаимной ответственности власти и каждого гражданина и, наконец, на восстановлении доверия в обществе, мы проиграем в исторической конкуренции. Граждане России должны ощутить себя ответственными хозяевами своей страны, своего края, своей малой родины, своего имущества, собственности и своей жизни.

Гражданин тот, кто способен самостоятельно управляться с собственными делами, свободно сотрудничая с равными себе. А лучшая школа гражданской ответственности — это местное самоуправление и самостоятельные организации граждан. Конечно, имею в виду в данном случае НКО. Кстати, одна из лучших российских политических традиций, земская традиция, также строилась именно на принципах самоуправления. Только из эффективных механизмов самоуправления может вырасти настоящее гражданское общество и настоящая национально ориентированная элита, включая, разумеется, и оппозицию с собственной идеологией, ценностями, мерилami хорошего и плохого, собственными, а не навязанными средствами массовой информации или тем более из-за рубежа. Государство готово и будет доверять самодеятельным и самоуправляющимся структурам, но мы должны знать, кому мы доверяем. И это абсолютно нормальная мировая практика, именно поэтому мы приня-

ли новое законодательство, повышающее прозрачность деятельности неправительственных организаций.

Говоря о любых реформах, важно не забывать, что наша страна — это не только Москва и Петербург. Развивая российский федерализм, мы должны опираться на собственный исторический опыт, использовать гибкие и разнообразие модели. В конструкцию российского федерализма заложен очень большой потенциал. Нам необходимо учиться его грамотно использовать, не забывая главное: развитие регионов, их самостоятельность должны работать на создание равных возможностей для всех граждан страны вне зависимости от их места проживания; на ликвидацию дисбалансов в экономическом, социальном развитии территорий России, а значит, на укрепление единства страны. Конечно, это сложнейшая задача, потому что развивались эти территории на протяжении десятилетий, а то и столетий, конечно, неравномерно.

Хотел бы ещё одну тему затронуть.

XXI век обещает стать веком больших изменений, эпохой формирования крупных геополитических материков, финансово-экономических, культурных, цивилизационных, военно-политических. И потому наш абсолютный приоритет — это тесная интеграция с соседями. Будущий Евразийский экономический союз, о котором мы заявляли, о котором мы много говорим последнее время, это не просто набор взаимовыгодных соглашений. Евразийский союз — это проект сохранения идентичности народов, исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире. Евразийская интеграция — это шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферии для Европы или для Азии. Хочу подчеркнуть, что евразийская интеграция также будет строиться на принципе многообразия. Это объединение, в котором каждый сохранит своё лицо, свою самобытность и политическую субъектность. Вместе с партнёрами будем последовательно, шаг за шагом реализовывать этот проект. И мы рассчитываем, что он станет нашим общим вкладом в сохранение многообразия и устойчивости мирового развития.

Уважаемые коллеги!

Годы после 91-го принято называть постсоветским этапом. Мы пережили, преодолели это бурное драматическое время. Россия, как это уже бывало в истории не раз, пройдя через ломки, испытания, возвращается к самой себе, возвращается в собственную историю.

Упрочив свою национальную самобытность, укрепив свои корни, оставаясь открытыми и восприимчивыми к лучшим идеям и практикам Востока и Запада, мы должны и будем идти вперёд.

Спасибо вам большое за внимание.

ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ Я ЖДАЛ 20 ЛЕТ

Такого заявления, которое вчера произнес Путин на Валдае, я лично ждал 20 лет. Со времён Горбачева никто из руководителей нашей страны подобного не произносил. На мой взгляд, эта речь должна была прозвучать перед Федеральным Собранием и нацией, а не только перед иностранными представителями. Я считаю, что она заслуживает особого внимания и обсуждения в стенах Государственной Думы.

Путин впервые заговорил о том, что наша страна не может существовать без национальной идеи. Россия не может существовать без продолжения лучших традиций, без серьёзного диалога различных политических сил, которые

должны выстроить свою политику, исходя из интересов всех граждан страны, а не только отдельных социальных групп, не говоря уже об олигархии.

Сегодня ставится задача изобрести национальную идею. В этой связи хочу напомнить Владимиру Владимировичу, что национальные идеи не изобретаются в чьих-то головах. При мне Ельцин давал поручения бурбулисам, шахраям и иже с ними изобрести такую идею. Но идеи рождаются народом в борениях, трудах, муках, победах, поражениях, гениальных открытиях.

Мы национальную идею давно создали за тысячу лет своей истории. Суть её – сильное государство, высокая духовность, чувство коллективизма, элементарная справедливость. Мы – народ Победы. Мы смогли выжить в нашей истории благодаря серии побед, которые обеспечили нам свободу, право на свою землю, на свои верования и убеждения.

Мы начинали с великой победы на Чудском озере, где похоронили крестоносцев, которые до этого разграбили Константинополь и Палестину. Мы тогда доказали, что имеем право на свою веру и свою культуру. На Куликовом поле зародилось русское государство, под Полтавой – российская империя. Мы доказали, что можем осваивать наши просторы, опираясь на собственные силы.

На Бородинском поле мы доказали, что способны побеждать сильного противника, собравшего под свои знамена «крестоносцев» со всей Европы.

Три великих сражения в годы Великой Отечественной войны – под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге – решили исход борьбы с темными силами фашизма. В той войне победили Красная армия и идеалы Октября. Я хочу, чтобы Путин, предлагая всем объединить усилия, не забывал ни об одной из этих страниц. Чтобы была правдивая история, а не эта либеральная мякина, которая нам навязывается, насквозь пропитанная русофобией, ненавистью ко всему советскому, народному и подлинно демократическому.

Сегодня внутренняя политика правительства Медведева ничего не имеет общего с национально-государственной идеей, идеалами победы и успеха. Не может быть сильным государство, когда распродается последняя собственность, а вся крупная собственность на 90 процентов находится в юрисдикции иностранцев. Государство должно всему обществу показывать пример соблюдения закона, прежде всего – его первые лица и члены правительства.

Не могут быть государство и народ коллективистскими, если сплошь и рядом насаждаете индивидуализм. Если все делается для того, чтобы люди не работали и изобретали, а участвовали в лотереях, воровали, пьянствовали, играли в карты. Включите любую программу на ведущих телеканалах, и вы ахнете. Почти все сидят и играют в деньги. Хочу прямо сказать, что, если страна и нация играют в деньги, они обязательно проиграются. Страна может быть успешной при одном условии: если прекрасно учится, изобретает и одновременно умеет достойно отдыхать.

Ничего похожего во внутренней политике нет и пока, к сожалению, не предвидится. Не может быть страна успешной, если нарушается элементарная справедливость. У нас 10% самых богатых имеют доход в 40–50 раз больше, чем 10% самых бедных. Такого разрыва нет ни в одной африканской стране. Мы в этом отношении превратились в самое несправедливое государство.

Не может быть страна успешной и комфортной, если в правительстве Медведева сидят люди, которые не разбираются в производстве. Которые уничтожают одну отрасль за другой. Они уничтожили машиностроение, электронику, приборостроение. Мы произдевались и над сельским хозяйством, в результате 41 млн га пашни заросли бурьяном.

Поупражнялись и над народным образованием. “ЕГЭзация” довела страну до того, что коррупция проникла в каждую школу и каждую семью. Они сделали все для того, чтобы четвертовать Академию наук, не прислушавшись к ученым и оппозиции.

К сожалению, у нас разрыв между словом и делом верховных руководителей достиг огромного размера. Чтобы национальная идея была поднята на щит и знамя Российской Федерации, необходима мудрая и взвешенная политика. Новый курс и новый состав правительства. Я рассматриваю вчерашнее выступление Путина, как политическое и идеологическое обоснование крайне необходимого изменения нынешнего курса и отставки этого правительства. Посмотрим, что будет дальше. Очень важно, чтобы те идеи, которые Путин высказал, были реализованы в повседневной, практической жизни. В этом отношении мы готовы помогать.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ



БРЯНСКИЙ РЕЙД

ПОВЕСТЬ

Бежала уточкой, норovia обогнать свою палку-костыль и удержать от нелегающей пороши брезентовые крылья плаща. Я спешил, но старушка, видать, торопилась ещё больше.

— Ты чего стал? — настороженно заглянула она в приоткрытую щёлочку окна.

— Подвезти?

— А ты меня знаешь?

— Нет.

— Тогда почему стал?

— Снег начинается, вы торопитесь, я еду. Садитесь.

— Но ты точно меня не знаешь?

— Не знаю.

Ветер с разбега швырнул пригоршню снега в машину, на сшитый во времена развитого социализма плащ старушки, её увитую венами руку, лежавшую на клюке.

— Бабуля, время! Едем.

Но она продолжала пристально всматриваться в меня, угадывая породу. Ни на кого в её памяти я не оказался похож, но она просияла в озарении, найдя неопровержимый аргумент в пользу моего возможного коварства:

ИВАНОВ Николай Федорович родился в 1956 году в Брянской области. Закончил Московское суворовское военное училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Воевал в Афганистане, провёл четыре месяца в плену в Чечне. Автор более двадцати книг прозы и драматургии, лауреат литературных премий им. Н. Островского, М. Булгакова, "Сталинград", ФСБ России. Сопредседатель правления Союза писателей России. Награждён орденом "За службу Родине в ВС СССР" III ст., медалью "За отвагу". Живет в Москве.

— А почему тогда другие проехали мимо и не стали?

О-о, святая простота!

— Ну, не знаю я, бабуль. Меня подвозили — я подвожу. За других не отвечаю. Поедете? — перебрисил на заднее сиденье бутылки из-под пива.

— Но ты точно меня не знаешь?

— Точно. Не знаю.

Глянула на небо, по сторонам, открыла дверцу. Прежде чем сесть, сбросила дождевик, как в деревне снимают галоши перед тем, как войти в дом. Смотрела брезент в рулон, прижала к животу: если испачкает, то себя. Осторожно усевшись, двинула зажатой меж колен клюкой, словно штурвалом в самолёте, — вперёд.

Только набирать по здешним дорогам крейсерскую скорость — оставить на ней подвеску или вылететь в кювет.

— А что это у вас дороги такие разбитые?

— Так война ж была.

Не шутила, не ехидничала — правду говорила и сама верила в это.

Скрывая улыбку, отвернулась к окну. Молоденькие деревца, летом зелёными солдатиками бежавшие по косогору в атаку, сейчас, убелённые седым инеем, выходили из боя по колено в снегу.

Война так война. “Мы вели машины, объезжая мины”... Сократил на свою голову дорогу по просёлкам! Хотя и здесь народ тоже куда-то спешит.

— И куда можно торопиться в такую погоду?

— Так снег же понедельник не отменял! А у меня дед только по ним круглый год на рыбалке. А нынче очки забыл. Несу вот, а то без них и без меня — как слепой. Чего отказываться от правды: крайней-то я окажусь, что не проверила.

Похлопала по карманам: не попутал ли бес и её? Вытащила перевязанный резиночкой очечник, как в шкатулочку, заглянула внутрь. Порылась в ворохе бумажек, оказавшихся под очками. Ноготком выцарапала с самого низа сотенную, удивилась, в дедовы же очки проверила её на свет. Укоризненно посмотрела на меня. Ясно, отвечать за поведение всего мужского населения страны тоже мне...

— А божился на иконе, что потерял. Вот теперь будет ему ни дар, ни купля, — затолкала бумажку в карман кофты, зашпилила личный сейф булавкой. — Сам-то где живёшь?

Ехали в сторону Украины, я кивнул назад:

— В России.

— А я дома. Пятистенник. Пятерых и родила, каждому по стене. Да только разбежались все. Кукуем с дедом вдвоём. Ты, видать, такой же. Летун? — ей очень хотелось оправдаться передо мной, чужим для неё человеком, что остались они с дедом одни не из-за плохих детей, а что времена нынче за окном такие.

За стеклом начинающаяся позёмка била в грудь собравшихся на обочине воробьёв. Сугробы, присевшие отдохнуть на поваленные вдоль дороги деревья, приглашали присоединиться, но нам посиделок не надо. Нам вперёд, на киевскую трассу.

Скосил глаза на панель приборов. Цифры в минутах сменяются быстрее, чем в километрах...

— А ты не летай быстрее своего Ангела, — утихомирила попутчица, всё замечая. — Раз сдерживает в пути, значит, хранит от беды, которая может ждать тебя впереди. А мне вон там, около Барыни, останови, — кивнула на железный транспарант с дородной колхозницей, державшей в руках проржавевший сноп пшеницы.

— Почему Барыня?

— Так мы все работали, а она всю жизнь простояла с улыбкой.

— Ясно. Далек до озера?

— За тремя кустами. Добегу. А то дед заревнует, что на машинах без него разъезжаю, — поулыбалась несбывшемуся. — Спасибо тебе, хоть и не знаешь меня. Авось и тебе когда от людей в нужную минуту воздастся.

Помявшись, вскрыла сейф, на ощупь распознала его содержимое и положила на панель две конфеты:

— Вместо курева.

Выйдя, раскатала обратно плащ, кивнула то ли мне, то ли небу, благодаря за помощь, и снова побежала, переваливаясь уточкой, к своему слепому деду-селезню. Поймать вам золотую рыбку!

А мне опять навёрстывать время, благо до трассы — тоже три куста. На таких одинаковых расстояниях от пересечения дорог обычно ставят храмы...

Ударить по газам не получилось и на “киевке”. На первом же пригорке, собрав гармошку из нетерпеливых, мальками дёргающихся легковушек, пополз впереди трактор-“петушок”, издевательски кивая всем своим задраным ковшом. Сколько ни имей лошадей под капотом, а подчиняйся второй скорости трактора! Тянись следом, читай указатели, смешавшие красоту и политику, — “Красная поляна”, “Красный бор”, “Красная коммуна”, “Красный колодец”. Не хватало ещё какой-нибудь “Красной синьки” — в Питере в двадцатых годах назвали так завод, выпускавший побелку. Но там был революционный подъём, а тут едешь, как на быке. Давай же, то ли брат, то ли сестра “Беларусь”, мне ещё назад возвращаться!

Рвануться вперёд всем скопом смогли, лишь выскочив на пригорок и получив обзор. Всем скопом внизу нас и остановил своей волшебной палочкой вприпрыжку выбежавший из-за автобусной остановки радостный гаишник. Вот же засада — в прямом и переносном смысле!

Я оказался в веренице последним и мог лишь молча наблюдать, как толстый от наброшенного на плечи бронезилета капитан собирал, словно жирный котяра сметану, паспорта и водительские удостоверения. Вальяжность гаишника убила добрый десяток минут, и пришлось поверх водительского протянуть служебное удостоверение. Усы кота-капитана сжались, но только лишь для того, чтобы сдержать улыбку при старшем по званию. Постучал документами по палочке. А она ведь чёрно-белая, как наша жизнь...

— Скоро у нас будет, как на Кавказе, товарищ полковник.

— А что на Кавказе?

Я только что прилетел оттуда, завтра возвращаться обратно, потому иронии не принял. Хотя интересно услышать о “родных” местах со стороны.

— А там у каждого нарушителя есть оправдательный документ, — поведал капитан. И не преминул подчеркнуть своё пребывание в “горячей точке”. Может, и разговор затевал ради этого.

— Неделю назад в Нальчик летали на усиление. Тормозим парнишу лет восемнадцати. Улыбается: “Я свой”! И показывает листок стандартной бумаги, на котором на ксероксе переснято удостоверение его двоюродного брата из вневедомственной охраны. Так что всё может быть, — капитан развёл руками, размышляя, отдавать ли документы.

В другой раз пояснил бы ему разницу между *парнишей* и полковником, ксероксом и *ксивой*, проверкой документов в Моздоке и лёгкой под огнём артиллерии в Аргунском ущелье. Но я спешу, меня ждёт в госпитале мой друг Лёшка, вызвавший этот самый огонь на себя. У меня нет времени на разговоры с тобой, капитан.

Тот неторопливо заглянул в машину. Сдерживая эмоции, я глубоко вздохнул: всё законно и правильно, сам именно так приучал подчинённых осматривать транспорт. Только вот по замершему взгляду проверяющего понял, что сам же и оставил ему зацепку: бутылки из-под пива! Но не оправдываться, не обращать внимания, перевести разговор...

— Но что мы нарушили? Пошла прерывистая разметка...

— Товарищ полковник, как вы думаете, неужели мы здесь случайно стоим? Там выставлен знак “Обгон запрещён”. Ждите, вызовем, — капитан ещё раз глянул на вещественные доказательства и, пропустив только-только подъехавший трактор, пошёл к спрятанной за автобусной остановкой машине.

Зато поёмка ярым нарушителем дорожного движения пересекала двойную сплошную, вылетала на встречу, переваливала отвал и неслась в снежное нетронутое безмолвие полей. Мне бы её вольницу и безнаказанность... Хотя бы на сутки!

Прикрыл глаза, откинулся на сиденье. Пока всё складывается против того, чтобы я успел к сроку в Севсько — старинный русский город Севск, расположенный на границе с Украиной. Но ведь всё равно успею, иного выхода нет. Просто придётся гнать посильнее. А попутчица правду сказала про опасность впереди. Довёз бы очки до озера — не упёрся бы в “петушка”. Вот и не верь приметам! Хотя и другая пословица есть: “Тише едешь — никуда не приедешь...”

Гудок гаишной машины возвратил к реальности: меня звали. Арестованная вереница рассосалась, только один из водителей звонил по мобильнику, явно поднимая на выручку знакомых. Мне поднимать некого — мои все в Чечне...

Мнущийся около машины капитан мурлыкал в усы песенку, за рулём оказался майор. Это лучше. В одной звезде больше мудрости, чем в четырёх капитанских жажды власти над людьми.

Не ошибся.

— Вы слегка увлеклись скоростью, товарищ полковник.

— Даже не спорю, — поднял я руки.

— Не пили сегодня?

— И вчера нет. Вторые сутки за рулём. И надо успеть к утру вернуться в Москву. Аэропорт Чкаловский — Моздок, — произнёс я паролем путь из точки А в точку Б. Гражданским они ничего не скажут, людям в погонах — это как путь *из варяг в греки*.

Майор понял и оценил, что я не выпячиваю Чечню охранной грамотой.

— Подождите немного, сейчас товарищ отъедет, — кивнул он на звонившего.

Тот уезжать без прав не собирался, зато заглянул внутрь машины капитан:

— Куда Васю?

Майор скосил на меня глаз, но посчитал за своего и отдал распоряжение:

— Гони обратно.

Через минуту мимо нас на гору, подгазовывая себе синими точками-тире, весело побежал “петушок”. Теперь стало ясно: собирать очередную партию лхов. Не знаешь, что лучше: Кавказ с его наглостью или родная глубинка с подвохом...

Мою горькую усмешку майор попытался не заметить, но посчитал нужным оправдаться:

— Самое гиблое место. За смену две-три аварии. А так хоть сдам её без трупов.

Стопка отобранных водительских прав на панели перед стеклом не тянула на свидетельства о смерти, но если она перекроет даже один некролог, капитан-кот не зря слизывает с пригорка свою сметану. Вот только если бы не исподтишка...

— Осторожнее, товарищ полковник. Дорога скользкая.

— Спасибо. Справлось.

Снег кружил уже по-взрослому, с уверенностью, надеясь на свои глубокие тылы. Фуры на трассе начали сбиваться в паровозики, и обгонять их без риска схватить лобовое столкновение сделалось практически невозможно. Но я обгонял — спасибо, товарищ майор, за задержку. Понимаю ситуацию, но самолёт ждать не станет. Но вначале надо добраться до Севска, родины моего друга, которого я подставил под пули.

— Держись, родная, — я сжимался в пружину, чтобы не вильнуть и не цапнуть колесом снег на обочине. Тогда точно принесут цветы, так неестественно алеющие среди дорожных отвалов, и мне. Сейчас нельзя. Никак нельзя.

Ангел, наверное, выбился из сил попевать за мной. Держись, брат! Сам меня выбрал, не я тебя. С другим бы наверняка лежал на диване...

Самыми одинокими, несмотря на их прокол с ГАИ, на зимней трассе кажутся автобусные остановки. Но когда впереди замаячила маленькая фигурка, сгорбленным столбиком стоящая у дороги, я закачал головой: не-ет!

Я что, один на всей трассе? А если бы не приехал? Все бы так и остались стоять и бежать своим ходом? Подберут те, кто не так спешит...

Сзади накатывали железнодорожным составом фуры. А стоял, кажется, пацан. Что ты тут делаешь в снегопад? Тоже на рыбалку или уже с неё? По-дарю Лёшке после госпиталя удочку, приедем с ним на его Брянщину и за-сядем у лунки на все дни недели. Кроме понедельника.

— Быстрее! — я выбросил дверцу перед парнем.

В зеркало заднего вида надвигалась снежная круговерть с мощными фа-рами внутри. Они мигнули, предупреждая об обгоне, и я прикрыл глаза: всё, второй раз мне эту грохочущую, клубящуюся в снегу массу не обойти. Па-рень-парень...

Тот, похоже, уже не надеялся, что его кто-то подберёт. В лёгкой кур-точке, кроссовках и вязаной шапочке, паренёк полусогнутым ввалился в ма-шину и остался так сидеть на сиденье, совершенно равнодушный к тому, что с ним будет дальше. Фуры, волнами качая машину, пронеслись мимо, и я направил на нового пассажира все вентиляторы от печки. Пропустив весь за-тор, выехал на дорогу. Возвращаться всё равно в темноте.

Несколько минут мы ехали молча. Паренёк оживал постепенно: сначала зашевелился, потом сел поудобнее, огляделся.

— А я всё равно думал, что кто-то добрый найдётся и не даст замёрз-нуть, — совсем как старушка перед этим, кивнул он мне в благодарность. Протянул руку:

— Лёша.

Пальцы были холодными, но зубы уже не стучали.

— Привет, Лёша. Моего друга тоже так зовут. Сколько же ты стоял?

— Часа два.

— А куда добираться?

— В Суземку. К крёстному.

До поворота на Суземку было километров восемьдесят, после него — ещё тридцать...

— А почему не на автобусе?

— Билет 120 рублей. А мамка дала только пятьдесят три. Водитель не посадил.

— Надо было ехать?

— У меня сегодня день рождения, пятнадцать.

— Поздравляю.

— Спасибо. А крёстный ещё летом обещал подарок. Как вы думаете, что он может мне подарить?

— А он знает, что ты едешь?

— Нет. Но он же обещал!

Господи, в какие дикие края я попал! Что это за страна такая, полная наивных людей, — Брянщина! А если крёстный забыл про обещание? Или, хуже того, лежит пьяный? Или просто уехал, и дом закрыт? Лёха ты Лёха, голова — два уха...

— Бери конфету, — кивнул ему на свой утренний заработок.

Я успел только вытянуть шею и осмотреть колонну, а сосед уже облизы-вал фантики синим языком. Значит, краска на обёртках поганая...

Дорога пошла волнами, сведя видимость к нулю. Рисковать попутчиком в его день рождения стало непозволительно. Ну, и ладно. Передохнём. А ещё лучше — дозаправиться на обратную дорогу и перекусить. Всё равно одина-ково со всеми подъедем к суземскому повороту.

— Перекусим? — кивнул на заправку.

Лёшка недоверчиво поднял глаза, торопливо кивнул, пока я не раздумал.

— Что взять?

— А можно сосиску в тесте? Такие бывают, я знаю.

— Иди, выбирай, пока я заправлюсь.

Именинника я нашёл у витрины — он словно сторожил вождельный бутерброд недельной заветренности.

— Вон она, — прошептал он с облегчением часового, сдавшего пост.

— Садись туда, — кивнул я на дальний столик. Наклонился к девчонке за стойкой:

— Тому парню — хороший кусок мяса. С полной тарелкой картошки. Салат со всей зеленью, какая есть. Ещё... давайте компот с сырниками. И сосиску в тесте. А мне кофе. Покрепче.

За столом Лёшка перегнулся, чтобы не слышали остальные, подпольщиком прошептал:

— Сзади иностранцы сидят. Видите? Думал, хохлы, а прислушался — нет, я по-ихнему не понимаю. Наверное, молдаване.

Подошла девушка с полным подносом, принялась выставлять тарелки. Лёха проводил каждую завистливым взглядом, но увидев свой заказ, облегчённо выдохнул. Однако я сдвинул всё к нему.

— С днём рождения, Лёшка.

— Это мне? Всё? — голос его дрогнул, в глазах показались слёзы. Не удержавшись, покатались по худым щекам, булькнули в компот. — А я еду и есть хочу. Еду и хочу есть...

— Я машину посмотрю, а ты ешь, — я оставил его одного. Кофе можно и в кабине выпить...

Допить я не успел. Утирая рот, выбежал с зажатой в руке сосиской попутчик. Может, боялся, что уеду? Нет, Лёха, ты земляк моего друга. И имена у вас с ним одинаковые! А значит, я тебя не оставлю.

— Там был такой кусок мяса! — убедившись, что я на месте, начал именинник с самого восторженного. Видать, и впрямь мать не смогла наскрести на билет, если парень забыл, когда в последний раз сытно ел. — Такой кусище! Спасибо.

Он улыбнулся счастливо, по-хозяйски уселся на сиденье:

— А я в Москве был, и в кафе, и на метро ездил. Там, чтобы попасть в него, надо сначала карточку купить и приложить к жёлтому кругу. Я два раза проехался по эскалатору — и привык сразу. Только народу там — табуны. Та-бу-ны!

Он ещё рассказывал, как надо вести себя в Москве, чтобы не потеряться, как сторониться цыганок. А главное — не покупать продукты в первом попавшемся магазине. Потому что если обойти несколько, то хоть на пять копеек, но найдётся товар дешевле...

— Лёха, вон поворот на твою Суземку. Люди стоят, значит, автобус скоро придёт. Я бы довёз тебя до конца, но очень спешу. К твоему тёзке, он раненый лежит. Обещай, что сядешь на автобус.

— А пешком и нельзя. Волки завелись. Не дойду.

— Это тебе на билет, — я протянул ему деньги.

Я сидел сбоку, но Лёшка посмотрел вверх, словно они свалились оттуда. А может, чтобы просто проморгаться? Прекращай это мокрое дело, брат! И не заражай других.

— Спасибо за пожертвование.

Тебе спасибо, Лёшка. За твою наивность и открытость. За то, что оказался одного имени с другом, на которого я ненароком, но навёл врага. Я, когда останавливался, не знал, что у вас одно имя. Но пусть получится, что и таким образом я отмаливаю свой грех. Теперь одна просьба ко всем святым: чтобы был дома твой крёстный...

А мне — всё! Лимит остановок исчерпан. Хоть пожар, хоть наводнение, а мой путь — только к колодцу на окраине Севска. Рядом с женским Крестовоздвиженским монастырём. В госпитале Лёшка попросил меня привезти оттуда воды. Не просил, конечно, а лишь помечтал, облизывая сухие губы:

— Воды захотелось. Из нашего колодца...

— Воды просит, — сказал я врачу, когда вошли к нему в кабинет. В углу рядом со скелетом стоял кулер, но я уточнил: — Из колодца, что около дома.

— Это было бы, между прочим, очень кстати, — вдруг поддержал главврач. Себе налил в чашку из кулера. Набросив на скелет халат, поддел поникший череп анатомического пособия, заставляя его гордо вскинуть голову. —

В природе всё просто. Человек на 80 процентов состоит из воды, и её структура полностью совпадает только с той, которую онпил с рождения. Так что если больному питаться пищей, которая окружала его с детства, и пить воду из родного колодца, выздоровление пойдёт значительно быстрее.

В тот же вечер я отыскал военный борт из Моздока на Москву и договорился на обратный вылет. Двухлитровые пластиковые бутылки из-под пива — это для того, чтобы набрать воды Лёшке. И завтра утром я должен стоять с ней на аэродроме, если хочу успеть к повторной операции.

— Сегодня ночью были голубые пакеты, — усмехнулся Лёшка тогда в реанимации. Пакеты для вывоза умерших и впрямь делают разного цвета: чёрные, голубые, золотистые... — Двое ночью захрипели и... А я лежу и приказываю себе дотянуть до утра. Чтобы уж если душа летела над землей, то... на рассвете, а не в темноте. Почему-то это казалось важным...

Уставился в высокий потолок. Однако открылась дверь, и вошёл бог земной — наш военный хирург Васильич. Постучал для меня по часам — ты просил минуту...

— Это я виноват, Васильич, — я уговаривал его накануне прорваться в реанимацию. — Я вышел с ним на связь.

— А мне сказали, что он сам вызвал огонь на себя.

— Да, но всё наоборот. То есть сначала он ушёл со своей группой брать главаря. Трое суток сидел в норе, как мышь. А я не знал. Никто не знал. А тут внучка родилась. Он так её ждал!

Хирург прищурил глаз, прикидывая наш возраст. Да, не мальчики. Но что делать, если на Кавказе воюем мы, деды. В Афгане ждали рождения своих детей, теперь на Кавказе — внуков. Страна не воспитала замены, Кремль с Белым домом, как шерочка с машерочкой, барахтались все эти годы в нефтяных, митинговых и барахолочных проблемах...

— И что? При чём здесь внучка?

Врач намеревался остаться неумолимым. Было от чего: через три дня у Лёшки повторная операция, и лишний раз волновать пациента — всем дороже.

— А я стал выходить на него по связи. Поздравить. Я так часто проби-вался в эфир, что он испугался: что-то случилось. И ответил. И его запеленговали “духи”. Так он из охотника превратился в дичь. Потом уже был бой и — огонь на себя.

— Понятно. Тебе одна минута. Он очень слаб. Дай Бог продержаться критические три дня.

Три дня кончаются завтра. А я пока в 500 км от Москвы плюс полторы тысячи от столицы до Моздока.

Снег чуть поутих, но перемёты лежачими полицейскими пытались сбить скорость. Но только не сегодня и не для меня. Впереди показалась знакомая, нарастающая себе дополнительный хвост колонна. Говорил же, что прийдём одновременно. Слева пошла окраина Севска, и первый купол от Москвы — как раз Крестовоздвиж...

Я не понял, почему вильнул хвостом летящий по трассе снежный вихрь. Но из него выпала, оторвавшись от общей колонны, последняя фура. Машина на глазах — перед глазами — стала крениться, хватать перепуганными колёсами воздух, перегораживая путь. Я летел прямо под этот падающий двухэтажный дом, тормоза бессильно визжали на скользкой трассе, меня закружило, и последнее, что я увидел, — это обрыв. То ли крикнул, то ли подумал:

— Всё!

Последний раз перед опасностью закрывал глаза при первых прыжках с парашютом, будучи еще лейтенантом. Потом запретил себе. Поэтому, раз не помнил, что произошло при падении, значит, потерял сознание. Кратко, на миг, но случилось...

Да и когда пришёл в себя, ничего не увидел: раскрывшийся капот машины закрывал обзор. Прислушиваясь к себе, возможным травмам, повернул голову в сторону насыпи. И понял, что обманывался зря, что я всё же разбился: сверху меня крестила монахиня. С чёрным клобуком на голове,

с большим наперсным крестом поверх мантии и рясы с широкими, развевающимися на ветру рукавами. Значит, наместница монастыря. Может, того самого, Крестовоздвиженского. Но как смогла она так быстро оказаться здесь? Ангел позвал? Хирург зря поднимал голову скелету...

Только как могла подняться на небеса вместе со мной и кабина? Может, я всё же на земле? И жив?

Толкнул дверцу.

К машине, скользя и падая на крутом склоне, торопились люди.

— А должен был перевернуться, — услышал я недоумение в чьём-то голосе.

— И косточки должны были лежать в рядок по насыпи.

Пока же по насыпи от моей машины шла всего одна колея. Значит, правая сторона “Рено” летела по воздуху. Старушка-попутчица не зря назвала меня Летуном. Знать, не подобрали ещё цвет для моего мешка...

— Будь скорость поменьше, перевернулся бы. Как пить дать, — продолжали со знанием дела оценивать мою аварию любопытные.

Фраза напомнила про Лёшку. Снег хотя и спас, приняв меня с машиной, как в ватную стену, но из этого рва теперь не выбраться до окончания века. Они, придорожные сугробы, давно звали меня на посиделки.

Только загорать на морозе, похоже, светило не одному мне. Из разорванного брюха развалившейся поперёк дороги фуры вывалились мешки, перегородив и обочины. Задранные вверх колёса продолжали наматывать время. В голос дрожал треугольным нутром одинокий дорожный знак круглого поворота: ясно, что он не виноват, но дело для России знакомое: наказать невиновных и поощрить непричастных. Тем более что трасса остановилась в обе стороны.

Любопытные разделились: одни шли смотреть фуру, другие оценивали мой полёт. И только матушка, не двигаясь, продолжала шептать надо мною молитву. Я благодарно кивнул, подумав, что надо попросить её помолиться за Лёшку...

— Не вытащим. Перевернётся, — вокруг моей машины продолжали топтаться, утрамбовывая снег, мужики.

Склон и впрямь был слишком крут, и второго фокуса с полётом он, конечно, не допустит. Провиваться вперёд дело не менее гиблое: снег по колёно, за рвом хоть и хилая, но лесополоса, а дальше — заснеженное поле. Единственный выход — оставить машину и добираться в Москву на попутках. Но ведь и попуток-то нет...

— Попробуй завести. На ходу хоть? — посоветовал парень в унтах. Вот так надо зимой собираться в дорогу, по-сибирски. А то вырядился в полусапожки...

Черная ими снег, я залез в машину. Не без тревоги повернул ключ. Есть! Толку от этого никакого, но машина завелась. И на табло горит красным контуром аккумулятор. Ясно, что это второстепенно, но со времён учёбы в суворовском училище мы знали: в армии всё красное несёт опасность.

— Аккумулятор показывает, что разряжен, — открыв окно, прокричал я парню.

— Глуши.

Вслед за “сибиряком” в мотор нырнул шустренький, подпрыгивающий из-за малого росточка мужичок. Наверняка пахал колхозные поля.

— Сделайте что-нибудь, мужики!

Вернулись с уловом, показав всем разорванный ремень генератора. Тут даже если выбраться на дорогу, аккумулятор в одиночку на морозе проработает не более пятнадцати минут. Потом машина заглохнет и превратится в остывающий кусок железа и пластика. Влетел! По всей системе координат!

Зато парень и не думал сдаваться.

— Мужики, у кого-нибудь ремень есть?

Несколько человек пошли к своим машинам, и вскоре с насыпи один за другим прилетело сразу четыре лассо. “Сибиряк” выбрал по размеру самый близкий к оригиналу, снова нырнул под капот. Вернулся из забитой снегом преисподней озадаченный. Одного взгляда на меня ему оказалось достаточ-

но, чтобы понять: я тут ему не помощник. Мужичонка-механизатор тоже втянул голову в плечи, став ниже поднятого капота: в тракторе всё проще, там с матерком — как с ветерком, при одном молотке да отвёртке можно объехать все поля...

— Кто-нибудь помнит схему, как надевать ремень? Здесь восемь шкивов.

Вниз, оберегая копчики, спустилась ещё пара человек. Только бы не бросили, только бы у мужиков получилось! Они стали спорить, рисовать на снегу расположение шестерёнок, угадывая ход ремня. От меня им и впрямь не было никакой пользы, и я вскарабкался на дорогу. Водитель фуры сновал вдоль рассыпанных мешков, оправдываясь перед кем-то по телефону. Пробка росла на глазах. Извини, Лёха... Но я и правда очень хотел тебе помочь...

— Храни тебя Господь, — подошла тихо игуменья. — Ангел-хранитель тебе крылышки подстелил.

Я согласно кивнул. Всё же успел он за мной. Вернусь в Моздок — выпишу ему увольнительную на сутки!

Но во взгляде настоятельницы читалось и осуждение — за скорость — и, чтобы оправдаться, я пояснил:

— К вашему монастырю ехал. Там рядом колодец есть.

— Есть. Вкусная вода. Сами берём из него.

— За ней и ехал. Другу.

— Из самой Москвы? — монахиня взглянула на номер моей машины.

— Из Чечни. Он ранен.

Матушка перекрестилась, зашептала молитовку. Поглядев на застывшие вереницы машин с обеих сторон, отошла, достала мобильник. Если ей на вечернюю молитву, то тоже не успеть. Хорошо, что я ни перед кем не виноват...

В конце пробки, убирая с дороги любопытных, закрутились под вой sireны проблесковые маячки знакомой гаишной машины. Позже всех, но всё равно вовремя. Вызовут тягачи, кран — что-нибудь ведь сделают. Не удалось майору спокойно завершить смену.

Одного взгляда ему хватило и оценить обстановку, и узнать меня. Капитана послал к фуре, мне укоризненно прошептал:

— Предупреждал же — осторожнее!

Я, что ль, хотел этого?

Гаишник не побрезговал спуститься вниз, окунуться вместе со всеми в мотор, вытолкнув плечом мужичонку. Потом нарисовал для “сибиряка” в воздухе загогулину, для гарантии повторив её на снежной схеме. Поднялся обратно, на ходу вытаскивая мобильник.

— Алло, Вася? Трос есть? Дуй на Севский перекрёсток, надо будет протянуть машину по полю.

Через два часа Вася на “петушке” набивал колею по снежной целине, “сибиряк” вырубал окно в просеке, водители, черная туфлями снег, спускались толкать мою “Реношку”. Сверху крестила теперь уже всех игуменья. А по белому полю, словно чёрные воронята, утопая в снегу, шли от Крестовоздвиженского монастыря монашки с бутылками воды...

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



НЕПРИКАЯННОСТЬ

РАССКАЗ

I

От города на автобусе нужно ехать километров двадцать до большого села. А там ещё через лес и болото километров пять пешком. И вот, наконец, Речные Котцы. Смысл названия не ясен даже старожилам — ни реки, ни каких бы то ни было котцов в деревне отродясь не бывало. Хотя, по здравому размышлению, название не могло появиться на голом месте. Текла, наверное, когда-то река, ловили в ней рыбу, для чего и ставили котцы*.

Но лет пятнадцать назад ничего похожего здесь не было, как не было уже и лесхоза, кормившего деревню при советской власти. Зато было два десятка дворов и небольшая церковь на въезде. Пять домов давно стояли заколоченными, один купили какие-то чудаки-дачники, внезапно появляющиеся летом, рыщущие самозабвенно по лесам и так же внезапно исчезающие. В остальных домах жили старухи — несколько вдовых, несколько со стариками и одна — со взрослым дурачком-сыном. Кроме старух имелся в деревне пожилой вдовый священник. А с некоторых пор — средних лет бобыль, недавно вернувшийся из мест заключения, где отбывал за драку; да ещё молодой “грузин”, как прозвали его старухи, в действительности же — неизвестно откуда взявшийся переселенец с Кавказа.

Как-то пошёл по деревне слух, что будто бы приезжает с Урала группа старообрядцев и что будут они по-своему молиться и всех в свою веру обращать. Кто пустил этот слух, сейчас уже не известно. Может быть, почтальон, пробиравшийся иногда в деревню с письмами и очередным номером “Журнала Московской Патриархии”, а может быть, фельдшерница из села

* Котцы — плетнёвый перебой через реку для удержания и ловли зашедшей туда рыбы.

у тракта, навещавшая изредка старинных своих пациентов. Но как бы то ни было, в Котцах заволновались.

После смерти Сталина церковь в деревне закрыли. Но не взорвали. Пришло время — и церковь открыли и стали служить. Кое-что, конечно, было утрачено: пропали несколько икон, стены пошли трещинами, росписи поблели и местами облетели. Но в целом церковь оказалась пригодной для службы даже зимой. Вскоре прислали священника, и потекла приходская жизнь. Костяк прихода составили старухи — свои и сельские — и Вася-дурачок, голосом и манерами очень похожий на старух. Священник приходу понравился. С первых же дней он выказал себя рьяным пастырем — внимательно и серьёзно выслушивал старушечьи грехи, каждую умел утешить и ободрить, а для проповеди находил такие простые, но сердечные слова, что заставлял старух шмыгать носами и отирать морщинистые лица. Борода и голос батюшки тоже пришлись всем по вкусу.

Лёнька, вчерашний уголовник, шатаясь по деревне пьяным и натываясь на отца Алексея, сгребал всякий раз его в объятия и со слезой в голосе уверял, что и он, Лёнька, “не какой-нибудь там” и что тоже в Бога верует. На вопрос же отца Алексея, почему в таком случае он не приходит в церковь, Лёнька поднимал брови, искренно хохотал и, удивляясь наивности батюшки, восклицал: “Да чего ж я там со старухами делать буду?”

Как-то в Петров пост в Котцах появились двое. Выйдя из лесу, они остановились, огляделись и цугом проследовали к заколоченному дому Петраковых, несколько лет назад схоронивших стариков и перебравшихся в город. Петраковский дом стоял последним на деревенской улице, так что вся деревня могла рассмотреть, что двое — это молодые мужчины в куртках и брюках защитного цвета, в кепках с длинными, жёсткими козырьками, похожими на утиный нос, и с большими брезентовыми рюкзаками.

С Петраковского дома они сбили ржавый замок и исчезли внутри. Приходский староста Ильинична хотела было снарядить к ним на разведку свою помощницу. Но отец Алексей, знавший о брожениях, вызванных слухами и ожиданием “группы с Урала”, опередил старостихиных присных и, чтобы разобраться самому и успокоить паству, лично отправился к приезжим.

Обиженно скрипнула покривившаяся дверь, и батюшка взшёл на крытое крыльцо. Пересёк душную, раскалённую террасу, засыпанную разным хламом, и оказался в прохладных сенцах. Дверь в горницу была открыта, и отец Алексей увидел, как приезжие, сбросив на пыльный пол рюкзаки и обнажив головы, оглядывают своё новое пристанище.

— Настоящая изба, Санёк! — говорил тот, что курносый и поменьше ростом. — Как тебе?

— Да! — улыбался мечтательно Санёк и похлопывал ладонью печную кладку, точно проверяя её на прочность.

Потом он скинул куртку и остался в одной майке — потный, сильный, по-мужски красивый. И улыбка, и заголённые руки, и расставленные широко ноги в тяжёлых ботинках — весь облик его почему-то вдруг навёл батюшку на мысль, что Санёк этот надолго в Котцах не задержится.

— Здравствуйте, — прокашлялся отец Алексей.

Оба повернулись, напряжённо и недоверчиво уставились на батюшку. Но, сообразив, что перед ними старик, да к тому же ещё священник, обмякли и в первую секунду даже обрадовались. Но тут же отцу Алексею показалось, что Санёк ухмыльнулся, и что-то нехорошее, высокомерное промелькнуло в этой ухмылке. Точно досадовал Санёк, что испугался, а испугал его всего лишь старый заштатный поп.

— Здравствуйте, молодые люди, — повторил отец Алексей. — Простите, что беспокоил... С приездом вас...

— Здравсьте. Проходите, — кивнул отцу Алексею приятель Санька.

Батюшка переступил высокий порог и оказался в комнате — довольно большой, с русской печью посередине, без мебели, с кучками осыпавшегося из стен мха на полу.

— Зашёл, понимаете, познакомиться с новыми людьми... кхе-кхе... Здесь, в деревне, — всё на виду... Звать меня отцом Алексеем, а вы... стало быть...

— Александр Симанский, — протянул руку Санёк.
— Виктор Чудомех...
— Ага... ага... — отец Алексей хихикнул про себя над диковинной фамилией. — И что же, вы... Петраковых друзья? Или как?..
— Этот дом мы купили, — объявил Симанский. — Будем здесь жить, вести хозяйство и... и молиться... Вроде как скит думаем устроить...
— Так вы... стало быть... и впрямь... староверы с Урала? — забормотал отец Алексей, у которого даже ноги подкосились.
Но в ответ Симанский и Чудомех переглянулись и расхохотались так, что в доме что-то затрещало и закрипело.
— Почему с Урала? Мы из Москвы! Не староверы мы...
— И не плотники!.. — прибавил Чудомех, и они опять расхохотались.
— Обижать никого не собираемся. Надеемся, и нас беспокоить не будут, — последние слова Симанский проговорил твёрдо и даже, как снова показалось отцу Алексею, с вызовом.
— Ага... ага... — забормотал отец Алексей, и густые седые брови его зашевелились, как два живых существа.
А про себя отец Алексей ещё раз подумал, что Санёк этот долго здесь не задержится.

II

За несколько лет до своего появления в Котцах Симанский и Чудомех получили дипломы Московского университета.

Прадед Симанского был дьяконом сельской церкви Тамбовской губернии. Дед преподавал научный коммунизм, отец посвятил себя изучению экономических отношений Советского Союза со странами Магриба. Отношения эти складывались неплохо, и отец то и дело осчастливливал потомков тамбовского дьякона марокканскими джинсами и алжирской жвачкой.

Жил Александр интересно и разнообразно. Ещё студентом вошёл в круг замечательных людей, буквально изнемогавших в борьбе за что-то не вполне определённое, но, безусловно, прекрасное. И это не могло не восхищать. Опьянённый двойной жизнью между повсеместно нарушаемыми запретами и хитроумно избегаемыми наказаниями, Симанский стучал на пишущей машинке, множа самиздатские листки, носился по Москве, собирая подписи под протестами, спорил на прокуренных кухнях с бородастыми диссидентами и гладковыбритыми ретроgrадами, доказывая последним необходимость свободы слова и каких-то прав, которые есть за границей. И чувствовал себя вовлечённым в исторические процессы. А как он любил эти споры! Этот могущий показаться бессмысленным и бесполезным трёп, без которого никто решительно не мог обойтись вокруг. Трёп, позволяющий одним скрашивать пустоту и скуку, другим — упиваться самоутверждением, третьим — отыскивать в словесном соре жемчужные зёрна.

— Да пойми же, болван, — горячо внушал Симанский одному своему приятелю, увлекавшемуся поздними славянофилами. — Пойми, что славянофильство отжило своё! Мода — о, да! Это понятно. Но чтобы принимать это всерьёз?.. Скучнейшее, нуднейшее учение о несуществующих вещах!

— Врёшь, брат! — откликнулся славянофил. — Врёшь! Время славянофильствует! А вот ты так коснеешь в глупости и заблуждениях. Кому-то очень нужно всё раскатать. И для этого набирается целая армия дурачков, в общем и целом безопасных, хотя и кусающих за ноги. А каждая реакция на такой укус — гол в собственные ворота и повод к обвинению в генетическом тоталитаризме!..

— Вот сам и соврал! — радовался Симанский. — Соврал, брат! Эти люди жертвуют собой для целой страны, для огромного, бессмысленного народа. Чтобы добиться прав для этого народа, небольшая, в сущности, кучка людей... лучших людей!.. готова гнить в тюрьмах!..

— Да ты сам врешь! Вот гнить-то вы как раз и не готовы! У вас это игра, вы уверены, что ничего вам за неё не будет! И никакие такие права, о которых ты тут рассуждаешь, не изменят никого из вас! И вообще нико-

го! И неужели ты думаешь, что где-то есть рай на земле? О, глущцы! О, ленивые и тупые мулы! Ведь вы от лени пялитесь на Запад! От лени! Вы не хотите и не можете создать своего, вам проще, как в лавке, выбрать готовое. И чтобы оправдать свою лень, вы сами себя убеждаете, что выбранное вами совершенно!..

— Как ты можешь говорить это, когда вчера только у Фридландов был обыск! И Яшку забрали. Яшка Фридланд в Лефортово! Понимаешь ты это? Яшка в Лефортово!

— Ха-ха-ха! У Фридландов, говоришь?.. Вся эта ваша диссидентская чехарда с борьбой за права есть борьба за право уехать на жительство в Израиль. И помини моё слово: когда все твои Яшки переедут в Израиль, диссиденты переведутся сами собой! И о правах для “этого народа” никто больше не вспомнит!

— А вот в этом ты прав! Единственное, в чём ты прав, — вот в этом! Только евреи и способны бороться...

— За права “этого народа”? И ты в это веришь?..

И странным образом случилось по предсказанному славянофилом: евреи уехали, диссиденты перевелись, всё вокруг перевернулось. Появились одни права, исчезли другие, за которые бороться стало некому. А если и находились борцы, то ни подать себя, ни заявить о себе они не умели. И оттого слыли злодеями. И больше не было диссидентского флёра, не было скромного обаяния и сытого трёпа. И зарубежные радиостанции больше не надрывались и не заходились плачем над несчастным народом. О правах стало говорить не модно, и все заговорили о духовности.

И вскоре в комнате Симанского рядом со старинными иконами, дошедшими от уваровского дьякона, и фотографией Елены Боннэр появились изображения Блаватской, Саи-Бабы и Раджнеша. Вошли в повсеместный обиход слова “Абсолют”, “Энергия”, “Космический Разум”. И Симанский, хоть и носил на шее крест из Загорска, уже отстаивал на кухнях равновеликость всех религий и утверждал, что “Бог в душе”.

Но вместе с тем, Симанский заскучал. Агни-йога на время развлекла его, но хандра вернулась, и он оказался не в силах противостоять ей. Вокруг, отчасти благодаря усилиям самого Симанского, всё трещало и рушилось, а Симанский хандрил, злился и чувствовал, что теряет вкус к жизни.

Ещё недавно ему казалось, что лучшие люди изнемогают в борьбе. Но если бы только его попросили остановиться, перестать думать и говорить чужими фразами, а вместо этого здраво осмыслить всё, что происходит вокруг — самиздаты, кочегарки и прочий революционный пафос, — а затем ответить на простой вопрос: “Ради чего это нужно?”, — едва ли он подыскал бы вразумительный ответ. Именно эта привычка думать и говорить чужое, впитывать сентиментальные истины, захлёбываться в информации и никогда не оставаться наедине с самим собой — именно эта привычка не позволяла ему остановиться в суете и кутерьме борьбы. Сладкое это слово — борьба! Красота и необременительность, иллюзия собственной занятости и незаменимости, переполняющее самодовольство и надрыв. Этот вечный надрыв, эта поза, самолюбование, доводящее до умопомрачения!

А теперь всё казалось ложью, фальшью, подделкой. И это было ужасно. Это отбивало охоту жить.

Симанский усомнился в диссидентстве, потому что и сам теперь видел, что похоже оно на игру. Усомнился в своей работе, потому что не знал, зачем выполнял её. Усомнился даже в диссертации, потому что это было перепеванием в сотый раз одного и того же мотива. О, фальшивая, ненастоящая жизнь! Есть ли в тебе хоть что-нибудь истинное, подлинное, чистопробное!

Демократия, бизнес и прочие штуковины заткнули собой все прорехи прежнего строя. Но было ли это новое подлинным? Ни одной секунды! Ни хля, ни помпа, ни болезненное восхищение собой — ничто не могло заслонить подделки и мизера. Но хуже всего, что все вокруг так приспособились к этой подделке, так полюбили её, что всякий протест воспринимался большинством как глупость или зависть. Все, и особенно те, у кого получалось фальшивить ловчее, приучились считать эту фальшь настоящей жизнью. Но и тот, кто воз-

вышал голос, отлично знал: комфорт, престиж и самоуважение — три источника, три составных части, а лучше сказать, три кита, на которых покоится современный *Homo Sapiens*, — невозможно добыть вне фальши.

За рассуждениями Симанского по традиции потянуло в народ.

Ему предложили купить дом, и он ухватился за это предложение. Семья у него не было. В институте, где он работал, шло сокращение, и, не дожидаясь увольнения, Симанский уволился сам. Одному ехать в деревню было боязно и несподручно, и Симанский увлёк Чудомеха, уже рассчитанного и вдобавок брошенного женой.

III

Выражение “уйти в народ” значит, как известно, проникнуться сознанием пагубы цивилизации и бежать туда, где привыкли обходиться без её благ и соблазнов. Бежать к людям, трудящимся ради насущного, но не излишнего. На фоне этого благостного идеала сам собой рисуется образ народный: крестьянки с крынками, мужики с косами, тучные коровы, заливные луга, Алёша Карамазов, монахи-старцы, заснеженные избышки и церковки. Труд и молитва — веками устоявшийся уклад, дающий каждому покой и довольство. Образ этот, сотканный интеллигентским воображением, не намного, думается, отличается от образа, намалёванного воображением какого-нибудь европейского интеллектуала, который ну, никак не хочет обойтись без медведей.

Деревенька Речные Котцы произвела на Симанского самое благоприятное впечатление — всё здесь было настоящим. Даже поп оказался всамделишным. Правда, не таким колоритным, как представлял себе Симанский, — без брюшка-аналога, без румянца во всю щёку, к тому же, и это было видно с первого взгляда, без высшего образования. Зато вечером к ним пожаловал настоящий деревенский пьяница, в сапогах, в тельняшке с обрезанными рукавами и с двумя бутылками под мышками. Отрекомендовался гость “соседом Леонидом” и предложил угоститься водкой, торчавшей у него из подмышек. Чудомех приглашение тотчас принял, но Симанский какое-то время колебался, памятуя, что приехал в деревню “жить настоящей жизнью”, что означало для него в тот момент *проводить дни в трудах и молитвах*. С одной стороны, распитие водки нельзя было отнести ни к трудам, ни к молитвам. Но с другой стороны, оно — это распитие — являлось неотъемлемой частью народного времяпрепровождения. А потому Симанский недолго сопротивлялся соблазну “соседа Леонида”.

Когда же они выпили, “сосед Леонид” стал выказывать любопытство.

— Скажи... Ну, скажи мне... — уговаривал он Симанского. — Вот зачем вы сюда приехали?

Симанский начинал про труды и молитвы, но “сосед Леонид” возражал: — Это мне всё понятно. Ты мне объясни, зачем вы сюда-то приехали!..

И они долго ходили по кругу: Симанский всё рассуждал про “настоящую жизнь” и про то, что они тоже русские мужики, а Лёнька всё выпытывал, при чём тут Речные Котцы. А Чудомех слушал и всё не мог уяснить: кто из них кого не понимает.

— Сгинете вы, — сказал, наконец, Лёнька. — Сгинете оба. Чего вы зимой станете делать? Дров у вас нет, огорода нет, скотины тоже нет — сгинете!

Но Симанский возразил, что дрова они купят, а ещё купят корову.

— Какую тебе корову! — хохотал в ответ Лёнька. — Где ты коров-то видел? В зоопарке, что ли, в Москве? Тут уж забыли, какие они из себя — козы у всех.

— Ну, козу купим, — нашёлся Чудомех. — И дешевле, и ест меньше.

— Ну, положим, козу вы купите, — рассуждал Лёнька. — Вона, у Семёновны, цельное стадо! Положим, Семёновна вам продаст. Дык она сдохнет скоро!

— Семёновна?!.

— Ась... Дождёшься ты от Семёновны... Коза у вас сдохнет — жрать-то ей нечего будет. Чем кормить-то её станете?

— Чем все, тем и мы...

— Все... У всех сеновалы, сено... А у вас чего? У вас — шиш! — и Лёнька для пущей убедительности подставлял волосатый кулак с уродливо вылезающим грязным большим пальцем под нос то Симанскому, то Чудомеху.

На другой день, отдохнув с дороги и придя в себя после Лёньки и водки, Симанский и Чудомех уселись строить планы на будущее. Лёнька был прав: чтобы не пропасть зимой, нужно было запастись дровами и набить сеновал сеном. А кроме того, решили запастись грибами. Но для грибов было рано, с дровами можно было подождать, а в крайнем случае, топить штакетником или притащить из лесу сухостоя. Перво-наперво решили заняться косой, для чего прикупили в селе две косы и там же отбили их у какого-то умельца. Но снова явился “сосед Леонид” и объяснил, что “до Петрова дня не косят — не принято” и стал сманивать на рыбалку.

— Где её ловить, твою рыбу? — смеялся над Лёнькой Чудомех. — В болоте, что ли?

— Зачем в болоте? — обиделся Лёнька. — В лесу, километрах в десяти, озеро есть. Там рыбы!.. — он растопырил руки и скрючил пальцы, давая таким образом понять, что озеро кишит рыбой. — Да там... вёдрами ловят!..

Симанский и Чудомех привезли с собой снасти и, подумав, решили, что не пропадать же добру, да и рыбу можно на зиму заготовить. А потому вместо сенокоса отправились на другой же день на рыбалку.

Для уточнения времени можно было бы прибавить “на рассвете” или “чуть рассвело”, но это оказалось бы ложью, потому что в то время года в тех краях слово “рассвет” исчезает из обихода за ненадобностью. Ночное небо остаётся светлым, точно солнце не уснуло, как зимой, а слегка задремало, готовое в любую секунду подняться. И на востоке розовый край солнечного одеяла всю ночь трепещет под лёгким дыханием светила.

Лёнька завёл их в лес, где за сонными ещё берёзами пласталось небольшое, остекленевшее под зыбким солнечным светом озерцо с прозрачной водой и песчаным дном, по которому шныряла разная рыба мелюзга. От берега катились по гладкой воде берёзовые полешки, уложенные кем-то в мостки. В стороне Симанский заметил старое кострище.

Пока шли по лесу, Симанскому всё очень нравилось: и воздух, такой душистый, что казалось, кто-то разлил флакон дорогих духов, и шум, производимый птицами, и предвкушение неизвестного лесного озера, кишашего рыбами. И хотелось, чтобы приходили красивые, умные мысли, запечатлевающие чувства. Но в голову лезло что-то нелепое: “Вот где всё настоящее... настоящие русские мужики...” Симанский почему-то стеснялся этой мысли. Но ничего лучше выдумать не удавалось. Наконец он сдался и отчётливо проговорил про себя: “Вот где всё настоящее, и Россия, и... вообще!” Но тут же устыдился и скосил глаза на Чудомеха, точно опасаясь, не услышал ли тот его сентиментальной думки. Но Чудомех ничего не слышал. Симанский успокоился и стал думать о “настоящей жизни” и о том, что ему, кажется, удалось-таки вкусить от неё. А Чудомех ни о чём не думал.

Выстроились на мостках — Чудомех и Симанский со спиннингами, Лёнька с удочкой. Приладили садок. Первым исчез под водой Лёнькин поплавок. Лёнька на радостях выругался, засуетился, подсёк и вытянул шурёнка. Под зубами маленького хищника леска лопнула, но шурёнок уже бился о покатые бока берёзовых чурбашек.

— Ты гляди, — радовался и ругался Лёнька, — ты гляди-тко! На удочку... и такого зверя!.. Экой ты, брат!.. Ну, врешь, не уйдёшь!..

И шурёнка пустили в садок.

Пока Лёнька возился со своим уловом, клонуло у Симанского. И снова шурёнок. Потом Лёнька достал подлещика, а Чудомех — плотвицу. Были ещё щурята, окуньки и даже здоровенный, килограмма на полтора, судак. Потом рыба ушла, и стали они, что называется, сматывать удочки. Но когда достали садок, ахнули: сбоку зияла дыра, и рваные мокрые нити садка, как черви, извивались и шевелились, точно стремясь расползтись в разные стороны.

Тут же на мостках все трое присели рядом на корточки и задумались. Лёнька предложил покурить. Чудомех угостился, Симанский поморщился.

— Может, мы одних и тех же рыб по три раза тянули, — задумчиво изрёк Чудомех. — Вот они над нами посмеялись...

— Может, наоборот... приятное хотели сделать, — возразил Лёнька, выпуская дым.

— Приятное они бы нам сделали, если бы из садка не уплывали...

— Ну, ты их из воды тянул, приятно тебе было?..

— Да вы о ком говорите-то? — досадливо спросил вдруг Симанский.

И все замолчали.

— Ну, что, дачники... По домам? — спросил Лёнька, поднявшись и ратирая сапогом окурок о берёзовые мостки.

Не разговаривая друг с другом, собрались и пошлепали в деревню...

— Делом надо заниматься. Делом... — ворчал Симанский дома. — Мы не по рыбалкам приехали бегать... Нам хозяйство нужно поднимать. А Лёнька этот... баламутит он нас...

И Чудомех, как всегда, соглашался с ним.

IV

На другой день умерла в Котцах одинокая старуха. Говорили, что умерла она “хорошо”, то есть до последнего почти дня была на ногах. Явившись помочь, Симанский и Чудомех ещё с улицы увидели обтянутую красным атласом крышку гроба, прислонённую к стене дома справа от крылечка. Возле крышки, как на посту, стоял “грузин”. В доме толпились и сновали старухи да несколько дедов, один из которых — ветеран войны — надел зачем-то пиджак с орденами. Покойная лежала в гробу на столе посреди комнаты. Лицо её было обращено к иконам, под которыми горела лампадка. В противоположном от красного углу стоял табурет, а на нём — ещё одна лампадка и стакан прозрачной жидкости с куском хлеба поверх. Три свечи горели в головах усоншей, связанной по рукам и ногам белыми платками. Под столом с домовиной лежал зачем-то топор. Симанский разглядел, что у покойной круглое морщинистое лицо, даже по смерти сохранившее добродушие.

— Ну, что же ты, Сергеевна, — вдруг пронзительным, визгливым голосом затянула одна из старух, стоявших у гроба, — отмучилась, отбегалась, сердешная...

Тотчас все в комнате затихли, и Симанский догадался, что церемония началась.

— Кто же мне теперь подскажет, соседushко, — подхватила другая старуха рядом, — кто надоумит...

— Самая ты у нас была мудрая, — пропела третья, — уж на что у нас все... а ты-то самая... была...

Старухи у гроба оказались как на подбор высокими и плечистыми, точно гренадёры, и причитали похожими визгливыми голосами, которые как-то не вязались с их фигурами. Тут же стоял Вася-дурачок, раскачивался и всхлипывал по-старушечьи. Покойная никем не доводилась ему, но он привык вести себя сообразно минуте.

— А справный гроб-то, Ильинична, — услышал Симанский где-то рядом.

— Дык... Хушь самой ложись, — раздалось в ответ.

— И почём взяли?

Ответа Симанский не расслышал, потому что Ильинична, называя цену, понизила голос.

В комнату вошёл отец Алексей, и старухи у гроба перестали причитать. Затих и перестал качаться Вася. Чья-то сморщенная рука сунула Симанскому свечу, и только тут он заметил, что все вокруг держат свечи и зажигают их по цепочке. Чудомех, которого отеснили в сторону, держал свечу зажжённой.

— Благословен Бог наш... — возгласил батюшка.

Началось отпевание.

После чтения Евангелия свечи задули, и комната наполнилась дымом и церковным запахом. Отец Алексей прочитал разрешительную молитву, и несколько старух бросились снимать с усоншей белые платки, которыми

были перевиты её руки и ноги. Платки и листок с молитвой опустили в гроб, как вдруг поднялась в комнате какая-то неизъяснимая суматоха. Точно набежавший вдруг ветер поднял волну на жнивье. Но в следующее мгновение суматоха персонифицировалась, и все вокруг успокоилось. У гроба возникла маленькая старушонка, до смешного контрастировавшая телосложением с плакальщицами.

— Батюшки... батюшки, — испуганно лепетала она и суетливо поворачивалась то направо, то налево, — забыли-то... забыли... Господи, помилуй!.. Погоди-тко...

Приговаривая так, она показывала соседям какой-то небольшой предмет. Симанский разглядел его. Это была вставная челюсть. Вокруг заахали, сокрушаясь, о чуть было не допущенной оплошности, а маленькая старушонка пристроила челюсть в гроб и поправила что-то на усопшей.

Стали прощаться с покойницей, после чего Симанский, Чудомех, Лёнка и “грузин” отнесли гроб на погост. А когда первые комья земли с глухим стуком упали в могилу, все вдруг стали бросать туда же монеты, весёлый, жизнелюбивый перезвон которых никак не вязался с настроением, приличным обряду.

— Вот сколько раз говорил, — посетовал отец Алексей, оказавшийся рядом с Симанским. — Как в Древнем Египте — чего только не сунут в могилу... Церковь сегодня, как кон... — он запнулся. — Кон... контистадоры... — должна обращать ко Христу из дикости.

Симанский только усмехнулся про себя на “контистадоров” и ничего не сказал.

После погребения все отправились на поминки, где, судя по тому, как на погосте переминался с ноги на ногу Лёнка, как справлялся он то и дело о времени, как нетерпеливо озирался поверх старушечьих голов, предполагалась обильная выпивка. Симанский, на сердце которого увиденное легло глубоким оттиском, не хотел ни думать о водке, ни являться домой вполздорова.

Всё казалось так странно, так необычно, что Симанский чувствовал себя как незваный гость, как человек, остановившийся в чужом доме и незнакомый с его порядками. И дело было не в мрачном обряде, но в ощущении огромного, почти непреодолимого расстояния между ним и людьми, которым он хотел стать своим, и которые были ему братьями лишь по названию.

Чудомех в одиночестве не пошёл на поминки.

V

До Петрова дня оставалась ещё неделя, а заняться, по большому счёту, было нечем. А потому решили приступить к покосу, не дожидаясь праздника. Условились подняться в четыре утра, потому что оба — и Симанский, и Чудомех — знали понаслышке, что косить ходят очень рано, по росе.

Косы то звенели, то взвизгивали, жаворонки журчали над головами. Изысканно-сдержанное северное лето напоминало юную свежую девушку, к волосам и цвету лица которой идёт самое скромное, самое неброское платье, а кожа, пахнущая не то арбузом, не то фиалкой, не то ещё чем-то нежным и свежим, не нуждается ни в каких самых сладких и чувственных духах.

С непривычки вставать рано гудело в голове, слегка подташнивало и тряслись руки. Но было приятно сознавать себя настоящими русскими мужиками, занятыми настоящим делом, польза от которого очевидна. К девяти часам вернулись домой и занялись мелкими делами: готовили обед, чистили избу, окосили траву на участке.

И на другой, и на третий день поднимались спозаранку. Суета и перемены прогнали на время хандру. Но Симанский верил, что хождение в народ — старый, испытанный поколениями интеллигентов способ борьбы со скукой — вновь не подвёл. Если бы и тут он смог остановиться, спокойно подумать, а главное — заглянуть внутрь самого себя, то убедился бы, что в деревню его пригнало чувство, на языке отца Алексея называемое “самостью”. Чувство коварное, толкающее на самые нелепые шаги ради испытания себя и ради последующего довольства собой.

В суете и безостановочном верчении проходила жизнь самого Симанского и окружающих его людей. Своё “я” в этом мире негласно считалось высшей ценностью и мерилом всех вещей. Людей было много, и “я” у каждого своё, а потому никто ни с кем не сближался, и все оставались одиноки в большой толпе.

Когда на утро четвёртого дня у Чудомеха от непривычно-тяжёлого труда сдавило вдруг сердце, а перед глазами поплыли тёмные круги, и пришлось идти в село за фельдшерницей, Симанский поймал себя на том, что вместо сочувствия испытывает досаду, потому что из-за Чудомеха вынужден оставить интересное и приятное дело.

Фельдшерница оказалась дамой нестарой, к тому же одинокой — муж её прошлым летом сгинул спяну в болоте. Чудомеху она прописала покой и обещала передать лекарство. Два дня Чудомех провёл в постели, и Симанскому приходилось ухаживать за ним. Приходила фельдшерница, измеряла давление и поила Чудомеха отваром трав, который приготавливала и приносила сама в железном термосе, пахнущем кофе. От горького, зловонного отвара сводило мышцы лица, но Чудомех пил и улыбался, потому что ему были приятны знаки внимания этой чужой симпатичной женщины, и хотелось, со своей стороны, сделать что-нибудь приятное для неё.

В праздник Петра и Павла Симанский предложил сходить в церковь. Они пошли, и Чудомех всю службу сидел на скамеечке в углу, а Симанский стоял среди старух. Некоторых из них он узнавал: вон гренадёры, вон маленькая старушонка, нашедшая вставную челюсть, вон Ильинична... Рядом с Чудомехом стояла фельдшерница.

Служба Симанскому не понравилась: старухи то и дело принимались петь дребезжащими голосами, в какой-то момент несколько человек вдруг повалились на колени и уткнулись лбами в пол, и на незнакомой старухе прямо перед собой Симанский невольно разглядел коричневые чулки в рубчик и гипюровый край белой комбинации, какие носила ещё его бабушка. Мысли Симанского разлетелись, и он стал думать, откуда у деревенской старухи комбинация; должно быть, много лет назад одарили городские родственники, и, оставаясь по сей день предметом роскоши, комбинация покидает сундук только по большим праздникам. Когда отец Алексей стал говорить проповедь, Симанскому показалось, что обращается батюшка к нему лично. Симанскому это не понравилось, и слушал он проповедь с раздражением.

— ...Апостол Пётр, — говорил отец Алексей, — повёл себя самонадеянно, сказав Господу: “Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогдаже соблазнюся”. Но не пропел петух дважды, как трижды отрёкся Апостол. Так бывает со всеми, надеющимися на себя, но не уповающими на Господа... Каждый из нас, братья и сестры, создан по образу Божию, но не все решаются, преступив чрез собственные похоти, встать на путь богоуподобления. И хоть мы знаем: ничто вне этого пути не может успокоить нас, мы часто влачимся стезёй удовольствий, выгод и самолюбования...

Чудомеху было всё равно, он вышел из церкви и забыл, зачем входил в неё. Но Симанский всё думал, как может этот отец Алексей — необразованный, пропахший кухней, с торчащей во все стороны бородой, как у лешего, — как может он научить чему-то или подсказать. Что он знает такого, чего не знает или не может узнать Симанский, чего нет в книгах, доступных образованным людям? И выходило, что надобность в отце Алексее может быть, единственное, у старух — созданий ещё более тёмных и невежественных. А если Церковь прямо не говорит об этом, то стоит она на лжи. Да и не может стоять ни на чём другом, поскольку даже первокласснику известно, что все эти батюшки не так давно служили палачам, против которых боролись товарищи Симанского.

Спустя два дня после праздника Симанский один отправился косить. Но придя на прежнее место, увидел, что всю скошенную ими траву кто-то собрал и вывез. Это обстоятельство так поразило Симанского, что он тотчас же вернулся домой и во весь оставшийся день не мог приняться ни за какое дело.

А Чудомех был даже против обыкновения весел и чувствовал себя значительно лучше...

VI

Лето подходило к концу, и отец Алексей освятил яблоки в храме. В садах цвели астры. Небо стало высоким, а дожди — холодными. И делалось почему-то грустно от нового запаха, пропитавшего воздух. Зима, наступлением которой пугал Лёнька, ещё только приближалась, а Симанский уже выдохся. С хозяйством не ладилось: кто-то унёс со двора пару алюминиевых вёдер, кроме дров, никаких запасов сделать не удалось. Как зимовать и чем жить в деревне, Симанский не знал. В последнее время он снова хандрил и чувствовал себя обманутым. Народ оказался не тот, и церковь тоже не та. Народ — груб и тёмен, церковь — бестолкова и лжива. И, как ни странно, думы о хозяйстве нагоняли скуку, и лишь при мысли об отце Алексее Симанского переполняло жгучее, сотрясающее чувство, которое сам он определял как гнев праведный.

Как-то, не глядя Чудомеху в глаза, он сказал:

— Поеду-ка я... домой съезжу. Своих повидать. Да и так... Вещи надо тёплые... зима близко.

— Да, зима близко, — вздохнул Чудомех.

— Поедешь со мной? — разглядывая носки своих сапог, спросил Симанский.

— Нет... я уж здесь... Чего мне там?..

Симанский уехал. И больше в Речные Котцы не возвращался.

С тех пор минул год. На Святках почил отец Алексей, и на его место прислали из епархии молодого священника. Ильинична стала хворать, и церковным старостой избрали Семёновну, у которой, как говаривал Лёнька, “цельное стадо коз”.

Несколько раз молодой батюшка, снедаемый ревностью по доме Божию, а потому подмечавший и всякий раз пересчитывавший немногочисленных прихожан своих, обращал внимание на одну пару не из местных — невысокого роста, застенчиво-улыбчивого мужчину и худенькую строгую женщину в модных очках. Что ни делал мужчина в храме — осенил ли себя крестом, подходил ли к иконе, — делал он по примеру, а то и по указке своей спутницы.

Батюшка поинтересовался у Семёновны, и та поведала, что это “фершлица со своим мужем-москвичом”.

— Фамилие у него ещё такое... — наморщила нос Семёновна, — усмарное... Мех, что ли, какой...

— Мех?... — удивился батюшка.

— Ну, да... Ну, да... — закивала Семёновна. — Мех. Вроде как... хороший.

— Кто хороший?

— Дык... Мех... Фамилие такое: Хороший мех...

Но батюшка не стал вдаваться в подробности ономотологии. Ему захотелось перекинуться словечком с земляком — батюшка и сам был москвич, — но пересечься вне храмовой службы не удавалось. Наконец, они встретились у сельского магазина. Был обеденный перерыв, и, поджидая продавщицу, они разговорились. Батюшка первым представился, и в ответ услышал:

— Виктор Чудомех...

Усмехнувшись про себя диковинной фамилии, батюшка поинтересовался, правда ли, что собеседник его приехал из Москвы. Собеседник оказался словоохотливым и подтвердил, что в прошлом году, имея перед собой неясные цели, перебрался вместе с товарищем в Речные Котцы. А после женился и обосновался в селе. Товарищ же вернулся домой и теперь, слышно, издаёт в столице свою газету.

— Газета оппозиционная, — улыбнулся Чудомех.

— И кому же он себя противопоставляет? — улыбнулся в ответ батюшка.

— Власти. И... церковному официозу.

Но заметив, как насторожился батюшка, Чудомех пояснил:

— Это он сам так определяет. Сошёлся с какими-то людьми и вот... увлёкся.

— А как называется? — полюбопытствовал батюшка.

Чудомех назвал, и батюшка ахнул — газета и редактор хорошо были известны в церковных кругах. На страницах газеты вчерашние диссиденты боролись с жидомасонами, истребляющими русский народ и разлагающими Церковь и государство. Выдвигались также требования канонизировать Сталина, и даже печаталась написанная кем-то икона отца всех народов. За отказ обвиняли Патриархию в неверии, экуменизме и одержимости. В Церкви газету считали еретической и не раз обращались к главному редактору с призывом перестать баламутить людей. Но редактор не унимался, и все последующие публикации были злее и дерзостнее предыдущих.

— Неймётся людям, — вздохнул батюшка.

— Он всё искал чего-то... — попробовал вступиться Чудомех. — Я вот тоже... не сказать, чтобы шибко верующий... так... за женой больше...

Вернулась с обеда продавщица. Поправила полной рукой мохеровый берет, из-под которого выбивалась крашеная чёлка, облизнула красные напомаженные губы и принялась отпирать дверь. К магазину стали стекаться люди.

— Да, — снова вздохнул батюшка.

И, ни к кому не обращаясь, прибавил:

— Лишь бы себя показать...

“МЫ СТОИМ ЗА РОССИЮ, И ЗНАЧИТ, СТОИМ НА КРАЮ...”

Еще 20 лет назад всем более или менее думающим людям было очевидно, что бесчеловечное отношение новой власти к своему народу есть воплощение социального расизма.

Экономический террор против населения России сопровождался террором физическим и психологическим. Власть ясно дала понять, что относится к рядовым гражданам России, словно к скоту.

Это было впрямую продемонстрировано 23 февраля 1992 года, когда по указанию тогдашнего мэра Москвы Гавриила Попова и его заместителя Юрия Лужкова было устроено массовое, показательное, демонстративное избивание демонстрантов (среди которых было много ветеранов Великой Отечественной войны), шедших поклониться могиле Неизвестного солдата на Красной площади. Тогда впервые были применены резиновые дубинки (так называемые “демократизаторы”) под истерические крики московских начальников – “Бить!”. Московский ОМОН, впервые почуявший кровь, опьянел от ее запаха больше, чем от предварительно розданного алкоголя. И далее каждое шествие протестующего народа сопровождалось массовыми избиваниями под аккомпанемент торжествующих истерик теле- и радиоведущих, именовавших доведенных до отчаяния людей “совками”, “красно-коричневыми” и “фашистами” (одно из таких массовых избиваний символично было устроено 22 июня). А тогдашний госсекретарь Генналий Бурбулис, издеваясь над обездоленными людьми, заявил, что прочтет голодным лекцию о необходимости комплексного взгляда “на историю тоталитарного государства”, которая, дескать, заменит им хлеб.

Действие всегда рождает противодействие. Чем больше зверства демонстрировал ельцинский режим, тем больше народа собиралось на последующие демонстрации.

К апрелю 1992 года Ельцин окончательно принял решение разогнать вышедший из-под его повиновения Верховный Совет и Съезд народных депутатов, обладавший достаточно широкими полномочиями. Уже 20 марта был подготовлен протокол совещания президиума столичной коллегии, одним из пунктов которого был пункт “О политической стратегии и тактике на данном этапе”, содержанием которого была так называемая “Общая линия”: “устранение нынешнего Съезда народных депутатов РФ и его ВС. Предлагаемая альтернатива – президентская власть плюс конституционный процесс: созыв Учредительного собрания, разработка новой конституции на нем и т. д.”. Гайдар в превращении дальнейшего экономического давления на народ одновременно с лишением его прав на самозащиту провокационно заявил: “Я не гарантирую, что социального взрыва не будет”. Этот взрыв спровоцировала сама власть, чтобы развязать себе руки для показательной расправы.

Вот что предшествовало указу Ельцина № 1400 о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета, блокаде “Белого Дома”. Вот что предшествовало – расстрелу. Вот что предшествовало пыткам и убийствам на стадионе “Красная Пресня” и в близлежащих отделениях милиции.

И еще одно предшествовало – истерические призывы либеральной интеллигенции – иных писателей, актеров, ученых – к кровавой расправе. У них требования к Ельцину “действовать”, “не рядиться в лавры миротворца”, не идти ни на какие переговоры – звучали особенно сладострастно.

Ибо для них люди, собравшиеся тогда возле Дома Советов – не были людьми.

* * *

По горячим следам расстрела много что писалось и говорилось открытым текстом и о людях, погибших в те трагические дни 3-4 октября 1993 года, и о своих “заслугах” в “борьбе” с ними.

“Я по своей инициативе послал в Москву два полка ОМОНа, оголив практически свой город” (А. Собчак. ЛГ, 2.3.1994). Там же опубликовано еще одно его замечательное откровение: “О коррупции все время говорят как раз контрреформисты, те, кто борется против демократии в России. Их цель – разрушить доверие к новой власти”.

“Я был абсолютно убежден в том, что в крайнем случае нам придется раздать людям – в первую очередь, конечно, демократическим дружинникам, тем, кто в свое время защищал Белый дом – оружие... И поэтому дал соответствующее распоряжение – приготовиться к раздаче оружия... Во мне бы ничто не дрогнуло... И позвонил Шойгу Сергею Кожугетовичу, председателю ГКЧС, выяснил ситуацию с оружием, – оно в его ведении находится – и приказал быть готовым выполнить поручение правительства раздать тысячам автоматов с боезапасом... Это, конечно, будет стоить огромной крови, но это всё-таки лучше, чем отдать им власть” (Е. Гайдар. ЛГ, 29.9.1994).

Это говорили люди, облеченные властью. А у либеральных подпевал была своя “партия”.

“Танковые залпы загнали гадину в подполье, потому что эту нечисть танковыми гусеницами не давят... Другого выхода после 3 октября уже не было...” (ЛГ, 16.3.1994). Так вещал один из “подписантов” черного письма 42-х писателей (“Известия”, 5.10.1993) Андрей Чернов, по собственной характеристике – “член **тайной** (выделено мной. – С. К.) организации по борьбе с русским фашизмом”.

А многие подписанты через 3 года в “Независимой газете” (Г. Бакланов, Б. Васильев, Я. Костюковский, Т. Кузовлева, А. Кушнер, А. Приставкин, М. Чудакова и др.) настаивали на том, что сегодня поступили бы точно так же. И лишь один – Юрий Давыдов – видимо, с тяжелым чувством произнес: “Каждый имеет право на глупость. Однако в данном случае мне не следовало пользоваться этим правом”. Да еще С. Каледин при том, что “сожаления по поводу поставленной подписи” у него не было, словно через силу выдавил из себя: “как будто вяпались во что-то”.

“Не вяпался” в это вездесущий Евгений Евтушенко, – он вяпался иначе. По горячим же следам в “Литературной газете” он напечатал совершенно бездарную поэму “Тринадцать” (этакое подражание Блоку) с рефреном: “Марш, марш назад, наш русский зоосад!” Это о погибших и чудом выживших неделями ранее.

Мы и сейчас фиксируем это отношение с согражданам, не разделяющим взгляды наших либералов, как к “зоосаду” или чему-то близкому. Когда профессор Пивоваров на многомиллионную телевизионную аудиторию заявляет, что “советский человек – это антропологическая катастрофа”, – мы наблюдаем то же самое проявление социального расизма. Когда адвокат Барщевский на ту же многомиллионную телевизионную аудиторию заявляет, что нельзя ругать Государственную думу, ибо если там не будет интеллигенции, то придут туда одни “кухаркины дети” (с начала XX века не доводилось в публичной речи слышать ничего подобного!) – это тот же социальный расизм.

* * *

Памятник народному восстанию, памятник павшим поставила русская поэзия. Уже в первые дни после расстрела на стене стадиона “Красная Пресня” колыхались прикрепленные листочки со стихами – рядом со словами гнева и проклятий. Стихи многих известных поэтов, как безымянные, как плоды народного творчества, переписывались там, запоминались, переходили из рук в руки. Продолжалось это сравнительно недолго. Опять же представители на-

шей либеральной интеллигенции возопили, вздымая очи горе: “Что же это творится! Пишут “Ельцин — убийца”, “Паша Грачев, куда дел трупы?” Снести! Уничтожить!” И забор был снесен, а вместо него воздвигнута железная решетка.

...В представленной подборке представлены и гимн, и плач, и лирика, исполненная гнева и печали, и поминальное слово, и слово проклятия палачам, и жесткое слово о проклятом времени в целом.

Не все авторы дожили до наших дней. Преждевременно ушли в мир иной Евгений Курдаков и Юрий Кузнецов, Татьяна Глушкова и Николай Шипилов, Виктор Лапшин и Юрий Паркаев... И нельзя отделаться от мысли, что во многом их век был сокращен проклятой эпохой в целом и расстрелом Дома Советов в отдельности. С этой раной многие и многие ходят по сей день. А недолевшие тогда пули настигают через года, а то и десятилетия.

И все же... “Мы живы! Мы — здесь! Мы по-прежнему здесь!”

Сергей Куняев

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

* * *

Еще встает за окнами рассвет,
еще струится осень золотая.
Но нет Москвы. А есть — воронья стая
над стогнами страны, которой нет.

Над выщербленным Зданием Беды,
какое быть желало Белым Домом,
лакейским флигельком под Вашингтоном —
куда ведут кровавые следы.

И над моей оглохшей головой,
когда дремлю, когда встаю до света
и вижу: труп плывет у парапета,
отторгнутый речною глубиной.

Ни в воду вы не спрячете концы,
ни в грудь земли, ни в хляби небосвода...
Бредет в осторожном рубище свобода,
ведет коня слепого под уздцы.

Тоща, как Смерть, как черная вдова.
А следом — гулко катится телега...
Не убраны в полях разливы хлеба.
Не убраны тела до Покрова.

И слышу: танки валкие гремят
по старой Пресне — точно по Берлину!..
Нас гнут в дугу. А мы расправим спину.
Священным гневом горизонт объят.

Навеки Пресня Красная красна.
Навеки черен этот ворон черный,
что кружится над Родиной просторной
и над душой — как Спас, нерукотворной,
что плачет, страждет, мечется без сна.

14 октября 1993 г.

* * *

В тот час, как танки въехали в Москву,
хлеб зачерствел, и горькою водица
вдруг сделалась. А скорбная столица
твердила: чур меня!.. Переживу...

Но пращур спал. Тот непробудный сон
его свалил под Истрой, под Можайском...
Но кто-то рядом выдохнул: “Мужайся!..”
И тотчас — женский крик и детский стон.

Как бьют орудья по родной Москве!
По златоглавой, по первопрестольной!
Тому, кто пал, теперь уже не больно.
А ей-то — грешной матери? Вдове?..

А нам-то — присмирившим, пристяжным
невольным в той кровавой колеснице,
что в пропасть мчит, что по костям катится,
а кучер хлещет, свищет, пьяный в дым?!

Зачем молчали вы, колокола?
Зачем весь причт не вышел крестным ходом:
побрезговал ли ропщущим народом,
детьми?.. А те-то меньше мал мала...

Как перемочь? Когда и сам Покров,
над мертвыми простертый головами,
белейший плат, просоленный слезами,
так влажно ал, так сумрачно багров?

Как пережить мне, что и я — жива,
когда баржой, телами нагруженной,
с душой как будто заживо сожженной,
вся — от Кремля и до горы Поклонной
плывет вдоль окон пленная Москва?

29 октября 1993 г.

* * *

И Все Святые, что в родной земле
за все тысячелетье просияли,
у наших павших в головах стояли,
и луч желтел в необоримой мгле...

Оборете! — сулили голоса
с высот заупокойного молебна, —
и будет Русь опять жива и хлебна:
о том тоскуют сами небеса!

И я хранила на виду у всех
такое молодое выраженье,
как будто мне поручено внушенье
вам передать: уныние есть грех.

И я просила у сырой земли,
у зимних птиц, у тополя — подмоги,

вбирая в золотую мысль о Боге
всё, что вблизи и в облачной дали...

Катились слезы по щекам моим,
темнило горе лик моих сограждан.
Но с каждым, павшим в листопаде страшном,
был наш союз отныне нерушим.

И нету мощи, чтобы одолеть
ту крепь — коль встанут мертвые с живыми,
единого Отечества во имя
готовые вторично умереть.

17 декабря 1993 г.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

* * *

Что мы делаем, добрые люди?
Неужели во имя любви
По своим из тяжелых орудий
Бьют свои... неужели свои?
Не спасает ни чох, ни молитва,
Тени ада польщут в Кремле.
Это снова небесная битва
Отразилась на русской земле.

Октябрь 1993 г.

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ

* * *

Вечный октябрь над усталой страной...
Боже, на что свои силы растратили, —
Маялись ямбом и каялись дактилем
Перед глухой неминуемой бедой.

Вот и опять чресполосая мгла
Рваным трёхцветьем взметнулась воочию,
Мерзкая, как пулемётная очередь,
Мёртво стучащая из-за угла.

...Так обживай же подполье своё
В русской, привычной своей бессловесности,
Переживая, пока на поверхности
Не отжирует родное жульё.

Окна пылают и стены горят...
Боже, зачем это, что они — спятили?..
Дактилем, дактилем, дактилем, дактилем
Бьют пулемёты — и музы молчат.

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ

* * *

Нас опять предадут
и поставят под русские пули.
Вас опять предадут
и заставят стрелять по своим.
Мы встречались, как братья, в Гаване,
Ханое, Кабуле,
а недавно в Москве
расстреляли друг друга сквозь дым.

Виноваты ли мы, виноваты ли вы —
я не знаю.
Выполняли приказы,
себя не жалели в бою.
Мы по жизни идем,
как идут по переднему краю,
мы стоим за Россию и, значит,
стоим на краю.
Рвем погоны с плеча,
поднимаем к виску пистолеты...
Но куда нам уйти
от армейской несчастной судьбы?
Остаемся в строю,
чтобы Русь отыскала ответы,
примеряя знамена на ваши
и наши гробы.

МАРИЯ АВВАКУМОВА

РАСПРАВА

Это всё не проходит бесследно,
не смывается первой волной:
это *мы* пролетали над бездной,
это в *нас* громыгнуло войной.

Это люди ползли по асфальту,
а не злая барачная вошь.
Это в дьявольском мрачном азарте
нас приканчивала марадѣжь.

Не забуду! — клялась, проклиная.
Не забуду!.. Но вот, как в провал,
я оглядываюсь, пролетая
там, где нас президент убивал.

Оглянулась назад сквозь усилие,
будто в чью-то враждебную Русь:
там — в крови — перебитые крылья,
там — дыхание черных марусь.

Но ничто не проходит бесследно.
И никто не прикончит основ.
Против Господа всё беспобедно:
президенты... и ночи покров...

НАДЕЖДА БОНДАРЕНКО

МЫ ЗДЕСЬ!

Мы живы,
мы здесь,
мы пока еще здесь...
Мы живы — и с нами расстрелянный Брест,
И белое пламя, и траурный дым,
И Красное знамя под небом седым.
Смотрите, как низко кружит воронье!..
Кончаются диски — и время мое...
Но, пот утирая, глотая свинец,
Я верю, я знаю — еще не конец!
Граненые плечи, горячая кровь...
Мы живы — мы вечно рождаемся вновь!
Труба нас разбудит в решительный час,
И все еще будет, как было не раз:
Присяга на верность — немеркнущий свет,
Последняя крепость — Верховный Совет...
Кончаются диски, немеет рука...
А счастье так близко, а жизнь коротка!
В огне и опале, не сдавшись врагам,
Мы жертвою пали — завидуйте нам!
Мы живы, мы вечны. И пламя горит...
Граненые плечи одеты в гранит.
Но веет над миром и городом весть:
Мы живы.
Мы здесь.
Мы по-прежнему здесь!

ЮРИЙ ПАРКАЕВ

* * *

Просыпаюсь,
а Родины нет.
Ни простора, ни отчего дома,
И сочится в дырявый рассвет
Запах пороха, крови, погрома.

Может быть, это просто брехня? —
Цены, жертвы, дебаты, границы,
Карабах, Приднестровье, Чечня
И расстрел в самом центре столицы?

Свищут пули, и воеет картечь,
И дымится смертельная рана,
И картавит нерусская речь
С раскаленного телеэкрана...

Что? Война? Оккупация? Бред?
Страшный сон безнадежно больного?
...Просыпаюсь.
А Родины — нет.
Нет Державы.
А значит, и крова.

НИКОЛАЙ ШИПИЛОВ

ПЕСНЯ

Защищали не “бугров”,
А российский отчий кров,
За распятую Россию
Проливали свою кровь.
Мы с Поповым да с Петровым,
Да с парнишкой чернобровым
После гари приднестровой
Здесь глотали дым костров.

Что мне Хас и что Руцкой,
Что бомжатник городской?
Я воюю за Россию —
Разве ж я один такой?
Мы с Петровым да с Поповым,
Да с парнишкой хипповым —
У какого-то слепого
Генерала под рукой.

В перекрестье рам
Вижу Божий храм,
Слышу тарарам колоколов...
Может, видит Бог...
Ох! Не обидит Бог...
Выведет орлов из-под стволов.

Ты — народ, и я — народ,
А у них — наоборот:
Мы с тобою — “коммуняки”,
Мы им портим кислород.
Я в асфальтовую лунку
Подзарылся, словно крот,
А Попов наверх улегся —
На какую из широт?

Говорит он: “Здесь мой Брест!”
На груди — нательный крест.
— Уходи! — ему сказали.
Отказался наотрез.
Попросил он автомат —
А в ответ отборный мат.
Ну, где же с голыми руками —
На свинцовый интерес...

А зеваки за окном
Посмотреть пришли “кино”:
Здесь дерутся, Там смеются:
Где, мол, батька ваш Махно?
В камуфляже офицеры,
Президентские “БэТзэРы”,
И “бейтар”* в каком-то сером,
Как мышиное сукно...

* Член сионистской национальной гвардии, называемой также “третьей силой Б. Ельцина”.

Им за нас дадут медаль...
Ух, какая невидаль:
Что же, тоже рисковали.
Не миндаля — в такую даль.
Нас зовут боевиками,
Но где же с голыми руками
Да с такими мужиками
Победить свинец и сталь?

А что по поводу Попова...
Он согнулся как подкова.
Разогнулся, чтобы снова —
И ещё одну поймал...
И напрасно в Подмосковье
Будут ждать его с любовью —
Он уже погиб геройски,
Хоть и был росточком мал:

Вот так финиш, ё-мое!
Пролетарское рваньё.
Где же наши генералы?
Где полковник? Где майор?
Ухожу... И со стыдом
Я гляжу на Белый Дом,
А там на жареное мясо
Налетает вороньё...

Помолясь на храм,
Выпил бы сто грамм,
Да не надо драмы — всё путем!
Я ещё вернусь
На святую Русь —
Разберёмся до конца потом!

ЕВГЕНИЙ НЕФЁДОВ

БАЛЛАДА О ЗНАМЕНОСЦЕ

Кем-то пропито, кем-то продано,
Кем-то предано, как обуза...
Ну подумаешь — Знамя Родины!
Что за невидаль — флаг Союза...

Но не каждую душу заняли
Бесы подлости

и растления.

Мы присягу давали Знамени,
Преклоняя пред ним колени!

Стяг червонный — прославлен предками,
Стяг победы — отцам награда,
А в боях девяносто третьего
Был он с нами на баррикадах.

Знаменосец глядел уверенно,
Руки крепкие не дрожали:
Знамя цело — не все потеряно
У народа и у Державы!

Полыхало огнем полотнище
Вызывающе и рисково.
Но ударили вдруг по площади!
И проклятый достал осколок...

О безумная экзекуция —
Танки, бьющие иступленно
По Дворцу и по Конституции,
По России и по Знаменам!

...Как лежал он, лицом белешенок,
Беззащитен и безоружен,
И ноги его бывшей крошево
Остывало в кровавой луже.

Обтекая труху кирпичную,
Эта кровушка пробивала
Красный след по земле коричневой!
И земля ее принимала...

Только ранили. Не угробили.
Но старались добить пальбою!
...И, склонясь пред ним,
Знамя Родины
Заслонило его собою.

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

ЗВЕЗДА БОГОРОДИЦЫ

Все они были одеты в камуфляжную форму, на рукаве каждого из них был знак — в виде полукреста-полусвастики. Их было очень много... Всех, оставшихся в живых, отвезли на один из дальних стадионов, и там — расстреляли...

“Независимая газета”, 30 октября 1993 г.

*А ведёт ваши полки — Богородица...
М. Цветаева*

Нет, не свастика на рукаве, а Звезда Богородицы,
Камуфляжная форма — не спасенье в огне...
Умирать за Россию не впервой нам приходится,
Тот, кто молод и честен — достоин вдвойне.

Юность — это возмездие за преступление
Всем, пропевшим, пропившим на кухнях свой век...
Только это возмездие, это отмщение
Получает на деле иной человек.

Нет, не свастика на рукаве, а Звезда Богородицы,
Камуфляжная форма — не спасенье в огне...
Умирать за Россию не впервой нам приходится,
Тот, кто молод и честен — обязан вдвойне.

А мы всё-таки взяли этот мэрский клоповник,
Растрясли этих пошлых валютных путан...

После чёрные танки напились нашей кровью,
И ушли мы навек в голубой океан.

Тот, кто выжил тогда, вы, конечно, запомните,
Как везли нас на дальний, глухой стадион...
И скомандовал некто, под омоновской формой
Пряча блеск золотой генеральских погон:

“Этих всех, у кого на руке Богородица,
Замочить, после в кучу, в бензин и — поджечь...”
Умирать за Россию не впервой нам приходится,
Тот, кто молод и честен — готов умереть.

Эх, Россия, опять ты валяешься связанной,
С чёрным кляпом во рту и с разбитым лицом...
Над тобою пирует шпана толстозадая
И мечтает весь мир перестроить в Содом.

А над нами сверкает Звезда Богородицы
И ведёт за собой паладинов своих...
Умирать за Россию не впервой им приходится,
Помяни их, Господь, мёртвых или живых!

Октябрь 1993 г.

“МЫ СТОИМ ЗА РОССИЮ,
И ЗНАЧИТ, СТОИМ НА КРАЮ...”

ЛЕВ КОТЮКОВ

4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА

Я не знаю, зачем и кому это нужно?..
А. Вертинский

Все безумнее сны.
Все темнее прозренья.
Остывают с закатом стволы батарей.
И не помнит Земля своего сотворенья,
И не знают погибшие смерти своей.
Но я знаю, зачем и кому это нужно!..
И от знания тайного жутко душе.
Меркнет солнце кровавое в каменных лужах,
И закат на последнем стоит этаже.
И со скоростью потустороннего света
Поглощает Россию последняя тьма.
Меркнет Солнце Земли.
Мне не надо ответа
В этом мире, до срока сошедшем с ума.
И роднятся навек души павших в потемках,
Чтоб с отчизной земною идти до конца.
И безумная женщина ищет ребенка,
От военного света не пряча лица.

“Я не знаю, зачем...”
Мне не надо ответа
На угрюмых углах
Сумасшедшей страны.
И последняя тьма —
Мать грядущего Света
Поглощает навек мертвый лик Сатаны.

МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ

КРАСНЫЕ АНГЕЛЫ

Мы — это ангелы,
с которых содрали кожу,
Брат мой индеец,
люблю твою псковскую рожу.
Ни людоеду, им Гитлеру
в диких Альпах
И не мерещилась
Русь поголовно в скальпах.

Дом хорошо поджечь,
чтоб в печи не гасло,
Из соловьев хорошо давить
соловьиное масло.
Мозг славянина
на вкус огнемета — сажа.
Брат мой индеец,
сыграй мне на русском банджо!

Брат мой индеец,
ты знаешь, как бьют подонки,
Как из ушей
вытряхивают перепонки.
Брат мой индеец,
ты знаешь, как бьет Европа,
Старая сука
в рейтузах из шевиота.

Брат мой индеец,
знаком ты со Старым Светом;
От Магеллана
расстрельное дело это,
От Христофора
расстрельное дело это,
Брат мой индеец,
спой мне о русском гетто.

Рыжая дама Америка
с плоским задом,
Ты перепутала оргию
с райским садом.
Лысая дама Европа,
уйми отродье!
“Бойтесь рыжих и лысых” —
живет в народе.

Рыжих и лысых старух
потрясает похоть,
Когда достает Россию
смертельный коготь.
Когда в белом саване Дом
расшибают насмерть,
Брат мой индеец,
скажи, что такое Память?

Мы — это ангелы,
с которых содрали кожу.

Брат мой индеец,
до гроба тебя не брошу.
Красные ангелы
перед лицом Содома,
Тверже, Россия,
на марше Армагеддона!

ЕКАТЕРИНА ПОЛЬГУЕВА

4 ОКТЯБРЯ

Это станет абзацем ещё не написанных книг.
Ты, родившийся позже, не слышавший смертного стога,
Всё прочтешь и изучишь, грядущих времен ученик,
И получишь отметку, как некогда мы за Гапона.

Что ты сможешь понять, не вдыхавший клубящийся дым
Этой страшной беды, когда бойню назвали “победой”?!
Нет, не надо в учебник, как лупят свои по своим,
Непомерно высокая плата для школьных ответов!

И абзаца не нужно! Из грубой нелепицы слов
Пусть запомнятся лишь имена убиенных мальчишек:
Дима Обух, и Костя Калинин, и Юра Песков...
Сколько их! Не забудь ни одно, чтоб Господь вас услышал.

Кто остался в живых, нацарапал углём “отомсти!”
У Горбатого моста, где памятник, на пьедестале.
Мы из этих, которые пеплом чуть было не стали,
И поэтому ненависть нашу нестрого суди...

Твой несложен урок, — не придется зубрить наизусть.
В книге только пять строчек (для памяти хватит и песни):
Не пойдешь в палачи — не окрасится Красная Пресня
Цветом крови. И выстоит матушка, выстоит Русь!

21 сентября 1994 г.

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН

13 НОЯБРЯ 1993 ГОДА

*Стояли с непокрытой головой
под высотой небесного знамени*...*

Ребят погибших день сороковой
совпал с моим печальным днем рождения.
Сгоревший Дом — как траурная тень...
Он был ушедшим им уже не виден...
На Красной Пресне в этот скорбный день
со всеми плакал я на панихиде.

* В этот день над Красной Пресней многие люди были свидетелями видения в небесах образа Пресвятой Богородицы.

Их назывались Богу имена,
и хор церковный повторял молитву.
Я знал: на небесах идет война,
и вслед за ними — мы пойдём на битву...
Морозный снег искрился на траве,
пропитанной непокоренной кровью.
Молились мы в запуганной Москве
наперекор всевластному злословью.
Все это было, как в тревожном сне:
мерцали свечи в хвойных лапах ели,
на стадиона каменной стене
в пробоинах от пуль цветы адели...
Они стояли здесь тринадцать дней,
и вот — ушли, оплаканные нами,
расстрелянные армией своей
за то, что не желали жить рабами.
Нас ждет тоска немереных дорог,
нас в прах испепелят иные грозы...
Вчера закон был с нами, нынче — Бог.
И в этот день Он видел наши слезы...

Ноябрь 1993 г.

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

Из цикла “Кровавый октябрь”

НА ИЗЛОМЕ

В городе — замерзают, в деревне — сидим — без света,
короче, не жизнь, а мука — в морду бы съездить ей!
А кое-кто из известных деньгу зашибает на этом,
за скотов — принимая — всех трудовых людей...

Словом одним — перестройка, затеянная супостатом,
и снова дорогой ложной упрямо идём и идём,
оглядываясь по команде на опыт каких-то штатов,
а о своём — российском — и разговор не ведём.

Господи, как же низко надо душой опуститься,
чтобы ходить по свету с протянутой горько рукой,
и перед кем — пред напрочь зажавшейся за границей,
которая спит — и видит — нас под своей пятой.

Минины и Пожарские, где же вы, отзовитесь,
не может быть, чтобы кто-то из вас не сказал: я здесь!
Покамест ещё мы живы, нам верный путь укажите,
чтоб слава не стала бранью, чтоб подлость не съела честь.

Были года, мы помним, когда нас в дугу сгибали
и — по этапам гнали — на Колыму и в Сибирь.
Но вечно, как ваньки-встаньки, мы снова с колен вставали —
и трясся душой от страха проклятый Богом мир.

Мы крови чужой не жаждем, но жаждем с великой силой —
увидеть ещё при жизни, как ныне она ни горька,
великое возрожденье бессмертной нашей России, —
и пусть через боль, через муку, но только на все века.

* * *

По убиенным в том кровавом
не старом, новом октябре,
рыдают на поляне травы,
рыдают сосны во дворе.

Моя душа — покрепче стали,
но и она — навзрыд, навзрыд...
Как будто и в меня стреляли,
как будто и мой сын убит.

Убийц я знаю поимённо,
но все слова мои — щелчок...
И, как от правды отвращённый,
о радости — вещает Бог.

Нет, к мщению я не призываю,
но до тех пор, пока они
в героях ходят — я страдаю,
словно виновен без вины.

* * *

Снова взорвано сердце России,
и от пролитой крови круги
докатались, как волны, в бессилье
до угрюмой якутской тайги.

Как была, так и есть гробовая
тишина на великой земле,
только вьюга — от края до края —
завывает в полуночной мгле.

Мне и стыдно, и страшно до боли:
как возмездье, свершалась судьба —
не стремленья заветного к воле,
а покорности подлой раба!

Осень 1993 г.
г. Ленск, Якутия

ВЯЧЕСЛАВ ДАШКОВ

ЭХО

Ваши души еще не покинули этих ходов,
И неслышное эхо уходит в подземные залы.
То ли звуки невнятных шагов, то ли стезжки следов:
“— Это что, к “Полежаевской”? — Нет.
— К “Баррикадной”.
К “Смоленской”. К вокзалу...”
Ваши тени ложатся на кровью пропитанный пол
И на кафельный пол, где постелями были бушлаты,
Где на Сотом объекте полег Добровольческий полк
И за Солнце России в бою полегли “баркашата”.
Время трепа прошло. Это строгий, но праведный час.

“Кто же, если не я?” — стало ныне источником силы.
Мы не будем никак называться.
Мы помним о вас.
Мы молились за вас.
Помолитесь и вы за Россию.

13 ноября 1993 г.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ЗДРАВИЦА

Да здравствуют танки, чей залп заглушил
и выстрел “Авроры” и ропот могил!
Да здравствует лидер, да здравствует власть,
пусть царствует вволю, пусть властвует всласть!
Нам надобно всех его верных друзей
куда-нибудь выбрать как можно скорей
во все кабинеты, которые есть,
повесить портреты, оказывать честь!
Пусть пьют и гуляют, пусть сладко едят,
пусть в Токио, в Рим, в Гваделупу летят.
Одно лишь печально, родные, увы,
что старятся ваши тела и умы,
что надо куда-то прилечь отдохнуть,
когда легендарный закончится путь.
Но вот мой совет: из Кремлевской стены
мы вышвырнуть всех самозванцев должны,
бронировать надо места без затей
для новых героев и новых вождей.
Нет места спокойней и лучше для вас,
тем паче когда охраняет спецназ,
чтоб всякая шваль не могла подойти
и слезы у ваших надгробий пролить,
иль спяну над прахом свершат самосуд —
взорвут или хуже того — обоссут.

* * *

Семь лет никчемных разговоров!
А нужно было-то всего
десяток бронетранспортеров,
три танка — больше ничего...
И демократия окрепла,
теперь начнутся чудеса...
А кто был против — горсткой пепла
и дымом взвился в небеса.

* * *

Зимний рассвет просочился сквозь занавес синью...
Может, с эпохой прощаюсь, а может быть, с жизнью.
Я посмотрелся и крови, и грязи. Довольно.
Все отболело. И даже почти что не больно.
Все отболело... А что напоследок осталось,

выпало, словно осадок, в такую усталость,
что неохота вставать,
говорить,
просыпаться,
что неохота на имя свое отзываться...

Осень 1993 г.

ВИКТОР ЛАПШИН

ПАМЯТИ МАЛЬТИЙСКОГО РЫЦАРЯ

Помните, сыны, и знайте, внуки:
По нему святые не скорбят.
У него кровавы только руки? —
Весь в крови он — с головы до пят!

Оттого-то плакалось и вылось
Нам в те несусветные года.
Сердце у него остановилось? —
Да оно не билось никогда!

Кладбище. Круг памятного года.
Триколор могилу раздавил.
...И кого же пред лицом народа,
Чтó сей патриарх благословил?..

23 апреля 2008 г.

Адмирал АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ ШТЫРОВ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ “КРАСНЫХ”

Когда у подземки с утра мельтешат
Кривые и стройные ноги,
Наверно, спросонья ещё не грешат
Словами о праведном боге.

Текут секретарши с колючками роз,
Спешат бородатые мыши.
Метро поглощает, как рыбный насос,
Потоки спешащих людишек.

Текут москвиты — и россы, и еврей
В соблазнах маммоны и злата,
И вовсе не видят у самых дверей
Культию-одноножку солдата.

Его отличить не составит труда:
Согбен, колченог, с костылями,
И путанкой серой торчит борода,
И патлы под шляпой с полями.

Нет, он не канючит у граждан деньжат:
Старик-то, видать, старомоден.
В руках его знобко газеты дрожат,
Чей голос властями неугоден, —

“Советской России” ли хриплый набат
И “Завтра” и мрачной “Дуэли”...
Он шныркает взглядом вдогон и назад.
На бег тараканов по щели.

Нет, он не предложит ни “жёлтой” брехни,
Ни “буржиков” рыночной прессы,
Ни “букеров” секс-интеллект болтовни,
Ни жвачку матёрых балбесов.

Я днесь, подавая тысчонку ему,
Спросил из благих побуждений:
“Набор-то газеток... один к одному!
А сам ты — каких убеждений?”

А он, оглянувшись, чуток погодил:
“Скажу, покупатель знакомый.
Я — самый последний тогда уходил
Под пули из Белого Дома.

Куда мне на этих моих костылях
К “бейтарам” спешить на расправу?
Там честных в асфальт принимала земля,
Когда добивали Державу.

Легло там не меньше полутора тыщ
Для выживших вечным укором,
А я под оскал демократов-козлиц
За “Альфой” ушёл коридором...”

“Да сел бы на ящик какой-никакой”, —
Сочувствую я ветерану.
А он отрицательно машет рукой:
“Присяду, так, значит, не встану”.

.....
Стоит в переходе метро ветеран,
Один-единешный среди многих,
Как самый последний из всех могикан,
Упрямый боец колченогий.

Ну что пожелать тебе, старый солдат?
Москву не проймёшь ты слезами.
Так стой же, как гвоздь, утыкаясь во взгляд
Вот этих, скользящих глазами.

Конечно, что гвозди навряд ли смутят
Их личики, лица и рожи.
Они в “мерседесы” усесться хотят...
Но всё же,

но всё же,
но всё же.

1997 г.

АЛЕКСЕЙ СЕРОВ



ХОЗЯИН

РАССКАЗ

В России имя Николай особенно популярно. Кажется, половину мужиков зовут так — хотя бы по отчеству. Посмотри в лицо любому славянину, прикинь, как могут его звать. И первое, что приходит в голову, — Николай, Коля. Приглядевшись повнимательнее, решишь: нет, наверное, Дмитрий. Или Алексей. А потом выяснится, что действительно — Коля. И дни Николаы зимнего и летнего в народе считаются настоящими праздниками.

Колька Мологин работает на заводе давно. Почти всю жизнь, если не считать детского сада и восьми классов школы. Теперь ему уж за пятьдесят, голова седая, а он по-прежнему трудится в том же цеху, на том же прессе, что и в первый день. Он не хочет, чтобы что-то вокруг менялось, ведь люди предпочитают жить одинаково, пока это их хоть немного устраивает. Если какой-то мужик вдруг увольняется, найдя место, где платят больше или лучше условия, Колька считает это почти предательством. Он вычёркивает такого человека из списка своих знакомых.

Перестройка и последующие реформы никак не отразились на его трудовом распорядке. Он приходит в цех часом раньше остальных, переодевается, медленно движется по центральному проходу, оглядывая всё вокруг. Его тяжёлый профиль механически поворачивается из стороны в сторону. Отвесный лоб и прямой нос дают впечатление какого-то мощного волжско-

СЕРОВ Алексей Анатольевич родился в 1969 году в Ярославле. Окончил Литературный институт (семинар М. П. Лобанова). Член Союза писателей РФ. Автор двух книг прозы. В журнале "Наш современник" печатается впервые. Живёт в Ярославле.

го утёса, возможно, того самого, на который забирался Стенька Разин. Зато сразу под носом — провал, нижняя челюсть у Кольки втянута слишком внутрь, и мужики посмеиваются над ним, не понимая, как же он ест, — пища обязательно должна вываливаться обратно в тарелку или на живот. За такой необычный профиль Мологин получил на заводе прозвище Колун.

Станки, выпущенные в первой половине двадцатого века, тяжкими молчаливыми громадами теснятся вокруг. Пахнет машинным маслом, сигаретным пеплом, горелой ветошью. Иногда в толстую подошву кирзового сапога втыкается красивая радужная стружка. Где-то тихо шипит сжатый воздух (впрочем, этого Колька не слышит, ибо от рождения глух, как добросовестный пионер в лагерной столовой, а вот говорить его научили в специнтернате).

Семьи у него нет, как-то не сложилось. Квартира Кольки, полученная в давние советские времена, стояла почти пустой, он не знал, чем можно её заполнить, и не очень-то любил сидеть там вечерами. Он даже в отпуск толком не ходил. Каждый раз задолго начинал объяснять мужикам: вот, дескать, наконец-то отдохну как следует, надоело всё, устал, как собака. Но уже через неделю безделья робко проникал на завод и приступал к своим обязанностям. По углам квартиры громоздились кипы старых газет — Колун интересовался политикой, много читал и имел свои рецепты решения мировых проблем, только никому не мог толком рассказать о них.

Иногда он вовсе не уходил с завода, спал на бушлатах, удобно сложенных на трубах парового отопления; здесь ему было хорошо, и не мешали даже крысы, деловито шмыгавшие через него по ночам.

В полутьме огромного помещения, где через полчаса всё начнёт греметь, сверкать и двигаться, было тепло, уютно.

Колька проверял, всё ли находится на своих местах, всё ли в порядке. Ничто не укрывалось от его внимания. Он заглядывал даже в мусорные вёдра, укоризненно покачивал головой, если видел, что уборщица тётя Галя поленилась вчера вынести их, брал и выносил сам.

Он открывал окна и включал вентиляцию, чтобы проветрить цех к приходу людей. Передвигал кран-балкой какие-то ящики, если ему казалось, что они мешают или просто стоят не так. Нужно что-то погрузить-разгрузить, съездить на склад — он тут как тут. Все это ему никто не поручал, ему не платили лишних денег, а занимался он этим просто потому, что никто другой, как он думал, не сделал бы этого лучшим образом.

В его постоянно не стриженной голове с торчащими во все стороны вихрами сидела крамольная мысль, что именно он, Николай Мологин, является хозяином этого завода. Он, а не тот красивый, сытый мужичок, который сидит в кабинете на третьем этаже и заключает контракты, между делом пользуясь часто меняющихся секретарш. Тот — хозяин у себя в кабинете, а здесь, в цеху, ответственность за предприятие несёт Николай. Потому-то и считал он своим долгом постоянно делать обходы, ревизии.

Любил посреди рабочего дня подойти, например, к какому-нибудь токарю, заложить руки за спину и долго-долго внимательно наблюдать, как тот трудится. Токарь, в конце концов, не выдерживал, начинал ругаться, гнать Мологина ко всем чертям, но Николай уходил степенно, как человек, решающий некий сложный вопрос, касающийся дальнейшей судьбы токаря, и уже почти решивший его. А ругательства его не трогали, да и не слышал он их.

Или он вылавливал идущего с обеда директора, мягко брал за руку и вёл показать отвалившийся от стены кусок штукатурки, при этом много жестикулировал и быстро-быстро говорил на своём странном языке. Язык этот представлял собою полувнятное лопотанье, где особо выделялись гласные, а согласные почти все сливались в один общий, приблизительный звук. Директор кивал головою, подтверждая, что имеет место непорядок.

— Пора бы вообще полностью оштукатурить да покрасить, как думаешь, Коля?

Мологин радостно кивал и пулемётно выстреливал очередную малоразборчивую фразу, общий смысл которой хоть и с трудом, но угадывался: давно пора, мол, чего же вы?..

— Решено, будем заниматься.

Директор был человек славный, в меру демократ, знал по именам всех рабочих, был хорошо осведомлён и о странностях этого Мологина, но считал, что свой юридический нужен в любой конторе, работа дураков любит, да и польза от Николая была несомненная, так что пусть его.

Директор не пропускал плывущие в руки деньги, мечтал оставить своим детям в наследство процветающий заводик. У него уже почти был контрольный пакет, оставалось совсем немного до идеала.

Но тут пришли более крутые ребята с деньгами и всё купили. Через два месяца собрание акционеров избрало в директоры другого человека, а прежний от стыда и досады уволился, хотя ему и предлагали какую-то почётную синектуру. Вот такие мексиканские страсти. Ещё сегодня ты велик и силен, на завтра о тебе уже никто и не вспоминает.

Изменения в руководстве почти никак не коснулись рабочих. Прежнего директора проводили кто добрым, кто каким словом. И зажили вроде бы по-новому.

Очередной любимый руководитель был человек молодой, но быстро шагающий вверх по карьерной лестнице. Он был уже из совсем другого поколения управленцев и гордо заявлял: я всего лишь менеджер. Да, менеджер, но высокого класса. Могу работать где угодно, хоть здесь, хоть на Чукотке, хоть в Америке. И этот ваш завод для меня вовсе не земля родная, а только очередная ступень наверх... У него были мягкие молодые усики, заботливо выращенные для солидности, словно укроп в теплице. Директор часто расчёсывал их специальной щёткой.

Усатые люди, у которых усики мягкие, нежные, кошачьи, часто бывают глупы какой-то особой, нутряной глупостью, почти не проявляющейся внешне. Такой человек может быть даже очень успешен в работе, в карьере и проч., но если бы кто заглянул в потёмки его души, то увидел бы, что там этот мягонький усач — дурак дураком... Вот и этот был из их числа.

Первым делом он повесил у себя в кабинете на стену самурайский меч и несколько рисунков в восточном стиле. Все сразу поняли: он шутить не будет. Нет, этот дурак — не просто так, этот — идейный. А значит, дело плохо.

Директор возвёл громадьё планов. Предприятие следовало обновить во всех смыслах: оборудование, станки, компьютеры, между прочим, и коллектив. Уволить нерадивых, сократить ненужных, а хорошим и нужным платить за счёт уволенных больше. Провести общую ревизию... подсчитать, сколько чего ещё не успели растащить... и так далее.

Где взять деньги на новые станки, он не пояснил. Видимо, собирался взять большой кредит или изыскать внутренние резервы — продать кое-какие ненужные помещения, например. Всё это было, конечно, хорошо в теории, но на практике почти невыполнимо, в чём вскоре новый директор и убедился лично.

Коллектив, на словах дружно голосующий за все новые принимаемые решения, отчаянно сопротивлялся переменам. Каждый знал, что если начать выбрасывать подряд всё старьё, то через месяц оборудование нечем станет ремонтировать, станки встанут, завод ляжет набок, денег не будет. Все это знали, кроме директора. Выбрасывали с удовольствием мусор, хлам, опять же красили, чистили, штукатурили — это было не лишнее, вот и пусть. В остальном реформы почти намертво застряли.

Директор уволил всех, кто перешагнул пенсионный порог, это было процента три от общего количества работающих. Естественно, никакого серьёзного прибавления в зарплате остальные не почувствовали, да никто на самом деле и не собирался ничего прибавлять. Народ слегка возмутился — впрочем, даже с пониманием и саркастическими шутками. Такого поведения ждали.

Это было на руку начальству, особо недовольных тоже стали увольнять. Началась политическая чистка, *охота за ведьмами*.

Как раз на это тяжелое время пришлась круглая дата: десятилетие фирмы. Решили отпраздновать событие в одном из больших концертных залов города, пригласили артистов, музыкантов... У директора возникла мысль как-то примирить с помощью этого концерта взбудораженных людей, слиться с ними в экстазе если не братского, то хотя бы дружеского единения. Десяти

лучшим работникам были назначены премии, ещё десяти — ценные призы. Имена счастливчиков должны были выясниться на концерте, прямо в зале.

И вот пришёл великий день. Концерт был действительно хорош. Его почти не испортили выступления главного инженера, бухгалтера и других функционеров. Один из новых замов директора под гитару пел песни Высоцкого. Самодеятельный поэт из рабочих читал праздничные поздравительные стихи, ужасные, полные лести. Звучала музыка, мелькали цветные огни. Атмосфера сочилась тёплой карамелью.

Наконец, пришло время раздачи призов. Зал притих в ожидании. Каждый надеялся, что ему что-нибудь да перепадёт.

Директор не отказал себе в удовольствии вручать призы лично. Он называл имя по бумажке, вызывал человека на сцену и выдавал деньги в конверте или документы на какую-нибудь бытовую технику — чаще всего, на кофеварки или магнитолы.

Где-то в середине раздачи в зале поднялся недоумённый ропот. Попряд все призы доставались обитателям второго этажа, то есть заводоуправления, и только в конце были названы трое простых рабочих “снизу”. В конце концов, ропот был услышан и на сцене. Директор, не понимавший, в чём, собственно, дело (а разве не так должно быть? при чём здесь рабочие? они должны работать и молчать! молчать и работать!), успокоительно подвигал в воздухе ладонями, словно совершая некие магические пассы.

Зал притих, думая, что это ещё не всё. И директор радостно объявил, что торжественная часть закончена. Кто хочет, может пройти в буфет и продолжать празднование, ну, а в общем и целом — *finita la comedia*.

Работяги, бурля негодованием, хлынули в буфет, надеясь на дармовое угощение, за это могли бы многое простить — и уж тут-то возмутились по-настоящему, когда увидели аккуратные ценнички на всех закусках. Цены были праздничные — вдвое выше, чем в любой городской забегаловке...

Следующим утром директор, явившись на работу, был просто ошарашен. Прямо на доске объявлений висело гневное стихотворение, обличавшее начальство, которое зажралось и ни о чём не думает, а только выписывает себе тайные гигантские премии да развлекается в ресторанах, в то время как рабочим пожалели дать хоть по двести рублей. Авторство не вызывало сомнений — стих написал тот вчерашний поэт, читавший медоточивое поздравление на концерте.

Коллектив оказался расколот этими демонстративными подачками. Рабочие возненавидели начальство. Начальство побаивалось директора, хорошо понимая, какую глупость он сделал. В меньшинстве были довольные — те, кто что-то получил. Они ходили и оправдывались, дескать, не мы же сами себя назначали лучшими. И не возвращать же теперь деньги и призы...

Колька Мологин взбунтовался совершенно неожиданно для всех. Он, такой всегда тихий и готовый помочь любому, явился на работу пьяным и бродил по цеху, что-то полувнятное бормоча на каждом углу, цеплялся к людям, откровенно плакал от обиды. Его, разумеется, обошли наградами. А ведь сколько времени он работал здесь, ничего не прося!..

Ему не столько нужны были деньги (денег на жизнь ему, слава Богу, хватало), как признание личного вклада в это предприятие, его очевидных заслуг. Сколько можно без всякой благодарности гнуть спину на каких-то неизвестных людей? Раньше, при советской власти, это было ещё понятно, а теперь-то что же?.. Горе, хоть и пьяное, было неподдельно, обида — безгранична. Самый настоящий мужицкий бунт, когда хочется, плюнув на всё, пойти в барские комнаты, ударить шапкой оземь и рвануть рубаху на груди, а там будь что будет.

Директор, на беду, как раз стремительно шёл со свитой по центральному проходу. Он тоже был в гневе. Он думал, что станет для рабочих отцом родным, но скоты не оценили его благородного порыва. Вместо этого развешивают по стенам дрянные стихи да шепчутся за спиной. И вот, пожалуйста, пьяными уже в открытую шлеяются! Это что же дальше будет? Нет, следовало немедленно пресечь крамолу в зародыше, принять драконовские меры. Пусть знают, что с ним эти штучки не пройдут!

— Как фамилия? — резко бросил он, остановившись напротив Мологина. Колька не успел прочитать по губам, о чём спрашивает его директор, и только сощурил глаза, глядя ему в рот. Директор вскипел.

— Уволить! — приказал он стоявшему тут же начальнику цеха. — Так уволить, чтобы больше нигде не брали. А вас я лишая премии на пятьдесят процентов — почему среди рабочего дня у вас по цеху пьяные шляются? Здесь что, производство или бордель?

И он направился дальше, а свита торопливо последовала за ним.

Мологин посмотрел в спину директору и взглядом спросил мужиков: что случилось?

— Уволить тебя хочет, — с идиотским лошадиным смехом сказал молодой слесарь Заварзин, вытирая грязные руки ветошью. — Доигрался, Колун! Нашёл время забастовку устраивать...

— Чего ржёшь, дурак, — оборвал его другой слесарь, Панкратов, человек предпенсионного возраста. И, обращаясь к Мологину, ласково добавил:

— Ничего, Коля, мы тебя отстоим.

Однако дело зашло уже так далеко, что отстоять Мологина не удалось. Директор решил проявить твёрдость и на обращение профсоюза не отреагировал. Не помог огромный беспорочный трудовой стаж Мологина и всем известное его трудолюбие; директор погружался глубже и глубже в пучину конфликта со своим коллективом.

Хорошо бы уволить всех и набрать новых, страстно мечтал он бессонными ночами. Гастарбайтеров каких-нибудь, тупых и бессловесных. Но этого сделать было никак нельзя. Всё же ему нужен был работающий завод. У директора даже стало пошаливать сердце, так он всё это переживал, и жена капала ему корвалол вперемешку со слезами — такой молодой, и вот на тебе! Какими же надо быть улюдками, чтобы не ценить такого образованного, передового человека, вставлять ему палки в колеса...

Нельзя прощать обид и давать слабину, убеждал себя директор, иначе они быстро сядут на шею. Раз сказал — уволить, значит, уволить. И дело с концом. Пусть знают и хорошенько думают в другой раз...

А Мологин, оцепенев и ничего не соображая, залёг в своей полупустой квартире. Он почти не ел, безо всякого выражения смотрел вечно работающий телевизор, и туфля мерно покачивалась на большом пальце его правой ноги, уложенной на левую. А иногда, пару раз в день, он вдруг заходилися страшным смехом человека, а иногда в жизни не слышавшего, как он смеётся, и тыкал пальцем в телевизионный экран.

В углах квартиры скучно пылились кипы старых газет с нерешёнными мировыми проблемами. Запах старости и разложения постепенно пропитывал всё вокруг.

Мологину было ясно, что это конец.

Его уволили по позорной тридцать третьей статье с того самого предприятия, которому он отдал лучшие свои годы, фактически всю жизнь. У него отобрали пропуск, и он теперь не имеет права приходить на завод. Новая зверская охрана на пушечный выстрел не подпустит его к проходной. И, в силу естественных причин, он даже не мог позвонить, перекинуться парой слов с заводскими друзьями.

Что ему оставалось делать? Что ему делать теперь?

Он пробовал пить. Не помогло. В одиночку пить было неинтересно и тяжело, и к тому же это ничего не решало.

Через две недели он не выдержал этой пытки, явился к началу смены на проходную и сумасшедшими глазами смотрел, как мимо него молча идут люди с опущенными головами — всем им было стыдно. Даже не столько за поведение директора, сколько за своё собственное бессилие, своё новое положение ничего не значащих человеко-единиц.

Когда прошли все и даже пробежали опоздавшие, неповоротливый приземистый охранник в толстой куртке медленно прокосолапил к Кольке. Раздвинув густые рыжие усы, он злобно выплюнул сквозь них:

— Давай отсюда, дядя. Нечего стоять, раз пропуска нет. А то подкрепление вызову, по шее наkostenьяем!

Мологин повернулся и медленно зашагал вдоль забора, толком не соображая, куда. И лишь минут через пять понял, что идёт к лазу.

На каждом заводе есть свой лаз, иногда даже не один. Охрана может сколько угодно натягивать по верху забора колочую проволоку и устраивать постоянное патрулирование территории, но рабочие всегда имеют возможность пройти на завод и выйти с него окольным путём. Только не все об этом знают.

Колька знал на родном предприятии каждую мелочь. Правда, последний раз он пользовался лазом лет тридцать назад, в далёкой весёлой молодости. Что делать, такие пришли теперь времена...

Через десять минут он был уже внутри. Стараясь не привлекать к себе внимания, пряча глаза в поднятом воротнике, он проскользнул в цех, махнул приветственно рукой мужикам. Спрятался в своём излюбленном месте — в тёмном углу на трубах, куда начальство никогда не заглядывало. Переделся здесь же — запасных спецовок у него было припрятано несколько. Улёгся подумать, что ему делать дальше.

Подошли мужики, поздоровались. Ничем помочь ему они не могли, но и мешать, конечно, не собирались. Валяй, Колун, делай что хочешь, это ведь твой завод.

Мологин немного успокоился, повеселел. В обед он даже осмелился сходить в столовую, прячась в толпе мужиков. Его самочувствие улучшалось с каждой минутой.

А вечером, когда начальство ушло домой, он смог выйти из своего убежища. Мастер, который оставался за старшего на этот вечер, был давним его знакомым. Они посидели в кандейке, покурили, поговорили о том о сём... Потом Мологин, оттеснив штамповщика, встал к родному прессу и часа три без перерыва вкалывал. Штамповщик несколько раз пробовал сказать ему, что хватит уже, но Мологин поворачивал к нему свой топоробразный, жаждущий крови клон, кидал опасные взгляды, и тот, в конце концов, отступился. Мологин быстро выполнил всю его норму, и мужику оставалось только помыться и идти домой.

Это было так прекрасно — работать, заниматься своим делом... Вокруг была родная обстановка, знакомые лица. Теперь Мологин понял, что уходить отсюда нельзя, иначе он умрёт. Здесь его место. Если какие-то люди мешают ему находиться здесь, с ними нужно бороться всеми способами, как если бы ты дрался за свою жизнь, да так и есть на самом деле! И хватит плакать и строить из себя невинную жертву, это делу не поможет. Как там раньше писали советские газеты: жизненная позиция должна быть активной!

Теперь распорядок Колуна стал таким: днём он отдыхал дома, а вечером шёл на завод. Протискивался через лаз, переодевался на трубах (со временем мужики вернули ему его ящик в раздевалке, занятый было кем-то из вновь нанятых рабочих, и он стал переодеваться там же, где и всегда) и шёл работать. Всё было почти как раньше, просто он теперь работал постоянно в вечернюю смену. И бесплатно. Но это было неважно. В столовой ему всегда оставляли поесть...

Уже почти весь завод знал, что подпольщик Колун вернулся, и это создавало у людей какое-то удивительное настроение. Оказывается, при большом желании можно сопротивляться! Можно делать то, что хочешь, даже если тебе мешают высокопоставленные дураки! Весёлое брожение вновь началось в коллективе, назревал лёгкий бунт, казалось бы, ничем особенным не вызванный.

Считается, что революции вспыхивают вовсе не тогда, когда нечего есть. Перевоороты происходят в довольно благополучные времена, просто общество устаёт от прежней власти, а она этого не понимает, продолжая тупо гнуть свою линию. И тогда всё резко меняется.

Одна из молодых женщин-мастеров, которую по каким-то неизвестным причинам собирались двигать наверх, на второй этаж, до того пребывавшая в полном неведении относительно нелегального существования Колуна на за-

воде, однажды задержалась дольше обычного после смены и вдруг обнаружила его мирно работающим на своём прессе.

На следующий день об этом было уже известно директору.

С любимым руководителем от ярости едва не случился сердечный приступ. Но немного успокоившись и обдумав ситуацию, директор решил: будем брать живьём. Он созвал на планёрку нескольких своих особо приближённых, строго потребовал сохранения полной тайны информации. Вместе они разработали план захвата Колуна.

Была устроена настоящая засада. С этой целью вечером всё руководство сделало вид, что разъезжается на своих служебных машинах, как обычно. А потом они по одному вернулись пешком через запасной ход и сели в засаде — терпеливые, как буддистские монахи, ждущие просветления.

Их планам не суждено было сбыться. Уборщица тётя Галя видела их, о чём-то догадалась по нескольким случайно брошенным хищно-весёлым репликам, и мгновенно весть об этом дошла до Колуна, спокойно передедававшегося на работу. Через три минуты его не было на территории завода, а директор зря прождал весь вечер и уже не поехал домой, устав и прикорнув на узеньком диванчике в своей приёмной. Иногда его щёку начинал бить лёгкий тик, усики дёргались, и тоненькая струйка голодной слюны сохла в углу рта. Над его головой висел бесполезный японский меч. Утром он проснулся разбитым и злым. С тех пор на Колуна была официально объявлена охота.

И что интересно: директор даже не понимал, как глупо он выглядит. Его авторитет падал всё ниже. Колун на родном заводе никогда не попадался — не мог попасться в принципе. У него в агентах был весь трудовой коллектив. А всех, как известно, не перестреляешь.

И, наверное, это так и продолжалось бы ещё какое-то время. Но Колуну совсем не хотелось бегать и прятаться (хотя сначала он испытывал удовольствие, оставляя директора в дураках, но скоро это надоело — что он, мальчишка, лезущий в чужой сад за грушами? Сад-то был его). Он тоже разозлился. Всю эту глупую комедию пора было кончать.

И однажды он явился на завод посреди рабочего дня. Неожиданно появился в цеху, спокойный и деловитый, встал к станку... Народ сначала даже не слишком обратил на это внимание, так привычна была картина: Николай Мологин у своего штамповочного пресса. Но вот по цеху пролетела радостная новость — Колун здесь! Что-то будет...

Возле Николая медленно росла толпа. Поднимался ропот недовольства. Это было вызвано ещё и тем, что в последние месяцы завод ухнул в экономическую яму, из которой неизвестно было, как выбираться, и рабочим уже начали задерживать зарплату. Да и вообще...

Образовалось что-то вроде стихийного митинга — без трибуны, без назначенных ораторов. Все сначала говорили вразнобой, потом начали перекрикивать друг друга. Подтягивался народ из соседних цехов. Работу остановили, отрубили электричество.

И в центре всех этих событий стоял Колун, как символ и знамя протеста. Он поворачивался из стороны в сторону, стараясь не упустить ничего из того, что говорили рабочие. Он кивал, тоже лаял что-то невятное в общем шуме, размахивал руками. Градус возмущения нарастал.

В этот момент, как нельзя более некстати, появилось руководство, прослышавшее о беспорядках и об их зачинщике. Впереди своей отставшей свиты бежал директор, бледный от ненависти, с длинной, стильной резьбы деревянной указкой в руке. Новость о стачке застала его в тот момент, когда он наглядно объяснял возможным инвесторам преимущества капиталовложений в свой завод перед другими. За этими людьми он, унижаясь, тщательно ухаживал последние месяцы. Инвесторы мгновенно исчезли, а они были почти последней его надеждой.

Такого развития событий он просто не ожидал — словно удар в спину, неожиданный и подлый. Тем более жарко запыхал гнев в его сердце. Это что-то из ряда вон, это следовало задавить немедленно! Повесить на рее! на первом же суку... Помахивая указкой, словно лёгкой шпагой, директор устремился в атаку.

Увидев приближающееся на полном скаку руководство, народ попритих и слегка отступил за Колуна, впрочем, не отодвигаясь дальше. Противники, как и положено, остались один на один, и от их схватки, видимо, зависела и судьба всего побоища.

Директор трясся от ярости, стоя напротив Мологина. Вот он, этот мелкий человечиска, источник всех его неприятностей! Смотрит дерзко в глаза, осанку имеет до глупости внушительную, словно он здесь хозяин! Ладно бы ещё те прошлые дела, безумная охота, бессонные ночи, но вот сегодня он сорвал почти готовый контракт, и заводу теперь крышка, и самое смешное, что этот дурачок ничего не знает и, похоже, считает себя правым!

Вскипев ненавистью, директор размахнулся и впечатал длинную деревянную указку в щёку Мологина. Колун от неожиданности упал.

Народ, стоявший сзади, если до сих пор ещё и имел какие-то сомнения насчёт своего руководства, теперь понял всё. Этот барский жест был вполне нагляден. Толпа взъярилась. На голову директора посыпался трехэтажный русский мат, люди двинулись вперёд, потрясая кулаками.

Директор испугался, оглянулся назад, ища поддержки. Но свита его уже рассосалась, ясно почувствовав, что парень доигрался. Он был один. Только в руке его была деревянная палочка, вовсе не похожая на благородный японский меч.

Колун, вне себя от благородного негодования, пошарил вокруг и поднял первое, на что наткнулась рука. Резьба зажимного болта весом в пару килограммов привычно легла в ладонь. Колун встал, выпрямился и дерзко взглянул в глаза директору.

За его спиной стояли люди и молчали.

— Держите его! — слабо крикнул директор, косясь на стальной болт. Ему было ясно, кто победит в соревновании болта и указки.

Они молчали, как пустыня молчит перед ураганом. Они молчали, как молчит космос, сквозь который несётся пылающая комета. Они молчали, как молчит камень возле дороги, тысячу лет лежит и молчит. А потом его кто-то берёт в руку... Они не просто молчали — они *безмолвствовали*.

Ждали, что Колун сейчас ударит в ответ, возможно, даже убьёт глупца — и никто не скажет и слова против. Любой суд присяжных отпустит его на свободу с лёгким сердцем. Есть в жизни мгновения, когда надо ответить обидчику изо всей силы.

Но молчание длилось, Колун стоял на острие людского клина и не сводил с директора глаз, а тот всё больше съёживался под его взглядом. И вот он начал отступать — медленно, а потом, закрыв лицо руками, в истерике побежал, указку бросил... И тогда молчание закончилось. Вслед ему захохотала огромная толпа, высказав настолько глубокое презрение, что даже менеджеру высочайшего класса стало понятно: дальше здесь оставаться нет смысла. Этот монолог, образованный, кристаллизовавшийся в ту секунду, когда он ударил Николая Мологина, теперь ничем не возьмёшь. И если бы директор в действительности исповедовал самурайские принципы, а не только болтал о них, ему оставался бы лишь один путь, чтобы сохранить честь... Но он, конечно, даже и не думал ни о чём таком.

Профсоюз вскоре подал на него в суд за рукоприкладство, но Мологин сам отозвал исковое заявление, он простил глупому мальчишке эту выходку. Не дожидаясь нового собрания акционеров, на котором его должны были уволить за плохие экономические показатели, директор ушёл по собственному желанию. Новый директор, третий по счёту за год, ничего не знал обо всех этих перипетиях и просто взялся вытаскивать завод из ямы. И скоро ему это удалось.

Но самое важное — Николая приняли обратно. Теперь запрещать это было некому. В отделе кадров ему тайно сделали новую трудовую книжку, в которой содержится лишь запись о приёме Мологина на работу да несколько пометок о повышении квалификации. Тридцатипятилетний стаж его по-прежнему девственно непрерывен.

И Николай снова приходит в цех раньше остальных, делает свои генеральные инспекции, передвигает что-то кран-балкой, выносит мусор, ездит

в качестве грузчика на склад — это помимо своей основной работы... Как прежде, никто не платит ему за эти дополнительные обязанности ни копейки. Но он всё равно счастлив.

Одно только тревожит его всё больше и больше с течением времени: приближающаяся пенсия; правда, тут уж ничего поделывать нельзя...

ОБРАТНАЯ ТЯГА

РАССКАЗ

Утром, когда Крюков поехал на работу, было ещё темно и непривычно, что темно, — он только что вышел из отпуска и последние полтора месяца так рано ни разу не просыпался. На работу идти совсем не хотелось. Он толком и не отдохнул. А ведь сколько ждал этого отпуска, целый год мечтал: вот буду каждый день по грибы ходить, поеду за клоквой на болота, костры стану жечь, печь в углях картошку, слушать охотничьи рассказы. Но что-то никуда так и не выбрался. Половину времени пролежал на диване, уставившись в телевизор, потом лениво читал скучный английский детектив — нашёл в шкафу старую толстую книжку, потом мать с отцом затеяли мелкий ремонт по дому, и пришлось помогать... Так бесценные отпускные дни проскочили незаметно, оставив в памяти лишь чувство глухого раздражения и неудовлетворённости. Теперь свобода наступит только через год. И этому короткому месяцу нужно было принести в жертву триста тридцать тоскливых дней.

Хмурое, небритое утро нагоняло тоску. Было к тому же холодно — середина октября; погода стояла отвратительная. Ветер дул вроде и не сильно, но всё время в лицо и был таким ледяным, что Крюкову казалось, будто он плывёт под водой. Ветер безжалостно срывал с деревьев вдоль дороги остатки ржавой листвы. В воздухе ясно слышался запах близкого снега. Долговязый Крюков, косолапо шагая к остановке, отбрасывал нелепую, вытянутую до бесконечности тень в свете усталых утренних фонарей.

Настроение у него в то утро было хуже некуда.

На остановке автобуса он дождался “девятки”, успел захватить место у окна, чтобы не пришлось уступать кому-то, и закрыл глаза, надеясь заснуть минут на десять, но заснуть не удавалось, и он прекратил бесполезные попытки. Глаз, однако, не открывал. Вскоре немного согрелся, и тогда сонливость начала одолевать его. Вдруг он увидел себя сидящим на земле на деревенском выгоне в своём родном Лыкошеве, где не был уж лет пятнадцать, а над головой его стоит чистое и высокое бирюзовое небо, рассечённое журавлиным клином. И второй клин журавлей, поменьше, приблизился к первому и мягко влился в него. Печально перекликаясь, дальше птицы полетели вместе, словно всегда были одной стаей.

Внезапно проснувшись и настежь распахнув глаза, он убедился, что ед-ва не проехал свою остановку. Автобус как раз тормозил.

Крюков вскочил и начал проталкиваться к выходу. Как назло, никто впереди него выходить не хотел, всем нужно было куда-то дальше, дальше... Он почти уже раздвигал руками людскую массу, вызывая её недовольство.

— Поосторожнее нельзя? — хмуро спросил крепко сбитый низкорослый мужик.

— Извини.

— Ой, вы же мне на ногу наступили!

— Простите, мадам, не хотел.

— Ты что, трахнутый? Куда прёшь? — возмутилась какая-то бочкообразная тётка. Связываться с ней было глупо.

— Уймись, бабуля, — попросил он, оттирая её в сторону.

— Бабуля! — передразнила она, отворачиваясь. И тут заметила женщину, которая следовала в его кильватере. Ей тоже нужна была эта остановка. На женщину-то тётка и обрушила всю свою неведомо откуда взявшуюся злобу.

— Ты здесь не пройдёшь, — сообщила она дрожащим от ярости голосом.

Женщина даже опешила от такого заявления: сразу на “ты” и с места в карьер.

— Как это я не пройду? — спросила она. — Что же мне, дальше ехать?

— Ехай. А здесь не пройдёшь. Или вон, иди в другие двери.

— Там вообще не пробиться...

— А моё какое дело?!!

— Уймись, бабуля, — ещё раз попросил Крюков, обернувшись. — Ишь, партизанка: “No pasaran!” Проходите, пожалуйста.

— Спасибо.

Женщина кое-как протолкнулась мимо kloчочущей от злобы ведьмы (та на прощанье угостила её локтем в бок), и они вывалились из автобуса на улицу. В спину им понеслись проклятия, и только захлопнувшиеся дверцы оборвали этот бесконечный поток ненависти.

— Спасибо, — повторила женщина, робко коснувшись его локтя. — Не знаю, что бы я без вас делала. Впервые вижу такое чудо.

— Да. Редко попадаются хуже.

— Кошмар... У вас спичек нет?

Он вытащил коробок, чиркнул, прикрыл огонь, и туда, в его широкие ладони, она погрузила лицо, словно птица, берущая корм с руки; дрожащая бледная сигарета после нескольких попыток наконец задымилась, а женщина жадно втянула дым, боясь, что хоть малая часть его бесполезно рассеется в воздухе. Она передёрнула плечами, на мгновение закрыв глаза, и вот из её лёгких вместе с дымом исторгся какой-то тяжкий полустон-полувздых.

— Гос-споди, — выдохнула она.

Похожа на пичугу, снова подумал Крюков. Брюнетка, причёска типа “воробьиный выщип”, сама невысокая, лёгкая, почему-то не по погоде одета в облегающий брючный костюмчик — вот-вот, взъерошив перья, унесёт её порывом ветра. Общая незащищённость, нервность фигуры, готовность к тому, что оскорбят — и никто не поможет. Конечно же, на неё мгновенно найдётся злодей. И Крюков, удивляясь себе, расправил плечи, натянул на лицо маску полного спокойствия и уверенности, в движениях его даже возникло нечто покровительственное. Но хотя это была только маска, он вдруг понял, что чувствует себя рядом с этой женщиной настоящим. Самым настоящим! Маска быстро приросла к его коже, став полноценной частью тела. Снять её теперь он не мог. Он и ростом словно стал выше, приподнялся над землёй...

Им оказалось по дороге.

Переходили железнодорожные пути. От ночного заморозка шпалы заиндевели и были серебристыми, а земля между ними осталась чёрной и казалась ещё чернее от соседства серебра.

— Как будто клавиши бесконечного рояля, — неожиданно сказала женщина.

— Что? — не понял он, а потом, присмотревшись, изумлённо кивнул. — Действительно, как красиво! Вот так ходишь, ничего не замечаешь... Вы что, играете на рояле?

— Да, это моя основная профессия — музыкальный руководитель... До свидания. Мне сюда, — она указала на проходную завода. — Надеюсь, ещё увидимся с вами.

— Обязательно. Я езжу здесь каждый день в это время.

— Правда? А я вас что-то не видела.

— Последний месяц я был в отпуске, — сказал Крюков. — Вы, наверное, недавно здесь работаете.

— Недавно, — подтвердила женщина. — Значит, будет кому защитить меня при случае.

— Можете на это рассчитывать, — серьёзно пообещал он. — Слушайте, а что музыкальный руководитель может делать на заводе?

— Подметать цех. Иногда, видите ли, очень хочется кушать, а музыкой теперь не проживёшь.

— Понятно, — сказал Крюков.

Женщина ушла. Он смотрел ей вслед, вспоминая её лицо. Что-то в этом лице было необычное, располагающее к себе... Потом его взгляд по привычке обшарил фигуру женщины, и Крюков отметил: всё при ней. “А как зовут, не сказала!” — с внезапным сожалением подумал он.

Женщина, видимо, была на несколько лет старше него.

Крюкову недавно исполнилось двадцать три. В последнее время, слегка уже нагулявшись, он смотрел на каждую новую женщину с интересом фаталиста. Не это ли моя жена, думал тогда Крюков. Вернувшись три года назад из армии, он был весел и беспечен и сменил много подруг. Но довольно скоро убедился, что все женщины разные лишь поначалу, а потом становятся совершенно одинаковыми. Так что постепенно Крюков решил: совсем не обязательно стремиться залезть на каждую из них.

Он ещё раз посмотрел ей вслед. Лицо... Что же такого было в нём? Женщина всё ещё словно стояла перед ним, принося своим глубоким, чуть хрипловатым голосом “Спасибо” и осторожно прикасаясь к его руке... Крюков досадливо боднул лбом воздух и пошёл дальше.

Вдали виднелась привычная труба его завода (заводы здесь тянулись один за другим). Едва взглянув на неё, он сразу опустил глаза в землю. Как и раньше, труба неумоимо высасывала из неба толстый столб белесого пара. Её суставчатое тело было похоже на указательный палец страдающего артритом великана, которому порядком надоело мельтешение человечешек внизу, и вот он лениво ткнул и придавил нескольких зазевавшихся. Потянуло знакомым противным запахом перегретой резины, сажи и машинного масла, а для пикантности в букет добавлялся ещё и дым горящих сварочных электродов.

Работал Крюков слесарем. Устроился сюда после армии совершенно случайно. Крутил гайки, стучал молотком, пачкал руки в солидоле. Иногда работы у него бывало много, иногда целыми днями приходилось бездельничать. Но и при запарке, и при безделье он знал, что от него ничего не зависит. Есть он на месте или нет — безразлично. В прошлый раз, год назад, когда он вот так же вышел из отпуска, у него было приподнятое, праздничное настроение — до тех пор, пока он не увидел на своём рабочем месте другого парня, Заварзина. Тот справлялся с его делом ничуть не хуже. И вообще, начальство заметило, что Крюков явился на работу, только ближе к вечеру. Это было почему-то неприятно.

Вот и сейчас он не ждал ничего иного.

Уже несколько раз он всерьёз подумывал бросить всё, перейти работать в какое-нибудь другое место, но не знал, чего ему в действительности хочется. И вот это тянулось уже который год, всё накручивая и накручивая раздражение в душе Крюкова. Томительно, тоскливо было ему сейчас идти к себе в раздевалку, зевая и злясь на раннее пробуждение. Спецовка ждала его там, как верная, но нелюбимая жена. И носить её ещё целый год...

Он не радовался ничему, даже весёлые возгласы мужиков, которых давно не видел, не расшевелили. Его поздравили с праздником.

— С каким это?

— Как же — первый рабочий день!

— А-а...

Едва поздоровавшись и скупо ответив на обычные вопросы, он быстро переоделся и ушёл к себе. Поставил чайник, дождался, пока тот вскипит, сделал заварку покрепче и, неторопливо прихлебывая, стал вспоминать, что хорошего было у него в отпуске, о чём можно рассказать мужикам. Получалось, что рассказывать нечего. “Надо будет выдумать что-нибудь, — уныло решил он. — Скажу — пил почти всё время. Поверят...” Его почему-то начала бить лёгкая дрожь, словно от озноба, и он глушил чай стаканами, снова и снова разогревая его, и никак не мог справиться с собой.

За окном медленно, тягуче рассвело. Крюков посмотрел вокруг себя, на стены, на верстак, внимательно изучил потолок. Всё было по-прежнему, как месяц назад, как три года назад. Он осторожно поднёс к губам стакан с горячим чаем, замер на мгновение, а потом резко толкнул стакан от себя, так что тот, плеская, заскользил по столу и едва не свалился.

“Не могу, не могу больше! Не хочу быть здесь! Не хочу смотреть на всё это, не хочу этого видеть изо дня в день! Не хочу ничего этого! Господи! Что мне делать? Сейчас придут, работу принесут какую-нибудь — что я им скажу?... Ох, плохо, плохо мне, невместно!”

На его счастье, никто не шёл — не было работы. И он сидел на жёстком вертящемся табурете, положив руки на стол, тосковал о чём-то, а о чём, и сам не знал. И даже сидеть ему было неудобно. Хорошо бы прилечь возле стеночки, прикрыть глаза. Но для этого нужна лавка. А лавки у них в цеху не было — не обзавелись.

Минуты текли, плавно сливаясь в часы. “Хоть бы домой поскорее!” Но даже до обеда было ещё далеко. Крюков вздыхал, томился, мрачно озираясь исподлобья по сторонам. “Глаза бы мои не глядели! Всё, пишу заявление, хватит!” Он стал рыться в ящике стола, отыскивая чистый лист бумаги.

В цеху словно бы стало темнее.

Наконец он выгнул старый желтоватый листок и, прикусив язык, начал выводить: “Начальнику производства... от слесаря... Заявление... прошу... по собственному желанию...” Покурил, глядя на дело своих рук. Оставил заявление на столе и пошёл размяться, побродить, завернуть к кому-нибудь в гости. Ему вроде полегчало теперь, когда мысль об увольнении материализовалась на листке бумаги. Словно что-то громоздкое, давно стоявшее на одном месте и вросшее в землю, вдруг двинулось и стало постепенно набирать ход.

Крюков шёл мимо сварочного участка. Знакомый газорезчик, пристроившись на табуретке, стоящей на листе толстого металла, прорезал в нём отверстие. Мощная газовая струя, с оглушительным шипением ударяясь в лист, выбрасывала прямо вверх, из-под самых рук парня, столб расплавленных капель. И удивительно было, что ни одна из этих капель не попадала ни на спину, ни на руки, ни на голову резчика, а он сидел, словно заговорённый, в лёгкой рубашке с засученными рукавами вместо толстой жаркой робы, нарушая все инструкции, и, казалось, не обращал внимания на опасный фейерверк. Капли, волнами падая вокруг него, взрывались, разбивались на мелкие искры, и всё это было похоже на отчаянный танец слегка нетрезвого человека. А парень сидел как будто внутри защитного поля, отталкивавшего раскалённые капли. И это действительно было поле — поле опыта, долгих упражнений и постоянного труда.

Недалеко стоял другой парень в сварочной робе, внимательно наблюдавший за действиями резчика. А, понятно, ученика дали... давно пора.

Наконец газовая струя пробила толщу листа, с глухим рёвом вырвалась снизу ослепительным снопом и загуляла, зафырчала удовлетворенно, мгновенно образовав небольшое озерцо лавы. Парень погасил резак, снял очки, улыбнулся и помахал Крюкову рукой. Крюков кивнул и пошёл дальше.

Он поздоровался за руку с попавшимся ему навстречу штамповщиком Колькой Мологиным. Тот вопросительно кивнул головой снизу вверх: ну, как дела?

— Да так, не очень... первый день...

Колька хмыкнул укоризненно и в то же время с пониманием, и направился куда-то на сборочный участок.

В углу лежала небольшая куча хороших, ровных досок, приготовленных, видимо, для того, чтобы подкладывать их под тяжёлые стальные болванки. Крюков подумал: жаль, пропадёт материал, а ведь можно было бы...

— Это чьи? — спросил он у проходившего мимо мастера, нарочито небрежно пнув доски.

— Если нужны — бери, — сказал мастер равнодушно. — Ещё привезут.

Какая-то странная полутьма стояла в цеху, словно на улице и не рассветало.

— Ну, зима пришла! — с удовольствием щурясь, объявил слесарь Ми-

хаил Иваныч Панкратов, невысокий, грузный мужик лет пятидесяти, входя с улицы в цех. Дверь, притянутая тугой пружиной, громко хлопнула, он её не удерживал. И в одно короткое мгновение, что дверь была открыта, Крюков успел рассмотреть за спиной Иваныча несущиеся белые струи, и почему-то только потом увидел, что и сам мужик весь облеплен мокрым снегом. Панкратов, ставив много повидавшую на своём веку кроличью шапку, тут же начал оббивать ею плечи и грудь, поочередно вытягивая далеко вперёд руки, шумно выдыхая воздух, словно веником парился в бане, и даже ногами притопывал от удовольствия.

— Снег, что ли? — не поверил Крюков очевидному.

— Глянь, что делается! — задорно гикнул Иваныч, выгавив из рта чинарик и ловким щелчком отправив его в мусор. — Покров! Заметают напроць! Как домой-то пойдём, а?! В осенних-то ботиночках?! — он как будто радовался этому, а из улыбчивого, гнилозубого рта его все шёл и шёл дым, никак не кончаясь...

“А как же она пойдёт домой — в своём лёгком костюме и туфлях, даже без зонта?..”

Вот почему было так темно: снаружи бушевала мокрая метель. Крюков открыл дверь, выглянул на улицу и чуть не задохнулся под напором холодных, тяжёлых хлопьев, норотивших залепить глаза. Он вышел на свободу в своём лёгком комбинезоне, повернулся к метели лицом и так стоял несколько секунд, позволяя ветру пронизать свою одежду насквозь.

От уличного холода ему сразу сделалось легче, радостнее, точно как Иванычу до него. Холод и ветер мгновенно взбудрили, заставили подобраться, словно перед прыжком. Крюков пошёл вдоль стены — против ветра, прикрыв глаза рукой; он оставлял в снегу глубокие, быстро темнеющие следы.

А ветер между тем начал ослабевать, истратив, видимо, весь запас сил на первый мощный порыв. Заряд его кончался. Стали уже различимы сквозь мокрые колышущиеся космы соседние цеха. С их крутых крыш начинали срываться длинные подтаявшие белые линейки и плоские угольники, которые разрушались в воздухе, не успев долететь до земли. Послышалась робкая капель — словно странник просился в незнакомый дом на ночлег и не был уверен, что пустят. Снежное изобилие иссякало на глазах. Может, и Крюков помог этому, упрямо идя против ветра и разбивая его наглуго уверенность в себе. Метров через пятьдесят он решил возвращаться, и когда добрался по своим следам до дверей, на улице было уже почти тихо.

Войдя, он стряхнул шапку мокрого снега с волос, несколько раз оглушительно притопнул длинными своими ботинками. Смачно чихнул. Высоко поднял голову. Улыбнулся. Ему хотелось крикнуть что-нибудь победное или взмахнуть рукой, или просто весело и безадресно ругнуться.

И тут сквозь тучи пробилось солнце, через верхние окна щедро залив собою цех, как ячница-болтуня разом заливает скворороду. В его жёстких рентгеновских лучах стала видна тонкая кисея пыли, висевшая в воздухе. У Крюкова против воли опять засвербило в носу, но он сдержался. Подошёл к доскам в углу, взял четыре штуки получше и, рачительный хозяин чужого добра, уволок в свой закуток. А по дороге заглянул в хозяйственную часть, одолжил там ножовку по дереву, молоток и пару десятков подходящих гвоздей.

У себя он разложил доски на полу и минут двадцать оглядывал их, решая, как будет лучше приступить к делу. Дело для него было малознакомое. Сколотить лавку — вроде и не так сложно, а вот попробуй, возьмишься... С чего начать? Это ведь не просто гвоздь в стену вбить. Тут соображалку надо включить, чтобы вещь получилась устойчивая, прочная и для сидения удобная; а при случае и бока чтоб не намяло, если поспать захочешь.

Да, не так просто. Но сейчас Крюков чувствовал: он может всё. Он загорелся этой мыслью, потому что ему больше некуда было приложить силы, а сила в нём поднялась сейчас вихрем — долго-долго дремала, зевала, томилась, и вдруг взвилась! да так, что Крюкова могло разорвать от её избытка. Что было причиной этому — первый снег, в одночасье заваливший землю и уже умиравший там, на улице, под колесами машин; первый день на посты-

лой работе и решение уволиться отсюда к чертовой бабушке; или та женщина, которая утром просто сказала “спасибо” и коснулась его руки; её лицо...

Он соединил три доски, лежащие рядом, рейками. Получилось основанные скамьи, достаточно широкой, чтобы свободно лежать на ней, не падая. Так, начало есть. Теперь следовало укрепить конструкцию и начинать изобретать ножки. Какими сделает их, Крюков пока не знал, но был уверен, что придумает и сделает всё, как надо.

Руки вспоминали свою работу.

Увлёкшись, он не замечал приходивших к нему мужиков, они с удивлением смотрели, задавали какие-то вопросы. Он отвечал невпопад, почти не глядя на собеседника. Некогда ему было, совсем некогда.

Прошёл обед, потом ещё час, другой... Время летело. До конца смены оставалось недолго.

Лавочка была почти готова, так, кое-какие мелочи оставались... Получилась она необычной формы, слегка грубоватая, но зато очень прочная и удобная. Крюков покурил, прежде чем сесть на неё первый раз, волновался почему-то. Но ничего, не скрипнула, почти не прогнулась... Хорошая вещь, подумал он. Втроём сидеть можно — выдержит. Даже жалко оставлять её здесь. Ну, ладно, если что — сделаю другую, ещё и лучше, теперь знаю как.

Хорошо бы дом построить, подумал вдруг он. Свой собственный дом. Своими руками...

Вдруг в цех зашёл парень, довольно ещё молодой, невысокий, даже щупловатый какой-то, но с властным выражением лица, с повадкой человека, привыкшего отдавать приказы. И Крюков вспомнил: это новый начальник “деревянного” цеха, Леонид Силантьев — старший-то ушёл на пенсию, недавно взяли вот этого. Парень быстро оглядел Крюкова, лавочку, на которой тот сидел, нервно покуривая, на опилки и обрезки досок...

— Погаси.

Крюков послушно затушил сигарету.

— Сам сделал? — спросил парень так, словно они сейчас долго говорили о чём-то важном, но вот отвлеклись на случайный предмет. — Интересная конструкция. Сколько времени потратил?

— Не знаю... часа три.

— А ну-ка, — сказал парень, жестом велел Крюкову встать. И Крюков, как будто так и надо было, послушно встал и отошёл в сторону. Парень сел на его место, покачался на лавочке, испытывая её на прочность. Особо усердствовать не стал, видимо, сразу понял то, что ему нужно было узнать.

— В роду столяры были? — начал он словно бы допрос с пристрастием.

— Кажется, дед плотничал в деревне...

— Ага. А что ты вообще здесь делаешь? — спросил он Крюкова так, будто тот был в чём-то виноват.

— Работаю я, — растерялся Крюков.

— Работаете! — усмехнулся парень. — Слесарить?

— Да.

— А в нормальной работе хочешь себя попробовать?

— Да хотелось бы...

— Ну, что ж, тогда иди ко мне. Три месяца учеником, потом получишь второй разряд. Через полгода — третий. И так далее...

— А деньги? — робко спросил Крюков.

— Сначала, понятно, деньги будут ерундовые. Так ты ж сырой материал, как вот эта твоя скамейка, — Силантьев пристукнул костяшками пальцев по дереву. — Тебя же учить и учить, воспитывать. Зато потом...

Всё было ясно. Человеку этому Крюков поверил сразу.

— Значит, мне увольняться? — спросил он, даже не раздумывая ни минуты.

— Сделаем перевод, я поговорю с твоим фюрером, думаю, он мне не откажет... И кстати: если увижу, что куришь в цеху, штрафовать буду без разговоров. На первый раз. На второй — уволю. Доступно?..

“А завтра я снова увижу её”, — подумал Крюков невпопад. И ему вдруг представилась волшебная картина: зима, Рождество, поздний вечер и мороз,

дом в деревне, внутри чисто и тепло, потому что натоплена печь, а из трубы к небу, к безжизненной бледной луне и блестящим звёздам медленно поднимаются вместе с дымом звуки рояля — торжественные, серьёзные.

Словно бы какой-то давно вывихнутый сустав вправился на своё место, и боль его ушла.

ЧЕРНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

РАССКАЗ

Валька Тимофеев по естественному прозвищу Тимоха к своим сорока годам достиг стабильного материального и общественного положения. У него имелись в наличии собственный домик в пригородном совхозе, жена Зина, державшая Тимоху в кулаке, сын Пашка, учащийся ПТУ, корова Дашка, рыжая с белыми пятнами, поросята, огород, энное количество кур, кошка с собакой, простая работа, не отнимавшая много времени, и крохотная зарплата. Средств на жизнь хватало, еле-еле, но хватало, следовательно, всё было в порядке, грех жаловаться.

По вечерам, после всех трудов праведных, если силы ещё оставались, Тимоха любил мечтать о будущих двадцати или тридцати годах спокойной, размеренной жизни, о внуках, о новых телевизионных передачах, которые можно будет просматривать вместе с женой, удобно устроившись на диване, о праздниках, когда съезжается родня, пьётся вино и льются песни...

В один из таких спокойных осенних вечеров (на улице уже задумчиво собирались сумерки, но было ещё светло), Тимоха услышал рёв автомобильного клаксона. Гудок несся над полями, длинный и требовательный, он прерывался ненадолго, чтобы тут же возобновиться, как будто усталый лось переводил дыхание и снова подавал голос.

— Это откуда? — спросил Тимоха жену, которая тоже внимательно прислушивалась к гудку.

— С дороги, что ли. И чего гудит? Нехорошо как-то. Будто зовёт, в самом деле... Включи телевизор, сейчас начнутся “Семейные страсти”.

Тимоха включил. Но даже необыкновенные перипетии жизни героев сериала не смогли отвлечь его от гудка, тем более что тот и не думал утихать, а всё так же требовательно буравил холодеющий осенний воздух над голыми полями. Тимоха ещё некоторое время пытался смотреть телевизор, но понял, что на месте ему не усидеть. Он сердито плюнул и стал собираться, всем своим видом показывая Зинухе, как ему не хочется идти, но вот надо, мало ли там что... Жена прекрасно знала: её благоверный умирает от любопытства и готов бежать хоть босиком, чтоб не терять времени на обувь. Ладно, пусть сходит, решила она. Надо ведь узнать, мало ли...

— Смотри, не влопайся там ни во что! — предупредила она его грозно.

— Во что влопываться-то, Зин? — удивился Тимоха. — Я туда и обратнo, пять минут...

— Знаю я твои пять минут, — рыкнула Зина больше для порядку, потому что Тимоха её действительно был мужик хоть и не образцовый, но спокойственный, голову на плечах имел. Она вновь уставилась в телевизор. Хлопнула входная дверь, потом калитка на улице. В окно Зина увидела, как её муж покрутил головой с высоко задраным носом, пытаясь определить, откуда точно идёт звук, а потом уверенно, словно собака, взявшая след, пропустил в сторону зерносушилки.

Ещё по пути туда Тимоха сообразил, где именно находится источник возмущения. Дорога к зерносушилке делилась, словно река, на два рукава, и один из них вёл к ближайшему леску, но, не добежав до него, вилял

в сторону и вскоре опять сливался с близнецом. Этот кусок дороги селянами почти не использовался, он медленно разрушался сам собой от весенних паводков и летних дождей, но пока ещё по нему можно было проехать. Правда, в одном месте надо было быть начеку: сразу за крутым поворотом неожиданно под колёса машин словно бы подстилась огромная глубокая лужа, почти болото, и если кто втюхивался в самую её середину, без буксира выбраться уже не мог.

Лужа эта существовала здесь давно. Тимоха помнил её лет пятнадцать, с тех пор как поселился здесь, переехав из города. За это время сменилось три председателя колхоза, и каждый, вступая в должность, обещал одним из первых дел засыпать проклятую болотину, но ни у кого из них так руки и не дошли, хотя делов-то было чуть: привезти пяток машин грунта и щебня, и проблема решалась навеки.

Наверное, решил Тимоха, какой-нибудь ротозей сидит там сейчас и прокликает всё на свете. На ночь глядя застрять в безлюдном месте, где и не ездит никто, — не позавидуешь.

И точно. Длинная чёрная машина увязла брюхом в жидкой грязи. Сидела она хорошо, тут даже нечего было и надеяться выбраться самому. На багажнике машины Тимоха разглядел эмблему “Мерседеса”. Немного посомневался, стоит ли вообще подходить. Вдруг это бандиты или ещё кто, ну их к Богу в рай, пусть сами пыхтят. Однако за рулём сидел мужик обыкновенного вида, чуть постарше Тимохи. Костюм, очки в тонкой оправе, борода. На бандита он похож не был, но, по всей видимости, мог здесь бибикать хоть целую ночь и не дать спать всей округе. Решив, что опасности нет, Тимоха неторопливо зашагал к иномарке.

Мужик увидел его, приветливо помахал рукой из окошка.

— Здорово въехали, товарищ, по самые помидоры! — бодро сказал Тимоха вместо приветствия.

— Это вы очень точно подметили, молодой человек, — сказал мужик ласково. — Вот прямо не знаю, что и делать...

— Помощь требуется? — утвердительно спросил Тимоха, обходя машину кругом по берегу лужи.

— Ой как требуется! Вы не поможете ли? Я в долгу не останусь, заплачу моментально.

— Да ни к чему, — отмахнулся Тимоха. — А вот... скажите... это у вас какой “мерседес”?

— Шестисотый, — ответил мужик терпеливо. — Но сейчас он, конечно, не производит должного впечатления. Думаю, уже начал потихоньку ржаветь.

— Шестисотый, — с уважением повторил Тимоха и, не удержавшись, спросил: — И как это вы так на нём ездите?

— Как? — удивился мужик. — Да как все.

И он для наглядности покрутил в воздухе руками, изображая руль, хотя настоящий руль был прямо перед ним. Но насколько туп вопрос, настолько нелеп и ответ.

— Или, может быть, вас интересует, как часто в меня врезаются горбато-ушастые “Запорожцы”? Могу успокоить: до сих пор ни единого случая. Ни единого. Иногда даже хочется, чтобы... но они почему-то все проезжают мимо.

Тимоха засмеялся:

— Ну, вот, считайте, сподобились... Да я просто никогда раньше “шестисотого” не видел. Только слышал, читал... Вот думал иногда, кто же на таких ездит — уж больно дорогая машина-то! Не дай Бог разобьёшь — всю жизнь не расплатиться.

Теперь засмеялся мужик.

— Понимаю, — сказал он всё так же ласково и терпеливо, — понимаю. Я тоже никак не думал, что меня занесёт сюда, в лужу, в самый неподходящий момент. Дай, думаю, сверну к лесу, шишек наберу, детство вспомню. Опять-таки поля, простор, осень в русской деревне... Романтики захотелось, тонкости чувств. Вот и попался. Заманила мать-Россия, да кинула. Здесь,

представьте, даже мобильный телефон не работает, какая-то теневая зона, не могу вызвать помощь...

— Вот ведь как! — с восторгом сказал Тимоха. — Вам ведь теперь без трактора не выбраться! А поздно уже, где теперь трактор найдёшь? Вы бы лучше переночевали в деревне, а завтра с утра мы вашу машинку враз вытащим.

Мужик подумал, подумал... Хотел было вылезать из салона, открыл дверцу, занёс ногу в дорогом сверкающем ботинке над жидкой грязью, но быстро убрал её назад.

— Спать я могу и здесь, оружие у меня имеется, — объяснил он. — А оставлять машину не хочется. Знаете что, молодой человек, а может, вы всё-таки найдёте мне трактор? Я заплачу, сколько скажете.

Тимоха ещё раз оглядел автомобиль, почесал в затылке.

— Ждите здесь, никуда не уезжайте. Я пойду, попробую что-нибудь найти. Если получится — ваша удача, а нет — значит, нет.

— Я никуда не уеду, — клятвенно пообещал мужик. — Но вы уж постарайтесь там, скажите, что все останутся довольны.

— Ладно, — сказал Тимоха. — Постараюсь.

— Вот спасибо!

Тимоха быстро пошёл назад, к деревне. Пройдя двадцать шагов, обернулся. Мужик, лениво развалившись, сидел за рулём и прикуривал сигарету. Одна его рука рассеянно свешивалась за окно, пальцы ловко выстукивали по полированному металлу какой-то лёгкий мотивчик. Увидев, что Тимоха смотрит на него, мужик махнул ему рукой: давай действуй, чего встал? Время, время!

И Тимоха побежал.

Трактор он рассчитывал добыть у Серёги Захарова. Серёга, чтобы зря не гонять в совхозный гараж, часто оставлял “Беларусь” на ночёвку под своими окнами. Да и мало ли, трактор в хозяйстве всегда пригодится. За водкой съездить или там подшабашить... Если он и сегодня поленился отогнать своего железного коня в стойло, то всё в ажуре.

На подходе к дому Захаровых Тимоха немного притормозил, отдышался. Всё-таки пару километров отмахал без остановки. И, судя по всему, не зря. Звук работающего двигателя обрадовал его, как неожиданный подарок. Отлично, садись и поезжай, через десять минут они будут на месте. А было уже почти темно и почти холодно. Надо быстрее вытаскивать мужика да двигать по домам.

В кабине голенастого, надрывающегося движком “Беларуса” никого не было. В окнах Захаровых горел свет. Тимоха постучал ногтем в стекло, и почти тотчас же, откинув занавеску, появилась жена Серёги. Кивком головы спросила: чего тебе?

— Серёгу позови! — крикнул Тимоха женщине.

Она отрицательно покачала головой и щёлкнула себя по горлу. Так, ясно.

— Я возьму трактор на полчаса! — крикнул Тимоха, стараясь переорать двигатель. — Верну на место, в целости и сохранности!

Женщина махнула рукой: бери. Тимоху здесь знали не первый день. До сих пор он никого не подводил.

Тимоха влез в кабину и весело погнал по дороге трактор, который явно обрадовался подвернувшейся работёнке. Ему давно уже надоело переводить топливо вхолостую. Хозяин не глушил двигатель, потому что аккумулятор был плохой, старый, и иногда “Беларусь” жёг солярку целыми ночами, так и не перевезя ни килограмма груза и не вспахав борозды.

Тимоха гнал трактор и зачем-то вспоминал историю своего переселения из города в эти тихие места.

Всё началось после армии. Он только-только женился, уже в планах был ребёнок, и тут грянула Перестройка. По телевизору стали непрерывно показывать какие-то странные рожи, рожи вешали о будущих плохих временах, но это было понятно и так. Раз уж допустили таких на телевидение, пиши пропало. При взгляде на ораторов Тимоху мутило. Кого-то из них ему хотелось побить, кого-то отправить на лесоповал, а других — просто утопить в нужнике.

Тимоха быстро сообразил, что жизнь в городе в смутные времена опасна. Вырубят тебе электричество, газ, не подвезут продовольствие в магазины — и всё. Хоть людоедством занимайся. А смуту впереди он чувствовал аж хребтом. Появились какие-то неформалы, молодёжь сбивалась в банды. На южных окраинах вдруг ни с того ни с сего возникли националисты, о которых не слыхивали со времён гражданской войны. В общем, кому как, а Тимохе было ясно, что страна носит в своём чреве споры какой-то опасной болезни, и неизвестно, сможет ли выздороветь. Поэтому Тимоха серьёзно поговорил со своей молодой женой и обрисовал ей перспективы деревенской жизни. Молоко своё, мясо своё, сурово говорил он, загибая пальцы. На всякий случай выкопаем колодец. Если нет печи — сложим. Скоро будет ребёнок, о нём надо думать. Хозяйство, огород нам поможет. Обнесём дом стеной, чтоб никто не лез, посадим на цепь собаку. Купим ружьё. И так будем жить. А если кто сунется... Тут Валентин сжимал кулаки и тяжело вздыхал. Что там снаружи — наплевать, говорил он потом, успокоившись. Каждый сам пусть о себе думает.

Сначала Зина спорила. Она не понимала беспокойства мужа. Наступающие перемены в стране казались ей несомненным подарком судьбы. Можно слушать музыку, читать книги и смотреть фильмы, о которых раньше и не мечтали. Да и как это может быть, чтобы электричество отключили? Такого просто не бывает. Но всегда ласковый и покладистый Тимоха тут вдруг проявил упрямство, сумел переспорить жену. И они поменяли городскую квартиру на хороший частный дом с большой русской печью. Его бывший хозяин считал сделку для себя чрезвычайно удачной и думал, что Валентин просто дурак, если уезжает из удобного города в захолустье. Тимоха проводил его с улыбкой. Можно сказать, остались друг другом довольны.

Родившийся в городе с душой селянина, Тимоха устремился туда, где чувствовал себя лучше всего. Впрочем, он, видимо, так и не стал стопроцентно своим здесь, и город забыть всё же не мог. Перенял кое-какие местные манеры, словечки, ходил в телогрейке и кирзовых сапогах, а в голове у него зачастую было совсем другое...

Время показало, что Тимоха был полностью прав. Даже Зина, в конце концов, это признала. Она быстро привыкла к деревенской жизни, хотя иногда для порядку скучала о прошлых временах, когда можно было ничего не делать, а только лежать на диване и думать, на что убить свободный вечер. Сейчас забот у неё был полон рот, но она видела в этих заботах простой необходимый смысл и уже, пожалуй, ни за что бы не согласилась поменяться обратно.

Как и планировал, Тимоха был на месте через десять минут.

Стемнело, сквозь пустоту неба проклюнулись звёзды. Иномарка, освещённая изнутри мягким желтоватым светом, была до странности уместна здесь, в болоте. Словно всплыла фантастическая подводная лодка, осмотрелась, прощупала чужое пространство радаром и готовится в обратный путь.

Мужик открыл дверь и наполовину высунулся, приветственно размахивая руками. Вот удача, вот повезло. И так быстро! Он готов был аплодировать.

Тимоха остановил трактор у лужи, легко выпрыгнул из кабины. Зачем-то отряхнул пыль со штанов. Улыбнулся. Чувствовал себя вроде как актёром на театральной сцене.

— Вот, как обещал. Добыл. Сейчас зацепим — и всего делов!

— Спасибо, дорогой товарищ! Вот не знаю, как вас звать-величать...

— Тимо... феев, Валентин, — сказал Тимоха, слегка запнувшись.

— Просто выручили вы меня, Валентин! Сколько бы я тут без вас ещё куковал...

— Да ничего страшного, всё нормально, — улыбался Тимоха. Он был очень доволен и даже рад, что всё так благополучно обернулось. — За что цеплять-то вашу игрушку?

— Там сзади, внизу должно быть...

Вероятно, мужик и не знал толком, что там должно быть сзади внизу, потому что впервые эту великолепную машину приходилось тащить из грязи. Он всё порывался вылезти из салона, делал вид, что вот сейчас схватит трос голыми руками и это самое... но почему-то не вылезал. Не хотел. Ти-

моха это прекрасно видел, и мужик видел, что он видит, и оба беззлобно и как-то хорошо посмеивались, так что Тимоха даже с удовольствием полез в грязь — уж если что-то начал делать, доведи это сам до конца. Да и жалко ему было обуви мужика, ну, а своим-то убойным говнодавам сорок пятого калибра, знал он, ничего не сделается.

Конечно, можно стать в позу, подождать на бережку, пока заезжий богатей будет неумело возиться с ржавым тросом и колоть о него руки... но зачем? Ненависти к богатым вообще, а тем более именно к этому он не испытывал. Этот ему ничего плохого не сделал. А ненавидеть кого-то — значит медленно убивать себя. В конце концов, для всех лучше будет, если “мерс” как можно быстрее уедет отсюда.

Так что очень скоро иномарка задом выползла из болота и, жалкая, униженная, грязная, застыла на месте. Она готова была сорваться по первому слову хозяина и бежать прочь, туда, где никто не видел её позора. Да и мойка ей была совершенно необходима. А приобретя прежний лоск, она будет рассказывать в гаражах и на подземных стоянках сверкающим надраенным соседям: “Да знаете ли вы, что такое настоящая-то Россия? Вот со мной однажды был случай...”

Мужик деловито выскочил, словно чёртик из табакерки. Деньги у него уж были в руке, заготовлены. Быстрее, быстрее... прочь отсюда. Но ещё нужно соблности хоть какую-то видимость приличия, благодарности.

— Э-э... вот, возьмите. Надеюсь, используете с умом. Спасибо, Валентин. Слава Богу, ещё попадаются такие люди, как вы. А то нам пришлось бы совсем трудно.

— Да чего там, — говорил Тимоха стеснительно. Он стоял, как перед начальством, по стойке “смирно”, и всем корпусом уклонялся от денег, которые мужик ему пытался всучить. После нескольких попыток мужику удалось запихать купюры в нагрудный карман Тимохи.

И сразу, видно было, почувствовал он себя лучше. Заплатил — значит, как бы купил чужое время и труд, стал их хозяином. Даже отчасти хозяином человека, потратившего время и сделавшего работу. В полутьме очки его бешено блеснули. И, наверное, неожиданно для самого себя стал очкастый чего-то заговаривать с Тимохой совсем другим тоном, другим языком, каким следовало, по его понятиям, говорить с простым человеком, много ниже.

— Один живешь-то, Валя? Хозяйка-то, баба есть?

Тимоха забеспокоился. Чего тебе надо? Ехал бы лучше...

— Есть хозяйка. Дома ждёт.

— Как зовут? — подмигнул мужик, кривовато улыбаясь.

— Жену-то? А Ленка. Елена, стало быть, — бодро соврал Тимоха, подстраиваясь, и даже не покраснел. Соврать сейчас в очки прямо этому жуку было Тимохе не противно.

— Красивая?

— Ну!..

— Любишь?

— А то как же, — Тимоха едва удержался, чтобы не добавить язвительное “Ваше благородие”, но нельзя было — пусть уж дурачок наиграется, скорее отстанет.

— И часто?

Тимоха усмехнулся, глядя себе под ноги.

В принципе, почти ночь, кругом никого... Он оглянулся по сторонам. Можно трактором затолкать машину обратно в болото. Никто ничего не узнает. Ну, пропал человек за городом. Случается.

Мужик вдруг что-то понял, прочитал в полутьме в глазах Тимохи, или в движениях его на секунду показалось нечто настоящее, грозное. Как-то сразу подобрал мужичок нависшее через брючный ремень пуздо, отшатнулся поближе к своей чёрной подводной лодке. Ему стало очевидно, что вот прямо здесь он может и остаться навеки, и никакие деньги не спасут, нет у них сейчас ни капли силы. Неловко переступил с ноги на ногу, промывчал:

— Н-ну...

— До свидания, — смущённо сказал Тимоха.

Мужик всё же быстро-быстро похлопал его по плечу (отважился!), словно пыль сбивал, кинулся за руль и укатил, напоследок издав ещё один долгий гудок. Тимоха поднял ему вслед руку, а другую упёр в бок. Немного постоял, посмотрел, как огни машины исчезают за поворотом.

Ну, что ж, пора домой. Отогнать трактор — и под бок к Зинаиде. Ждёт давно, ей ведь тоже интересно. Рассказать — не поверит.

Деньги вот только были не заработанные, чужие — одно плохо. За помощь денег вообще не берут. С другой стороны, у этого гуся пшеница не убавится. А Тимохе сейчас копейка ой как была нужна, позарез. Так что ладно, чего уж. Да ведь этот чуть не силой впихнул. Ещё и обиделся бы, пожалуй... Тимоха немного хитрил сам с собой. Ну, да ладно. Сделано — сделано.

Через полчаса, грязный, усталый и страшно довольный, он был дома. Жена встретила его в сенях, кутаясь в платок.

— Ну, что, что там было-то?.. О-о, да ты весь увозился, нехристь! Марш мыться, потом расскажешь.

И ещё минут через двадцать Валентин, умытый, с расчёсанными волосами, сидел на кухне, обжигаясь, прихлёбывал из гранёного стакана чай и торопливо повествовал супруге о недавних приключениях.

— Я ему говорю: пойдём в деревню, переночуешь по-людски. А он: нет, машину не брошу. Хотел я уж плюнуть, чёрт с ним, думаю, да пожалел.

— Ну, и дурак, — сказала Зинаида. — Что он тебе — брат, сват? Вот такие-то всю жизнь на нас, глупых, и ездят да знай себе погоняют. У них денежки в кармане, у нас суп со слезами.

— Да ладно, — сказал Тимоха. — Тоже ведь человек. Потом, он мне даже заплатил...

— Сколько? — оживилась супруга.

— Да не знаю. Я ещё и не смотрел, вон там в кармане... Как украл я эти деньги, что ли.

— Не дури. Ты работал? Работал. Значит, деньги честные. А ну, посмотрим, сколько он тебе отвалил от своих-то щедрот.

Зинаида обшарила Тимохин пиджак, вытащила купюры и поднесла их поближе к свету. Надолго замолчала. Тимоха уж решил, что мужик ему дал совсем мало или бумаги простой подсунул. Но тут супруга произнесла чужим голосом:

— Валь...

— Ну?

— Смотри-ка, чем он с тобой расплатился.

И Зина положила на стол перед Тимохой четыре одинаковые зелёные бумажки. На каждой из них был портрет какого-то неизвестного деятеля, цифра "50" и надписи на иностранном языке.

— Это чего? — спросил Тимоха, подняв голову и близоруко щурясь на жену. — Доллары, что ли?

— Доллары, — эхом повторила Зинаида и быстро, со страхом глянула в окошко. — Валюта.

— Двести долларов? — не поверил Валентин. — За что?

— Надо спрятать. Если настоящие... это ж сколько же в рублях-то будет? Тысяч пять, поди-ка, или больше. С ума сойти. Валь, а он не это... не псих какой-нибудь? Ещё вернётся сейчас, скажет: украли. Чего делать-то будем?

— Да не похож он на психа. Деньги заранее отсчитал, ещё в машине, а у него там светло, — оторопело припоминал Тимоха. — Используй, говори, с умом. Он ведь не знает, где я живу, в каком доме!.. Ну, надо пока оставить, пусть лежат, если вернётся — отдадим...

— Пусть лежат, — согласилась Зина. — Ну их к чёрту! Не было никогда — и не надо...

— Для него это, конечно, не сумма, — рассуждал Валентин уже ночью, в постели, обнимая круглые плечи Зинаиды. В комнате было тепло. Печка у Тимофеевых отменная, если хорошо её протопить, греет до самого утра. — Его только машина стоит, может, полмиллиона. И всё такое. По нему видно: состоятельный товарищ. Так что двести баксов для него — ерунда.

— Может, удивить тебя хотел.
— Может, и хотел. Да мне-то что. Плевал я...
— Ну, так уж и плевал. Тебе столько в колхозе за год не заработать.
— Колхоз, — усмехнулся Тимоха. — Он бы в колхозе столько и за два не заработал. Вся-то разница между нами, что он сидит, бумажки подписывает, а я на земле работаю, своими руками.

— Вот-вот. Он умный, а ты...

— Ещё умнее. Хватит, не заводи ты свою старую песню, я подпевать не стану.

— Ладно. Давай спать уже...

— Интересно, где их продать-то можно, доллары-то? — не утерпел Валентин чуть позже и толкнул храпящую жену в бок. — Говорю, где доллары-то можно продать?

Сам того не желая, играя какую-то игру, он сделал ударение в слове “доллары” на “а”, коверкал название, отсекая от себя эту чужую и опасную вещь.

— В банке, — сказала Зина. — Или в обменном пункте. А то — с рук. Так дороже. В прошлом году Ольга Курицева меняла...

— А у неё-то откуда? — удивился Тимоха.

— Комнату в городе продали, братнино наследство. Трактор купили.

— А-а...

— Спи, тебе вставать рано.

— Ладно. Сплю.

Чужие деньги пролежали у них всю зиму. Никто за ними не приехал. И постепенно Тимоха привык к мысли, что деньги эти уже не такие и чужие. Он завёл привычку интересоваться у всех подряд, какой нынче курс доллара, и рассуждал на людях, выгодно или невыгодно продавать или покупать нынче валюту. “Прямо и не знаю, что делать-то, — говорил он, допустим, Серёге Захарову, когда они вместе пили пиво в забегаловке. Валентин счёл себя обязанным проставиться, поскольку заработал деньги при помощи Серёгиного трактора. Тимоха делал печальное лицо, обременённый тяжкими заботами о капитале. — Продавать уже или нет? А вдруг завтра, как в девяносто восьмом, р-раз — и всё?”

— Всё может быть, — подтверждал Серёга, оснащая край пивной кружки доброй щепотью соли. — Им там, — он тыкал пальцем вверх, — доверять нельзя, ептырь. Они себе на пятьдесят лет вперёд нахапали, а мы им до лампочки. Есть у тебя деньги, нет ли, всё равно. Вот возьмут и объявят завтра, что за валюту будут расстреливать, как раньше. И куда ж ты денешься с подводной-то лодки?

Тимоха бледнел: а что, с них станется! Чёрт, может, выбросить или закопать где-нибудь проклятые буржуйские дензнаки? Жалко. Пашка вот-вот заканчивает ПТУ, надо как-то отметить, что-то кушать, и вообще... не быть лопухом. Реализовывать потенциал.

Наверное, тогда он и решил твёрдо: пора продавать. Курс не курс, растёт там или падает, а поменять на рубли и тут же в магазин. Приобрести магнитофон для Пашки да пальто для Зинки. И нечего больше рассуждать. Ведь на всю жизнь этих несчастных долларов не хватит.

Да и заметил он, что люди стали как-то отдаляться от них с Зиной, когда узнали о привалившем счастье. (Сначала Тимофеевы рассказывать никому не хотели, но как-то так само уж получилось, что через два дня после происшествия о нём знали все, а через неделю это была старая новость). Теперь Тимофеевых считали капиталистами, но это ладно, в конце концов, у каждого в жизни бывает момент, когда он вдруг становится обладателем хотя бы небольшой суммы, которой могут позавидовать окружающие. Деньги, как знали все, были не заработанные, а дурные, свалившиеся ниоткуда без видимых причин. Это несправедливо. Потому что вокруг много людей не менее достойных... И даже Серёга Захаров, пивший пиво за Тимохин счёт, потребовал себе дополнительно бутылку водки. Тимоха не спорил. Он уже устал говорить людям: чего же вы сидели по домам, шли бы, когда гудок

гудел, или лень было мёрзнуть да с трактором возиться? Конечно, никого такие объяснения не удовлетворяли, ибо не в пустых словах тут дело, а в зелёных долларах, а они были в кармане у Тимохи...

И вот он поехал в город. Давно там не был, почти десять лет. Волновался страшно, так что Зинка его даже успокаивала накануне, давала пить валерьянку. Хотя чего волноваться-то, место не чужое, родился, вырос там...

Ранним утром он дождался рейсового автобуса, влез в салон, шхтя от страха, сжимая в кармане куртки четыре пропотевших насквозь купюры, и почти всю дорогу с подозрением поглядывал на случайных своих соседей — кто из них следит, умышляет недоброе? Ему казалось, что каждый встречный знает о деньгах, о той огромной сумме, что почти беззащитная лежит в его кармане. Ведь человеку много ли надо — два раза дай ему по голове, и он уже не встанет...

Город вроде бы остался прежним, перемен внешне было немного: настроили, правда, новых зданий да стало почище, а в остальном всё то же, узнать можно. Валентин прошёлся по центру, как на экскурсии, приглядываясь к вывескам банков, густо усеявших лучшие улицы, к курсам валют, выбирая, где побольше, но решил не торопиться (время терпит), промерил сначала своими тяжёлыми ботинками волжскую набережную насквозь. Здесь было, конечно, очень красиво, но люди жили совсем другие, равнодушные к его делам и заботам, занятые собой и чем-то таким, за что Валентин не дал бы и копейки.

По набережной стайками гуляли молодые беззаботные девчонки — кто мороженое ел, кто пил сок, а кто совершенно безбоязненно тянул пиво. Одежды все с иголочки, сплошная красота. Валентин с тайной грустью поглядывал на них исподлобья: да, жаль, не довелось в своё время попробовать студенческой жизни. А ведь многое, наверно, потерял...

Перед армией он хотел поступать, но его знания не вызвали энтузиазма у комиссии. И его забрили на два года, а потом всё завертелось со страшной скоростью: Зинка, её беременность, спешная свадьба, переезд, хозяйство, ребёнок... Как будто вчера всё было, вот вроде только рукой махнул, а ведь сколько лет прошло — с ума сойти. Старик уже, почти старик, и нечего на девок пялиться. “Женою юности твоей утешайся, ибо зачем тебе другие”. Всё, иди деньги менять — да в магазин, нечего зря душу травить. Домой приедешь — полегчает.

Он решил продать доллары в государственном сбербанке. Там хоть и курс ниже был, но зато и гарантия, что не обманут, не обсчитают и вообще выдадут взамен чужих денег настоящие, свои.

У входа в банк его встретили двое улыбчивых юношей в приличных костюмах.

— Мужчина! Вы не валюту сдавать?..

— Нет, — хмуро буркнул Валентин, протискиваясь мимо них в дверь. — Я за квартиру платить.

— Здесь коммунальные платежи не принимают. А мы, если у вас доллары, купим дороже на двадцать копеек, в банке курс очень низкий, подумайте...

И откуда они узнали, черти, на лице у меня написано, что ли? Потеха от волнения, постепенно успокаиваясь, Тимоха решал, что делать дальше. Курс действительно низкий, разница будет... сорок рублей. Ого! Совсем не лишние ему рублики! А тут ещё очередь в обменник не движется, как специально, да паспорт спрашивают. Валентин, хоть и был с документами, как-то без особой радости выяснил для себя, что родное государство хочет знать о каждом своём гражданине, который меняет валюту.

Это не прибавило ему хорошего настроения. Он постоял-постоял, не понимая ни слова, пробежал глазами развешанные по стенам банковские документы, подумал-подумал... Чёрт с ним, пойду к этим ребятам, с виду они вроде ничего, авось, не обманут. Уж они-то паспорт предъявить не попросят. Только надо держать ухо востро. Деньги — из рук в руки, пересчитать сразу же, и всё такое. Знаем мы эти дела, нас не проведёшь...

Он вышел на улицу, и один из юношей с дружеской улыбкой мгновенно прилип к нему.

— Ну, как, надумали? У нас всё по-честному, без обмана, деньги при себе, — юноша небрежно вытащил пачку пятисотрублёвок и помахал ею, словно веером, перед лицом Тимохи.

— Надумал, — сказал Тимоха, красный от натуги и стыда. — Только слушай, парень, если у тебя в кармане такие деньжищи, зачем ты тут на улице мёрзнешь? Купил бы какой-нибудь магазин, что ли, да и работал...

— Курочка по зёрнышку клюёт, — усмехнулся тот. — Может, и куплю потом. Но для этого пока нужно вот здесь стоять, мёрзнуть. Зарабатывать стартовый капитал... Кстати, как у вас с капиталом, сколько будем менять?

— Это... двести, — сказал через силу Тимоха. И сказав это, раскрывшись перед незнакомыми людьми, вдруг почувствовал облегчение. — Двести баксов, значит. Валюта. Такие вот дела.

— Какими купюрами?

— По пятьдесят, — лихо ответил Валентин — так, словно бывал здесь каждый день, дело привычное. — Четыре штуки всего.

— Понятно, что четыре, — успокоили его. — Можно взглянуть?

— Можно, только...

— Сразу же отдам назад, не волнуйтесь! Просто нужно же мне убедиться, что деньги у вас действительно есть и что они настоящие.

— Ну... смотри, — сказал Тимоха, протягивая одну купюру и не выпуская её из рук.

Юноша попытался оцупать купюру, но это у него не получилось, он даже сконфузился от такой неудачи и ещё от того, что человек ему, такому прямо насквозь честному, почему-то не доверяет.

— Да я не съем, — сказал он, — никуда ваш полтинничек не денется.

Тимоха задумался, отвлёкся на секунду внутрь себя, а юноша в это время как-то очень ловко вынул деньги из ослабевших Тимохиных пальцев. Предъявил купюру хозяину: вот, ничего с ней не произошло — и стал оцупывать, сворачивать, мять и скрести на ней краску, да так рьяно, что Тимоха перепугался. Поцарапает ещё, стервец, кто её потом возьмёт?

— Следующую, — потребовал вдруг юноша очень недовольным тоном, и брови его сурово сдвинулись.

“Чего это он? — испугался Тимоха. — Неужто фальшивая? Обманул банкир, вуучил дрянь, а я сколько нервов-то потратил!” Без слов он протянул следующую купюру, и её постигла та же участь — юноша начал сворачивать её и скрести. И две другие, впрочем, тоже.

— Это что, у вас все такие? — презрительно спросил юноша, рассмотрев последнюю купюру.

— А какие — такие? — спросил Тимоха с виду храбро, но дрожа всем ливером.

— Девяносто четвёртого года. Вот, смотрите сами, — и сунул сложенные купюры под нос Тимохе.

Тимоха слепо склонился над зелёными бумажками и попытался рассмотреть дату их выпуска, но ничего не увидел, потому что не знал, где смотреть.

— А что тебе не нравится-то? Если даже и девяносто четвёртого — что они, не ходячие? В Америке, говорят, деньги чуть не по сто лет действительны.

— Так то в Америке, а мы с тобой в России живём, — пренебрежительно заметил юноша, эмоционально махнув рукой с деньгами и неожиданно переходя с Тимохой на “ты”. — Здесь ценятся новые, с иголочки, а не такие пиленные, как ты принёс. Ну, да ладно, возьму, на десять копеек дороже, чем в банке.

— Говорил же — двадцать!

— Говорил. Я думал — новые...

— Знаешь что, паренёк, давай-ка сюда мои денежки, и я пошёл. А ты жди другого дурака, — заявил Тимоха, выхватил свёрнутые в трубочку купюры из рук юноши и пихнул в карман. — Нашёлся тут... стоит в костюме... рылом торгует...

В гневе он пошёл со ступеней банка вниз широкими шагами — честный человек, которого пытались обмануть какие-то гады, но он отстоял своё до-

стоинство. Юноши быстро спустились следом за ним, сели в поджидавшую их легковушку и резво отбыли в неизвестном направлении.

“Сволочи! — думал Тимоха, шагая вдоль по улице и сжимая в карманах кулаки. — Вам было лопату в руки!.. Курочка по зёрнышку клюёт... Небось, и не видел никогда живой курицы-то... остолоп очкастый! Стартовый капитал, понимаешь... я бы тебе так стартанул!”

Внезапно какой-то человек с фотокамерой крикнул ему:

— Стоп-стоп! Замерли, замерли!.. вот так... так.

Тимоха послушно замер с приподнятой ногой, боясь поставить её на землю, словно вокруг было минное поле.

— Какая экспрессия! — восхитился фотограф, сделал несколько снимков и побежал в сторону, крича на ходу: — Спасибо! Спасибо огромное!

Тимоха простоял так ещё несколько секунд, а потом плюнул и чертыхнулся. Вот, не хватало ещё в газеты попасть! Простота деревенская!

Вывески банков сменяли одна другую. Надо было что-то делать. Он зашёл в “Сельскохозяйственный банк” — название показалось надёжным, близким. Может, здесь возьмут доллары без паспорта. И у окошка обменного пункта, как хорошо, никого не было.

— Вы мне не поможете, я паспорт дома оставил, а вот нужно срочно валюту обменять, — обратился Валентин к даме, сидевшей за бронированным стеклом.

Дама слегка кивнула, полуприкрыв глаза. Вот удача-то! Тимоха обрадовался. И плевать на курс, тут уж не до курсов...

— Какую сумму хотите обменять?

— Двести долларов! — почти весело крикнул Тимоха в железный ящик, выдвинутый дамой. — И всего делов!

Он залихватски кинул в ящик скатанные доллары, дама потянула их к себе, вытащила и развернула.

— Сегодня небольшую сумму меняю, — деловито говорил Тимоха, стараясь как-то развлекать даму, чтобы она не передумала. — Обычно-то у меня больше...

Дама показала Тимохе жестом, что она всё равно ничего не слышит, и внимательнейшим образом начала изучать деньги.

— Чего на них смотреть-то, или первый раз видите, — устало улыбался Тимоха, купец первой гильдии. — Бумажки — они бумажки и есть. Дрянь, в общем...

— Мужчина, вы сколько мне дали? Ничего не перепутали? — спросила дама через микрофон железным голосом. — Смотрите внимательно.

И она показала ему четыре развернутых бумажки, на каждой из которых стояла цифра “1”.

— Ваши?

— Мои?.. — Тимоха ничего не понимал. — Это что же такое-то, а? А где деньги?

— Не знаю. Я вижу перед собой четыре доллара США, и только. Если желаете, могу обменять их на рубли.

Тимоха выслушал её с по-детски приоткрытым ртом. В его памяти проплыло лицо вежливого юноши, взмах руки с зажатыми в ней купюрами, и то, как быстро эти ребята уехали на машине сразу после “неудавшейся” сделки с Тимохой. Для кого-то, конечно, неудавшейся... Осознав всё это, Валентин как будто получил внезапный сильный удар в лоб.

Он сжал руками голову и даже чуть присел, покачиваясь из стороны в сторону. “У-у-у... м-м-м... у-у-у... м-м-м...” — неслось из него мучительное бессловесное ругательство и проклятье. Да, то, чего боялся, то и случилось. Нет больше денег. Прощайте, пальто и магнитофон! Да не столько жаль было ему потерянных денег и не купленных вещей, как стыдно перед собой и людьми, что оказался таким простаком, лохом, что его так элементарно обвели вокруг пальца, кинули деревенщину! О-о, сволочи! И ещё тётка эта в бронированном окне, свидетельница позора, конечно, обо всем уже догадалась, у них такие дела, может, каждый день здесь творятся.

Надо было сдержаться, да уж больно неожиданно это всё на него рухнуло — ведь есть же на земле такие сволочи, и как она их только носит, а?!

— Меняйте! — приказал Тимоха, играя желваками. Он более-менее взял себя в руки. Всё, всё. Было да сплыло, теперь не вернёшь. Чужие деньги к чужим людям и ушли. Ещё заплачь перед этой бабой — стыд потом на всю жизнь. Надо хотя бы эти четыре бумажки превратить во что-то полезное, жене цветов купить или шампанского привезти да весело отметить такое безобразие. Шампанского сто лет не пил... Зинка ему, конечно, ничего не скажет (а может, и скажет, а может, и клок волос вырвет, если не в настроении, но потом все равно успокоится и простит). Забыть, забыть поскорее всю эту чужь и наваждение. Домой, домой, прочь отсюда!

Он срёб из ящика небольшую стопку десяток вместе с мелочью и торопливо ушёл, роняя монеты и не обращая на это внимания, и вслед ему подпрыгивало серебро и медь, словно хватая за брюки в безуспешной попытке удержать.

На улице Тимоха вдохнул всей грудью холодный прозрачный воздух. Немного полегчало. Слава Богу, что всё кончилось. Нет, но какие гады, а?... какие гады... Он знал, что случившееся ещё долго будет преследовать его, не давать спокойно жить. Может, месяц, а может, и больше он будет мучить себя, пока боль не притупится. В конце концов, через год он будет вспоминать об этом со смехом. Так что лучше уже сейчас представить себе, что прошёл год, и не рвать понапрасну нервы.

И ещё он знал точно, что этим вежливым юношам их дела с рук не сойдут, и, в конце концов, будет им в десять раз хуже, чем ему сейчас, — уж Бог-то не фраер!

Так, куда же теперь? Что делать с оставшимися деньгами?

И тут он услышал знакомый голос:

— Тимофеев! Валентин! Какими судьбами? Что не весел, что головушку повесил?

Почему-то Тимоха даже не удивился, увидев очкастого банкира за штурвалом все той же чёрной подводной лодки. Совпадения никогда не бывают случайными, и Тимоха понял, что всё, что произошло сегодня с ним, было давно придумано и осуществлено мудрым распорядителем судеб. И что удивительно, он даже обрадовался очкастому, словно это был его родной брат. Вот уж чего от себя не ожидал!

— О! Здравствуйте! — крикнул он весело, подходя к машине и ласково поглаживая её по гладкому боку, как знакомую лошадь. — А я вот из банка...

— Вижу, вижу, — говорил очкастый, выбираясь из-за руля. Он ласково оглядел Тимоху (тоже почему-то был рад), и вдруг они оба непроизвольно шагнули навстречу друг другу и то ли в шутку, то ли всерьёз обнялись и даже легонько охлопали спины друг друга. Тимоха мгновенно забыл про все свои беды.

— Ну, что, — сказал он радостно, — хорошо бы по пивку... раз уж такое дело. Утощаю. Я сегодня богатый.

— По пивку — это славно, только утощать буду я, — решил банкир. — И даже не думай сопротивляться. А кетати, с чего это ты богатый-то, Валентин, сегодня?

— Доллары сдавал, — солидно похвастался Тимоха. — Ваши же, помните?

— Как не помнить, — кивнул очкастый, — помню очень хорошо. Вон в чём дело! Ясно. Ну, и как, много сдал?

— Ага, — кивнул Тимоха, подмигивая. — Все четыре.

— Почему четыре? — удивился банкир. — Я же тебе...

— Да, двести. Всё точно. Но я сегодня сдал четыре. Угадайте, почему?

Банкир думал недолго. Понимание ситуации отразилось на его лице буквально через секунду; потом он неуверенно рассмеялся, а Тимоха поддержал его весёлым гогомом, и тут уж они на пару заржали, стоя напротив друг друга и уперев руки в бока.

— Ах, ты, пенёк лесной, возле банка валоту вздумал менять, — надрылся банкир, от смеха кашляя и утирая бегущие из-под очков слёзы. — Да разве тебя мама в детстве не учила, что так нельзя... ой, ну, уморил, ну, насмешил!.. А я-то думал: помогу человеку, дам денег немного... а он их возле банка менять!..

— Дак вот оно как получается, — хохотал Валентин, — что вам нельзя в деревню ездить, а мне в городе делать нечего. Каждый сверчок знай свой шесток, вот ведь оно как!

— Но если ты думаешь, что я по своей доброте компенсирую тебе эту потерю, то ты плохо меня знаешь! — грозил пальцем банкир. — Пусть это послужит тебе хорошим уроком... опыт — великая вещь, дороже него только сама жизнь...

— Ой, спасибо, да я теперь и под пушкой не возьму!..

И они ещё минуты две беззлобно смеялись друг над другом, а потом согласо пошли в кабак. И в тот вечер было выпито немало доброго баварского пива. Языки распускались, размачиваемые каждой новой кружкой. По ходу дела выяснилось, что очкастый — славный парень, и родители-то его приехали в город из деревни, в детстве ловил там в речке во-от таких щук, а какое там было душистое сено, какие стога, и как здорово было там валяться!.. Опять же, парное молоко, гладкие молодые девки вот с такими дойками — сказка... Да и не банкир никакой это был вовсе, а директор механического завода.

— Я на своём заводе вот с таких начинал, учеником электромонтера связи. Потом электромонтером, потом мастером работал, начальником цеха, потом вдруг раз — и директор. И теперь завод мой, Валя. Но у меня его хотят отнять...

— Кто?

— Да московские упыри. Им ведь всё по хрену, на людей наплевать, главное — срубить бабло...

— Слушай, а зачем тебе завод? — спросил Тимоха.

— Ну, как зачем? — удивился “банкир”. (Тимоха так и звал его про себя “банкиром”). Это ж мой завод. Я там вот с таких, и родители работали. Моё дело, бизнес, понимаешь? Я на своём заводе за всё отвечаю.

— А как это вообще завод может быть твоим? — недоумевал Тимоха. — Ну — собственным? Он же ничей, не может никому принадлежать. Завод — это просто такое место, куда люди ходят на работу.

— Нет, Валентин, теперь такое время, что завод не может быть ничей. И должен он быть только мой, потому что он мой и есть...

Вскоре “банкир” уже сомневался, стоит ли ему самому садиться за руль, так славно было выпито. Но потом выяснилось, что Тимохины автобусы давно ушли, домой ему придётся добираться неизвестно как.

— Я тебя отвезу, — сказал банкир. — И даже не думай возражать. Я тебя в это дело втравил — значит, должен доставить. Только уж ты показывай мне дорогу, а то опять встрянем в какую-нибудь лужу...

— Так вытащить-то недолго, опыт у нас теперь имеется, — подмигнул Тимоха. И опять они посмеялись.

День, в общем, прошёл удачно, думал Тимоха; его неудержимо тянуло в сон, но он героически встряхивал головой и смотрел на дорогу. На заднем сиденье лежал роскошный букет роз для Зинаиды — “банкир” купил, настоял: мол, прости меня за тот дурацкий разговор, сам не знаю, что накатило. В общем, оказалось, хороший человек, а это главное. Как зовут только, Тимоха не выяснил... Деньги пропали — наплевать. Деньгам у нас счёту нет. Нечего считать. Бог с ним, всё хорошо. Только бы душой не озлобиться, за быть всё поскорей.

Он высадился возле дома, пожал руку банкиру, промычал что-то вроде: ну, заезжай там когда... Машина развернулась и поехала прочь. Валентин махнул ей вслед букетом и направился к крыльцу. Увидел, что в окно встревоженно смотрит Зинаида. Он широко улыбнулся ей, крикнул:

— Встречай гостя дорогого, красавица!

А затем, откашлявшись и выставив щитом вперёд розы и шампанское, словно свататься пришёл, открыл дверь своего дома.

МИХАИЛ ЕСЬКОВ



НАРЕЧЁННАЯ

РАССКАЗ

1

Не грела кровь. Не узнавал себя в зеркале.

— Побыл у врачей... Пап, ты... В общем, ты мужественный...

Зятю нелегко, взгляд мимо, хотя вроде и на тебя:

— Готовы анализы... Сказали: “Однозначно рак... Не особо злой...”

Открывшийся ужас обрушил в бездонную пустоту — всё померкло. Всё стало лишним. Зять поспешил уйти. Освободил и себя, и Михаила Николаевича от обременительного общения. Понять его нетрудно: ты уже вроде как отсутствуешь. Даже о погоде пустяшный разговор будет неизбежно тягостным, без надобности: “до свиданья” уже произнесено. Жена, дети, внуки, друзья, сотни знакомых хороших людей — теперь никто не поможет. Один на голой земле.

Чувствуя себя ненужным, увяз, затаился в скукоженной безысходности. “Скоро будет — нас не будет...” — слова из услышанной когда-то незатейливой песни не случайно осели в душе — теперь вот выстрелили в цель. “Скоро будет... Скоро будет...”... За что — ему?.. За что?.. Злым вроде не был, с кем доводилось встречаться — всех за людей считал, многих чтил выше себя. Тогда почему — он? Почему?.. Ещё не устал жить, а уже уходить...

ЕСКОВ Михаил Николаевич родился в 1935 г. на хуторе Луг в Пристенском районе Курской области. После окончания Курского медицинского института работал в сельской больнице. Затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и многие годы преподавал в медицинском институте. Автор книг “Дорога к дому”, “Серебряный день”, “Старая яблоня с осколком”, “Чёрная рубаха”, “Сеанс гипноза” и других. Лауреат губернаторской премии им. Е. И. Носова. Член Союза писателей России. Живёт в Курске.

Ничего не хотелось... забиться бы в угол, никого и ничего не видеть. Безучастно думалось: скорее бы... Сам с собою продолжал бы леденеть. Но жена стала приносить приветы. Чуть не каждый день и по несколько человек звонили ей на работу, слали ему сочувствие и самые несбыточные пожелания. Выходит, далёкая беда не так уж безразлична, не посторонний глухой наклад: пришлых на земле нет — все свои. Вот и он безликим не оказался: столько народа сердцем откликнулось, столько неожиданного тепла обозначилось, хоть начинай жить сначала.

А главное, постороннее участие сдвинуло его с обречённого места. Появилось желание вызволить себя из печального тупика, вызволить пусть на время, а там — видно будет. И потянулись сумеречные больничные дни в томительном, опасливом ожидании предстоящих операций. Болезнь-то лохматая, без особой надежды, даже когда оказываешься в Онкоцентре на Каширке. Это чувствуешь уже по тому, что здесь все на тебя похоже, все глубоко подавлены, потерянно одинаковы: не смеются, в голос не разговаривают. Словно в запредельном отдалённом мире, всё здесь приглушено, без ярких красок, в безотрадном разладе отстранено от бегучей жизни, предуготовано. Понятно, в такой ситуации не развеселишься... Перед поездкой сюда повидался с родственниками, как попрощался. Если взрослые ещё давили вздохи, изображая беззаботное, обыденное, то внучка что думала, то и сказала: “Дедушка, как же я без тебя?”...

В книжках, прочитав которые советовали знакомые, говорится, что причиной рака является, прежде всего, снедающее уныние. Известно ведь, что грехи наши Бог может простить, а нервная система — никогда. Собственный приговор гнетущей ненужности запечатлён в древнем латинском изречении: “Лучше умереть тому, кому не хочется жить”. Горестно, но пришлось согласиться с этим: что было, то было. Случалось подходить к последней черте... Там же, в книжках, настойчиво предлагалось вспомнить и выпросить прощение у тех, кому когда-либо причинил зло, оставил даже ненамеренную будничную обиду или иное нестроение.

Поначалу думалось: ну, какое зло мог сотворить? Начальником не был, на чужое не зарился, а уж как трудился, воистину — в поте лица хлеб насущный добывал. За что и перед кем каяться?.. Оказывается, человек изнутри не так чист, как выглядит снаружи. И есть отчего: на ноге пять пальцев, и четыре из них только и ждут, как бы не туда тебя увести. Уже сколько времени память отправлялась в бездонное былое, там он то и дело натывался на мусор от вроде бы навсегда забытых неприглядных поступков. Бессонными ночами вершил запоздалый суд. Многих, перед кем винился, в живых не было, а всё одно стыдно было по живому. Воспоминания неожиданно начали отвлекать от жалостливых едучих мыслей, выдували безотрадный разлад, словно проветривали затхлое помещение.

А давние события вели себя по-разному. Казалось, одни только и ждали, чтобы примириться, оставить просветление в душе и кротко отдалиться. К другим же возвращаться приходилось не раз. Вот и Кумаманька вроде бы не по делу накрепко застряла, не уходила из памяти, хотя Михаил Николаевич не мог сообразить, в чём поступал неправильно. Никаких посулов с его стороны не давалось. В невесты не звал.

Ничего ведь не было, помаячила лишь надуманная женитьба. Учился тогда в шестом классе. Мать слегла, долго хворала. С утра он растапливал печку, готовил еду, доил корову, задавал корм скотине, затем уже шёл в школу за пять километров. После уроков — бесконечная маята по хозяйству до поздней ночи. И так изо дня в день. Вот мать и решилась:

— Жано тебя.

Понять её нетрудно: изболелась душой, глядя, как он разрывается между школой и домашними немужскими хлопотами. Михаил Николаевич, в ту пору Мишка, этим словам лишь улыбнулся, как улыбаешься мимолётной шутке, которую тут же и забываешь.

— Кумаманька — девка работяшная. Что старше, так это даже хорошо: жана будет справная, — обозначая наречённую невесту, мать и тут не отступила от обычного правила, предложила бабу на вырост, как носкую одежду для подростка.

После немецкой оккупации кинулись оживлять задичавшие огороды. Два года земля пробывала под войной, отбилась от рук: покрылась колочками, забурьянела — переиначилась неузнаваемо. Лошадей не было, коровами тоже не обзавелись, выручала лопата, в ходу оказывался и единственный на весь хутор плужок для “бабьей тяги”.

Помочь взрослым сёстрам согласилась тогда ещё не прозванная Куманькой безотказная Пчёлкина Манька. Манька была моложе сестёр, а телом успела их перегнать. Она впряглась коренной в борозду для основной тяги. Восьмилетний Мишка встал за плуг. Кто пахал, тот знает: в неумелых и слабых руках что только не вытворяет этот самовольный проказник. То забавляется потешными ковылюгами, то чуть ли не стоймя вонзается в клятую глущь, а то и вовсе дурашливо выныривает наружу, скользким лемехом оставляя вдавленный блестящий след.

Чтобы не портить борозду, долго приходилось принаравливаться к вертявым ручкам плуга, что есть силы удерживая их от неуёмного кольхания. А тут ещё Манька подхлестывала:

— Мишка, взял бы кнут, да кнутом — нас... Ну, так погоняй матюками... Матюкнись, отведи душу, ты ж мужик...

На последние метры духу не хватило. В руках не осталось никакой силы. Некстати запутался ногами... Манька сняла шлею, вышагнула из построма, кинулась его поднимать:

— Говорила тебе: матюкайся... Так бы не уморился...

А он лежал бы и лежал. На солнце сыто лоснились пласты свежей пахоты. Из земли, как из живого пореза, сверкая, проступал сок. Казалось, вокруг ничего больше не существовало. Было тихо, радостно, словно во сне... И не так горестно отозвались слова матери:

— Кости, как у курёнка, — а уже за плуг. Что ж это дееся, Господи...

...Как-то само собою повелось — без Маньки редко обходились. Когда требовалась посторонняя сила, она выручала многих. Ну, а чтобы на всякий случай быть поближе, породственной, с Манькой часто кумились. И за глаза, и в глаза звалась она Кумаманькой. Вот на ней-то и предстояло жениться. Перед этим недели две не ходил на опостылевшие занятия, подумывал остаться дома насовсем. Возможно, это и подтолкнуло мать окончательно определить его в жизни.

— Школу не брошу, — заявил Мишка и с радостью вернулся в свой шестой класс.

Поначалу побаивался: вдруг на хуторе начнут судачить. Могут по делу и без дела приклеить даже то, чего не было. К счастью, материно намерение не выпросталось наружу, не попало на бабьи языки. Скорее всего, тётка Фрося и сама Кумаманька тоже были в неведении. Встречаясь с ними, он не заметил каких-либо изменений всегдашнего поведения. А со временем успокоился, обошлось: никому ничего не известно.

...С мужиками и такими же, как и он, подростками в летние каникулы после девятого класса Мишка ходил на колхозные наряды. Трудиться приходилось не только днём, но и ночью: горячей сельской порой, будь двойные часы — и их бы не хватило. В тот раз на нескольких арбах перевозили ржаные снопы к молотилке на ток. Им с Кумаманькой достался самый дальний угол поля. Работа несложная: Кумаманька из крестцов подавала снопы, он укладывал их в рядки, навивал воз, отъезжал, разгружался и возвращался для следующей ходки.

К полуночи луна основательно обжилась и бодро взобралась на самую макушку. Света было как раз столько, сколько нужно, чтобы различать, что вблизи, глядеть же вдаль нужды не было. Погромыхивая ярмом, размеренно сопели волы, валко вихлялась и монотонно скрипела арба, убакюкивающие покачивались грядущки. Намажно и незаметно всё окрест начало убывать...

Наверное, от тишины и чуткого покоя Мишка испуганно вздрогнул:

ишь ты, сладко придремнул. А волю стояли в нужном месте, добрели сами без его цобцобеканья. Им, бедолагам, достаётся: сутками дышло да тянучая арба. Вечером и на утренней заре, не снимая ярма, на час-другой пускают покормиться в ближайшую лощину — и вся жизнь. Они даже приспособились натруженно засыпать стоя, как лошади.

Кумаманька тоже придремнула. Пробыть день-деньской с тяпкой на бурках: немудрено смориться. Сон и свалил её без оглядки. А у него перед глазами совсем не сонная Кумаманька.

Мишка знал, что по наряду ему с Кумаманькой предстоит работать ночью, решил за ней зайти, чтобы в поле отправиться вместе. В хате у Пчёлкиных никого не оказалось, в сарае была открыта дверь, направился туда. И будто споткнулся... Раздетая Кумаманька стояла в корыте, а тётка Фрося из деревянного ковша поливала её водой.

— Ма-а, погоди, не расходуёшь зря. Дай мочалой растереться, а то воды не хватит.

Руки Кумаманьки скользили по телу, как нарочно, указывая места, куда непременно нужно поглядеть. И на самом деле интересно было впервые рассмотреть, где и что расположено. Зрелище ошеломительное.

Замирая от неясного будоражающего чувства, Мишка долго заворуженно стоял перед Кумаманькой. На сложенных по стерне снопах в углу крестца она вольно разметалась, будто дома на кровати. И впервые не стыдно было глядеть на её оголённые ноги выше колен. А луна, казалось, сюда только и светила. Ведьма, а не луна! Осторожно примостился рядом с Кумаманькой, затем не удержался, легонько поцеловал в губы. Вдруг в памяти вся она вымельком обнажилась, как тогда, в корыте... Бешено забухала кровь, и руки рванулись к постижению...

— Не надо!.. Пусти!..

...Дома не успел оглядеться, как услышал от матери:

— Кумаманька даже больная. Узнала, что ты должен приехать, просила зайти.

— А что с ней?

— Ревматизма в три погибели скрутила, с ложки кормят... И в больнице лежала, да что толку.

Мать не дала-таки обвыкнуться после дороги, выпроводила к Пчёлкиным. Михаил Николаевич позвал с собой жену: она терапевт, такие болезни по её части.

С порога обдало крутым застоялым духом неухоженности. В исподней рубашке, обвисшей на костлявых плечах, на кровати понуро сидела согнутая старуха: от прежней рослости и половины не осталось. Бросилось в глаза: с головы свисал пожухлый клок растрёпанных волос с тряпочной полуразвязанной тесёмкой. А коса была — на зависть! Сердце полыхнуло острой жалостью: и это Кумаманька!.. Она, должно быть, почувствовала его смятение:

— Мишка, или испугался?.. Видишь, какая теперича. На работу была даже жадная, вот Бог и наказал. Помнишь, как сутками чертячили. Спать некогда, на ходу, бывало, прикорнёшь, и то бегом... Бурак тот-то — всё лето под пеклом. А уборка: слякоть не слякоть, мороз не мороз — до глубокого снега. Иной год поступала команда топорами вырубать из мёрзлой земли, дубасили, как шахтёры, но те хоть посменно, а бабам никакой смены не полагалось.

Вмешалась тётка Фрося:

— Манька, будя тебе про работу.

— Мам, а про что ишшо? Окромья работы я ить ничего не видала.

— Про работу ты мне талдонь, а они врачи, им про болезнь рассказывай.

— Чего рассказывать, и так видно. Вон пальцы горбылями в разные стороны. Руки, ноги скрючило — калеккой издалася.

Когда возвращались от Пчёлкиных, жена удручённо произнесла:

— Жалко женщину. Ты тоже, гляжу, переживаешь.

Михаил Николаевич терзался непонятным укором, словно был виноват, что Кумаманька заболела. Остерёгся сказать: у него могла быть совсем иная

семейная жизнь. Ничего не боялся: жена в разуме — обошлось бы без раздора. И всё же решил оставить тайну нетронутой, будто и впрямь жалко было лишиться того, что принадлежит только одному тебе.

С профессиональной дотошностью жена подытоживала:

— Болезнь развернулась полностью: по утрам скованность, нарастание боли, затем деформация пальцев, поражение локтевых, коленных суставов, позвоночника. Для ревматоидного артрита — классическая картина.

— Зря она отказалась от направления к вам в областную больницу, — сетовал Михаил Николаевич. — Подобрали бы лечение понадежней.

— Что здесь, что у нас — тот же аспирин. К тому же, в районной больнице проведено необходимое обследование. Было бы не ясно с диагнозом — другое дело. А так она права, что отказалась: лишние мучения... Господи, какое несчастье, когда ничем не можешь помочь! От чужих страданий душа места не находит.

Через два дня Михаил Николаевич снова побывал у Пчёлкиных. Девчушка-племянница шепотком передала, что Кумаманька просила его навеститься, чтоб приходил “без никого” и захватил трубку послушать. Племянница мала, но хитруха ещё та: затеяла увести жену на неблизкую от хутора поляну, где в травянистых лощинах на солнышке всегда полно земляники.

Кумаманька на этот раз поприбралась: причёсана в опрятную косу, замашная рубаха выстирана, и плечи вроде бы не такие никлые. И воздух в хате обычный, чистый. Ясно, тётка Фрося обиходила, самой же Кумаманьке ту же рубаху сменить — белый свет померкнет.

— Здравствуй, Миша, здравствуй... Спасибо, не отказался зайти. — Кумаманька внимательно его рассматривала: — А ты стал игрневый: седых волос больше, чем рыжих... Бери табуретку, садись поближе, это ж сколько годочков тебя не видала...

Мягкая улыбка на вздрагивающих губах оплывала стылое измученное лицо, и этому оживлению Кумаманька откровенно удивилась:

— Надо же, ты пришёл — и про болезнь забыла. Без спасу ни днём, ни ночью. От боли зубы стёрла. А тут занигунуло — надо же... Трубку, вижу, принёс. Послухай меня.

— Жена ведь тебя слушала, она в своём деле неплохо разбирается.

— Ты послухай... То, что говорила твоя жена, по правде сказать, я не упомянула. А врачей, может быть, больше не дождусь: больница не рядом, да и кому мы нужны.

Когда всё внимание было нацелено на прослушивание сердца, случился момент: глаза Михаила Николаевича и глаза Кумаманьки оказались так близко, так незащитно и так глубоко распахнуты, что взгляды их мгновенно проникли друг в друга, соединились и замерли в боязном наваждении. Словно издалека дошёл почти неузнаваемый голос:

— Ну, и что обнаружил? Улечимое, ай нет?

Михаил Николаевич заторможенно, нескоро смог отозваться:

— Сердце здоровое, не больное. Лёгкие тоже... Не в них дело...

— Сама то-то знаю. Не знаю только: сколько мне ещё?... По радиву одна бывшая комсомолка хвалилась, что свою жизнь хотела бы заново прожить. А я жизнью не повладела, доля выпала что мне, что матери: в смирной одежде с одним платком на две головы... Гагарин с Титовым слетали в космос... Лучше бы на те-то деньги для таких, как я, лекарства разработали, да было бы на что матери новую кухвайку кушать...

— Ох, да ну её, эту болезнь! Всё затмила. Я никогда звягливой не была, от боли вою сквозь зубы. Сейчас вот расквохталась. Ты-то как живёшь? С женой ладите?... Значит, двое детей. Это счастье: есть, кого любить... Жена твоя бабам понравилась: ухоженная, статная. На вашу свадьбу мы в окна любовались.

Тогда в осенней ночной темени на свет из хаты роились десятки любопытных. Судя по тому, что мать с закусками и графином то и дело отправлялась угощать хуторян, собралось их там немало. А мать ходила и ходила: пусть гуляют, чтобы свадьба была в память. В памяти и у Кумаманьки сохранилось:

— Как мы завидовали: вы были такие радостные, так много целовались... А меня единственный разочек поцеловали. Помнишь?.. Я, Миша, осталась нетронутой, девкой ухожу. Сдуру закричала, когда ты полез ко мне, а ты ведь всегда нежный был, переживчивый. Иной собственное горе горюет издали, а у тебя чужое — как своё.

Прежняя жизнь — далёкое марево, вспять не вернёшься. Там, в сущности, был другой человек, которого Михаил Николаевич признавал неохотно. Но жалость к Кумаманьке всё равно возвращала в безотчётное прошлое, и непонятно, отчего было неуютно, раздражено в душе. Заметив его удручённость, Кумаманька забеспокоилась:

— Спешить? Ну, ещё минутка...

И тут же Михаил Николаевич услышал, чего никак не ожидал услышать:

— Хорошо исделал, что на мне не жанился. Что б ты увидал?..

...Не выходя на дорогу, около хаты Пчёлкиных он достал из кармана Кумаманькин свадебный подарок. На носовом платке прыгающими буквами было вышито: “Мишки от Маньки”. Такие платки своим наречённым деревенские девушки дарили на долгую и верную любовь.

Где-то внутри, где у человека помещается всё самое важное, поселился прощальный голос:

— Миша, поцелуй меня... Как тогда...

3

Кто-то хлёстко изрёк: “К счастью, все мы смертны”. Такое лихо сказать в пустой белый свет. Когда коснётся тебя самого, философские измышления, скорее всего, обернутся недобрым напутствием в сырую землю. Как врач, Михаил Николаевич представить не мог ликующего состояния перед последним вздохом. Счастье — жить! А смерть — какое счастье? Если же полагать, что мы, человеки, гожи лишь в качестве навоза на земле, тогда не следует изобретать заоблачно высокие мысли. Вот он не знает, куда деться от поиска вины перед бедной женщиной. Значит, есть смысл определиться, во всём ли поступал, как подобает. Был ведь не травой. Жил среди людей и жил не ради смерти.

Кумаманька... Кумаманька... Сколько ни припоминал всё, что с ней было связано, не находил повода просить прощения. Думалось, было бы спокойнее, если бы она вовсе не знала ни о какой женитьбе. Но эта несчастная женитьба слетела же не с его языка? Он и сам сторонился огласки... Жалкий поцелуй и такой же жалкий порыв к сближению. Здесь-то какая вина? В том, что ли, что оказался на откровенном расстоянии, когда перед окончательным шагом оставалось только зажмуриться, но и тут он безгрешен. В конце концов, почему надо искать какую-то вину на голом месте? Пора заглушить память, отстраниться от посторонних раздумий... На днях четвёртая операция. Не последняя ли? Уж очень недобрые знаки.

В палате разрешили переночевать жене. Такое позволялось и раньше, правда, лишь для необходимого ухода. В этот раз — по больничным меркам — без достаточных на то оснований отступили от правила, скорее всего, из жалости к нему. А накануне пациента с соседней койки выписали на вспомогательное облучение. Без дальнейшей перспективы. Ушёл он молча, лишь пожал Михаилу Николаевичу руку, оставив в ладони леденеющий след. От опустевшей койки сквозило тягостной зябкостью... Может, и за ним скоро двери закроются, останется такое же остывшее место... Окажись в одиночестве, чёрные мысли давили бы неотвязно. На кушетке отдыхала жена, спала, не спала — не имело значения, — главное, привычная опора была рядом, и чувствовал он себя не так сиротливо. Жене выпало самое горькое, кроме кучи всяческих забот, — быть может, знать что-то такое, что пытаются от него скрыть.

Скрывают, несомненно. Случайно увидел, как из профессорского кабинета она вышла в слезах. Надо бы кинуться на помощь. Но чем поможешь? Решил не объявляться, незаметно удалился в палату. Нетрудно предполо-

жить, что ей могли сказать: “Готовьтесь к худшему”. Лучше бы находиться в неведении, а то, словно по уговору, начали осторожничать в словах. Каждый хранил свою часть тайны, друг от друга глаза прятали.

...Операция — завтра. На обходе профессор поинтересовался, живы ли родители. Когда услышал, что матери сто два года, не сдержался:

— Что ж ты такой гнилой?

Во время болезни острее всего воспринимается жалость: как напоминание о скором и непременном твоём окончании. Если уж что-то знаешь, куда милосерднее было бы промолчать, но здоровый худого не разумеет. Здоровою невдомёк каждое слово, всякий припрятанный взгляд не ускользает от истрадавшей оголённой души. Иногда так хочется послать подальше каждого, кто вольно или невольно затевает над тобой преждевременную панихиду. Вот и во время врачебного обхода не устоял, решил хоть чем-нибудь разбавить мрачный настрой, рассказал байку:

— В лесу вдруг объявилась пещера. Медведь увидел и думает: “Что́ бы это значило?” Заходит. А там огромный циклоп спрашивает жутким голосом: “Кто?” — “Медведь”, — отвечает медведь. “Записываю: медведь. Сегодня приходи в семнадцать ноль-ноль. Съем тебя. Вопросы есть?”... Какие уж тут вопросы? Медведь опустил голову и понуро поплёлся вон. Волк и лиса тоже побывали у циклопа. Само собою, зайцу стало интересно, что же это произошло: из пещеры звери выбредали на зверей не похожие. Никогда не было, чтобы грозные властители всего живого выглядели такими обессиленными и жалкими, хуже мокрой курицы. Недолго думая, заяц и сам отправился в пещеру. “Кто?” — раздался неслышанно жуткий голос. У зайца от страха уши поникли. “Заяц я”, — доверился он. “Записываю: заяц. В девять ноль-ноль придёшь завтра. Съем тебя. Вопросы есть?” — “Есть. А можно не приходиться?” — “Можно. Вычёркиваю”.

— Нам бы такого зайца, — сухо одобрил профессор.

Никто из докторов не вымучил и полуулыбки, следом за профессором они так поспешили к двери, словно в палате нечем было дышать. Думай, что хочешь. Могло стать: байка глупая. Или, что вероятнее, заячья фортуна — не про завтрашний день. Кого и с чем отправляют на операционной стол, обсуждается на врачебной пятиминутке, а на обходе решаются лишь формальности. Так что его шансы уже определены, и коллег рассказами не развеселишь.

...Жена отсутствовала до вечера. Полагал, что задержалась у московских родственников, а она ходила в церковь и отстояла многочасовую очередь к могиле какой-то святой Матроны. “Это же надо — ухандокачь день!” — поразился Михаил Николаевич. Он был закоренелый материалист, и всё же подставил голову, чтобы надеть на шею белую шёлковую ниточку с серебряным крестиком, жалеючи измученную жену, согласился на неблагоприятное отступление. К засушенным цветам с могилы святой Матроны тоже не проникся. Завтра санитарка явится убирать палату, смахнёт их с тумбочки в мусорное ведро — и все дела.

На манер матери жена перекрестила его:

— Всё будет хорошо.

В её глазах растворилось сумрачное больничное горе, сквозь слёзы проглянул обычный радостный свет.

И он поддался порыву жены: в груди попросторнело, словно вытолкнули какую-то затычку, дали доступ живому воздуху. Спокойно думалось: “Авось обойдётся”. Весь вечер колыхало почти детское непредвиденное возбуждение, мечталось о возвращении домой, о желанной рыбалке при любой погоде. И Кумаманька вроде бы не преследовала с прежней настойчивостью. Возможно, он выдумал вину перед нею, не исключено. Случалось, он вредничал с сёстрами, обманывал мать, скрывал те или другие проказы. Да и всегда ли был прав? Жизнь особо не миловала: не обходилось и без взаимных нечутких ответов. Что негоднее натворил в тот или иной раз, почти тут же

бывало очевидно. А Кумаманька... Где то́ плохое, что он ей сделал? Жалко, конечно, женщина жизнь прожила наречённой невестой, так и не изведав любви. Вдобавок заболела. Сегодня к её болезни нашли бы подход: есть действенные лекарства, не в пример аспирина.

Перед предыдущими операциями в душе бродил сырой бесконечный холод обречённости. Потом, после операций, всё одно оставалась въедливая липкая потерянности, давило мрачное бремя. А в этот раз происходило нечто непонятное. С охотой замышлялись далёкие планы. И странно: не возникало сомнения, что планы могут не сбыться, ведь до сих пор справиться с болезнью так и не удалось. Но он легко верил, что всё будет хорошо, а остальное старался близко не подпускать. Вот только Кумаманька... Вынуть бы эту занозу. Очиститься. Понять бы, за что каяться, без того, возможно, затрашнный день не состоится. Ах, как жалко, что не получается спокойно отбыть последние минутки перед операцией. Вот уже и каталку подали.

— Больной, раздевайтесь, ложитесь, — командует медсестра.

По мере того, как снимаешь одежду, обнажаешься, когда сам ещё на твёрдых ногах, но ложишься, чтобы тебя везли, начинаешь понимать, что ты уже не в этой жизни, тобой распоряжаются уже другие люди. И как это им удастся, ты можешь и не узнать.

— Зубные протезы выньте и крестик снимите, — диктует медсестра.

Зубы у Михаила Николаевича были свои. А крестик... Разумеется, он понимал, на теле не должно быть ничего лишнего, что в непредвиденных случаях способно помешать врачевным манипуляциям. И всё же... Остаться без оберега — вдруг лишишься обречённой, хотя и иллюзорной, но благосклонной защиты, которую он начал ощущать.

Из рук в руки передал жене крестик и напутствовал:

— Цветочки сохрани, спрячь подальше.

...Вводный наркоз, прежде всего, расслабляет мышцы, не то что ногой или рукой пошевелить, язык с места не стронуть. Какое-то время не угасшим остаётся восприятие окружающих звуков. А врачи полагают, что произошло полное отключение, и у твоего изголовья говорят о чём угодно без опаски. Вот и сейчас он хорошо слышал, как анестезиолог любезничал с медсестрой.

— Во сне часто вас вижу.

— На ночь не пейте кофе. Сон будет глубокий.

— Не помогает. Кстати, нынешней ночью потрясающе переспал с вами.

— С женой надо спать...

Анестезиолог продолжал свои соблазнения. А Михаил Николаевич уплывающим сознанием наконец-то понял: Кумаманьку он соблазнял несостоявшейся женитьбой, неожиданным порывом к близости...

И на краю провальной темноты успел-таки вымолвить душой:

— Виноват... Прости...

...На “Соколе” жена вдруг повела его к выходу в другую сторону. Он недоумевал: оттуда к московским родственникам ехать придётся с пересадками. Пересадки так пересадки, какая разница, когда готов птицей лететь от неостывших слов профессора. Родился под счастливой звездой. Считаю жизнь подарком. На прощанье профессор по-свойски проникновенно даже обнял его.

— Зайдём, молебен закажу, — жена увлекла его в невзрачную калитку. — Благодарственный.

И только тут Михаил Николаевич разглядел приземистый старинный храм, от взора прохожих скрытый громоздкими строениями.

— Церковь названа в честь Всех Святых, — уже внутри храма просвещала жена. — А вон у той иконы, — поклонившись, показала на образ у правой стены, — я тебя вымаливала.

АНТОН ЛУКИН

БЕССОННИЦА

РАССКАЗ

Игнат Ильич Беспризоров вот уже несколько дней как не может нормально уснуть. Навестила его подруга-бессонница, и как бы он ей ни сопротивлялся, как бы ни проклинал ее, безобразницу такую, а ничего поделать не мог. Попал в ее сети, и все тут. С возрастом это что ли пришло, не понять. Только и делаешь, что полночи в потолок смотришь, а под утро вздремнешь немного, как уже вставать пора да за руль. Работал Игнат в колхозе, молоко возил в райцентр. За весь день только и думаешь, как бы где вздремнуть, а домой вернешься, приляжешь, и хоть бы хны. Не хочется спать и все. Да даже не в том дело, что не хочется, оно, конечно, хочется, и сам понимаешь, что спать надо, эдак недолго и здоровье подпортить, а не получается уснуть и все, хоть волком вой. В эти бессонные ночи Игнат частенько раздумывал о жизни, как жил, как живет, как предстоит жить. Каждый раз вспоминается что-то из прошлого и обязательно нехорошее. Мысли большим комом лезут в голову, с трудом перевариваясь. И потому Игнат частенько срывался, бранил самого себя, свою жизнь и нахалку бессонницу, что всего его извела.

Этой ночью Игнат снова не мог уснуть, переворачиваясь с боку на бок. Жена лежала рядом, отвернувшись к стене, и слегка посапывала.

— Ты гляди-ка, зараза, что делается. Нда, так и дураком стать недолго. Ну и дела, — Игнат с отчаяньем вздохнул. — Ох, кошкин ты хвост.

Посмотрел на жену.

— Зин? Ты спишь? — Та тихонько посапывала. — Зин? Ну ты чего, спишь что ли? — слегка толкнул ее локтем. Жена проснулась.

— Что случилось? — повернулась она к нему. — Ты чего?

— Ты спала что ли?

— Чего?

— Разбудил, говорю, что ли?

— Представь себе, — женщина потерла глаза и слегка зевнула. — А ты чего не спишь?

— Поспишь тут с тобой. Храпишь, как паровоз.

— Ну, начинается. Сам уснуть не может, и все кругом виноваты, — Зинаида снова отвернулась к стене.

— Вот ведь что делается-то, а, и ни в одном глазу сна нет. Эх.

Жена молчала.

ЛУКИН Антон Евгеньевич родился в 1985 году в Дивеево Нижегородской области. В 2005 году окончил Ардатовский аграрный техникум по специальности правовед. Автор книг "Волшебная страна", "Голубоглазая", "Судьба солдата", "Самый сильный в школе" и др. Живёт в Нижегородской области.

— Зин?
— Ну чего тебе?
— Как думаешь, может, воды напиться, глядишь, усну?
— Чай ты не икаешь.
— Может, поможет.
— Овечек считай.
— Каких овечек?
— Наших в сарае.
— Чего? — Игнат не понял шутки.
— Представь, будто они через плетень прыгают. И считай по одной. Говорят, помогает.

— Она тебе овца что, лошадь что ли, через плетень-то прыгать? Хех, — Игнат мотнул головой. — Вот ляпнет не подумавши. Ты хоть подумай, прежде чем сказать. Людей-то не смеди. Овцы через плетень. Ты где овец таких видела? Хех, удумала.

Зинаида повернулась к мужу и посмотрела на него, как обычно смотрят на дурачков.

— Ты как Ванька с соседней улицы.
— Чего?
— Чего-чего. Ничего, — Зинаида приподнялась. — Тебе трудно представить что ли? Посчитай овец и уснешь. Люди просто так говорить не будут.
— Кто же это, интересно, такое говорит?
— Любка говорила, она в каком-то журнале вычитала.
— Любка и не такого наплетет, только уши развесь.
— Ты сестру не трогай. Ему, как лучше, помочь хотят, нет, он еще, воробей, ерепениться будет, — Зинка отвернулась обратно к стене. — Поступай, как знаешь, а меня не буди больше.

Игнат почесал затылок, посмотрел на ходики, вздохнул. Уснешь тут, пожалуй. Он еще раз глянул на жену и, укрывшись одеялом, закрыл глаза. Неужто эти овцы и правда чем помогут? Он даже улыбнулся, но все же представил себе, как они прыгают через плетень, и принялся их считать. Несколько раз он сбивался и, скрипя зубами, начинал заново. Но вдруг, на седьмом десятке уже, под окном раздалось противное мяуканье, и его тут же подхватило несколько громких и столь же противных кошачьих голосов. Игнат даже вздрогнул от неожиданности.

— Тьфу ты, мать вашу, — приподнял он голову. — Распелись тут.

Кошки по-прежнему орали противно под окном, звонко растягивая голосистую глотку.

— Вот окаянные.

Жена тихонько зевнула в подушку и полусонным голосом произнесла:

— Свадьбу, наверное, играют.

— Кто?

— У кошек, говорю, свадьба, наверное.

— Я им сейчас такую свадьбу, пороссятам, устрою. Вот возьму кочергу, выйду, одного-другого огрею под хвост. Будут знать, как орать под окнами.

Кошки по-прежнему нели.

— Нет, ну это невозможно, — Игнат встал с кровати, открыл окно и, что есть дури, свистнул, четырехлапые разбежались кто куда. — Это, поди, Егоровых глотку рвал. Этот полосатик тот еще. Небось, под своими окнами не орет. Вот я его завтра сапогом поглажу...

— Ложись уж, спи, надоел уже.

— Вставать пора, а ты — ложись, уснешь тут с вами. — Игнат покругился по комнате, посмотрел по сторонам, чем бы себя занять. — Напишу-ка я, пожалуй, Федору письмецо. Может, поможет чем, совет какой даст.

— Какой совет?

— Как от бессонницы избавиться. Ведь изведет она меня всего. Он все-таки как-никак врач.

— Стоматолог.

— Стоматолог, — передразнил он жену. — А стоматолог что, не врач что ли?

— Ой, поступай, как знаешь. Как старый дед, ей-богу, ворчишь и ворчишь.
— Я на тебя посмотрел бы, если бы ты вторую неделю не поспала.
— Ну чем он тебе, Федор-то, поможет? То не писал, не писал, а как петух клонул, так сразу брата вспомнил.

— Вот ты, я не знаю прям, что с тобой делать-то. Если я не пишу, это не значит, что я о нем не думаю, — Игнат присел за стол, включил ночник и принялся что-то искать глазами. — Ты ручку не видела?

— Карандаш возьми.

— И карандаша нигде нет. Ничего нет. Как всегда: не надо, весь стол ручками усыпан, как возьмешься письмо написать, ни ручки, ни листа.

— Ну все, забыл.

Игнат отправился к дочери в комнату (та сейчас в городе в институте) и вернулся радостный с тетрадью и ручкой.

— В нашу больницу давно бы ходил.

— И что председателю скажу? Не отпустите ли меня, Сергей Андреевич, в больничку скататься, а то, мол, бессонница замучила. Может, и ничего серьезного нет. А я людей баламутить просто так буду. Может, всего-то таблеточку какую надо. Как я людям в глаза потом смотреть буду. Нате, дожили, Игнат Ильич, на старости лет уснуть уже не можете.

— Вот так всегда у вас у.bestолоковых и бывает. Сначала ерепенитесь, а как помирать начнете, то врача им сразу подавай.

— Тьфу ты! — Игнат даже слегка приподнялся со стула. — Да я что тебе, помирать что ли собрался. Ну, все скажешь, ей-богу, прям. Ну тебя!

Зинаида промолчала и отвернулась к стене. Игнат уселся поудобнее и принялся писать письмо:

“Здорово будешь, брат! Как у вас там в Горьком жизнь, продвигается? Ничего? У нас тоже ничего. Ничегошеньки. Все по-прежнему. Все хорошо вроде бы. Посевная началась. Ни свет ни заря, как мы уже в поле. А вечером еще в Дивеево молоко вожу. Без дела не сидим, так сказать. Оксанке передавай от нас с Зинкой по привету. Моя-то, Валентина, к вам не заходит? Заходить будет, ты ее там от меня поругай, мол, почему отцу с матерью не пишет, чай волнуются. Мы ей тут посылку давеча собирали, отправили, а дошла или нет, не знаем. Учится она хорошо, это я знаю, не переживаю даже, она у нас всегда страсть как к знаниям тянулась. Мы-то с матерью свой век доживем как-нибудь у себя здесь, а ей свет белый увидеть надо. Но ты ее, Федор, все равно поругай, не дело это отцу с матерью не писать. Она, конечно, уже скоро приедет, летом-то, но все равно, черкнуть пару строчек же можно, мол, все хорошо, люблю, скучаю...” Игнат посмотрел на жену.

— Ну-у, засопела.

Почесал ручкой затылок, призадумался немного и принялся писать дальше:

“У меня ведь, брат, вот ведь какая штука произошла. И писать даже как-то неловко. Представляешь, уснуть не могу. Вот ведь как. Бессонница, зараза эдакая, замучила. Я с ней окаянной скоро с ума сойду. Уже дней десять, как уснуть не могу. Я же ведь тоже не железный. Весь день в поле, устаю, как собака, а домой придешь, приляжешь, и хоть бы хны. Ладно бы там совесть мучила или еще чего, никого не обманывал сроду, ни копейки не украл, все честь по чести с законом, а уснуть не могу. Моя тут сегодня отчудила. Овец, говорит, считай, как через плетень прыгают. Ну, баба есть баба, мозгов, как у курицы, только кудахтать и могут. Слушай, Федор, помоги, а? Ты все-таки как-никак человек образованный, с дипломом, должен же знать, как от нее, поросятины, избавиться. Может, таблетки какие купить, не знаю, прям? Ты, брат, смотри сам, если у нас здесь эти лекарства есть, то напиши названья ихни. А если нету, то купи у себя в городе и вышли. Вот ведь, никогда не думал, что бессонницей мучиться буду. А ты, Федор, чего к нам не едешь, чего не навещаешь? Давненько, брат, не заглядывал уже. Так что этим летом давайте с Оксанкой приезжайте, погостите немного, никуда город не денется, не пропадет без вас. Отдохнете хоть немного от этой суеты. Мы с тобою с утраца на прудик ходим, рыбки половим,

ну а вечером и пригубить немного можно. Приезжайте, приезжайте. Моя все тоже спрашивает, чего, мол, не едут. Так что давайте к нам. Хоть душою немного отдохнете. А Васька ваш осенью как из армии придет, тут уж мы к вам нагрянем. А то уж я забыл, как ты у меня выглядишь. Отца с матерью навестим. Я тем летом матери крест поменял, старый он у нее был, прогнил весь, у отца ничего, держится еще. Оградку им новую поставил... Так что, давайте, Федор, приезжайте. Скучаю по вам. Ну, не буду прощаться. Пишу, как обычно пишут все. Жду ответа, как соловей лета”.

Игнат улыбнулся и сложил листок. Посмотрел снова на ходики. Накинул старенькую фуфайку и вышел на крыльцо. Достал папиросину, закурил. Уже рассветало. Весеннее утро отдавало приятной прохладой. Игнат улыбнулся и вдохнул в себя воздух:

— Боже, хорошо-то как. Как же хорошо.

ЗВЁЗДНОЙ НОЧЬЮ

РАССКАЗ

Илья Петрушин возвращался к себе домой. Был в гостях у Егорыча на другом конце деревни. Приняли с ним немного, поговорили по душам. Давненько так уже не засиживались. Завтра выходной, можно немного и расслабиться. Работал Илья в колхозе механиком. Без его золотых рук не обходилась ни одна техника. Председатель все никак не мог нарадоваться им.

— Без тебя бы, — говорит, — все, пропали бы. Ни за что бы план не выполнили.

И тоже верно. Техника нынче старенькая уже. За ней глаз да глаз нужен. А работал Илья со всей душой, со всей нежностью относился к тракторам и комбайнам, может, и потому машина одного его и слушалась. Тут же оживала и работала с полной отдачей.

Илья шел легкой походкой по деревне, поглядывая на небо. Бледнолицая луна ярко светила сверху.

— Ты гляди-ка, зараза какая, — улыбнулся он, — разыгралась-то как.

Кругом тихо. Хорошо. Только с невестами и гулять. Кузнечики поигрывают где-то в темноте. Илья вспомнил, как семнадцать лет назад с Марусей гуляли по деревне. Так же светила луна, так же подмигивали звезды с неба, так же играли кузнечики, так же было хорошо и легко на душе. Проходя мимо Сомова дуба (у Степана Сомова отец еще до войны посадил, так и прозвали), Илья заприметил чей-то силуэт. Кто бы это мог быть, да еще один? Подойдя поближе, Петрушин узнал своего соседа.

— Кузьмич, ты чего тут один скучаешь?

— Илюша, ты это?

— Ну а кто же? Чего, говорю, сидишь тут один?

— Да я это, — старик промолчал.

— Снова?

— А?

— Снова, говорю, буянит?

— Да нет, что ты, нет.

— А то я не вижу, — Илья присел рядом на траву, достал папиросу, закурил. — Чего он у тебя опять?

— Успокойтесь сейчас, спать ляжет, э-э, — Кузьмич махнул рукой. — Все хорошо, Илюша, все хорошо.

— Поговорить бы с ним надо, не дело это.

— Ты что?! Не надо, не надо, Илюша. Он же сейчас дурной. А случись чего? Не надо, не надо.

— Это ты, батя, прав, конечно, но ведь это тоже, извини меня, не дело. Когда же он у тебя за ум-то возьмется, а? Как опрокинет кружку браги, так и герой сразу. Паразит поганый.

Кузьмич слегка простонал, то ли соглашаясь, то ли просто, чтобы не молчать. Илья посмотрел на него, на его печальные глаза и тяжело вздохнул. Жалко ему было старика. Живешь, работаешь, всю душу вкладываешь в детей, а потом вырастают они и плюют тебе в эту самую же душу.

Речь шла сейчас о Макаре, о младшем сыне Кузьмича. Был у него еще Иван, да утонул пятнадцать лет назад. А старшая, Елизавета, в городе сейчас, замужем, редкий раз приезжает. Макар тоже поначалу, как из армии пришел, в город подался. На Горьковском автомобильном заводе работал. В технике так же души не чаял. Женился. И все бы хорошо, и голова и руки есть, а нет, запил, будь неладным оно это вино. И ведь как бывает-то. Одни выпьют, вроде бы и ничего, спать ложатся, тихие, но этот же, как опрокинет за шиворот, злыдень на злыдне. Бесы вселяются. Психует, с кулаками на всех лезет. Пожили с женой семь лет да разошлись. Понятное дело, сколько же терпеть бабе можно, когда руки то и дело распускают. Вернулся в деревню и опять задурил. Нет бы в колхоз устроиться Илье на подмогу, любой трактор с закрытыми глазами соберет, так нет, запил, и ничего ему теперь кроме водки не нужно. Вся радость у него в ней. К тридцати годам уже подходит, а на седого отца не стыдится руку поднимать. Выпьет и давай буянить. Кузьмич молча избу покинет, пройдетя немного по деревне, подождет, пока тот заснет, только потом вернется. Сам уже на рожон не лезет. Дурной Макар, когда пьяный. Трезвый-то еще спокойный, все больше молчит. И сколько это продолжаться будет, неизвестно. Ясно одно, к добру это не приведет, а за ум браться тот не собирается.

Илья потушил папиросу. Ругать и говорить о Макаре плохо сейчас не хотелось. Старик и сам все прекрасно понимал. Разговаривать нужно с тем, с молодым мерином, да только тоже все без толку, как об стену горох. Да ведь ладно бы, если Кузьмич плохим отцом был, пил, бушевал бы, другое дело. Так ведь мухи сроду не обидел, оттого и обидно. Хорошо Илья знал старика. Тихий, рассудительный, всегда в работе. Тамарку вот только как схоронил четыре года назад, молчаливым каким-то стал. Тяжело ему одному, на старости лет, а тут еще и сын праздники устраивает.

— Может, накатим помаленечку, а? — предложил Илья.

— Да не надо.

— А то у меня есть.

— Ты же знаешь, я как-то не очень ее.

— Да я тоже не очень, — Илья тихонько вздохнул. — А вот сейчас бы немного выпил.

— У тебя чья? Никифоровой?

— Баклановых.

— Баклановы хорошую гонят.

— Хорошую.

— У тебя с собой что ли?

— Дома. Да я схожу сейчас, — Илья поднялся на ноги.

— Да не надо, не буди никого.

— Да я аккуратно. Ты только это, Кузьмич, тут будь, не уходи пока. А я быстро.

— Да куда я уйду, — с хрипотой произнес тот.

Илья отправился к дому. Очень хотелось выпить с Кузьмичом, поговорить его немного. Он прекрасно понимал, как старику тяжело, а с Макаром завтра утром поговорит снова. Не дело это, когда сын на отца руку поднимает. Лишь бы пить бросил, а там бы с работою помогли бы ему.

Только Илья зашел в избу из комнаты послышался Маруськин голос:

— Илюш, ты?

— Гоголь.

— Кто?

— Да я это, кто же еще.

Илья разулся, прошел на кухню. Зашла Маруся:

— Чего не раздеваешься?
— Папиросы закончились. Посижу еще, покурю. Ночка-то нынче какая, а!

— Ты спать-то собираешься?

— Сейчас приду.

Илья достал из шкафчика бутылку самогонки.

— А это зачем?

— Посмотри чего-нибудь в холодильнике, под закусь дай, — Илья убрал бутылку в карман брюк. — С Кузьмичом сейчас немного посижу и приду.

— Чего это он на ночь глядя-то? Опять что ли?

— Опять-опять. Нарезь сала и огурчиков положи.

Маруся стала приготавливать закуску. Как и велел ей муж, нарезала сала, огурцов да ржаного хлеба.

— В милицию его надо, дурака этого, сдавать. Пусть там с ним разбираются.

— Сколько раз там бывал, толку-то.

— Мало, значит, был, — сказала та, протягивая мужу закуску. — Не прятаться от него на улице надо, а в милицию сдавать.

— Шибко все какие умные стали. Чай какой ни есть, а сын. Лешка-то наш подрастет, буянить вдруг станет тоже, часто милицию-то вызывать будешь?

— Ой, е-мое, вот ляпнет тоже, не подумавши. Ты хоть подумай, прежде чем говорить.

— Растишь-растишь их, а потом кулаками вся благодарность. Неужто Кузьмич плохим отцом был? Вот то-то же. А во всем она вот, дрянь эта виновата, — показал он бутылку. — Только она и виновата.

Илья принялся обуваться.

— Недолго только, ладно? — Маруся подала мужу кепку. Вообще-то она не переживала, потому как знала, что мужик у нее молодец. Работающий, спокойный, не пьет. А если бывает и выпьет, то только на пользу. Работает день и ночь, и неужто крепкому здоровому мужику иной раз и не выпить?

Кузьмич по-прежнему сидел на старом месте.

— Ну, вот и я, — Илья присел на траву, положив рядом тарелку с закуской. Открыл бутылку, налил немного в кружку, протянул старику, затем налил себе. — Давай, чтобы все хорошо было.

— Никого не разбудил?

— Да мою, хоть из пушки стреляй, не разбудишь, — махнул рукой, улыбнулся. — Ну, давай, Кузьмич.

Выпили, закусили. Старик задрал голову вверх.

— Звезды нынче как играют, посмотри-ка. Загляденье. Мы с Тамарой всегда любили гулять по вечерам. Выйдешь, пройдешься по улице, на небо посмотришь, а звезды перемигиваются-перемигиваются. Моя все любила считать их. Да разве их пересчитаешь, — Кузьмич улыбнулся, — вон их сколько, попробуй, пересчитай. А каждую звездочку знала. Ты вот знаешь их, названья-то? — Илья пожал плечами. — Вот и я не знаю. А Тамара все знала у меня. Все-превсе. Интересная была, веселая-веселая. А пела как! Ууу! Ну ты помнишь ведь, да?

— Помню, конечно. Красиво.

— Красиво. Никто так в деревне не пел, как она. Запоет, бывало, в поле, и душа радуется, и будто и не работал, столько силы сразу набегает, столько энергии. — Старик помолчал немного. — Ты с Марусей-то как познакомился? Она же вроде из Суворова?

— Из Суворова. — Илья достал папиросы, угостил старика, закурил сам. — Ну как познакомились, — улыбнулся. — Нас тогда в их колхоз посылали, а она дояркой работала там. Ну вот, слово за слово и... Потом ездил к ней зиму-то, ну а весной уж к себе забрал да поженились.

— Не умеешь ты, Илюша, рассказывать, — улыбнулся по-доброму Кузьмич.

— Да куда уж мне, — посмотрел Илья на старика и тоже улыбнулся.

— Ты наливай, наливай, — Кузьмич кивнул на бутылку. — Хорошая

какая, зараза. Давненько я уже не пробовал. Умеют Баклановы все-таки гнать.

Илья разлил по кружкам самогонку. Снова выпили с ним, закусили.

— Тамара-то у меня ведь тоже не отсюда, из Черемушек.

— Да?

— Да. Я там тоже какое-то время жил у них. Ты еще маленький был. Поехали, значит, мы с Филиппом Кондрашовым в Черемушки, к тетке его. А тут ехать-то до них тридцать верст. Приехали, он ей гостинцы от матери передал, крошки с ним поели, ну, думаем, на прудик сходить надобно, рыбку посмотреть, а ближе к вечеру уж обратно. Закинули, значит, удочки, сидим, ждем. Клева нет, кх, — Кузьмич слегка кашлянул в ладонь. — И вдруг видим, а по другую сторону две девицы молоденьких подошли купаться.

— Тамара была?

— Ну, а кто же. Да ты не перебивай, не перебивай, ты слушай.

Илья улыбнулся и послушно кивнул головой. Ему даже приятно как-то стало, что смог разговаривать старика.

— Мы с Филькой, недолго думая, удочки в сторону, разделись и в воду. А у меня же вся спина в шрамах после немцев-то. Так я прям в рубахе, — Кузьмич улыбнулся. — Подплыли, значит, к ним, а они на спине плавают, нас почему-то не замечают. Филипп же сроду стеснительный был. А я сходу прям, в какой стороне, спрашиваю у них, Америка находится, куда, мол, плыть. Моя-то сразу шутку поняла, насчет Америки не знаем, говорит, а вот Турция в той стороне. И показывает рукой на берег, откуда мы приплыли. Быстро с ними подружились. Тамара у меня же всегда разговорчивой и веселой была. И вот знаешь, Илюш, вот как увидел ее, так и полюбил сразу. Вот тебе крест. Никогда я таких добрых и живых глаз не видел.

— А вторая, что за девушка была?

— Ой, я уж, если честно, Илюш, и не припомню. Олесей, по-моему, звали. Знаю, что замуж вышла да во Владимир уехала. А как звали, что-то и не припомню.

— Бывает. Я вот сослуживцев своих и то вспомнить порой всех по имени не могу. А ведь тоже три года бок о бок жили. И дружили-то как. А вот не вспомню, бывает, и все тут. Память она такая.

— Умирала она тяжело у меня. Тяжко мучилась. Все никак не забирал ее Господь-то. Вот ведь тоже, всю жизнь людям добро делала, радость дарила, никого не обижала, никому зла не желала сроду, доброй души была. А как животные ее любили, у-у-у. Да все ее любили. А умирала в муках, — Кузьмич посмотрел на небо. — Зато теперь среди ангелов. И, слава богу, что не увидела, каким теперь сыночек наш стал, — у старика на глаза наплыли слезы. — Не выдержало бы ее сердечко, ой не выдержало. Страдала бы как, сколько бы слез пролила, как бы намучилась с ним. А так он для нее навсегда хорошим остался.

— Кузьмич, — Илья положил на худое плечо старика ладонь. — Ну, чего? Ну, все хорошо будет. Да образумится еще. Да неужто за ум не возьмется? Возьмется.

— Дай Бог, — Кузьмич протер ладонью влажные глаза, отвернулся в сторону.

— Ты выпей немного, давай налью.

— Нет. Все, Илюш, спасибо, не буду. Пойду я к себе, наверное. Спасибо тебе. Пойду.

— Может, у нас заночуешь сегодня, а?

— Да у меня что, дома нету что ли, — старик поднялся на ноги, и Илья вместе с ним. — Спасибо тебе, Илюш, конечно, но пойду я.

Илья похлопал старика по плечу, проводил немного его взглядом и тоже двинулся к дому, по дороге размышляя о жизни. Вот ведь прожил человек жизнь, дожил до старости, любил, трудился, душу вкладывал в детей, а теперь от родного сына приходится прятаться. Вот ведь как. И ради чего, спрашивается, живем? Снова задрал голову к небу.

— А звезды нынче и правда какие, а луна-чертовка, нда, только с невестами и гулять...

АЛЕКСЕЙ НИЗОВЦЕВ

ДЕД

РАССКАЗ

Звезды, яркие молочные звезды, разбросанные по небу над далекими деревеньками, в тихой милой провинциальной глуши, какими вы кажетесь близкими и родными, сколько в вас неизбывной прелести и печали. Сколько уставших и заплаканных глаз смотрело на вас с вечной русской тоской, смиренностью и надеждой. Вы как будто впитали в себя их боль и тягостное ожидание чего-то нового, лучшего, что обязательно должно прийти с первой утренней зорькой, и каждую ночь, зажигаясь, отвечаете на обращенные к вам взгляды своей любовью. Среди стальных, мутных, будто бы грубо выкованных городских небес вам нет места, поэтому, выбираясь из душного города на вольные просторы лесов, полей и бездорожья, я каждый раз с нетерпением жду нашей новой встречи. Тем поздним вечером, когда мы приехали в небольшой поселок Рязанской области, спелое звездное небо сострадало нам. Наутро мы должны были хоронить моего деда, прожившего в этих краях практически всю свою жизнь.

Деда я не узнал, да и не хотел узнавать его, высокого, красивого, статного мужчину с благородной проседью при жизни, таким — чужим, с масочной бледностью резко постаревшего лица, безучастно лежавшим посреди оживленной комнаты. Конечно, за последние годы он серьезно сдал. Особенно после того, как одной из зим, прогуливаясь вокруг памятника Ленину, сломал ногу. В этом была какая-то горькая усмешка судьбы: до последних дней жизни дед яростно, с какой-то внезапно появившейся бодростью, отстаивал все то светлое, чистое и непорочное, что заключала в себе, по его мнению, фигура вождя. Он был коммунистом, а не карьеристом, никогда не пользовался возможными привилегиями, был из тех “красных” Дон Кихотов, что до конца сражались на идеологических полях брани с ветряными мельницами. Без костылей ходить он так и не научился.

Я не мог на него смотреть, слез не было, но было ощущение какой-то нелепости, иррациональности всего происходящего. Вокруг многолетнего хозяина квартиры, остывшего и побледневшего, сустились женщины, готовые к завтрашним поминкам **кутью**, сновавшие из комнаты в комнату и, как водится, только мешавшие друг другу, читались молитвы, зажигались свечи и вставлялись в недавно испеченные блины — дикая смесь истинной веры и никому непонятных местных обрядов, никто не мог объяснить, зачем всё это делалось, но делалось это всегда и с непреклонной уверенностью в необходимости совершаемого.

Перекрестившись на образа, я стремительно вышел из комнаты, оставаясь в которой не было уже никаких сил. Пытаясь отвлечься, да и просто чтобы не путаться под ногами занятых последними приготовлениями женщин, чье число в квартире, казалось, с каждой минутой всё увеличивалось, я быстро прошел в дедовский кабинет. Как любил я заходить сюда, когда, будучи еще совсем маленьким, приезжал в здешние края на летние каникулы. И что так манило меня? Кровать, шкаф, книжные полки до потолка во всю стену да письменный стол — вот и вся нехитрая мебель, которая умуд-

НИЗОВЦЕВ Алексей Вячеславович родился в 1983 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета. Автор публикаций в периодике. Работает редактором в одном из издательств. Живёт в Москве.

рылась как-то умещаться в этой комнатухе. Но повсюду были книги: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин и, конечно, Есенин, творчеством которого так восхищался дед. Кроме русской и зарубежной классики, были и редкие издания, посвященные футболу, которые я зачитал до дыр уже тогда, в детстве, различные словари и множество другой литературы. Мне всегда думалось, что такая библиотека и должна быть у настоящего журналиста: дед до последнего, пока позволяло здоровье, писал статьи в местную газету. Сколько раз, подходя к заветным полкам, я выбирал какой-нибудь томик и погружался в чтение, но теперь я лишь смотрел на чудесное разноцветье слегка потрепанных корешков книг и не мог заставить себя в отсутствие хозяина прикоснуться хоть к одной из них. Я с грустью думал о том, как мало у нас с ним было разговоров об этом волшебном, манившем нас обоих мире, о том богатстве, которое он так бережно хранил в своей душе и которым всегда готов был поделиться. Внезапно мой взгляд задержался на красном словаре современных иностранных слов, который всего пару лет назад дед попросил меня привезти ему из города. Ясно помню свое удивление, когда услышал от него такую просьбу. С чуть виноватой улыбкой дед объяснил, что сейчас в газетах, телепередачах появилось много новых, каких-то непонятных, странных слов, а глупым чувствовал себя он себя не хочет. От воспоминания той нашей беседы на душе стало легче, подумалось, что, даже приближаясь к окончанию своего земного существования, дед продолжал образовывать себя, не утратил жажды познания. Всплыли в памяти и его частые полшуточные наставления “ученье — свет”, по мере взросления наполнявшиеся для меня все более глубоким смыслом. Уже выходя, я бросил взгляд на письменный стол, на котором, как и несколько лет назад, когда дед еще усиленно работал, лежали его старые очки и ручка.

Спать мы отправились к знакомым. То рязанское летнее утро предстало перед нами блеклым, сумрачным и дождливым. Ветер без устали носился по поселку, перелетая с одной улицы на другую, все время опережая меня, вышедшего развеяться, прогуляться по таким близким с детства местам, от разрушенного клуба, бывшего некогда храмом, до нашего дома и дальше, до покосившихся тоскливых полей, обрамлявших поселок. Однако пора было собираться на кладбище.

Все было взвинчено, напряжены, хотели, чтобы похоронные мероприятия поскорее закончились, но никто, как обычно, в этом не признавался. Дождь ненадолго прекратился, стих ветер, и на земле появились нерешительные, казавшиеся такими нежными, первые солнечные лучики, они будто понимали всю неловкость своего появления перед нами, но, постепенно осваиваясь, заливали своим светом все больше пространства перед домом. К подъезду не спеша подходили желавшие проводить деда в последний путь, подъехала и машина ритуальных услуг. Внезапно один из прибывших на ней молодых, который должен был спускать гроб со второго этажа на улицу, издал визгливый потусторонний крик, упал на землю и судорожно задергался. “Припадочный, ложку, срочно несите ложку, а то проглотит язык!” — закричали вокруг, все зашумели и, как водится в обществе деревенском и суверенном, зашептали о том, что это дурной знак, обрывочно замелькали руки, осенявшие себя крестным знаменем. Чуть позже мне рассказали, что подобные случаи среди местных мужиков довольно часты — виной тому дешевая жидкость для мытья стекол, которую вместо водки и вина они приспособились пить, здоровье от этого пошла подрывалось моментально, но об этом ли думали деревенские молодцы, в любую погоду рывшие землю на кладбище, в зной, дождь, стужу находившиеся между небом и землей. Когда опускали гроб с телом деда, все боялись повторения припадка, шептали молитвы, крестились, но все прошло спокойно. Наконец, печальная вереница машин потянулась на окраину поселка, ветви росших вдоль дороги кленов и берез плавно качались на ветру, будто провожали в последний путь так любимого гулять среди них, ценившего их красоту и стройность человека.

Отпевание прошло с неизменными в подобных случаях грустной торжественностью и смирением среди сладкого запаха ладана, быстро облетевшего все помещение церкви, в сумраке, освещенном чуть дрожащими огоньками,

венчавшими бледные восковые свечи в наших руках. Всю службу не покидали мысли, что происходящее здесь — последнее, что совершается с дедом в этом мире, дальше он навечно сольется с родной землей, которую любил со всей нежностью и преданностью, которую так глубоко чувствовал и понимал, а душа его улетит в неведомую всем нам, собравшимся в этой церкви, до дрожи пугающую своим непостижимым великолепием высь. Запомнились простые, негромкие слова батюшки, говорившего о нашем неустанном беге за почестями и богатствами, о их пустоте и нелепости в минуты окончания земного пути, когда из всего нажитого нам понадобится лишь гробик. На улицу вышли молча, говорить не хотелось, плакать тоже впереди предстояло самое тяжелое испытание, которое мы все время будто откладывали.

По кладбищу гулял совершенно не летний промозглый ветер, снова стало мрачно, пасмурно, неприятней всего было то, как мерзли руки, которые мне никак не удавалось отогреть. От его лихих, беспорядочных порывов не спасали ни куртка, ни рубашка, казалось, что не тело, а обнаженная душа дрожит посреди этого страшного места. У свежевырытой могилы деда всё собирались люди, многих не было на отпевании, многих я вообще видел в первый раз. Деда уважали, любили, ласково называли “Петрович”, как часто я слышал такое обращение, прогуливаясь с ним в детстве по спокойным, затертым ярким солнечным светом улочкам поселка, люди подходили позвать ему руку, справиться о здоровье, теперь они шли проститься.

Сколько всего последнего мы совершаем в эти прощальные минуты: последний поцелуй в аккуратно положенный на лоб почившего венчик, последний взгляд на некогда такое родное и близкое, а теперь с трудом узнаваемое, исполненное невероятной бледности лицо, последнее “прости”; сколько боли, тоски, усталости в наших мыслях, движениях, в рыданиях женщин и сдержанных слезах мужчин. И как страшен этот возникающий будто бы из ниоткуда, мучительный, заглушающий все другие звуки стук молотка по крышке гроба. Последнее твое участие в совершаемом — кинутая на гроб горсть земли, а дальше начинается монотонная и уже такая привычная для удалых ребят работа: отточенные взмахи рук, крепко зажавших лопаты, сосредоточенные взгляды, да прорывающееся сквозь эту кажущуюся легкость крепкое словцо.

Опустошенный, вымотанный и долгой вчерашней дорогой, и сегодняшними переживаниями, я тихо смотрел на могилу деда, еще одну появившуюся на этом некогда скромном, небольшом кладбище, всего за несколько лет так значительно разросшемся. Деда похоронили рядом с его сестрой, моей двоюродной бабушкой, нянчившей, воспитавшей меня, я никогда не признавал этого ужасного слова “двоюродная” и всегда называл ее просто — бабушка. За своей спиной среди негромкого гула голосов я вдруг отчетливо услышал наполненное какой-то невыразимой глухой болью шептание дедовского соседа: “Прости, Петрович...” От этой мучительной искренности у меня на глазах первый раз за все утро выступили слезы, поспешно перекрестившись, я вышел за ограду и, не глядя по сторонам, направился к выходу с кладбища.

Я стоял у обочины чуть в стороне от небольших унылых грязно-серых луж, отражавших такое же мутное бесцветное небо, они были неподвижны — ветер стих, и стало заметно теплее. Мой рассеянный взгляд был обращен куда-то вдаль, где виднелись неяркие очертания поселка и куда с такой неохотой, все время пеглая, будто желая навеки затеряться среди расстеленных вокруг полей, тянулась рваненькая, небрежно подлатанная дорога. Вот она свернула к ветхой автозаправке, на которой никогда не было бензина, и, словно приободрившись при виде первых появившихся вдоль нее маленьких однотипных домиков, расширилась и весело побежала вперед. Дома, аллеи, сад, рынок — дорога пронизывала весь поселок и устремлялась дальше, верно следуя однажды назначенному ей направлению. Там, за мостом, поблизости от беззаботно журчащего хрустального родничка она давала жизнь маленькой тропинке, по которой, счастливо улыбаясь, не спеша шли двое — высокий, хорошо одетый мужчина со следами уже наступившей старости на красивом лице и жизнерадостный голубоглазый мальчуган с потрепанным

мячом в тоненьких руках. Весело переговариваясь, не обращая внимания на неугомонных мух и комаров, они свернули в сторону густых зарослей ирги, на небольшом отдалении от которых манила прелестью свежих, после дождя точно снова народившихся, светло-изумрудных листьев березовая роща. Туч над ней уже не было, они словно растаяли, освободив от своего надоедливого, тягостного присутствия небосвод, на котором, повинаясь какой-то неведомой волшебной силе, начали мягко проступать лиловые, пурпурные, огненные полосы, они становились все теплее, ярче, и казалось, что и это лето, да и вся жизнь будут наполнены тихой нескончаемой радостью, берущей начало в этом нежном закатном сиянии.

ВАЛЕРИЯ ОБОДЗИНСКАЯ

НЕ ТИГР

РАССКАЗ

Двадцать девятый год. Весенний вечер. Мака за столом в кабинете. Руками обхватив голову, смотрит вдаль. Лицо напряжено. Волосы гладко причесаны на косой пробор. На столе горит абажур. Стоят два канделябра, множество книг аккуратно разложены в стопочки. Одна из них куплена недавно — томик Мольера на французском. Возле бронзового бюста Суворова скромно поживает кошка Мука. За спиной писателя библиотека: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, конечно же Чехов, Мольер, Золя, Гете, записочка с надписью: “Просьба книг не брать”. Там же журналы, газетные вырезки с критикой, а временами ругательствами в его адрес, которые писатель фанатично собирал по непонятной причине.

В столе уже лежит готовая рукопись “Мания Фурибунда” о появлении Иванушки в “Шалаше Грибоедова”, писательском ресторане на Тверском бульваре. Тишина, лишь время от времени слышится, как в печи потрескивают угольки. Однако за дверью “мертвого царства” кипит жизнь.

Домработница Маруся стряпает на кухне, шипит масло в сковородке. “Уважающийся” котенок Флюшка с Бутоном, веселым добродушным псом, носятся из одной комнаты в другую. Флюшка, убегая от пса, залез в корзину для мусора, опрокинул ее, а когда сообразил, что сделал что-то не то, дал деру. Проказник бросился в столовую, прыгнул на стол-“сороконожку” и принял вид: устало закатывал глаза, зевал и с недоумением поглядывал на лающего Бутона. Бутон “рыдал”, но на стол залезать не смел. На шум прибежала Маруся. Флюшка понял, что его застучали прямо на столе. Не зная, что теперь делать, он упал “замертво”.

Это все Любовь Евгеньевна, вторая жена писателя, без ума она от всей этой животины, ей всегда “жалко”. А посему Бутона приволокла из соседней лавки, Флюшку притащила с Арбата. Был еще котенок Аншлаг, но, по-

ОБОДЗИНСКАЯ Валерия Валерьевна родилась в Москве в 1978 году. Окончила театральнo-художественный колледж. Год училась во МХАТе. В последние десять лет работает на фирме “Мелодия”. Студентка Литературного института им. А. М. Горького.

пав к Стройским, умудрился родить котят, после чего стал просто Зюнькой. А ведь был вполне приличным котом, недаром же говорят “неисповедимы пути Господни”.

Вернемся обратно к художнику. Мака встал, прошелся по комнате, взял кочергу и начал задумчиво мешать угольки. Огонь завораживал, успокаивал, заставлял забыть нынешнее положение. Он часами мог наблюдать за языками пламени, заглядывать в эти желто-синие глаза. Мака — это прозвище, данное себе им самим в честь одного из сыновей злой орангутанихи. Ну, впрочем, это отдельная история.

Итак, Мака вернулся к столу, достал несколько тетрадей, открыл одну из них под названием “Черновики романа. Тетрадь первая”, остановился на тринадцатой главе “Якобы деньги” и начал выразительно читать, расхаживая по комнате. Он то садился, то вставал, то пищал, жестикулируя, меняя голос, интонацию, мимику.

Лицо его ожило, заиграло. Он так увлекся, что со стороны скорее показалось бы, что это маленький мальчик, играющий и представляющий свой мирок, нежели мужчина тридцати восьми лет. Но подойдя ближе, мы непременно увидели бы, что это не просто игра мальчика, — это зрелость мужчины, способного видеть то, что неподвластно постороннему глазу, — он по-настоящему видел то, о чем говорил, оставалось только облечь предметы в слова, а слова в буквы:

“Вторая венецианская комната странно обставлена. Какие-то ковры всюду, много ковров. На столе стояла какая-то подставка, а на ней совершенно ясно и определенно золотая на ножке чаша для святых даров.

“На аукционе купил. Ай, что делается!” — не успел подумать буфетчик, как тут же увидал огромных размеров тигра с бирюзовыми глазами.

Ярко-рыжий тигрище сидел возле хозяина и, улыбаясь, смотрел на вновь прибывшего. Буфетчику показалось, что тот даже сверкнул глазом и подмигнул ему. Почувствовав себя нехорошо, он немедленно перевел глазенки на хозяина”.

— Ты в Наркомпросе был..? — раскинулся хозяин на неком возвышении, одетом в золотую парчу, на коей были вышиты кресты, но только кверху ногами”.

— В Наркомпрос я Бонифация еще позавчера посылал, — пропищал кто-то из-за двери”.

— Да что там, потеха! — подхватил тигр и, оскалившись, вяло посмотрел на буфетчика”.

— Ерунда все это какая-то! Не то, не то! — писатель бросил раздраженно тетрадь на стол, где окончательно разлеглась Мука, пригравшись под абажуром-инвалидом. Инвалидом он стал с тех самых пор, как Бутон (кстати, Бутон он в честь слуги Мольера) повис на проводе и разбил его. Мака, конечно, склеил лампу, уж очень Любаша любила ее.

— Начнем все сначала, — отодвинув кошку в сторону, творец принял любимую позу: сел, подогнув под себя одну ногу калачиком, и стал глядеть сквозь пространство, словно видит что-то. Что-то из забытого прошлого, или же не забытого, а просто отложенного им в сторонку до нужных времен. Двадцать первый год, Закавказье. Нищенское существование, о котором всегда хотелось забыть и не помнить.

Да вот как и теперь! Он доведен до крайности. Что делать? Как жить? Что впереди, когда все псы запрещены, а на работу не берут даже работником сцены? Нищета, голод. Бессонные ночи, постоянные мысли о том, как найти средства к спасению, к существованию. Неужели это конец? А, плевать!

Писатель достал золотой портсигар, который купил вместе с “леопардом” — шубой для Любови Евгеньевны в прошлом году. Закурил, глядя в окно, и написал очередную “котовскую” записку:

“Я буду боро...”.

Да, он частенько писал подобные записки от “якобы котов”, особенно когда Любаша задерживалась, он писал: “Токуйю маму выбросит в яму”, рядом подпись: “Уважающийся кот”.

— Тигр, тигр, тигр, тигр... — произнес писатель, поморщив лоб и выпустив клубы дыма от папирос, купленных на последние деньги, — ох, до чего же ты мне осточертел... Да и был ли ты? Что тебе от меня надо? Что я забыл там? Самого себя забыл.

То был двадцать первый год. Мака ехал в теплушке из Владикавказа в Баку, сидя на полу. Безумно хотелось есть, от голода болела голова, ныло в желудке, не было сил. Только бы доехать, думал он, и уже зверем поглядывал на лес, в котором можно было бы найти что-то съедобное. Лес манил к себе. И вдруг, словно кто-то прочитал его мысли, вагон остановился.

— Что случилось? — выскочил он из вагона. Обдало жаром из-под колес. Выяснилось, что кончилось топливо, и нужно идти за дровами. И тогда он побежал в лес, но вовсе не за дровами, а в поисках еды. Что он хотел там найти? Вот к чему приводит нищета, голод, и как все это отвратительно стыдно. Жара, лес, свежий воздух сделали свое дело, у него закружилась голова.

Он потерялся во времени, и казалось, что теряет сознание. Все поплыло, а еды он не нашел, не искал и даже уже не думал о ней.

“Я умру здесь, — подумалось ему, — кто найдет меня тут, в лесу, когда поблизости ни души? Все отдал бы я теперь за хлеба кусок, душу самому дьяволу отдал бы”.

Он опустился на траву, опершись на дерево. Вот, что осталось еще хорошего. Все то же небо голубое, все то же солнце и лесная прохлада. Солнечный луч переливается на листьях. Красота! Когда-то он был ребенком, когда-то у него был дом, застолья, шутки, песни, игры. Что случилось вдруг с этой жизнью? Куда все делось в одночасье? Что за черная полоса? Что он сделал не так? Что? Что? Что? И зачем все это?

— Я так устал, — прошептал несчастный, закрывая глаза и прижимаясь к дереву. А ведь еще недавно он лежал во Владикавказе и умирал от тифа. Тогда он мечтал только об одном: увидеть горы, лес, одиночество. И вот он здесь. Все сбылось, как он того хотел. Неужели тогда он всего-навсего увидел свою смерть?

— Не может этого быть! Я скоро буду дома, и со мной снова будут мама, Надя, Танюша..., — произнес Мака и заставил себя открыть глаза.

По одежде ползали муравьи. Сколько времени он так просидел, неизвестно. Ясно было одно: нужно немедленно двигаться дальше. В теплушке или пешком, это все равно. В Тбилиси он решил непременно написать пьесу.

Еще неизвестный драматург уж было почти встал, как неожиданно для себя увидел чудо: кустарник с ягодами! Он бросился к ним, казалось, что никогда не наестся, он совсем не чувствовал вкуса. Хватал их и хватал, глотал не прожевывая, забыл обо всем на свете, и как зачарованный поднимался вверх, но вдруг.

Его что-то остановило, он прирос к месту, остолбенел. Перед ним метрах в десяти отчетливо пронеслась тигриная шкура. Мертвая сцена, длиной в бесконечность. А уже потом он почувствовал боль в пальцах ног — пошевелил, онемение пальцев рук — преодолел, теперь холод пробежал по спине. Нет, стало жарко и закололо будто иглами в конечностях тела. По лбу потекли капли пота.

“Главное — не терять достоинства!” — пошутил над собой и медленно попятился назад, постоянно озираясь вокруг. А так хотелось бежать, бежать что было сил, не оглядываясь. Но сил не было. Все тело заостенело, и он едва мог переступить ногами по траве. Прислонился спиной к дереву, прислушался.

Мгновение, — он увидел взгляд. Нет, он отчетливо его почувствовал. Это невозможно не ощутить, невозможно ошибиться. Он явно испытывал на себе этот пристальный взгляд желтых глаз, он даже встретился с ними, но лишь миг, и вновь тишина, снова никого.

Кажется, он постарел лет на пять, когда наконец доволочился до следующего дерева и спрятался.

Даже за колонной на мосту в Киеве, когда он бежал от синезупанников, было не так страшно. Да, не так. Было страшно по-другому.

Адское время восемнадцатого года. Киев брошен, сдан Петлюре, город наводнен трупами офицеров. Кругом изуродованные тела, отрезанные головы, до подбородка распоротые животы. Ничего не понятно, полная неизвестность и постоянно меняется власть: красные, поляки, немцы, Петлюра, националисты, сержупанники, деникинцы, синежупанники. Мобилизуют то одни, то другие. От последних смог отстать на мосту, и тоже вот так вот крался, прятался, потом отсиживался в каком-то дворе, а на улице не было ни души.

И здорово слег он потом. Все-таки трусоват. Боже, какие мысли приходят в голову? О чем он думает? И что страшнее? Петлюра, который распорет брюхо, или тигр, который не оставит ни кусочка? Вот он! Крадется, издевается, сукин сын. Бедный писатель увидел тигриную морду, торчащую из-за дерева, но облик мгновенно растворился в листе, будто его и не было. Да ну, какой тигр? Откуда вообще может тут взяться тигр? Все это просто галлюцинация! — Он засмеялся над собой и закрыл глаза. Потом открыл, и действительно, никакого тигра не оказалось.

Хотелось пойти спокойно к поезду, найти своих, пока еще не поздно. Хотелось сделать хотя бы вид, что это возможно. Хотелось просто обмануть себя. Он весело пошел и четко услышал шаги за спиной, шаг в шаг, будто кто-то проник в него и преследовал, словно тень.

Писатель ускорил шаг, за спиной шаги стали быстрее, слышнее. Он побежал и уже чувствовал, как тигр почти впивается ему в шею, ощущал его шершавый язык, клыки. Боль!

И тишина, покой, нет ничего. Он открыл глаза, пытаясь понять, что с ним, где он.

Быть может, все это сон, бред, быть может, он все еще едет в поезде, а может, вообще ничего никогда не было?

Ни восемнадцатого года, ни морфия, ни тифа, ни рожавших женщин, ни распоротых животов, а вот сейчас он проснется, и отец будет еще жив. Отец...

Что сделал бы отец, окажись он тут? Он вряд ли бы испугался, он умел верить. Так вот зачем нужна была эта вера... Он поднялся с травы, отряхнулся. Наверное, потерял сознание. От чего? Ну, просто от голода. А разве не было ягод? Все смешалось в голове, перепуталось. И не было никаких ответов на вопросы, возникающие снова и снова. Очень хотелось оказаться сейчас в теллушке. Зачем он побежал в лес? Кто заставил его выскочить посреди пути и бежать в адский лес в пасть к самому сатане? Беглец понял, что бежать больше не станет.

Он медленно пошел вниз, стараясь сохранять остатки разума, в который верилось уже весьма с трудом.

А рядом по параллельной дороге тихо шел огромный тигр. Человек видел его боковым зрением, чувствовал его желтые глаза на себе, слышал шорох листьев, тяжелые шаги, опускающиеся на траву.

А может, это и не тигр вовсе? Мурашки побежали по всему телу, снова и снова обдавая волной. Тогда кто же это?

Что? Этот тигр будто не жив уже, или совсем что-то...

Писатель остановился, спрятался за деревом, стараясь почти не дышать, а сердце стучало так громко, что тигр — или не тигр — мог услышать его биение.

Мелькнула мысль залезть на дерево, но благо вторая мысль пришла так же скоро: тигры умеют лазить по деревьям, и будет совсем неприятно, если эта тварь вздумает его оттуда "снимать".

Раздался гудок поезда. Он вздрогнул. И вдруг громко зашел:

— Дивные очи, очи как море...

Сначала было очень страшно, голос дрожал:

— Цвета лазури, небес голубых...

Ему так хотелось спрятаться, а вместо этого он вопил что было сил:

— То вы смеетесь, то вы грустите...

Страх будто выходил у него изо рта:

— Знать не хотите страданий моих...

Он шел и громко пел, куда не оказался у железной дороги...

Жуткие воспоминания прервал изумительный запах Марусиных пирожков, который просочился через дверь и издевательски распространялся по комнате. И непризнанный певец неожиданно осознал, что зверски голоден, и тихонько прокрался в столовую:

— Товарищ Маруся...

Маруся взвизгнула и покраснела.

— Напугали, Михаил Афанасьевич, Бог с вами, — взглядывалась она ему в лицо голубыми глазами, будто ища в нем чего-то необычного. Последнее время они частенько смотрели на него так. Люба, Марика и многие-многие. Все ждали, что же теперь он сделает, теперь, когда вся жизнь его летела к чертовой матери.

Марика, так называл ее писатель, недавно приехала из Грузии. Мака с женой настояли, чтоб она непременно остановилась у них. Спала она на узком диванчике в столовой, рядом с комнатой Любы.

— Мария Артемовна только что вниз, в лавку, ушла. Звонила Любовь Евгеньевна, велела накрывать на стол. А вы что-то хотели? — поспешила прервать паузу Маруся.

— Мне плохо, Маруся... Умру я сегодня. — Обессиленный артист упал на стул и закатил глаза, но увидев перепуганное вытянутое личико Маруси, тут же расхохотался: — Да что вы смотрите на меня так, Марья! Я скорее умру с голоду, если еще буду дышать этими вашими запахами. Я смерть как люблю ваши пирожки!

Знаменитый симулянт схватил пирожок со стола и выскочил в коридор. Там уселся на лесенке возле своего кабинета и в задумчивости положил голову на ладони.

Конечно, это был не тигр. Оставалось либо признать, что у него тогда случилось временное помешательство, либо... Об этом и говорить не хочется, но именно о нем он хочет писать свой роман..

Он преследует до сих пор, тенью крадется по пятам, идет по параллельной дороге и требует, чтобы о нем непременно сказали. Или же не требует?

Мастер с грустью смотрел, как серый котиче несется из коридора в столовую, но заскользил на полу: пузо перевесило, и Флюшка пролетел мимо. Поняв, что он опять не вписывается в поворот, кот бросился к дверям, вскарабкался на черное пальто хозяина. Пальто упало, посыпалась мелочь. Флюшка с испугу драпанул обратно и взлетел на шторы.

Замер и, вертя головой, глядел вниз своими перевозбужденными горящими глазенками. Отдышавшись, кот начал потихоньку сползать, перебирая лапами по шторе. Когти застревали в ткани, он их отдирал и аккуратно спускался.

Усевшись на подоконник, кот начал умываться с видом, что называется “назло врагам”. Бутон сдвинулся и лег посреди комнаты, изредка покачивая хвостом. Флюшка затаился. Вдруг показался один сверкающий хитрый глаз из-за шторы. Потом серый интриган устало прыгнул и лениво поплелся к кабинету мимо Бутона, разумеется.

Возле пса остановился, начал потягиваться. Бутон негромко зарычал. Флюшка, недоумевая, взглянул на него сверху вниз и демонстративно вразвалочку пошел мимо. Кот был напряжен, собран, но храбрился. Шел медленно, показывая, что он не трус и бояться всяких там собак не собирается. Бутон рывкнул, Флюшка бешено мяукнул, отлетел на пару шагов к кабинету и злобно оглядел псину. Бутон лаял, но не приближался. Флюшка с глухой недовольной физиономией презрительно тарасился на пса.

Дверь в прихожей открылась, и на пороге появились Любовь Евгеньевна и Мария Артемовна. Бутон бросился встречать хозяйку. Мака встал на просцениум и приветствовал.

— Здравствуйте, мама! Коты и папа умирают от голода, они обещали поколотить всю посуду в качестве забастовки. И клянусь бабушкой, они это делают!

— Тиш, тиш, тиш... — успокаивала Любаша, — Мака, как тигр из книжки Федорченко “Всегда не сытый, на весь мир сердитый”, — шепнула она Марике и засмеялась.

— Об чем это вы? — улыбнулся “котовский” папа, спрыгнул со ступеньки и направился своей развязной походкой через столовую к дамам. Он обычно держал левую руку в кармане, от чего левое плечо немного приподнималось.

— Ну что там на занятиях, Любанга? — спросил заботливый муж, забирая у нее пальто.

— Меня знает уже вся Москва, все кто ни проезжает, сигналият и приветствуют!

— Любан, может тебе на мотоцикл, а? — подмигнул ей заговорщически Афанасьевич.

— По мне лучше верховая езда!

— А вот твой “начальник” зловеще намекает, что лучше не надо. Да и где уж тут кататься, Люба? Если только среди трамваев? Тем более, что теперь овес достать невозможно. И я тебе скажу, недолго осталось лошадям по мостовым разгуливать!

— Не все же могут позволить себе мотоцикл, Мака, — намекнула она на Булгакова.

— Ну, теперь скорее грешно на лошадях. И потом, я сегодня, как честный гражданин, передвигался на трамвае. Как раз возле тебя проезжал.

— Что, за мной следил?

— Нет, всего лишь за тигром в клетке, — вздохнул писатель.

— И как тигр?

— То была тигрица. И не спрашивай, — таинственно махнул рукой писатель.

— Кстати, скоро к нам Петяня пожалует мыться, у них воду отключили.

— Значит, сегодня — блошинные бои! — обрадовался Мака, и глаза засияли, как у ребенка.

— Блошинный царь Мака — принимает у себя своих подданных.

— Тогда бегу к себе, мне до зарезу надо закончить одно дельце, — “блошинный царь” поднялся к своей комнате через две ступеньки и скрылся за овальной дубовой дверью в своем царстве-кабинете. С Петяней дружили они еще с “крюковских” времен, самых незабываемых, веселых и беззаботных дней, когда гостили у Лидии Митрофановны на даче.

Помнится, жило в ее доме невероятное количество народу, всех сразу и не сосчитать. Одна только семья ее чего стоила. Петька жил по соседству, приходил ежедневно и всем очень нравился своим добродушием. Каждый вечер все собирались в гостиной, и начиналась бурная жизнь.

Как-то даже затеяли духов вызывать. Мака в предвкушении наслаждался! Когда выключили свет и Сережа зауспокойным голосом произнес: “Дух, ты здесь?”, наш писатель ждать себя не заставил. Он тихонько начал шевелить стол, потом спрятанным за пазухой прутиком стал гладить обезумевшие головы присутствующих. В конце пошла в ход редиска, прихваченная со стола. А вот редиску как раз бросал Петька! Эффект был: напугали эти разбойники всех до полусмерти. После сеанса Мака втихаря обсуждал с Петькой происшедшее, а Любовь Евгеньевна подслушала ненароком, но промолчала: муж уговорил за три рубля. Однако публика не унималась, и на следующий день Елена Яковлевна, младшая дочь Понсовых, Петьку дожала и потребовала от него клятвы в том, что он не имеет отношения к духу-разбойнику. Ну а так как знала из семьи его только бабушку, то приказала клясться бабушкой. Мака с женой притаились и ждали развязки, когда наконец услышали фальшивый Петькин голос: “Клянусь бабушкой!” С тех пор в этой семье клянущая исключительно бабушкой.

Женщины стали накрывать на стол. Флюшка с поднятым хвостом бежал взад-вперед, умоляя его накормить. Он “орал”, смотрел глазами умирающей Дездемоны, заглядывал в миску и еще между делом старался отодвинуть Бутона, который был тут и беспредельно мешал.

Улучив момент, Флюшка выкрал кусок колбасы из тарелки со стола, зарычал и поспешил удалиться в кабинет хозяина, который тоже считал своим собственным.

Должно заметить, что, несмотря на безденежье и “многообещающее” будущее, “стол” еще не опустел и двери в этот дом по-прежнему для всех открыты. Бедный писатель всегда жил “сегодняшним” днем, и “сегодня” он непременно должен жить на широкую ногу, как говорится.

— Батюшка, идите кушать, — позвала Маруся Бутона, который лежал в коридоре и наблюдал за приготовлениями. Флюшка сидел возле кабинета, опустив смиренную голову, и клевал носом в дверь.

— Макочка, и прихвати с собой свою свиту, а то вон сидит наш подхалимник несчастный. В царство его не берут!

— Какую свиту? — отворив дверь, просунул нос блошинный царь Мака.

Перед ним сидел самый несчастный кот на свете. Писатель сжалился, открыл ему, и Флюшка по-королевски медленно поплелся через щель в кабинет, стараясь это делать как можно дольше в отместку за то, что его так долго не пускали.

В комнате уже потемнело, на столе горели канделябры и синий абажур. Мастер сел у окна. Флюшка рядом, присел подышать свежим воздухом.

— Нет, не люблю я тигров, что поделать? — обратился он к коту, который мурлыкал от удовольствия после удачно сворованной и съеденной им колбаски. — Ну и зачем еще один Хлудов?

Имелся в виду Хлудов Михаил Алексеевич, известный купец-меценат, который приручил тигра, словно собаку. Однако когда тигр лизал ему руку, то разлизал ее в кровь. Тогда Хлудову, разумеется, пришлось убить разволновавшееся животное.

— Вот так всегда: то пишу, не могу оторваться, то по одному слову в день! Но каково это было, а? Тигрица-то точь-в-точь, как моя! Туранская, оказывается. И не напрасно я поехал туда, — объяснил писатель “собеседнику”.

“Туда”, имелось в виду, в Московский зоопарк, в котором два года назад открылась дополнительная территория, Новая. Направился писатель напрямиком к “Острову зверей”, где и встретился со “своей” тигрицей. На этот раз отделял их глубокий ров. Она ли это? Как знать, во всяком случае, привезена она была точно не из Баку. Тигрицу звали Тереза, и появилась она здесь в двадцать шестом году с легкой руки советского посла, вернувшегося из Ирана.

— А представляешь, если я встретил “ту самую”? А я был так уверен, что не мог он быть там, в Баку, ты понимаешь?

Ан нет... Мог, оказывается! И еще как был! Туранские тигры там прекрасно себя чувствовали в те самые времена, ты можешь себе представить? Но не дает он мне написать о себе, этот черт собачий, этот дьявол, интеллигентная мразь этакая! Да и потом, как ты себе это представляешь: живого тигра, разгуливавшего в центре Москвы? Никуда это не годится, мой друг, ни-ку-да.

Вдруг писатель сжал голову руками и прошептал:

— Ох, и все-таки трус я. Кто я такой, чтобы сразиться с самим дьяволом? Но они должны знать. Быть может, кто-то довершит начатое. Пора признать, что все-таки это был не тигр. Ведь нет ничего страшнее страха. А зло, оно всегда рядом, оно было и будет, оно так мило, привлекательно, так безобидно на вид. Тигр — это слишком банально. Но тот, который сегодня милый котенок, легко в полумраке обернется чудовищем. Не всякую собаку пускай в дом: не известно еще, чем она выйдет из-за печи.

Мака начал аккуратно убирать тетради в ящик. Флюшка сидел на подоконнике и вдруг, завидев на улице кота, весь изогнулся вопросительным знаком, шерсть встала дыбом. Взъерошенный кот встал на “мысочки” и зарычал “нечеловеческим голосом”, высунув устрашающую морду из окна.

— Прям, как тигр, — засмеялся писатель. И тут все встало на свои места.

— Как тигр? — мастер вытаращил глаза на разъяренного зверя, будто видит его впервые в жизни.

— Ну конечно! Вот же он! Мой настоящий тигр!

Мака схватил листок и начал писать. Мысли неслись потоком, образы

возникали вновь и вновь, сменяя один другим, и он, не в силах остановиться, пачкал листок за листком. Слова лились из-под пера, словно музыка:

“Перед камином на тигровой шкуре благодушно сидел, уставившись на огонь, черный котиче.

— Эти дурацкие тигры своим ревом едва не довели меня до мигрени, — сказал Воланд.

— Прошу послушать, — отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:

— Вранье!

— И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, — что оно — вранье от первого до последнего слова.

— Ах так? Вранье? — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: — История рассудит нас”.

Закончив на этом, Мака вырвал листы с тигром из черновика и бросил их в печь.

ВЛАДИСЛАВ ПАСЕЧНИК

МАКСИМ

РАССКАЗ

Рассвет выгнал Максима Курилко из траншеи. Он выбрался наверх, уставший, голодный и почти незрячий после громкой бессонной ночи. Вчера был дождь, в траншеях стояла мутная вода. Курилко набрал ее во флягу, бросил туда таблетку очистителя и, не дожидаясь, когда она растворится совсем,пил жадно.

Ночью он отстал от своей роты. Была страшная суматоха, наступали без команды, без смысла. Когда приходили приказы, было уже непоправимо поздно, уже рвались снаряды, и сотни людей становились глиной...

На земле, в рытвинах от колес, стояла маслянистая вода. Овраг справа от дороги был забит человеческими и конскими трупами, в небе кружились вороны. Вдалеке горел город. Всюду на земле лежали мертвые люди: свои, враги, и даже страшные штурмовики-“западники”, “законченные”, еще живьем мертвые люди. Вчера прибыли они с западного фронта, на десантном корабле, увешенные орденами, — гордые и опасные, — вчера они бросили в порту своего командира, и двинулись вперед, и всю ночь рокотало впереди, и в небе и в траншеях было беспокойно, а он, Максим, — из простых сол-

ПАСЕЧНИК Владислав Витальевич родился в 1988 году в Барнауле. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет. Печатался в журналах “Барнаул”, “Алтай”. Живёт в Барнауле.

дат — сидел под дождем, накинув на себя отпоротую половину плащ-палатки.

Эта половина и сейчас была при нем. Плащ-палаткой с ним поделился сержант Клипин. Свою Максим сдал в хозяйственный обоз, как раз перед тем, как загрохотало — в небе и на земле. Теперь брезентовая половинка тяготила его смутным беспокойством. “Увижу Клипина — верну”, — решил Куришко.

Солдат шел вдоль дороги. Он, кажется, совсем потерялся, вокруг не было ни одного живого человека, а только трупы и взрытая земля. День был жесток к солдату. Он принес холодный северный ветер и тучи воронья. Вороны садились на ветки, прыгали среди неподвижных тел, клевали у трупов глаза, а главное — гремели в зияющем небе над головой Максима.

И вот Куришко, бывший охотник, остановился, вскинул винтовку и сделал выстрел в небо, по стае. Одна из ворон упала на землю. Стая рассыпалась со страшным гвалтом. Бывший охотник выстрелил еще раз, а потом еще и еще. После каждого выстрела на землю падал мертвый враг...

Максим торжествовал молча. Про себя он думал, как правильно и хорошо, что он, — уже теперь не совсем солдат и совсем не человек, — вот так стоит и стреляет по воронью.

Вороны разлетелись прочь. Их черное войско было разбито одной только винтовкой Мосина. Пространство вокруг прояснилось, не стало хриплого карканья, и солдат отправился дальше. Спустя какое-то время он обнаружил, что дорога, по которой он идет, ведет его не к цели, не к горящему городу, где еще слышались выстрелы, а куда-то в сторону. Но он не замедлил шаг, внутри у него что-то еще надрывалось вороньим гвалтом, а в ноздрях свербил запах прибитой пыли.

Откуда-то из-за поворота появилась полевая кухня. Она двигалась торопливо и шумно, подпрыгивая на ямах и кочках, испуская клубы ядовитого дыма. Кухня двигалась, не сбавляя скорости, и не было сомнения, что она промчится мимо.

Тогда Куришко, у которого еще оставалась граната, снял с пояса эту гранату и вышел на середину дороги, расставив руки в стороны. Кухня громко чихнула и встала. Из нее выскочил уставший солдат, — шофер с замученным лицом. Он понял, чего хочет от него солдат, что не ел он, наверное, очень давно. В машине были теплые хлеба, теплые, как разогретые валуны, шершавые и темные. Куришко жевал хлеб сосредоточенно, тяжело вздыхая, проглатывая сразу помногу. Ничего не занимало его в эту минуту, кроме еды. Рухни сейчас холмы и скалы, окружавшие его, он ни за что не прекратил бы есть.

Вот пекарня уехала, и Куришко двинулся дальше по дороге и вскоре вышел к широкой бухте. Солнце поднялось уже высоко, и можно было скинуть с себя всю одежду, и побежать по пляжу, окунуться в холодный прибой, и поплыть прочь от берега. И вот он, тот, который никогда еще не плавал, вот так, голышом, в море, заплыл очень далеко, так что и забыл про берег, и течение подхватило, одолело его, и не мог он ничего сделать, кроме как лечь на спину и совершенно отдаться ему.

И тогда из его тела вдруг ушла какая-то судорога, которой он прежде, кажется, и не замечал или успел каким-то образом к ней привыкнуть. И тогда пришло воспоминание — короткое, смутное как позавчерашний сон, о том, что осталось в траншее, скрытое грязной водой... Максим выбросился на сушу, рыхлый как морская пена, и высох, остался на камнях тонким соляным осадком. Когда же он пришел в себя, вокруг по-прежнему не было ни души. Солнце стояло в зените, где-то вдали польхал город.

На камнях среди одежды лежал обрывок плащ-палатки.

“Нужно вернуть”, — вспомнил Максим.

Он смешно прыгал на камнях, натягивая порты, когда со стороны города появился человек, японец. На нем не было погон, но по костюму и выправке в нем можно было узнать офицера. На лбу у него белела марлевая повязка. Максим нагнулся за винтовкой, да так и замер, не сводя взгляда с японца: таких убивали, не пропускали мимо. Офицер тоже остановился и смотрел на солдата.

— Иди, — прошептал Максим одними губами. — Иди.

Офицер, конечно, ничего не мог услышать, но почему-то понял намерение Максима и двинулся дальше. Вид у него был, кажется, такой же потерянный, как и у Куришко. Затем он исчез, и Максим тут же забыл о нем. Он решил, что теперь надо идти в город. До того он не вполне понимал, что зачем делает, но теперь не было в нем прежней непонятной судороги, и он знал точно, что нужно найти своих и нужно отдать зачем-то Клипину его брезентовую половинку.

Дорога к городу поднималась от самого берега. Среди холмов виднелись просевшие обвалившиеся доты. Холмы, еще утром неприступные, кишевшие злой пчелиной жизнью, теперь были пусты. Только кое-где ходили страшные люди с винтовками — высматривали, не шевелится ли кто среди обломков. По дороге навстречу Куришко шла колонна пленных — уголовники вели арестованную жандармерию. Зеки шли гордые, довольные тем, как распорядилась ими судьба. Вчера они напоили водителей и двинулись в город. К утру улицы уже были охвачены пламенем, а земля дрожала от страшного мужицкого разгула.

— Не видели сержанта Клипина?

— Клипина? Не знаем такого.

Вот и город. Воздух в нем был сизый, потяжелевший от дыма. “Западники” захватили спиртзавод и выставили по периметру бойцов с винтовками. Всем желающим разливали спирт — во фляги, и в банки. Возле ворот дымил штурмовик, — из самовольных атаманов, — уставший мужик с недавним шрамом на шее.

— Это немец штыком меня, — рассказывал он, поглаживая острый кадык. — Я тогда чуть-чуть не кончился.

Командир штурмовиков, молодой полковник, стоял тут же, курил рассеянно, то и дело одергивая китель, касаясь невзначай кожаной портупей. Лицо было серым и неподвижным. Вчера он, гордый и грозный хищник, стоял на носу десантного корабля. Вчера он велел штурмовикам остаться в порту и ждать прибытия генералов, но кто-то из них, из этих закопченных, замасленных солдат — может, и тот, что болтал и чесал кадык сейчас, — кто-то из этих бандитов крикнул ему: “Командир, оставайся в порту, остальные за мной!”. И ничего не мог сделать полковник, кроме как нервно вытянуться перед этими бандитами, не сказав ни слова, сжав зубы.

Приехали генералы. Приехали, все поняли без вопросов, покачали головами. “Мы так и думали”, — сказал один. “Это вина не ваша. У них там свои... “командиры”, — сказал другой, — все мы понимаем”. А полковник стоял перед ними нервно-навытяжку, как будто мученическая поза могла что-то изменить или как-то оправдать его беспомощность.

— Не видели ли сержанта Клипина? — спросил Максим штурмовиков.

— Нет, не видели, — отвечали западники угрюмо. — А ты не стой, сядь что ли, выпей с нами.

— Да не могу. Мне найти надо.

— Ну, хоть во флягу намери!

— Во флягу — можно.

На окраине стоял буддийский храм. Во дворе лежал мертвый монах в странной одежде с желтыми кисточками. В храме хозяйничали саперы — день кончался, в воздухе звенели комары. Куришко остановился возле монаха. Неподалеку сидели саперы. Они вели свою беседу, глядя на мертвого человека в диковинных одеждах, ровно и бесстрастно, как на что-то простое и ясное, вполне приемлемое в их беспокойных жизнях.

— Форсировали мы реку, — говорил один из них. — Ну как мы... я и еще один дурак... переправили нас на “амфибиях”, высадили, дали по железному пруту, идите, мол, пошукайте — нет ли на берегу мин. Я вот сейчас думаю — может, на нас хотели огонь вражеский вызвать? А тогда не думал. Ну вот, иду я, значит, гляжу — домик двухэтажный, ага... во дворе кони запряженные. Я, дурак, захожу внутрь, смотрю — котелок с кашей, нож с костяной ручкой, да фуражка офицерская. На второй этаж отчего-то ходить не стал. Кашу съел, нож прихватил. А потом уже, когда в наступление пошли, туда наши командиры сунулись — нашли на втором этаже трех японцев... кокнули их, конечно... а представляете, если бы я туда сунулся?

— Не видели сержанта Клипина? — спрашивает их Максим.

— Клипина? — заговорил кто-то из саперов. — Ну видел я вашего Клипина. Он, с двумя дурнями дот закрывать пошел. Его из того дота пулеметом и прошло. Только и видно было, как патроны из патронташа на землю сыплются.

— Вот как получается... — Курипко выпросил у сапера папироску, закурил.

— Спирт есть? — спросил кто-то.

— Ну, есть немножко, — Курипко показал флягу.

— Это хорошо. Оставайся тут ночевать, — сказали саперы. — Мы здесь денька на два задержимся.

— Ну хоть и так... — согласился Курипко, думая про себя, как бы ему отыскать своего командира.

Заночевать в храме не получилось — через час всего явился к ним какой-то человек в штатском и велел уходить.

— Местные вам монаха не простят, — говорил он нервно.

— Мы что ли попа этого убили? — возмущались саперы. — Мы, когда пришли, он уже готовенький лежал.

— Все равно уходите. На сопки уходите, там и переночуете. А здесь нельзя.

Когда поднялись на сопки, сделалось уже темно, да к тому же с моря поднялся густой туман. Курипко вдруг оказался один, пробовал кричать, но не докричался, а только сорвал голос.

Тогда он нашел себе укромную впадинку, постелил на землю плащ-палатку и задремал. Было темно, сыро и тепло. Курипко задохнулся от этого морского духа и быстро заснул. Последнее, о чем подумал, было то, что сержант Клипин пожадничал и мог бы отдать ему всю плащ-палатку, прежде чем умереть.

Он спал уже крепко, когда чья-то рука больно толкнула его. Максим открыл глаза. Над ним склонился японец, точь-в-точь как тот, которого видел Максим в бухте. Курипко зажмурился и тряхнул головой. Японец не исчез, и это точно был он! Даже повязка, кажется, была на прежнем месте, только чуть-чуть съехала на висок от сырости. На плечах были тени от погон.

Еще был густой туман, и лицо японца выступало из серой мглы, как лицо привидения.

Он произнес что-то и махнул рукой. Максим приподнялся, упершись локтем в холодную сырую землю. Все тело болело от холода. Он, наверное, замерз бы насмерть до утра.

Японец снова махнул в сторону, и Курипко, наконец, увидел неясный огонек вдали — искорку костра. Чей это костер? Друзья или враги греются возле него?

Максим встал и нетвердым шагом двинулся к огню. Японец шагнул в туман и навсегда исчез.

Костер был уже совсем близко. “Наши! По-нашему говорят! — понял Максим радостно. — Да это же из моей роты!”

Возле костра сидело десять человек, знакомых и незнакомых. Говорили негромко, поминали погибших, среди прочих и Клипина, пили спирт со спиртзавода.

Когда Максим шагнул к костру, все разом замолчали и неподвижно уставились на него. Лица некоторых вытянулись от удивления.

— Курипко! — вдруг раздался голос ротного. — А я тебя в мертвые записал! Сам же видел, как рядом с тобой мина рванула!

— Я живой... — слабо улыбнулся Максим. — Меня землей присыпало, а так живой. Холодно здесь. Пустите к огню.

И вдруг он почувствовал, что прежняя судорога вернулась к нему, и теперь, уже, наверное, не оставит его до самой смерти. И подумалось ему отчего-то, что через много-много лет не будет помнить дня, в который ходил по земле, будучи мертвецом. Разве что вспомнится ему из всей этой странной жизни то, как он плавал в море первый раз в жизни и как в болезненной звенящей тишине шептались волны Охотского моря.

ПОКА СТОЯТ ХОЛОДА

РАССКАЗ

Трамвай медленно подкатил к остановке. Анна вошла в открывшуюся дверь.

— Я всё-таки тебе через пару дней позвоню. Ты подумай ещё, — глухо сказал Северцев.

— Нет, извини... — как чужая, ответила она и отвернулась. Блеснув стёклами, двери закрылись.

“Ну и катись ко всем чертям!” — зло прошептал Северцев и отчаянно зашагал ко входу в метро, почему-то с ненавистью глядя на светящуюся букву “М”... Сидя в вагоне, тоскливо стал вспоминать, что последние дни Анна была почему-то холодна, грустна. А сегодня она прямо заявила, что решила расстаться с ним, поэтому встреча в этот вечер оказалась последняя. Северцев чувствовал пустоту, горечь... Что случилось? Почему она так изменилась?

Северцев уже четырнадцать лет работал в одном московском институте, десять лет назад защитил диссертацию. Имел степень доктора биологических наук, получил должность профессора... Ему было пятьдесят два, Анне тридцать пять. От знакомства с нею он ждал многого: настоящей любви, создания семьи. Северцев никогда не был женат. Первый месяц всё шло радостно, легко, гладко, но вскоре зародились тревожные опасения: “Слишком уж тихо! Это штиль перед бурей!”

И он оказался прав.

Северцев не знал, что он сделал не так, не понимал, чем не понравился или отпугнул. Он был прекрасно воспитан, в общении очень тактичен. Внешне, пусть и не красавец, но, несомненно, вполне обаятелен. В чём же дело, чёрт подери?! Он видел в отказе Анны высокомерие, убеждённую в каком-то превосходстве перед ним. Это задевало его самолюбие. Северцев ощущал, что его как будто обокрали, обошлись с ним несерьёзно, и это представлялось ему чуть ни оскорблением. Чем же он разочаровал её?

Северцев не имел большого успеха у женщин, трудно сходилась с ними, и каждый раз его отношения с ними обрывались — не по его, а по их вине, как был убеждён он. Наступал, как говорится, один прекрасный день — и избранница говорила, что хочет расстаться. Северцева это приводило в бессильное бешенство, потому что он не видел причин для расставания, не понимал, чем не угодил — и подчас мысленно слал страшные проклятия тем, кто его бросал... И вот теперь то же самое и с Анной: очередной крах.

Вернувшись в этот вечер домой, Северцев выпил полстакана водки. Захмелел, немного успокоился.

Жил он один в двухкомнатной квартире. Родители умерли... Северцев заведовал биологической лабораторией и уже полтора года бился над своей теорией, пытаясь её экспериментально доказать. В институте теорию поддерживало очень мало коллег, и руководство всё чаще подумывало приостано-

ТИМОФЕЕВ Никита Анатольевич родился в 1988 г. в г. Москве. Окончил филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Аспирант кафедры русской литературы. Живёт в Москве.

вить эту работу и распустить группу Северцева. Он боялся этого как огня и каждый день, приходя в институт, опасался, что вызовут к начальству и скажут, что, мол, “закрываем лавочку”. Он же был до маниакальности убеждён в своей правоте, но нужных результатов его эксперименты пока что не давали. Северцев был уверен, что его открытия будут чрезвычайно важны для медицины, что они помогут многим людям. Неужели же начальство не понимает этого и посмеет закрыть эксперимент?!

Кроме науки, он всерьёз занимался сочинением музыки. Северцев однажды случайно встретился во время отдыха в санатории с известным композитором Д-чем. Тот, узнав, что профессор биологии — ещё и музыкант-любитель, заинтересовался и попросил его сыграть что-нибудь из своих произведений. Они пошли в актёрский зал, и на стареньком фортепьяно Северцев исполнил пару своих пьес. Композитор послушал и сказал: “Вещи очень своеобразные, оригинальные, я вижу талант”. Но потом, помолчав, вздохнул и заметил, что вместе с тем музыка показалась ему “холодной, как гранит”. Что он имел в виду, Северцев не понял, однако расспрашивать не стал.

Отдых кончился, больше они не встречались. Но Северцев продолжал писать — для себя...

...Во вторник он пришёл в институт и по встревоженным лицам своих коллег догадался, что, видимо, худшие опасения начали сбываться. Сердце упало.

— Иван Николаич, нас закрывать собираются! — испуганно сообщила Маша, лаборантка.

— Чёрт бы их драл... — задыхаясь, прошептал Северцев и помчался к директору НИИ. Состоялся недлинный и неинтересный разговор. Неинтересный потому, что Северцев понял: директор для себя уже всё решил. На следующий день было назначено специальное собрание и обсуждение с целью вынести решение по вопросу.

Северцев присутствовал на этом собрании.

Сел в углу и слушал, нервно барабанил по столу пальцами.

— Положительных результатов никаких. Отрицательных — масса... Всё бело как день! Все эти обещания товарища Северцева, что, мол, он именно сейчас уже на самом пороге открытия, а мы, мол, в такой ответственный момент не даём ему времени — это просто курам на смех! Мы эти уверения слышали ещё полгода назад, так что увольте... Короче говоря, это просто трата бюджетных средств на весьма сомнительное дело, — блестя глазами, гнусавил пожилой профессор Федичев.

Он говорил долго, со скучными и однообразными интонациями, то и дело вскидывая худую руку с сиреневыми венами и, взглянув мельком на коллег, снова поворачивал боком, по-птичьи, седую голову, как бы желая этим движением показать, что вообще не видит причин долго говорить на эту тему, поскольку всё и так ясно.

Северцев сидел мрачный, злой, нехотя поглядывая на возню ворон в ветвях тополя за окном. Накрапывал дождь, на стёклах блеснул бисер капель.

...Было решено: работу остановить. Северцев, подавленный, злой, молча вышел из зала, где проходило собрание. Звук шагов гулко отдавался в пустом коридоре. Северцев зашёл в лабораторию, коротко объявил: “Ребята, сворачиваемся: работу прикрыли” — и быстро удалился.

Вечером отправился пройтись: сидеть дома одному и думать о закрытии эксперимента было неловко. Северцев бродил, пока не стемнело.

Потоки автомобилей мчались в противоположных направлениях. Стоял тот неудобный уличный шум, от которого хочется убежать куда-нибудь подальше, в тихое место. Северцев думал о разных вариантах дальнейшей работы над теорией, но в какой-то момент с полной обречённостью понял, что теперь уже ничего не сможет сделать...

Он остановился посреди тротуара и простоял так минуты две, пока не заметил, что мешает прохожим идти. “Чё встал на проходе...” — раздражённо кинула какая-то женщина. Северцев провёл рукой по лицу и удивился: на пальцах заблестели слёзы. Он поспешил отойти к ограде парка. “Не хватало ещё плакать у всех на виду...” — подумал он и, чувствуя покалывание

в носу, достал платок. В сумрачном парке желтели игольчатыми звёздами фонари по краям аллеи.

Северцев поплёлся вдоль ограды.

Дул сырой ветер, забираясь ледяными невидимыми пальцами под шарф и в рукава плаща. Несчастные жухлые листья, которым не было покоя, неслись по асфальту, кувыркаясь... Северцев взялся за холодные прутья калитки, толкнул. Раздался тугой скрип.

В парке никого не было... Сел на скамейку, приподняв воротник плаща. “Господи...” — сдавленно прошептал Северцев, наклонившись и закрыв лицо руками. Домой ехать не хотелось: представляя тёмную пустую квартиру, где его никто не ждёт, он приходил в отчаянье.

Неужели они не понимают важность открытия, которое он мог бы сделать? Феदिщеву жалко государственных средств? Сколько их ворует, никто не считал, а здесь они могли бы принести конкретную пользу!.. Да, пока не получалось, но ведь надо было проверить всё до конца — не дали этого сделать... Северцев вскинул голову. Что ж теперь будет? Жизнь перевалила за вторую половину, молодость давно ушла, надежда создать семью призрачна... Отняли возможность заниматься делом всей жизни — проверкой сложнейшей теории... И теперь предлагают просто читать лекции!.. Кому они нужны!

Есть ещё отрада — музыка, но нет ни знакомств в музыкальных кругах, ни поддержки:дохлый номер! Что делать? Зачем жить? Северцев почувствовал, как начало давить в груди... Пройдёт восемь лет, и он разменяет уже седьмой десяток, там и старость близка, а всё так однообразно, перемены так маловероятны, новый, свежий ветер в судьбе так редок — что ещё ждать?! И на Северцева смутно дохнуло холодом тёмной бездны, в которой гасли смыслы, цели, убеждения, ответственность... Он испугался и отбросил это неведомое чувство, резко встал и пошёл вон из парка...

В понедельник были лекции на вечернем. Северцев читал, делая над собой усилие: до того не хотелось говорить. Мерк тусклый осенний день, лица студентов были тоже тусклые, скучные. Ходя взад-вперёд вдоль доски, Северцев медленно произносил сухие фразы, нехотя поглядывая на второкурсников: “Физиология человеческого организма...”, “Первая сигнальная система...”, и сам удивлялся глухому звуку своего голоса, с эхом отдававшегося в большой аудитории...

В перерыв большинство отправилось “проветриться” в коридор, но на переднем ряду остались сидеть молодой человек — в костюме, в очках — и несколько девушек. Северцев заварил чаю и устало сел за стол, со звоном болтая ложку в стакане. Начинала болеть голова.

— ...и нечего философствовать... Нужно просто жить, радоваться каждому дню... — с убеждённостью говорил студент своей подруге, у которой был кислый вид. Северцев сквозь пальцы руки, прислонённой ко лбу, взглянул на говорившего.

— Жить — тоже искусство... — страстно продолжал молодой человек. — Ты всё время пытаешься найти какие-то смыслы во всём, рефлектируешь, а надо просто жить... Главный смысл — сама жизнь!

Северцев смотрел на этого студента, торжествующего от своей мудрости в двадцать с лишним лет и, вероятно, изобретшего себе, а заодно и всему человечеству универсальные инструкции на все случаи жизни... Северцев почувствовал тяжёлую ненависть и желание подскочить и дать звонкую ошарашивающую оплеуху этому трепачу. “Надо просто жить...”, “радоваться каждому дню...” Тебе, чёрт очкастый, конечно, в твои двадцать с лишним лет ещё можно “просто жить” и “радоваться”, посмотрим, что ты скажешь, приближаясь к осени своей жизни...

Северцев закончил последнюю лекцию и вышел из института. Как назло, мотор старенькой “Волги” отказался заводиться. Сначала Северцев сам покопался, но ничего не смог. Позвал вахтёра Николая Иваныча: тот разобрался в машинах. Провозились чёрт знает сколько времени, но сделали-таки... На часах было уже пол-одиннадцатого.

Поехал по пустым улицам...

На одном из светофоров стоял, устало ожидая зелёного света. Вдруг кто-то постучал в боковое стекло. Северцев увидел немолодого мужчину, который виновато моргал и всем своим видом извинялся.

— Что такое? — опустив стекло наполовину, спросил Северцев, косясь на светофор: успеет ли до зелёного выяснить, что надо этому незнакомцу.

— Вы извините... — начал мужик, морща маленький, цыплячий нос и часто моргая масляными глазками. Пахнуло алкоголем... Одет, однако, был прилично.

— О-о-о... — учуяв запах, протянул с неприязнью Северцев и сразу махнул рукой.

— Подождите!.. Понимаете... — пожав плечами, затараторил мужик. — Я приехал из Череповца... К дочке на выходные... Сейчас был в гостях у друга... Автобус из-под носа ушёл, а следующий будет нескоро... Вы не подвезёте меня... Тут не так уж далеко... Знаете, торговый центр “Элита”?

Северцев знал, где это, но ему было не в ту сторону, хотя туда и обратно можно было обернуться за пятнадцать минут.

Светофор зажгёт зелёный.

— Нет, извините, не знаю, — сухо ответил Северцев.

— Я прошу вас... Да не бесплатно же!.. Я дорогу-то покажу... — залепетал мужик.

— Нет! Квасили б меньше — тогда и на автобус успели бы! — отрезал Северцев, чувствуя злбу и боясь не успеть проскочить перекрёсток.

В зеркале видел, как удалялась фигурка человека, растерянно стоявшего на краю тротуара. Потом исчезла за поворотом, и только зелёный глаз светофора помигал вслед машине.

“Нечего с таким и цацкаться... — решил Северцев, раздражённо отгоняя сомнения. — Пьёт, понимаешь, сидит в гостях до темноты, а я подвози. Ты спроси: удобно ли мне тебя везти? Тем более — я устал: уже язык на плече!.. Ничего, перебьётся... Автобус ему трудно подождать...”

Но, подъехав к дому, Северцев стал себя уже журить за то, что заупрямился: “Ну, подбросил бы мужика... Тем более он не москвич... Ну, ладно, что уж теперь...” Вздумал было вернуться, но... “Проезжу, чего доброго, впусую. Нет уж... Ну его! Меня вон никто не жалеет: завтра в шесть утра вставать!” — разлился Северцев.

Предполагал, что быстро забудет этот эпизод, но и за ужином, и позже, ложась спать, никак не мог отвлечься, всё думал: как добрался до дома тот мужик...

В конце ноября в одном университете проходила конференция по биологии. Северцев в сентябре дал согласие принять участие и, усталый, подавленный, без всякого желанья ехал теперь туда, с длинным докладом о своей теории. Как назло, засел в заторе. Валил мокрый снег... Северцев боялся не успеть к началу пленарного заседания...

Опоздал. Войдя в актовый зал, с трудом отыскал свободное место. Сел, радуясь, что немножко удастся отдохнуть в удобном кресле. Глаза слипались... За окнами всё так же мелькал снег...

— Уважаемые коллеги! Позвольте поприветствовать вас на нашей конференции... Для меня большая честь... — начал выступать известный биолог, академик Иван Никитич Румянцев. Он, как знал Северцев, с недоверием относился к новым теориям, из которых, как он был убеждён, действительно заслуживают внимания только единицы. Сам себя Румянцев любил называть борцом с “лихачами в науке”, от которых, считал он, — только вред...

Через два часа начали работать научные секции. Северцев пришёл в аудиторию, сел в первом ряду с краю, ближе к двери. Скучные лица, вялые разговоры перед началом выступлений не внушали ему оптимизма. Кто здесь будет вникать в тонкости его теории? Кто поддержит? Никто, судя по всему.

В зал вошёл Румянцев в сопровождении ещё каких-то людей. Увидев, что тот садится за стол президиума, Северцев совсем пал духом и уже стал жалеть, что вообще приехал на конференцию. Этот академик будет тут председательствовать!

Вскоре все были в сборе. Румянцев произнёс вступительное слово, крат-

ко рассказал о своём пути в академики и пожелал всем служить науке по гроб жизни, после чего раздались аплодисменты. Греясь в почтительных взглядах простых учёных, среди которых было много молодёжи, старик, чувствуя себя светилом науки, скомкал лицо в лживо скромную гримасу и, опираясь на стол руками, медленно сел.

Начались выступления. Доклады были малоинтересные, от них веяло научным старьём; заметна была боязнь смелых мнений, отсутствовали мало-мальски оригинальные гипотезы.

Румянцев сидел весьма довольный.

Северцеву было тоскливо и противно. Толку в своём выступлении здесь он не видел, поэтому решил потихоньку уйти: наплевать! После очередного доклада встал, не глядя на сидящих в президиуме, поскорей вышел за дверь, быстро притворил её и зашагал по пустому коридору. “Занесло же меня сюда”, — подумал с досадой.

Хотелось есть, и он решил перед отъездом зайти в столовую. Там было малолюдно. Северцев взял порцию и сел у окна. За соседним столиком была какая-то студентка: пила сок и апатично листала учебник. За окном по-прежнему мело сырым снегом. Налетали мощные порывы ветра, и деревья содрогались.

Северцев ел, глядя на скучную, безвкусную роспись на стене столовой, и вдруг вяло подумал: “Не всё ли равно?.. Теорию в любом случае мне уже не удастся развить, но так ли уж важна она, в самом деле? К чертям собачьим эту науку вместе с её благами, служением высоким целям и прогрессу человечества!..”

— Что читаете? — из праздного любопытства обратился Северцев к студентке. Она подняла голову, равнодушно взглянула ему в глаза:

— Биохимию.

— А-а... Это какой у вас учебник? Покажите-ка обложку, — попросил он и, взглянув, сказал:

— Я в этом учебнике второй раздел написал.

Он ожидал, что она удивится или обрадуется тому, что встретила одного из авторов, но она, посмотрев его фамилию, указанную под названием раздела, всё так же скучно произнесла:

— Северцев? М-м... Очень приятно.

— Любите науку? — чтобы хоть как-то продолжить разговор, подкинул вопрос Северцев.

— Терпеть не могу, — вызывающе, с развязностью, сказала она и захлопнула учебник. — Мне б только диплом уже получить и свалить отсюда.

— Ну, что ж... Кому что надо, — холодно ответил он и встал. — Всего хорошего.

Идя по коридору, подумал: “Ну, ладно я — в свои пятьдесят два — разочаровался в жизни... Так сказать, и возраст, и неудачи позволяют быть разочарованным. А она-то? Каким-то уже цинизмом веет... Ни желаний, ни надежд. Чёрт-те что!”

В конце ноября погода капризничала: перепалал мокрый снег и быстро таял, потом шёл дождь...

Северцев нашёл в интернете объявление о продаже недорогой дачи в Подмосковье. Он давно копил деньги на загородный домик и теперь загорелся: надо съездить посмотреть. Созвонился с продавцом и поехал.

Дорога заняла два часа.

Но... Гневу и возмущению Северцева не было предела: оказалось, что в городке, вблизи которого стоял посёлок, дружно чадил десяток производственных труб: в небо, дыбясь, поднимались грязно-серые клубы дыма. Да и сама местность была удручающая: пустыри вокруг. Обвинив продавца в умалчивании важных деталей, Северцев даже не стал смотреть дом и отправился обратно в Москву, злой, как волк.

Наспех посмотрел карту и прикинул, что по другой дороге будет короче и быстрее. Но в итоге заехал невесть куда. Вывернул на какой-то просёлочек и вдоль хмурых домов да косых заборов потащился по грязи. Шепча проклятия, решил с ходу проскочить очередную лужу, но сразу почувствовал, что

машина стала вязнуть. Гул мотора становился всё более надсадным, колёса буксовали, брызжа грязью. Северцев выключил мотор и открыл дверцу. Пахнуло холодным ноябрьским воздухом. После противного рёва двигателя навалилась тишина и заявила о себе по-деревенски, по-бабы: “Вот она я!”

Вылез из машины. Башмаки зачавкали в глинистой жиже. Пошёл вдоль заборов. Где-то неохотно покрякивал петух, но Северцеву показалось, что петуху этому было тоскливо от себя самого.

Возле одного дома Северцев увидел трактор “Беларусь”. Посмотрел, нет ли во дворе собаки, и толкнул калитку. Свернул за дом. Там стоял здоровый детина и готовился пилить на чурбаке деревянный брус.

Северцев поздоровался и стал объяснять, что случилось. Мужик, глядя недоверчиво, неохотно выслушал его и махнул рукой: “Трактор не работает...”

— Чего ты брешешь!! — вдруг раздался громкий окрик. Стукнула ставня окошка, и в нём показался старик, худой, с бурым, давно небритым лицом и нервно приседающей на правый глаз косматой бровью. Он адресовал эти слова тому детине, потом обратился к Северцеву:

— Не слушай его. Работает трактор. Заходи.

Северцев поднялся по скрипучим ступенькам, осторожно зашагал по коридору... В доме пахло шами.

За столом сидели старуха, молодая женщина и интеллигентного вида молодой человек, с бородкой и в очках. Старик, бесшумно ступая ногами в шерстяных носках, вышел из другой комнаты и в сердцах сказал гостю, махнув рукой в сторону окна:

— Не слушай ты его: большой лентяй! Я его хоть и воспитывал ремнём, да вот не помогло. Проходи, не стой на пороге... Сейчас поможем, трактор-то на ходу.

Северцев прошёл, сел. Было весьма уютно.

— А я слышу в форточку: врёт, скотина, и глазом не моргнёт... — сказал старик злобно. — Наглец такой...

Обернулся и подал руку Северцеву:

— Будем знакомы? Иван Леонтьич.

— Иван Николаич...

— О-о! Тёзки! Садись, сейчас супа налью...

— Да нет, спасибо, я... — начал было возражать Северцев.

— Да брось! На-ка... — пододвинул тарелку старик.

Северцев, конфузясь, начал есть.

— В Москву едете? — спросила старуха.

— Да.

Глянув на молодого человека в очках, старик тотчас решил, даже не спросив Северцева:

— Ну, и отлично: как раз подкинет тебя, Николай!

И пояснил гостю:

— Это зять мой — Николай, тоже из Москвы. На выходные к нам приехал. Это вот жена моя, а это — золовка...

— Иван Леонтьич, да может быть, человеку неудобно... — тихо возразил Николай. Как бы удивляясь, что вообще могут быть какие-то сомнения, старик быстро наклонился к Северцеву:

— Сможешь его подвезти?

— Ну, конечно! — кивнул Северцев: не мог отказать.

— Ну, и всё... — пожал плечами старик: мол, а я что говорил.

Хлопнула дверь, с улицы вошёл сын старика.

— Глянь на него! — зло проворчал Иван Леонтьич и сухо бросил ему:

— Поди заведи трактор!.. И трос достань! Ну!..

Тот, стрельнув глазом на Северцева, развернулся и хмуро вышел. Вскоре послышался стрекот заводимого мотора...

Через десять минут “Волгу”, всю в грязь, вытащили из лужи.

— А ты тоже умник! — насмешливо сказал Северцеву старик, когда они вышли на улицу. — Попёрся, едрёна мать, по этой дороге... С той стороны деревни нормальная грунтовка есть, там у нас и автобус ходит. Глянь, ма-

шина по уши в дерьме теперь... Сейчас окатим из шланга... Москвичи — все вы такие... Всё в облаках витаете, вашу в душеньку мать...

Через пять минут Северцев и Николай сели в машину. Северцев горячо поблагодарил старика и его сына. Иван Леонтьич наставительно сказал на прощанье:

— Давай, в добрый час! Езжай тут пока по обочине, по траве, а то опять засядешь. Тут недолго, а дальше суше будет...

Поехали.

Когда добрались до трассы, постепенно разговорились. У Николая было доброе, немного наивное выражение лица. По каждому его жесту и движению было заметно, что он человек аккуратный, деликатный, мягкий. Говорил он с лёгкими паузами, как бы всё время проверяя, не надоел ли своей речью собеседнику.

— Приехал вот на выходные к тестю: лекарства привозил... — сказал Николай. — Жена в Москве осталась: с ребёнком сидит... Месяц назад сын родился...

— Поздравляю вас, — ответил Северцев и подумал: “Вот так... А я?”

— А вы кем работаете, если не секрет?

— Биолог. Преподаю в институте.

— Правда? Замечательно. А я писатель. Начинающий, — пожал плечами молодой человек, не зная, как отреагирует Северцев: с уважением или же с иронией, с которой Николаю уже приходилось раньше сталкиваться, поскольку некоторые считали писательство делом чудным, несерьёзным. Но Северцев ответил:

— Редко встретишь писателя. Вы молодец. Что окончили?

— Литинститут.

— А-а... — кивнул он. — Хорошо. О чём пишете?

— Это трудно в двух словах... — засмеялся Николай и замолчал, но потом продолжил: — Я с удовольствием расскажу вам про мою новую повесть...

— Прошу...

— Я описываю героя, который как бы... Ну, понимаете, этот человек... ищет веру...

— А вы сами верите? — быстро спросил Северцев.

— Да. А вы?

— Я учёный... — уклончиво ответил он. — Так что же с этим вашим героем?

— Ах, да... Он ищет веру, но разочаровывается в религии. Потом начинает искать дело всей своей жизни, однако каждый раз понимает, что эти дела — всего лишь ширмы, за которыми он хочет спрятаться от вечности, чтоб она не мучила его своей неизвестностью... И вот он ищет эти смыслы, но не находит, поскольку бегаёт от самого себя... Ну, вот, в общих чертах как-то так. То есть тут не сюжет главное, а внутренний конфликт...

— Очень интересно. Вы очень талантливы, я уверен.

Николай смутился.

Надолго замолчали. Уже начало смеркаться, когда вдали замелькали огни Москвы. Начался дождь, дорога заблестела. Северцев довёз Николая до станции “Выхино”.

Когда тот уже отходил от машины, Северцев опустил стекло и крикнул:

— Николай!

Тот оглянулся растерянно и сделал назад несколько шагов:

— Да?

— А как вы называли вашу повесть? Вдруг попадётся, я прочту...

— “Мотылёк”!

Северцев не понял смысла заглавия, но кивнул: “Что ж, очень поэтично...”

И уехал.

На исходе выходного дня на дорогах было очень много машин. Северцев долго стоял в заторах и всё думал о смысле названия. Размышлял: мотылёк обычно летит на свет... Что дальше? Ну, летает неровно, как бы по ломам

ной линии... Ну, хрупок, живёт, говорят, недолго... И что? Северцев не улавливал смысла и шептал с досадой: “Чёрт-те что!”

Потом ему стало казаться, что герой повести напоминает чем-то его самого, Северцева. Чем? Он сам так же, как тот персонаж, имеет дело всей жизни: научную теорию. Ну, и что тут плохого? Да, он считает важным для себя науку и музыку... В конце концов, это приносит пользу людям. К чему он ещё стремится? Он хочет создать семью: это нужно каждому человеку...

Но что-то смущало Северцева.

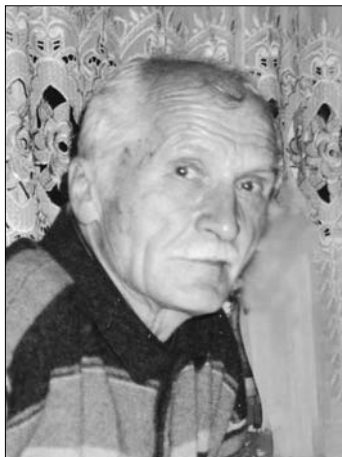
И он вдруг начал понимать, что, объявляя для себя науку, музыку, создание семьи целями, он всего лишь логически выводил их как “достойные смыслы” для своей жизни, которая не должна быть тщетной и пустой. Шёл к исполнению этих смыслов, но не ощущал в них душевной потребности, и поэтому его никогда по-настоящему не заботили ни люди, ни чувства.

И тут снова дохнуло чёрной бездной: как тогда, в парке...

Северцев тяжело вздохнул, сдерживая слёзы. Но потом вдруг разозлился и прошептал в адрес Николая: “А иди-ка ты вместе со своей повестью к чёрту, философ! Умники одни кругом... Мудрецы...”

И гневно сигналил огромному грузовику, который отползал медленно, как черепаха, на другую полосу...

ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ



ОТЧИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВО-СИРЕНЕВЫЙ...

ПАМЯТИ ВАДИМА КОЖИНОВА

Когда страну повергли в шок
ночные злые призраки,
он сам себя во тьме поджѐг
со всех сторон и изнутри.

Он бился, одинокий лев,
с толпой чертей в полемике
за Русский Путь, что сдали в плен
торговцам академики.

Светил он страждущей стране
из наших древних далей
и сам сгорел в своём огне,
не проиграв баталий.

Теперь сияет в небесах
звездой путеводной.
Да не затмится ни в глазах,
ни в памяти народной!

КЛЮЧНИКОВ Юрий Михайлович родился в 1930 году в г. Лебедине Сумской области. Окончил филологический факультет Томского университета. Работал учителем русского языка и литературы, завучем и директором средней школы. В Новосибирске работал радиокорреспондентом, главным редактором радиокomiteта. С середины 80-х годов начал печататься в местных и столичных журналах и издательствах. Живет в Новосибирске.

СОЛДАТ ИМПЕРИИ

А. Проханову

Он возвратился в серую тоску
из буйных стран, от пламенных намазов,
в торгово-либеральную Москву —
надевший тело

Дмитрий Карамазов.

Но это имя — только часть его,
другая — это ангельский Алёша
и Муромца лихое естество...
И мало ли на что ещё похож он.

На переплёт библейский, например,
на писанные золотом страницы,
на саблю, на армейский бэтээр,
родные охраняющий границы.

Ему не в масть предел любой тропы,
не по душе дышать вчерашней пылью.
Несносны и упёртые попы,
обиженные насмерть красной былью.

Весь в думах, чьим узлом, каким мостом
соединить навеки и сосватать
открытый всем ветрам родной простор
и нашу еретическую святость.

* * *

Станиславу Куняеву

Мой ратный друг!
С тобой мы в жизни виделись
Едва ли раза три за все бои.
Твои доспехи на поверхность выбились
И засверкали раньше, чем мои.
Но бьёмся ведь не ради обозрения —
Мы поднимаем вновь и вновь клинок.
Чтоб отчий край, берёзово-сиреневый,
Под русским солнцем продолжаться мог...

* * *

В. И. Лихоносову

По суриком покрытой кровле крыш
закат державный медленно проехал.
Но не вернул он “маленький Париж”,
папахи белой смушковое эхо.

В ходу сегодня непонятный цвет,
и кланяйся хоть красным, хоть Краснову.
Вот только у спины желанья нет
поклоны отбивать кому-то снова.

Сереет русский парус над волной,
тоскует от Чукотки до Тамани.
Мятежен всюду край его родной
в надолго опустившемся тумане.

Нет сил ни на покой, ни на борьбу,
лишь сердце мучит жажда вдохновиться.
Пока плывём и ни в одном порту
не можем до сих пор остановиться.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

На дворе давно уже не осень —
вьюги да метели на дворе.
Ну, а мы всё речи произносим,
как нам жить в грядущем январе.

Говорим о высших идеалах,
также про особый русский путь,
не забыв при этом одеяло
на себя потуже натянуть.

Щели на Покрове, всюду щели,
рвётся одеяло в лоскуты
от когтей бессмертного Кощея,
от безвластной нашей суеты.

Скоро нас земля совсем разденет
и обрежет лоскуты ножом.
Как же мы спасёмся в царстве денег
на его морозах
нагишом?!

Неужели скроемся по норам?
Кто нам эти норы будет рыть?
Как нам обуздать звериный норов,
сохранить души живую нить?

Снова те же вечные вопросы,
грозные дальние огни
и уже спустившиеся грозы.
А в ответ потоки болтовни.

И не надо нам потоков крови,
сами захлебнёмся в лужах слов,
если нас Господь не остановит,
как в былом матрос Железняков.

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН

КРИК СОВЫ ПЕРЕД КОНЦОМ СЕЗОНА

РОМАН

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

(ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

Глава первая

Высокий мужчина в дорогом чёрном пальто и тёмной норковой шапке дважды обошёл памятник Пушкину, остановился и поглядел на часы. Он не первичал — время ещё было, но холодная январская сырость стала доставать, несмотря на тёплые ботинки и пушистый тёплый шарф. Мужчина огляделся, похоже, кого-то выискивая. На противоположной стороне улицы, в начале Тверского бульвара, рабочие разбирали высокую искусственную ёлку. Выбросы машин смешивались с холодной влагой воздуха, и сквозь сизую дымку городского смога даже недалёкие дома виделись размытыми, как на невысохшей акварельной картинке. Мужчина повернулся к памятнику, поднял голову вверх. Тёмное лицо поэта показалось ему грустным. “Как ты здесь жил, Александр Сергеич? Савельев говорил: в детстве тебя напугало землетрясение. Ну, сегодня наших детей таким уже не испугаешь. Еду отнимут — это страшно. А землетрясение в Москве — только посмеются”.

— Привет, Володя! Давно ждёшь? — услышал он знакомый голос.

— А-а, Андрей! Можно сказать: только пришёл. Я ведь знаю твою пунктуальность. Раньше времени приходиться — зря себя морозить. Ну, здравствуй, Андрюша! Здравствуй, Вольт!

— Здорово, здорово, Франк, — улыбувшись, в тон ему ответил подошедший.

Мужчины обнялись. Отодвинувшись, оглядели друг друга. Тот, что в дорогом пальто, потрогал пышные усы, с явной радостью уставился на товарища.

— Достойно выглядишь. Достойно. Правильно Виктор говорит: Андрея Нестеренко годы не берут.

— Да и вы с ним — не залежалый товар. Глядишь на себя в зеркало? Чёрно-бурый лис. Усы только пегие... Под цвет волка...

Окончание. Начало в № 8-9 за 2013 г.

В тексте романа сохранена разговорная орфография автора.

— А я, между прочим, Андрей, ни разу не охотился на волков. Сейчас их, наверно, много развелось...

— Да, сегодня волчье время. Хоть в природе, хоть в обществе. Виктор не перезванивал? Ждать его не придётся?

— Нет. А вот и он!

Со стороны подземного перехода, лавируя среди людей, с небольшим портфелем в руке, к памятнику шёл Савельев.

— Экипаж в сборе, — сказал Нестеренко, здороваясь с журналистом. Повернулся к Волкову.

— Теперь веди нас, командир.

— Надо перейти на ту сторону Тверской, — проговорил Владимир и первым двинулся к подземному переходу. Идти было скользко. Снег кое-как почистили только у памятника, сдвинув сугробы к скамейкам. На тротуаре народ давил сапогами и ботинками снежную мешанину, разбрызгивая обувь грязное месиво. Тут и там оно намерзло ледяными кочками, и люди, балансируя, взмахивая, как канатоходцы, руками, старались не упасть. Из гигантских репродукторов возле кинотеатра “Пушкинский”, который до недавнего времени назывался “Россия”, неслась оглушающая музыка. Хотя уже прошло пол-января, над входом в кинотеатр ещё висела истрёпанная непогодой перетяжка: “С Новым 1999 годом”.

Начав спускаться по скользкой, с намёрзлостями, лестнице вниз, Савельев поднял взгляд на восьмиэтажное здание “Известий”, вытянутое вдоль Тверской. Когда-то этот дом, как и сама редакция газеты, на демократических сборах возвышенно именовались “рупором гласности”. Теперь буквально вплотную к “рупору”, загородив вход в редакцию, презрев все градостроительные и архитектурные нормы, новые хозяева города возвели торговые помещения высотой до третьего этажа “Известий”. А остальные этажи, на всю длину здания, занавесили огромным рекламным полотном.

— Наверно, света белого не видят, — сказал Савельев.

— Ты про кого? — спросил Волков.

— Да вот про нынешних журналистов “Известий”, — показал Виктор на полотнище, за которым нельзя было разглядеть даже окна. — Заткнули “рупор гласности”.

— Так им и надо, — заявил Нестеренко. — Сделали гнусное дело — и больше не нужны. Теперь можно грязной половой тряпкой в морду.

— Злой ты, Андрюха, — усмехнулся Волков.

— Нет. Справедливый. Каждый должен отвечать за свои дела.

— К сожалению, тех, кто бил из этой “амбразуры гласности” по стране и защищал Ельцина в октябре 93-го, там уже нет, — сказал Савельев, повышая голос, чтобы перекрыть шум густеющей в переходе толпы. — Одних купили олигархи для своих газет. Других новые владельцы разогнали. Эти перебиваются кое-как на ельцинские пенсии. Правильно Андрей говорит: не нужны стали. А значит — на выброс. Я недавно встретил одну демократку из бывшей моей газеты. Вы не поверите! — возле “мусорки”!

Виктор действительно был поражён той встречей. Оставив машину на Ленинском проспекте, он двором перешёл к дому, где жил именитый в прошлом конструктор. С ним журналист должен был сделать большое интервью. Возвращаясь назад, Виктор решил сократить путь. Короткая дорога проходила мимо мусорных баков. Мусор, видимо, не убирали давно. Он не только переполнил баки, но и валялся кучами возле них. В пакетах копались двое мужчин и немолодая женщина. В ноябрьских сумерках трудно было разглядеть лица, да Савельев и не особенно вглядывался в них. Было время, когда он страдал, видя копошащихся в мусоре людей. Несколько раз заговаривал с ними. После этого страдания только усиливались. Превращение ещё недавно благополучных граждан в социальные отбросы вызывало у него гнев. Вся страна становилась большой “мусоркой”, вбирающей всё новые судьбы.

Савельев уже почти прошёл мимо разбирающих пакеты людей, как вдруг увидел мгновенный, словно выстрел, брошенный на него снизу, от кучи мусора, взгляд женщины. Этот взгляд Виктор никогда не спутал бы ни с чьим другим. Так смотрела когда-то на “врагов демократии” Вера Григорьевна

Окунева. Однако теперь злой до густоты взгляд её был обращён испепеляющим огнём не только наружу, но одновременно и внутрь, готовый, казалось, жечь обоюдоострым лазером и всё перед собой, и всё внутри излучателя.

Изумлённый Савельев встал, будто споткнулся. Такого превращения он не ожидал. После ГКЧП обозревательница отдела школ и вузов Окунева стала активным организатором внутриведомственного переворота. Газету объявили собственностью коллектива. Прежнего, “пластилинового” главного редактора — партийного ставленника, сняли. Решительней других требовала этого Окунева. Выбрали своего, демократичного. Вера Григорьевна вошла в группу инквизиторов, начавших очищать редакцию от “неблагонадёжных” журналистов методами раннего “чекизма”. Материалы “приговорённых” не печатали. Им даже не давали заданий, чтобы обвинить потом в бездействии. А когда человек приносил что-то написанное по своей инициативе, над ним с мазохистским наслаждением издевались, вырывали отдельные цитаты из текста, искажали их смысл, перебрасывали извращённые фразы от одного критика другому, затем следующему, как это делают упоённые собственной властью палачи с окровавленной жертвой.

Под запрет попадал любой материал, где “инквизиторам от демократии” удавалось разглядеть хотя бы единственный положительный факт из недавней жизни. В тоталитарной советской Системе должно было быть мрачным всё: экономика, социальная сфера, культура, бытовые условия. Особенный гнев у Веры Григорьевны Окуневой вызывало почему-то слово “патриотизм”. По этому поводу у Виктора с ней несколько раз возникали конфликты.

— Для вас, Савельев, наверно, даже Павлик Морозов патриот. Хотя по всем нравственным канонам — доносчик. Это советская система сделала из него героя и патриота. В любой стране доносительство — самое презренное дело. Только в бывшем Союзе считалось подвигом. Об этом убедительно рассказал известный писатель... э-э-э, ну, фамилия не имеет значения, он сейчас живёт в Штатах.

— А вы спросите его, если удастся, сколько раз его сдавали стукачи на новой родине? Доносительство в Штатах — дело доблести, славы и геройства. Там это поощряется от имени государства. На многих улицах поставлены особые дорожные знаки. На них или огромный глаз, или силуэт человека в шляпе и очках. Внизу написано: “Соседи следят”. На каждом автобусе, на шоссе через каждые пять километров вы увидите надпись: “Доносы принимаются через текст или по телефону 012. Анонимность доносителям гарантируется”. А ещё деньги платят за доносы. Шагу нельзя шагнуть неправильно, чтобы кто-нибудь тут же не позвонил в полицию, в налоговую инспекцию, в службу охраны животных, в комитет по правам ребёнка, ещё чёрт-те куда. Там детей с первых лет жизни учат доносить на родителей. Они с детского сада — Павлики Морозовы.

— Этого не может быть! Врёте вы, Савельев!

— А вы, оказывается, к тому же необразованная дама. Если вам недоступен уехавший в Америку писатель, спросите наших зарубежных соборов. Нашего в Германии спросите. Он вам расскажет, как там следят друг за другом и, если кому-то покажется, что вы в чём-то отклонились от установленных правил — только покажется! будьте уверены: донесут, стукнут, проинформируют. И это считается гражданской добродетелью. Патриотизмом.

— Не приплетайте сюда это поганое слово. Патриотизм — последнее прибежище негодяев.

— Значит, каждый человек, который защищает Родину и считает это патриотическим делом, негодяй? А уважение к великому прошлому своего народа и почитание его героев скудоумие?

Окунева бросила на Виктора молниеносный взгляд, и Савельеву показалось, что его хлестнул по лицу плотный, почти осязаемый кнут многовековой спрессованной злости.

— В стране-тюрьме не может быть настоящих героев, — медленно проговорила она. — Нам велели выдумывать их, и мы лакейски старались. Угодничали, соревновались друг с другом: у кого лучше получится, и кому больше заплатят.

— В героизм человека не верит тот, кто сам не способен на это. Гегель по такому случаю весьма точно сказал: “Для лакея нет героя. И не потому, что герой не есть герой, а потому что лакей есть лакей”. Знаете, мадам, я думаю, вам нужна другая страна. Эту вы ненавидите, её патриоты для вас негодяи, тогда што вас здесь держит? Бороться с ней можно издалека. По крайней мере, так будет комфортнее. И негодяи перестанут мешать.

— Не указывайте, где мне быть. Нам надо эту землю очистить от таких, как вы. Демократия победила, и теперь здесь наступит лучшая жизнь. Осталось убрать квасных патриотов.

Однако с Виктором, в отличие от других, справиться было труднее. За ним стояла большая масса российских депутатов и некоторые люди из ельцинского окружения. Но Савельев уже сам не хотел работать в газете, где под крики о демократии утвердилось тоталитарное одномыслие. Он ушёл в другое издание. Тем не менее, с некоторыми из прежних коллег встречался и знал, что происходит в когда-то близкой ему газете. А там началась борьба за собственность. Провозгласившие себя демократами руководители обманули демократические массы и захватили большинство собственности. Часть обладателей редакционных акций продана одним олигархам. Другая часть — их конкурентам. Свара разрасталась, забрызгивая грязью ещё недавно светлое чело популярной газеты. Наконец, развалилась и сама редакция. Коллективно избранный главный редактор тоже оказался, на взгляд вчерашних соратников, не без изъяна. Он взял несколько журналистов и пошёл служить самому одиозному олигарху.

Вера Григорьевна Окунева не интересовала Виктора, и он о ней никогда не расспрашивал. Из мимолётных упоминаний знал, что её отбросили от участия в дележе собственности, а в ходе реорганизаций уволили на пенсию. Потом кто-то вскользь рассказал, что за долги сына у Веры Григорьевны отобрали квартиру. “И вот он — финал, — подумал тогда Савельев. — Разрушала? Теперь собирай... мусор...” Подумал безразлично, ничуть не злорадствуя над судьбой агрессивной крушительницы, но и несколько не жалея наклонившуюся к мусору старуху.

— В какой ресторан идём? — спросил он Волкова, возвращаясь в окружающую жизнь.

— Я тут недавно открыл новый ресторанчик — были там с моим президентом: понравилось. Избалованный француз, но вижу: хвалит искренне. Да и мне показался симпатичным. Надо будет Ташку сводить. Сейчас пройдем длинный этот переход... чёрт, людей сколько... грязища...

Москва стремительно раздувалась от прибывающего в неё народа. Если перед концом советской власти в столицу из ближайших областных центров ездили “колбасные поезда”, возвращая в тот же день пассажиров в свои города, то теперь полетраны стремились любыми способами закрепиться в Москве, обосноваться здесь хоть временно, а повезёт — постоянно. В больших и малых городах остановились заводы и крупные комбинаты, различные фабрики и предприятия жизнеобеспечения, закрылись научно-исследовательские и проектные институты, замерли начатые стройки, а из нового возводились, да и то лишь в Москве, здания банков и сверкающие тонированными стёклами, словно облитые нефтью, офисы нефтяных и газовых компаний. Напуганный расстрелом Белого дома новый парламент, заполненный, в значительной мере, депутатами от “денежных мешков”, с готовностью служил своим явным и тайным хозяевам, принимая нужные только им законы. В результате большинство финансовых потоков пошли через Москву, сильно обогащая немногих, но одновременно давая заработать и тем, кто этих немногих обслуживал. Молодые мужчины из провинции шли в охранники, в сторожа, в палаточные торговцы, в бандиты. Молодые украинки, молдаванки, русские, впитывая телевизионную пропаганду о том, как можно легко заработать на жизнь телом, становились проститутками. А третьим людским массивом, хлынувшим в Москву, стала армия “челноков”. Цеха оборонных заводов превратились в склады турецкого и китайского ширпотреба. На стадионах не бегали, а торговали. Подземные переходы заполнили прилепившиеся к стенам лавчонки. Повседневная жизнь оказалась похожа на боевик с

постоянными убийствами, похищениями людей, взрывами домов, разгулом террора. Приметами времени стали обтягивающая голову шапочка-“террористка” и безразмерный баул “челнока”.

Но люди волей-неволей привыкали к этой противоестественной жизни, полагая, что если всё время ждать только беду, она обязательно придёт. Поэтому с оглядкой ездили в метро, шли на работу, у кого она была, ходили в гости и даже в рестораны.

Волков вёл своих товарищей в ресторан, чтобы отметить традиционную дату. Иногда они собирались у него дома, и тогда Савельев с нежностью целовал Наталью в щёку, не позволяя, однако, себе ничего большего даже в желаниях. Но чаще — шли в ресторан, зная, что Владимир подберёт что-нибудь приличное. На сегодня он, оказывается, опять открыл что-то новое.

Мужчины шли некоторое время молча, потому как в кишасем людьми переходе идти всем троим рядом, да ещё разговаривать, было трудно. Вдруг Нестеренко и Волков услышали где-то впереди звуки скрипки. Они на ходу переглянулись. Встретить бедных музыкантов в подземных переходах теперь можно было нередко. Играли, прося деньги для пропитания, на чём угодно: на аккордеонах, баянах, саксофонах, губных гармошках, валторнах, кларнетах. Иногда слышались и скрипки. Поэтому не звуки инструмента привлекали внимание товарищей, а музыка. Кто-то проникновенно выводил давно не слышанную ими мелодию из американского фильма “Серенада Солнечной долины”.

— Как Слепцов когда-то, — с грустью сказал Волков. — Где он теперь?

— Продал, наверно, военные секреты и живёт где-нибудь в Америке, — мрачно бросил Нестеренко. — Вместе с Карабасом... Художник, эти его мать... рисовал всем красивое будущее.

Музыка слышалась всё ближе, но самого скрипача было не видно — он стоял за поворотом. Мужчины прошли ещё немного, повернули за угол и тут, почти перед собой, увидели скрипача. Это был Павел Слепцов. Он сильно изменился: ещё больше похудел, по впалым щекам прошли глубокие, как борозды от плуга жизни, морщины, обнажённая голова почти облысела, оставшиеся волосы заметно поседели. Шапку Павел положил на газету. В шапке блестела мелочь, топорщились бумажные деньги. Но он не смотрел на них. Слепцов играл, закрыв глаза и покачиваясь в такт музыке, словно видел себя где-то далеко от этого промозглого, грязного перехода, на другой земле, залитой солнцем и теплом.

— Паша, — потрясённо окликнул его Волков. Музыкант открыл глаза, и в глубине провалов замечались меняющие друг друга чувства. Сначала было удивление — кто мог позвать его из этой грязной людской толчеи, часами безразлично протекающей мимо. Потом вспыхнула радость — Павел узнал Владимира Волкова. И тут же глаза влагой подёрнул стыд за себя — перед Слепцовым стояли хорошие одежды, всем видом своим демонстрирующие благополучие мужчины. Павел растерянно опустил руки — в правой смычок, в левой — скрипка.

— Паша... дорогой...

Волков с чувством обнял Слепцова. Тот его тоже обхватил — неуверенно, не выпуская из рук инструмента.

— Как же так, Паша? Почему ты здесь?

— Я же говорил, што скрипка будет его кормить, — сухо сказал Нестеренко. — Советская власть бесплатно дала ещё одну специальность.

— Перестань, Андрей. Паша, што случилось? И давно ты здесь?

— Нет, — тихо проговорил Слепцов. — Это место было занято. Умер человек... Играл на кларнете...

— Чёрт возьми, да я не это место имею в виду. Не это конкретное...

Волков всмотрелся в худое лицо скрипача.

— Как ты живёшь, Паша? Да што я здесь расспрашиваю? Бросай свою серенаду... Мы идём в ресторан...

— Ты и его хочешь взять? — недружелюбно спросил Нестеренко. — Мне кажется, он из другой компании. Да, Вить? — повернулся Андрей к Савельеву. Тот пожал плечами: мол, мне всё равно.

— Он сейчас из той компании, где страдают, — заявил Волков. — А ты сам за таких, Вольг. Оставим прошлое. И вообще, Андриуха, будь добрее. Хотя бы иногда.

Волков замолчал, но, увидев сдвинутые в неудовольствии бровищи Нестеренко, улыбнулся товарищу.

— В конце концов, сегодня мой день. Кого хочу, того и приглашу. Хотя вон ту рыжую, — кивнул Владимир в сторону проходящей дородной женщины. — Такие ведь в твоём вкусе, Вольг? Или время изменило твои пристрастия?

— Ладно, согласен. Твой день и ты хозяин.

В ресторане гардеробщик — средних лет мужик — угодливо принял одежду троих, а волковское пальто даже обмахнул щёткой, однако, когда ему протянул свою истёртую куртку Слепцов, опустил руки.

— В чём дело? — строго спросил Волков. — Это с нами товарищ.

Гардеробщик настороженно посмотрел на резко отличающуюся от только что принятой одежду, потянул носом — видимо, от куртки пахло сырым подпольем, и неохотно взял её. Ещё брезгливее поставил в угол чехол со скрипкой.

Встречающему при входе в зал парню Владимир назвал свою фамилию и, когда тот провёл всех к заказанному столу, попросил добавить четвёртое место.

Отношение гардеробщика царпануло всех, а Савельева к тому же рассердило.

— Быстро сформировалось лакейское поведение, — буркнул он, ставя возле стула портфель. — Хотя... может в некоторых оно просто дремало.

— Скажи ещё, што это характерно для русского народа, — съязвил Нестеренко.

— Такого не скажу, но задуматься есть над чем. Обрати внимание: ни в одной социалогерной стране — Польшу возьми, Венгрию, Чехословакию — нигде тамошние народы не позволили бандам разрушителей так разгуляться, как у нас. Я был в Польше — это ещё при Советском Союзе, когда там начинали готовиться к разгосударствлению экономики. К приватизации, проще говоря. Копал скрупулёзно. Говорил с экономистами, политиками, рабочими. Так вот, прежде чем выставлять предприятие на торги, его оценивали несколько разных комиссий. Иностранные специалисты... польские. Просчитывали, какую продукцию завод будет выпускать — сегодняшнюю или другую. Во што обойдётся перепрофилирование, будет ли новая продукция востребована на рынке, какие затраты нужны на техническое перевооружение, сколько сократится рабочих и куда их устраивать. Когда я приехал на один завод под Варшавой, подготовка к его разгосударствлению шла уже два года. И поляки не торопились. Не обращали внимания на предложения явно заинтересованной агентуры ускорить процесс. Сравнивали выводы четырёх комиссий: двух иностранных и двух своих. А што натворили наши сволочи? “Уралмашзавод” отдали по цене хоккейной клюшки. Чево смотришь? Хоккеисту за год больше платят, чем оценили “Уралмаш” — этот “завод заводов”. Так же и остальное раздали своим... И народ не восстал против такого грабежа...

— Мы дрались. Ты знаешь. Не лакейничали. И сейчас не гнёмся.

— Это мы. А другие-то?

— В тех странах не расстреливали парламент, Витя. Согнулся народ от крови. Я говорил: Ельцина надо было уничтожить ещё в 91-м году, и по-другому пошла бы жизнь.

— Хватит вам, — одёрнул друзей Волков. — Хороший день омрачаете. Не уничтожать надо, а нормальными средствами не допускать до власти.

Он посмотрел на Слепцова, и жалость снова тронула взгляд. Павел положил было руки на стол, но, увидев подходящий официанта, поспешно убрал их. Видимо, застеснялся обтрёпанных рукавов пиджака. “А какой фронт был, — вспомнил Волков. — На охоту с завода приезжал в костюме и галстук. Переодевался — всё чистое, отглаженное. Аккуратист...”

— Што с заводом, Паша?

— Нет завода, Володя. Цеха стоят, но в них работает ветер. Стёкла выбиты. Станки выдирали на металлолом, они в ворота не проходили — проламывали стены. Нас полностью перестали финансировать уже с конца 91-го года. В девяносто втором — совсем ни рубля...

— Давайте закажем, ребята, а то парень ждёт, — напомнил Нестеренко. Когда официант ушёл, Слепцов, не сдерживаясь, взял кусок хлеба, намазал горчицей и жадно откусил. Опять смутился и, дожёбывая, пробормотал:

— Люблю вот так... по-простому.

— Картина была у всех примерно одинаковая, — сказал Нестеренко. — Нас тоже кинули. А ты чево ожидал? Простые люди могли не понимать. Но ты-то экономист!

— Гайдаровцы обещали, што цены вырастут в два-три раза и останутся. А они, даже по их официальным сведениям, за несколько месяцев поднялись в 30 раз. Независимые эксперты, в том числе иностранные, называли другие цифры: только за 92-й цены увеличились до 150 раз. К концу следующего года всё подорожало в 600 раз. Да вы сами всё это знаете.

— Знаем, — нахмурился Волков. — Прошли. И гиперинфляцию прошли, и прошлогодний дефолт. Чем же ты занимался до этой музыки?

Владимир кивнул в сторону гардероба, где осталась скрипка.

— Чем придётся. Торговал металлом — знакомый пригласил в свою фирму. Когда нас захватили... бандиты захватили, полгода жили на зарплату Анны. Потом и её уволили. Ты не представляешь, Володя, как сердце начинает колоть, когда приходится ребятам еду делить по граммам. Большим уже подросткам — кусочек хлеба и стакан чаю. Когда женщина на тебя смотрит... ничево не говорит, а ты себя последней собакой чувствуешь...

— О-о, какой ты стал разговорчивый, — усмехнулся Нестеренко. Павел загнанно поглядел на него, в глазах что-то сверкнуло, но он снова повернулся к Волкову.

— Года два работал сторожем. На даче... у нового богача. После надолго зацепился в курьерах. Бензин мне оплачивали, а ремонт — нет. Угробил “волгу”. Дефолт разорил нашу компанию. Генеральный застрелился. Оказался в больших долгах...

— Ладно. Хватит о грустном, — остановил его Нестеренко и поднял налитую рюмку. — У Володи сегодня день рождения. Давайте выпьем за нашего предводителя! Не за вице-президента Волкова, а за нашего друга Франка!

“Вице-президент? — удивился Слепцов, стараясь как можно больше проглотить закуски. — Всё ёрничает Вольт. Какой из учителя вице-президент?”

Но Нестеренко не выдумывал. Владимир Волков действительно был вице-президентом.

Глава вторая

С первых месяцев гайдаровских реформ зарплату в школе стали задерживать на четыре-пять недель. Люди добирали стремительно тающие от бешеной инфляции накопления и с ужасом глядели в завтрашний день. А вскоре полученных денег перестало хватать даже на питание. Ельцинисты сначала определили прожиточный минимум из трёхсот продуктов, товаров и услуг. Но увидев, что при текущих ценах 90 процентов населения не способно всё это оплатить и таким образом оказывается за порогом бедности, минимальный набор сократили до 19 продуктов. Благодаря такой манипуляции число “официальных” бедных вроде бы сократилось. Вместо 128 миллионов стало 50. Однако в действительности ничего не изменилось. 70 процентов денег уходило на еду, остальное — на оплату коммунальных услуг. Многим не хватало даже на лекарства. Народ стал вымирать, а жизнь миллионов людей, остающихся в живых, превратилась в кошмар.

Поняв, что их грубо обманули, граждане начали протестовать против “шоковых” реформ. Первыми в бюджетной сфере забастовали учителя. Каждая школа сама решала, какой путь протеста выбрать: стачку, пикет, го-

лодовку. Учителя волковской школы решили объявлять забастовку. Но Овцова, как директор, пригрозила, что протестующих уволит.

— Дайте нам деньги, Нина Захаровна, и мы пойдём на уроки, — потребовала давний оппонент Овцовой — учительница географии.

— У меня их нет, — бросила Овцова.

— Опять съедает советский военно-промышленный комплекс? — с издёвкой спросила нестигаемая противница. Её муж работал на оборонном заводе, но денег уже давно не приносил.

— Мы расхлёбываем наследие коммунистов. Демократическое правительство делает всё, чтобы поднять страну из пропасти.

— Её не надо было туда сталкивать — вашему демократическому правительству, — заявил Волков, твёрдо решивший участвовать в забастовке. Он стал политически активным, поддерживал все протесты и даже начал ходить с Нестеренко на демонстрации.

Уволить Овцовой никого не удалось. Но и забастовка ничего не дала. Зарплату, ставшую при таком росте цен ничтожной, по-прежнему не повышали. Да и ту задерживали ещё дольше. А вскоре Нина Захаровна ушла из школы. Сменившая её одна из молодых фурий — Надежда Аркадьевна, с нескрываемой завистью сказала, что Овцова нашла “просто шоколадное место”. Кто-то из знакомых пригласил Нину Захаровну, как химика, на частную кондитерскую фабрику.

Спустя некоторое время ушли ещё двое: новый преподаватель физики Никитин и физкультурник Мамедов.

Волкову уходить было некуда. Семью спасал заработок Натальи. Но и он быстро отставал от инфляции: в 92-м году её темпы составили 2600 процентов. Владимир мучительно думал, где найти хоть небольшую прибавку к семейному бюджету. Попробовал устроиться переводчиком — нигде не брали: французский был не востребован. Крутом слышался английский: от примитивного до сносного. Владимир не раз вспоминал Карабанова: “Мы все скоро будем говорить по-английски”. Однажды, расстроенный бесполезными поисками, он побрёл через стихийный рынок, который начинался от памятника Юрию Долгорукому на бывшей улице Горького и уходил куда-то вниз до Охотного ряда. Уже привыкший к толкучкам в своём “оборонном” городе, к торговому хаосу на московском Арбате, Волков безразлично смотрел на невероятное разнообразие всего, что когда-то было в квартирах людей, окружало их, радовало глаз и память. Всех возрастов женщины и мужчины продавали семейную посуду: от сервизов до отдельных чашек, летние платья и зимние шапки, неношеную обувь и статуэтки, отглаженные пиджаки и старинные гравюры. Тут же на газетах лежали мясорубки, электрокипяильники, пачки сигарет, стамески, молотки.

Волков решил вынести на продажу книги. Не говоря ничего Наталье, с душевной ломотой долго пересматривал свою охотничью библиотеку. Подарок Савельева сразу решил не трогать. Отобрал несколько редких, интересных изданий. Но, простояв целый день на московской толкучке, он с книгами вернулся домой. Вмиг обнищавшему народу было не до элитного чтения.

В один из тусклых, по настроению, вечеров ему домой позвонил какой-то молодой человек. Назвался: Дмитрий Егоров. Волков помнил многих своих учеников, а Егорова — тем более. Это был очень способный паренёк. После школы поступил на филологический факультет, на отделение французского языка и литературы. На последнем курсе уехал по студенческому обмену во Францию. Там остался, и как рассказывали Волкову, сначала занимался лингвистикой, а потом перешёл в бизнес. Учитель пригласил бывшего ученика домой, но тот сказал, что сейчас он с коллегами в московской гостинице “Россия”, а вот завтра хотел бы увидеть его на выставке французской парфюмерии, куда приехал в качестве представителя крупной фирмы.

Уроков на следующий день не было, и Волков поехал в Москву. На выставке сразу увидел Егорова. Хотя прошло несколько лет, Дмитрия совсем не тронуло время. Та же юношеская улыбка на добродушном лице. Тот же мягкий, бархатистый голос. Разве что глаза, тогда голубые, как осколки майского неба, теперь подсинивала озабоченность.

Дмитрий обрадовался учителю. Он его любил, как старшего, умного товарища, и перед поездкой в Россию переговорил о нём с президентом компании. Теперь решил выяснить у самого Волкова, как он воспримет необычное предложение. Но сначала повёл учителя по выставке.

— Вы как относитесь к духам, Владимир Николаич?

— Ну, как к ним можно относиться, Дима? Хорошо отношусь. Даже иногда нежно. Моя жена любит духи “Диориссимо” — у них запах весны... Сирени и ландыша.

— Да. Ландыш — талисман Кристиана Диора. Но до 1956 года эссенцию из ландыша никто получить не мог. Просто не было такой технологии. Это удалось знаменитому французскому парфюмеру Эдмонду Рудницки. Он и стал автором этих духов. За свою долгую жизнь — ему уже почти девяносто — Рудницки создал, как говорят парфюмеры, шестнадцать ароматов. Часть из них и сегодня являются эталоном, хотя сейчас новые ароматы, вы только представьте, Владимир Николаич, появляются каждую неделю. И все производители хотят, чтобы покупали их продукцию. Поэтому конкуренция в ароматном мире пахнет не так нежно, как духи!

Дмитрий водил учителя по выставке, рассказывал занимательные истории о знаменитых парфюмерных домах, легенды о возникновении прославленных духов, о сегодняшних популярных марках. До прихода на выставку Волков думал, что пусть немного, но всё-таки кое-что знает об этой душистой отрасли. Из французской литературы, из появившихся ещё в советское время в продаже газет и журналов, из разговоров с приехавшими из Франции людьми. Наконец, коллеги и приятельницы Натали то и дело обсуждали парфюмерные темы. Оказалось, он не знал почти ничего и теперь с интересом слушал своего ученика.

— Классическая основа духов — эфирные масла, — говорил Дмитрий. — Но получить их — большой труд. Для одного килограмма такого масла из жасмина нужно 750 килограммов цветков. Жасмин во Франции цветёт с августа по октябрь. Собирают его вручную, в течение всего нескольких часов, пока раскрыт бутон. С розами также непросто. Бледно-розовые цветки сирийской розы — её когда-то привезли из крестовых походов — самое лучшее, што природа создала для производства духов. Лепестки собирают тоже вручную и только на рассвете. Для выхода одного килограмма экстракта — он называется розовый абсолют, нужно собрать лепестки трёхсот с лишним тысяч роз. В мае, когда роза цветёт, жители города Грасса, который считается Меккой французской парфюмерии, чуть ли не поголовно выходят на плантации. Неудивительно, што там около сорока парфюмерных фабрик. В том числе наша.

Дима Егоров остановился возле одного стенда и сказал:

— Вот наша продукция, Владимир Николаич. Мы делаем духи, туалетную воду. Но сейчас разворачиваем новое направление — выпуск так называемой отдушки. Мы не одни во Франции. Тем более, в мире. Спрос на отдушку растёт. Каждый человек обязательно соприкасается с нею. Отдушку используют в бытовой химии — в стиральных порошках, в моющих и чистящих средствах, в различных освежителях воздуха. Её применяют в парфюмерии — в лосьонах, духах, одеколоне... Получить натуральный экстракт розового абсолюта, как видите, сложно и дорого. Когда в прошлом веке началась эра синтетических ароматов, появилась возможность поставить производство запахов на поток. Синтетический аналог абсолюта в десять раз дешевле натурального. Не сравнить и объёмы. Отдушка нужна в производстве мыла, гелей для душа, различных кремов. Без неё не обходится декоративная косметика: помада, тушь для ресниц, пудра, румяна. Короче, куда ни глянь, нигде без неё не обойтись. Поэтому мы тоже открыли производство и начали поставки в Россию. В прошлом году создали здесь представительство...

Егоров замолчал, испытующе глянул на учителя.

— Но президент хочет сделать совместное предприятие. Он полагает, што в России будет большой спрос. Директором представительства работает француз Фернан Дюбо. Хороший профессионал. В парфюмерном бизнесе,

как рыба в воде. Одна беда — почти не говорит по-русски. А его подчинённые не понимают французского. И такая ситуация перед началом большого проекта! Поэтому я уполномочен сделать вам предложение, — с некоторой торжественностью сказал Егоров. — Стать заместителем директора представительства. С возможностью в ближайшее время занять пост директора.

Волков с изумлением уставился на своего бывшего ученика.

— Ты што, Дима? Во-первых, я ничего не смыслю в парфюмерии...

— Это преодолимо. Мы все — ваши ученики, считали вас одарённым человеком...

— А, во-вторых, получается, што я буду подсигивать хорошего специалиста Дюбо.

— Нет. Вы будете его спасителем, Владимир Николаич. Дюбо рвётся домой, во Францию. Он боится России. Говорит: не понимаю, как тут можно жить? Поэтому соглашайтесь на доброе дело.

Волков решил не сразу. Переговорил с Натальей, с позвонившим как раз в этот вечер Андреем Нестеренко. Тот поддержал:

— Иди. Парфюмерия — красивый бизнес. Не получится — всегда можно бросить.

Учитель освоился быстро — сам не ожидал этого. Через несколько месяцев Фернан Дюбо уехал во Францию. Когда создали совместное предприятие, Владимир стал вице-президентом. Материальная жизнь семьи круто изменилась. Волковы купили хорошую квартиру в Москве, в доме “сталинской” постройки. Сменили машину Наталье — советские “жигули” на новый французский “рено”. Появилась возможность помогать одним и другим родителям, поскольку заводы в Воронеже и Волгограде, не имея заказов, сократили тысячи рабочих.

Но растущий личный достаток не давал Владимиру забыть, что так же, как недавно бедствовал он, сегодня продолжают нищенствовать миллионы в стране. Разворованная общегосударственная собственность, принадлежащие народу недра фантастически обогащали непонятно откуда появившихся проходимцев, ещё вчера неизвестных даже соседям по дому, а сегодня считающих себя властью России. Андрей Нестеренко был убеждён, что такую власть можно снести только вооружённым способом. Волков не соглашался с ним и верил в перемены политическим путём. Поэтому поддерживал финансами различные оппозиционные партии и организации, аккуратно передавая им деньги из своих значительных доходов. А когда ходил пешком по людным улицам и подземным переходам, оказавшись по какой-то причине без машины с личным водителем, редко пропускал кого-либо из просящих милостыню. “Может, это такой же учитель, как я, — думал он. — Или выгнанный мастер, как мой отец”.

Сейчас, глядя на Слепцова, Владимир удивлялся, почему он его никогда не встретил, хотя этот разветвлённый переход под Тверской улицей пересекал не раз.

— Ты ешь, Паша, ешь... Если хочешь, закажем ещё што угодно.

— Наш Франк теперь богатый, — благодушно заметил Нестеренко. — Вице-президент — не хухры-мухры.

— Он, как всегда, “прикалывается”? — спросил Слепцов Волкова, показывая на Андрея.

— Нет. Я действительно вице-президент... В одной французской парфюмерной компании. Да это не имеет значения. Вольт тоже не бедный человек.

— А про какой день рождения он говорит? У тебя ж, я помню, где-то в конце июля. Ты ведь Лев по гороскопу... (Павел загнулся) как мой отец... был.

— Это у него второй день рождения, — отчуждённо сказал Нестеренко. — Ты забыл январь 91-го? Кабана забыл? Когда вы с Карабасом приговорили Володо...

Слепцов опустил голову, начал сосредоточенно сдвигать в кучу порезанные свежие помидоры на тарелке.

— Я не знаю, што со мной тогда произошло, — еле слышно выговорил Павел. — Прости, Володя...

В тот раз он и сам себе не мог объяснить своего предательского поступка. Лишь позднее понял, что это была короткая вспышка мести. Не лично Волкову — его надёжному товарищу по охоте, уважаемому им человеку, а мстью за свою неудачную жизнь, мстью чужой, злой женщине, ставшей его женой и отобравшей у него сына.

— Не будем об этом, — вздохнул Волков. — Што было, то прошло.

— Нет, будем, Володя! Такие предают сначала друга, а потом страну.

— Ну, што ты, действительно, Андрей, не можешь остановиться! — повысил голос молчавший до того Савельев. — Видишь, он уже получил сполна.

— А што у тебя с отцом? — спросил Волков. — Мы его с Андреем видели... Познакомились на Первомайской демонстрации в 93-м. Можно сказать, в боевой обстановке. Помнишь, Андрей?

— Я-то не забыл, — сказал Нестеренко, недовольный мягкостью Волкова. Тронул бровь. — Вот она первая метка. От Пашкиной власти...

Тут только Слепцов заметил, что левая бровь Андрея рассечена, и даже густые чёрные волосы плохо закрывают бело-фиолетовую складку кожи. Он поморщился от слов Нестеренко:

— Отец мне рассказал про вас. Он ведь пошёл не воевать. На мирную демонстрацию собрался...

В то утро, 1 мая 1993 года, Павел позвонил отцу. Он знал: Василию Павловичу ляжет на душу поздравление с праздником. После разгрома КГБ и расчленения страны генерала отправили в отставку. Казавшаяся поначалу приличной пенсия сжималась с каждой неделей. Но не только это тяготило немолодого аналитика. Ему всё время казалось, что он что-то не сделал такого, что могло предотвратить всеохватную беду. Может, надо было, думал он, нам с товарищами прийти к Крючкову и под пистолетом заставить его отдать приказ об аресте Ельцина вместе с близким окружением. В часы путча на Лубянке сразу стала проявляться группа руководителей, выступавших за решительные действия. Уничтожили бы десяток негодяев, но это спасло миллионы людей от убийства ельцинизмом. Василий Павлович часами сидел в своём кабинете, пересматривал различные документы, искал это что-то упущенное, не находил его и от того страдал, порой до боли в сердце.

Переживаний добавляло глубокое разочарование в сыне. Павел ещё ходил на завод, но там уже оставались только те, кто поддерживал угасающую жизнь предприятия: операторы котельной, электрики, охрана. Денег никому не платили. Генерал и жалел сына, и сердился на него. Раздражало ещё то, что сам он всё решительней втягивался в протестную борьбу, а Павел сторонился этого, замыкался в себе. Ошеломлённый тем, как сломали жизнь люди, поддержанные им, Павел был растерян, беспомощен и обижен на всех.

Позвонив утром отцу, младший Слепцов пошёл с Анной и ребятами в городской парк. Анна приберегла немного денег, чтобы кушать сыновьям мороженого, а мужу пива. Когда возвращались домой, ещё за закрытой дверью квартиры услышали требовательный телефонный звонок.

— Паша! — взволнованно закричала мать. — Папу привезли... Избили его.

Слепцов помчался на “волге” к родителям. Отец лежал в зале на большом кожаном диване — Павел с детства любил засыпать на нём под разговоры гостей. Разбитое лицо генерала опухло, на голове, среди редких волос, запеклась кровь, которую мать пыталась осторожно стереть влажным бинтом.

— Я вызвала “скорую”. Долго едут...

— Давай я отвезу.

Отец зашевелился. Стараясь повернуться набок, чтобы разглядеть сына, застонал.

— Не надо. Приедут... куда денутся...

Тонкие губы Василия Павловича тронула улыбка.

— Зато познакомился с твоими друзьями. Спасибо им... Ельцинские мордороты совсем озверели...

В последние несколько месяцев генерал ходил на все протестные митинги и демонстрации. Акции становились всё многочисленнее и жёстче. Первомайский протест должен был собрать несколько десятков тысяч человек.

На бывшей Октябрьской площади, которую незадолго до того переименовали в Калужскую, собралось, по оценке Василия Павловича, тысяч пятнадцать москвичей. Кое-кто пришёл с детьми, многие — празднично одетые. Погода обещала тёплый день, и от этого у большинства было хорошее настроение. Над собирающейся массой колыхались где красные советские флаги, где трёхцветные имперские.

Демонстранты намеревались пройти от Калужской площади к центру Москвы. Но мэрия запретила. Вместо этого была предложена небольшая территория, где тысячи собравшихся не смогли бы уместиться. После короткого митинга на Калужской демонстранты двинулись по Ленинскому проспекту к площади Гагарина. То есть в противоположную от центра сторону. Замысел организаторов сводился к тому, чтобы колонну могли догнать опоздавшие, а митинг провести на Воробьёвых горах — на просторной площадке возле Московского университета.

Никакой агрессии демонстранты не проявляли. Молодые мужчины и женщины несли плакаты, осуждающие развал страны, шоковые реформы, политику Ельцина—Гайдара. Впереди шла большая группа смеющейся молодёжи с транспарантом: “Капитализм — дерьмо!” Через весь Ленинский проспект красовалась перетяжка “С праздником, дорогие россияне!” И как раз под этим поздравительным лозунгом демонстранты увидели перегородившие проспект тяжёлые грузовики. Впереди них стояла цепь милиционеров без всяких спецсредств. За ней — цепь омоновцев с прозрачными щитами и в шлемах, похожих на космонавтские. Дальше — ещё одна цепь хорошо экипированных бойцов, но почему-то в разноцветных шлемах.

Увидев впереди милицию и заграждения, широкая, во весь проспект, колонна остановилась. Организаторы предложили выдвинуться вперёд крепким мужчинам. Образовался авангард человек из пятисот. Над ним поднялся транспарант: “Фронт национального спасения”.

Василий Павлович считал себя ещё крепким мужчиной. Вместе с двумя своими бывшими коллегами, с которыми всегда ходил на протестные акции, и новыми знакомыми, один из которых был конструктором из какого-то авиационного КБ, генерал оказался в головной части колонны. Через несколько минут авангард подошёл к первой цепи, смял её, прорвал цепь омоновцев-”космонавтов”, попутно отняв у некоторых дубинки, щиты и шлемы. Двигающийся рядом с генералом конструктор, в руках у которого оказался шлем, надел его на себя, постучал кулаком по пластмассовой поверхности и со смехом отдал молодому мужчине.

— Бери, сынок! Меня должны знать в лицо. Прятать его не надо.

Мужчина глянул на конструктора, потом на Василия Павловича, с трудом натянул шлем на свою большую голову. Что-то знакомое показалось в нём Слепцову. Крупные губы, широкие чёрные брови... Брови... брови... Василий Павлович вспомнил. Это был Андрей Нестеренко, которого он один раз видел и который нередко упоминался в их спорах с сыном. Рядом с ним стоял высокий, примерно таких же лет, мужчина с пышными, словно сталинскими усами.

— Ну, што, батя, прорвёмся через ельциноидов? — сказал чернобровый, почему-то внимательно вглядываясь в лицо Василия Павловича. — Среди нас такой таран, — показал он на усатого. Тот усмехнулся и тоже задержал взгляд на лице генерала.

В это время опомнившаяся милиция пошла в контратаку. Началась ожесточённая драка. В омоновцев полетели камни, куски кирпичей, которые подавали выстроившиеся в цепочку женщины. “Космонавты” и “разноцветные шлемы”, прикрываясь щитами, подбирали кирпичи и бросали их в незащищённую толпу. К раненным дубинками, щитами стали добавляться раненные камнями.

Получив команду действовать суровой, усмирители включили водомёты и направили сбивающие с ног струи на демонстрантов. К дрогнувшим омоновцам подошла конная милиция. Одновременно в тыл авангардной части

манifestантов ворвались несколько сотен бойцов дивизии особого назначения имени Дзержинского. Специально тренированные для борьбы с вооружёнными боевиками, они начали громить безоружных людей. Те отбивались дубками знамен, немногими отнятыми дубинками, кулаками.

Однако основная масса демонстрантов, насчитывающая несколько тысяч человек, растянулась по проспекту, не участвуя в прорыве. Люди митинговали, выкрикивали лозунги, вглядывались в то, что происходило впереди. И тут сзади к многотысячной толпе подошли две роты милиции. Началось избивание.

Теперь уже трудно было понять, где бывший авангард, а где не имеющие к нему отношения манифестанты. Били всех подряд. Люди падали, пытались уползти в сторону. Их пинали ногами, норовя попасть в лицо или под дых. Убегающих во дворы, в Нескучный сад догоняли. Истерично визжали женщины. Ревели и рычали избиваемые мужики.

Андрей Нестеренко, чтобы не выделяться в шлеме, бросил его в нападающих омонцев. Рядом отбивался Волков. Вдруг он увидел, как того пожилого мужчину, с которым заговорил Андрей и чьё лицо показалось обим отдалённо знакомым, схватил за пиджак небольшого роста омонцев и притянул к себе. Владимир сделал только шаг, как рядом с пожилым оказался Нестеренко. Он хотел оторвать руку “космонавта”, но тот ударил резиновой дубинкой сначала по руке Андрея, а потом по его лицу. Нестеренко прижал неударенную ладонь к лицу, и Волков увидел, как из-под неё потекла кровь. В то же мгновение омонцев боднул головой в шлеме лицо пожилого. Мужчина стал оседать. Милиционер, не давая ему упасть, два раза изо всей силы, с оттяжкой, приложился к голове манифестанта и уже в момент падения ветерана ударил того тяжёлым ботинком в грудь.

Волков одним прыжком оказался рядом с омонцем. Тот успел только поднять глаза на высокого усатого мужика, как вдруг почувствовал, что его отрывают от асфальта. Ещё мгновение — поднят прозрачный щиток на шлеме. Следом как железными клещами схвачено горло.

— Ты што ж, сука, делаешь? — заорал Владимир. — Ты кого, тварь, убиваешь? Отца своего! Старика беззащитного!

— Я не убивал его, дяденька! — задышавшись, прохрипел омонцев. — Нам командир сказал: зажрались москвичи... Надо им дать по мозгам.

Волков схватил за край щита и так его рванул, что рука омонца повисла, словно перебитая. Тут же ударил рантом ботинка по кости ноги и, когда милиционер согнулся от дикой боли, дёрнул за голову вверх. Оттолкнув обмягшее тело, увидел Нестеренко.

— Ты его не убил? — обеспокоенно спросил Андрей, держа на брови промокший от крови носовой платок.

— Очухается, сволота. Надо вот этого старичка спасать.

— Батя, ты как? — наклонился Нестеренко к пытающемуся подняться Слепцову.

— Кажется, живой, — хрипло выговорил тот. — Живой вроде, Андрюша. Вы ведь Андрей? Нестеренко?

Удивлённый Нестеренко молча покивал.

— А это, я думаю, Волков... Володя. Паша мне про вас много говорил.

Тут только оба товарища поняли, почему его лицо показалось им таким знакомым: оказывается, отец и сын Слепцовы были очень похожи. Пока они поднимали Василия Павловича, из дерущейся толчей вырвались коллеги генерала. Увидели его окровавленного и стали быстро выводить из побоища. Волков и Нестеренко прикрывали группу, опасаясь не только озверевшей милиции, но и теряющей разум толпы. В таком аду могли затоптать едва передвигающегося человека. Когда группе удалось вырваться в один из дворов, Волков предложил сопровождать Василия Павловича до дома. Но бывшие коллеги генерала сказали, что с этим они справятся сами. Прощаясь, Слепцов слабо пожал руки товарищам сына. “Спасибо, што вы есть, ребята. Может, ещё не пропадёт страна”.

— Ты сказал про отца “был”, — вспомнил Волков. — Это как понимать? Рассорились што ль окончательно?

— Он умер, Володя. Через восемь месяцев после той демонстрации. Часто говорил о вас. Благодарил... Я хотел позвонить, но... На поминки тоже собирался позвать... Но не мог... Ты так последний раз говорил... Грубо... На себя непохоже. Ты со мной никогда так не разговаривал.

— А как я должен был с тобой говорить? — посуровел Волков. — Мне до этого тоже никогда не сообщали... не задыхались от радости: советской власти конец! Сова кричала! Теперь вон погляди за окно, што из всего этого вышло. Виктор правильно вам с Карабасом сказал: всё от людей зависит, от их ума и прозорливости.

— Не надо о нём. Я бы сейчас Карабасу задал несколько вопросов.

— Раньше надо было, — усмехнулся Нестеренко. — Достанешь ты его теперь. Карабас давно где-нибудь в Америке. И Марк ему машину заправляет.

— По-моему, он нам говорил: Марку надо переезжать сюда, — сказал Волков. — В здешней мутной воде ловить рыбу. Такой мутной, как у нас сегодня, нигде и никогда не было. Это доктор угадал.

— А где он, в самом деле, сейчас? — с мрачноватым интересом спросил Савельев Павла. — Не помогает вам? Всё-таки вы с ним были одних взглядов. Идейные, так сказать, соратники.

— Ему самому бы кто помог, — насупившись, сказал Слепцов. И, увидев удивленье на лицах, хмуро проговорил:

— В мутной воде оказалось много ям...

Глава третья

После крушения Союза Павел увиделся с доктором только поздней осенью 93-го года. До этого под разными предлогами от встреч отказывался. Карабанов звонил сперва часто, потом — реже, а затем — перестал совсем. Однако в тот раз Павел сам поехал к доктору без звонка. Отцу, так и не оправившемуся после первомайского побоища, становилось всё хуже. Как объясняли врачи, удар в грудь омоновским ботинком вызвал нарушение деятельности костного мозга, находящегося в грудине. А поскольку он является важным элементом кроветворения, началась болезнь крови. Даже при развитой советской медицине не всегда можно было найти необходимые для лечения крови лекарства. А в разрушенном российском здравоохранении врачи только разводили руками. “Попробуйте поискать, — говорили Павлу. — Может, есть знакомые за границей...”

Слепцов приехал к Сергею в больницу. Пока поднимался на второй этаж в ординаторскую, с тоской смотрел по сторонам. Кровати стояли и на первом этаже у входа, и по всему коридору второго этажа. Неухоженные люди жались под лёгкими, изношенными одеялами — в больнице было не намного теплей, чем на улице.

Поздоровались оба сдержанно. Слепцов объяснил, зачем приехал.

— Ты бы позвонил, — нахмурился Карабанов. — Я б тебе сразу сказал... Нет у нас такого лекарства.

Он помолчал. Всё так же мрачно добавил:

— Ничего у нас нет вообще. Нет денег на бинты, на питание... Я не говорю про одежду. Лекарства больные должны приносить свои. Видишь, как живём? — обвёл рукой неопрятную комнату. — Зарплату не дают с августа. Сейчас разгромили Верховный Совет, может, начнут платить.

— Говорят, это лекарство можно найти за границей. Ты Марка не попросишь? Он там, в Штатах?

— Там.

Карабанов остановился, раздумывая: говорить или не стоит?

— Только в тюрьме Марк. Придумали эти сволочи-американцы... русскую мафию нашли. Налоги, говорят, не платили... Разбавляли бензин. Несколькое человек посадили. И Марка тоже. Напринимали законов. С ними бы надо, как с нашими законниками.

— Ты считаешь, Ельцин поступил по-человечески: расстрелял парламент, поубивал безвинных людей?

— Какие это люди, Паша!? Это коммуно-фашисты! Из-за них... из-за их законов мы не получаем зарплату. Теперь Ельцин наведёт порядок.

— Выходит, мой отец тоже коммуно-фашист? — наливаясь яростью, медленно спросил Слепцов. — Его изувечили ельцинские негодяи Первого мая. Если бы не лежачий, он пошёл и в октябрьские дни.

— Мой тоже готов воевать с Ельциным. Но они, Паша, вчерашние люди. Те, кто за будущее, пришли 3 октября к Моссовету... Гайдар позвал, и мы пришли защищать демократию...

Карабанов вспомнил ту холодную октябрьскую ночь. Он добрался до центра Москвы почти в двенадцать часов. Чтобы не замерзнуть — температура опустилась ниже нуля, надел охотничью куртку. Под ней, на ремне, охотничий нож, когда-то подаренный Андреем Нестеренко. Кого он им собирался резать, доктор не представлял. Драться с вооружёнными до зубов коммуно-фашистами, как круглые сутки телевидение и радио обзывали сторонников Верховного Совета России и противников Ельцина, надо было иными средствами. Поэтому нож взял на всякий случай. Возле здания Моссовета уже собралось немало народу. На улице ярко светили фонари, тут и там слышался смех, пьяные выкрики. С двух машин коммерсанты раздавали пиво в банках, бутылки водки и закуски. Подъехали несколько иномарок. Из них выбрались здоровенные мужики в дорогих костюмах и с оружием. Карабанов понял, что это охранники коммерческих структур. Подумал: “Ну, этим есть что защищать”. Поодаль горели костры, люди громоздили баррикады. Доктор стал протискиваться вглубь толпы — подсознание отмечало: здесь безопаснее, чем с краю. Попутно оглядывал собравшихся. Такая же, как в дни ГКЧП, разноликость. Встретилось несколько известных артистов и писателей. Тех, кто в августе 91-го отвергали диктатуру и хотели демократии. Теперь они были против самими же избранной демократии и требовали от Ельцина уничтожить её. Громко кричала средних лет дама в шубе и с собачкой на руках. Её поддерживали несколько пенсионеров с выпученными от голового напряжения глазами. Пройдя немного дальше, доктор остановился неподалёку от группы раскрасневшихся мужчин. Похоже, они “согревались” уже давно, и почти каждую фразу выступающей перед ними женщины встречали пьяным рёвом.

— Нас с вами ничему не научил августовский путч! — громко выкрикивала высокая, плоская, как доска, ораторша в очках. — Вместо того, чтобы уничтожить всех, хоть мало-мальски причастных к путчу, мы пожалели коллективную гадину! И вот результат! Фашисты взяли за оружие, намереваясь захватить власть. Смерть депутатам и их прихлебателям!

— Да-а! О-о! Правильно! — вразной взревели “разогретые” слушатели. Экстаз охватил и плоскогрудую комиссаршу. Карабанов увидел, как расширились за стёклами очков её тёмные глаза, а на щеках, на лбу и подбородке выступили красные пятна. Женщина подняла руки, зашевелила согнутыми пальцами, словно царапая кого-то.

— Красно-коричневые оборотни обнаглели от безнаказанности! Тупые негодяи понимают только кулак! Поддержим символ демократии — нашего президента Ельцина!

“Во даёт баба!” — с некоторой оторопью подумал Карабанов, в основном согласный с её призывами. Даже отойдя от ораторши на значительное расстояние, он всё ещё слышал этот пронзительный голос.

Но многие люди имели интеллигентный вид, и доктору было приятно, что таких, как он, противников парламентской болтливой демократии, собралось немало.

— Мы помогли, Павел, Ельцину удержать власть. Теперь он в долгу перед нами.

— Он вам отдаст долги, — усмехнулся Слепцов. — Один раз уже лёг на рельсы... Клянется: цены поднимутся в два-три раза. Не больше. Где эти рельсы, на которых Ельцин лежит?

— Ему мешали работать коммуно-фашисты. Я видел, как их выводили 4 октября из Белого дома. Был там... Не дали нам разорвать их. “Альфа” влезла...

— Ты бы и наших отцов разорвал? Миллионы таких, как они? Страшный ты, однако, Карабас.

Уходя из больницы, Слепцов думал, что с Карабановым они больше не встретятся. Их дороги разошлись совсем. Однако ещё одна встреча всё-таки состоялась. В прошлом, 98-м году, ранним апрельским вечером, закончив развозить по Москве конверты, Павел вышел из метро, чтобы подхватить машину частного. Он торопился к матери. После смерти отца она потеряла интерес к жизни. Заходила в кабинет мужа, садилась за его стол, подолгу смотрела на фотографию, где они были сняты вдвоём. Молодые, оба весёлые, нежно прижавшиеся друг к другу. Время от времени начинала разговаривать с фотографией. Потом как-то сразу обострились прежде терпимые болезни. Павел привозил дорогие, трудно доставаемые лекарства, однако матери не становилось лучше.

На этот раз ей стало плохо ещё днём, но Слепцов приехать не мог. Он должен был развезти конверты по всем адресам — недавно пожилого курьера уволили только за одно недоставленное письмо.

С “бомбилами” можно было сторговаться за небольшие деньги. Когда на ходу была “волга”, Слепцов сам выезжал вечерами подработать и знал цены. Павел встал на обочине, поднял руку. После трёх проехавших машин четвёртая затормозила.

— Куда, отец? — услышал он сквозь открытое окно хриплый, однако показавшийся ему знакомым голос. Слепцов нагнулся к окну и, не успев назвать адрес, воскликнул:

— Сергей!

За рулём был Карабанов. Тот тоже разглядел Слепцова.

— Паша! Эх ты! Вот где... ну, и встреча. Ты куда?

— К маме... Она болеет...

— Садись. Да не раздумывай! Много не возьму.

Они ехали некоторое время молча. Только искоса взглядывали друг на друга. Каждый думал о том, как изменился его давний товарищ. Карабанов обрюзг, верхние веки сильно нависли над глазами, с низа щёк бульдожьими складками свисала дряблая кожа. На большой голове блестяла просторная залысина. А Сергей, в свою очередь, невесело отмечал, как ещё больше исхудал Слепцов, морщины на впалых щеках делали лицо старше, нос заострился, а при взгляде на Павла сбоку доктор не всегда видел в провале его глаз.

— Где работаешь? — спросил, наконец, Карабанов.

— Курьером. А про долги тебе, вижу, Ельцин забыл?

— Плохо всё, Паша, плохо. Больница готова бастовать, но людей ведь не выбросишь на улицу. Мы сократили приём больных. Пациентов после некоторых операций держим вместо недели два-три дня. Выписываем: долечивайся дома. Ты у матери долго будешь?

— Нет.

— Ну, я тебя подожду? Не возражаешь?

Слепцов пожал плечами и пошёл к подъезду. С матерью, против ожидания, он пробыл больше часа. Выходя из дома, равнодушно подумал, что Карабанов наверняка не стал ждать. Но старый “жигулёнок” доктора стоял на том же месте.

— Извини, — бесцветно бросил Слепцов.

— Ничего, ничего, Паша. Мать есть мать. Я свою потерял. Не вписалась в новую жизнь. Отец, тот живёт не столько медициной, сколько борьбой. А мама не выдержала. Да и как вынести? Племянник в американской тюрьме. Сестра — тётя Рая наша — разорилась на адвокатах... Любимая внучка... ох, Паша, што нам Леночка преподнесла!..

Карабанов расстроено кхэкнул и даже, как показалось Слепцову, понизился за рулём. Все в охотничьей компании знали, что младшая дочь Сергея — самый дорогой для него человек. Он старшую не так любил, как Леночку, отца с матерью только уважал, жену выдерживал и не уходил лишь из-за младшей дочери. В ней он видел своё продолжение, но более одарённое и даже талантливое. Леночка училась по классу фортепиано в музыкаль-

ной школе, завораживающе пела, хорошо рисовала, и учителя порой растерянно говорили отцу, что сами не знают, по какой дороге идти его дочери: на каждой она могла стать знаменитостью.

— Чем же вас так расстроила Леночка? — с лёгким участием спросил Слепцов. Ему стало жаль в один миг изменившегося Сергея. — Родила што ль без мужа?

— Если бы, Паша! Она... В это трудно поверить... Я теперь не могу ездить по Ленинградке... Куда угодно пассажира беру, а на Ленинградское шоссе — лучше колёса проколоть...

Карабанов устался на дорогу и замолчал. Он не раз вспоминал тот поздний осенний вечер. Возвращаясь в Москву из аэропорта Шереметьево, куда за хорошие деньги отвёз опаздывающего пассажира, доктор увидел впереди стоящих вдоль шоссе женщин. Он знал по рассказам новых коллег — “бомбил”, что это за дамочки. Как их только ни называли: путаны, девицы лёгкого поведения, “ночные бабочки”. Однако суть была одна. Проститутки.

Сергей не считал себя ханжой. Кроме медсестры Нонны у него перебивало много женщин. Но каждая из них если не влюблялась, то, по крайней мере, была увлечена. Так же, как он сам. А тут женщины продавались за деньги.

В свете фар доктор увидел поднявшего руку мужчину. Остановился. К окну наклонилась немолодая, плохо выбритая физиономия. Пахло спиртным.

— Командир, к Трём вокзалам.

Карабанов задумался: надо было уже возвращаться домой, в свой город когда-то военно-космической ориентации.

— Заплачу. Прилично дам, — торопливо заговорил хмельной мужик. — Хорошую девочку снимаю. На всю ночь...

Доктор неохотно кивнул. Мужчина кому-то махнул рукой, и к машине заторопилась молодая девушка. Что-то показалось в её походке, фигуре Карабанову знакомым. Мужчина открыл дверцу, пропустил проститутку на заднее сиденье, и доктор в зеркале увидел дочь. У него споткнулось дыхание.

— Лена! Ты?! Как ты здесь?

Пассажирка слегка смутилась, но выходить не собиралась.

— Здравствуй, папа. Вот... работа такая...

— Какая работа?! — вскричал потрясённый Карабанов. Повернулся к садящемуся мужчине:

— А ну, вылазь отсюда, козёл!

— Полегше, водила! Вот как дам по рогам!

Доктор выхватил из-под сиденья монтировку, замахнулся на мужика. Тот выскочил из машины. Карабанов, не закрывая задней дверцы, сорвал “жигулёнка” с места. Опомился уже у поста ГАИ.

— Про Ленинградку, Паша, теперь не могу слышать. Сломалась жизнь моя... Мне когда-то отец говорил... Предупреждал... Не сова, Паша! Люди видели!

Тут только до Слепцова дошло, что имел в виду доктор. По телевизору не раз показывали стоящих зимой и летом вдоль Ленинградского шоссе проституток. Большинство были совсем молодыми. Корреспонденты не без интереса расспрашивали девиц об их прошлой жизни в разных городах страны, с удовольствием комментировали новое занятие, причём ни журналисты, ни сами путаны не находили ничего плохого в этой придорожной жизни.

— Я видел по телевизору, — пробормотал ошарашенный Слепцов. — Девушек показывали... Ты про них?

— Она мне сказала... Когда я спросил, как она пошла на это... Клиентов ждать... Лена заявила, што это я её толкнул. Паша! Да я из шкуры лез! Видишь: “бомбиллой” стал... у меня руки какие были! Добывал деньги, где мог... Взятки стал брать от больных... Всё для неё... На втором курсе университета сказала: не хочет ездить из Москвы. Как будто тысячи не ездит. Вроде бы нашла с подружками квартиру... Мы с Верой опять впряглись.

Одежду надо супер-пупер, обувь — от самых лучших... Говорит: не хочу быть хуже других...

— Конечно. Телевизор учит.

— Я бы этот телевизор взорвал! Там в героях одни бандиты и проститутки. Лена мне сказала, когда стал её стыдить... Ты сам, говорит, хотел другой жизни. Вот она пришла. Помог ей прийти... этой жизни.

— Телевизор сегодня не взорвёшь, Сергей. Хозяева самых порнографических каналов сидят в Госдуме. Не тех ты с Ельциным расстреливал.

Павел поглядел в окно: надо было выходить. Карабанов остановил машину на привокзальной площади. Здесь собирался взять новых пассажиров. Вышел со Слепцовым, чтобы купить сигарет: курить он так и не бросил. На площади кипела бурная, но какая-то нездоровая жизнь. Несметное количество палаток, павильончиков, киосков хаотично теснили друг друга, занимая всю большую территорию. Сотни людей уезжали из столицы домой — в подмосковные города и посёлки. Одни — после трудной, но всё же найденной работы, другие — после бесполезных поисков её. Людская масса растекалась между киосками и павильонами, покупала что-то в дорогу, что-то для неблизкого дома. Многие наскоро перекусывали прямо здесь, возле заполненных обёртками и разным мусором урн.

Купив в газетном киоске пачку сигарет, Карабанов огляделся. Ни одного улыбающегося лица. Словно какая-то незримая, но в то же время огромная тяжесть давила на людей, и они, сжимаясь под нею, отрешённо жевали еду, мрачно несли свои тусклые лица мимо таких же сумрачных обличий.

— Для кого мы ломали ту жизнь? — неожиданно спросил Карабанов. — Для них?

Он показал на площадь. Потом глянул на газетный киоск, возле которого стоял.

— Или для них? — ткнул пальцем в выставленный за стеклом журнал. Слепцов обернулся. Всю обложку занимала цветная фотография: Ельцин и вокруг него известные олигархи.

Глава четвёртая

После той встречи они больше не виделись. Но каждый раз, подумав о докторе, Павел вспоминал и разрываемую горечью, сбивчивую речь Карабанова, и влажный блеск серых глаз под нависшими веками. Поэтому сказав сейчас о ямах в мутной воде, он несколько не преувеличивал того провала, в котором оказался бывший товарищ.

— У него неприятности, — торопясь быстрее насытиться, проговорил с набитым ртом Слепцов.

— Эт какие же? — с иронией спросил Нестеренко. — Мало мути в воде для Марка?

— Марк не здесь. В Штатах он. Только в тюрьме, — сказал Слепцов почти словами Карабанова.

— Ни хрена себе! — воскликнул удивлённый Нестеренко. — За што ж эт его?

— С бензином чево-то мухлевали. Их там целая шайка-лейка была.

— Жалко, у нас этим шайкам раздолье, — помрачнел Андрей.

— Но это не все неприятности. Дочка у него... Младшая...

— Леночка? — подсказал Волков. Он вспомнил красивую девочку, которую видел у Карабановых после их приезда из Америки, и нежность, с какой доктор глядел на свою любимицу.

— Леночка, Леночка... Сергей встретил её на Ленинградке... Среди проституток.

— Как! — вскрикнули одновременно Волков и Нестеренко. А Савельев отодвинул тарелку с бифштексом и мрачно проговорил:

— Это уже не неприятность. Это беда.

Слепцов пересказал разговор с Карабановым. Поражённые, все четверо молча взялись за еду. Павел после выпитого осмелел, стал есть не торопясь, тем более что уже основательно насытился. Он даже забыл, когда последний раз видел такое изысканное изобилие на столе.

— Я ж вам говорю, Виктор: ему самому... Карабасу самому нужна помощь, — сказал Слепцов, вглядываясь в лицо журналиста. Он его видел всего один раз, на той давней весенней охоте, и потому не особенно запомнил. Тем не менее, ему показалось, что Виктор не сильно изменился за девять прошедших лет. Единственное, что сразу заметил Павел — это обилие седины при довольно моложавом ещё облике.

— Жалко, конечно, человека, — откликнулся Савельев. — Но... (он молчал, глядя в глаза Слепцову) за што боролся, на то и напоролся. Также как с выборами Ельцина в 96-м... Сколько внушали людям: граждане, народ, опомнитесь! Неужель не видите, што натворил Ельцин со своей, как вы говорите, шайкой-лейкой?.. Дальше будет только хуже. Так оно и получилось. Я с братом жены поругался. Он мне: буду голосовать за Борис Николаича. “Почему?” “Свободу дал”. А сам на работу ходит уже два раза в неделю. Зарплату не видит по несколько месяцев. Завод — такие станки делали! за границу продавались! — завод почти встал.

— Но ты же помнишь, што начала вытворять к выборам ельцинская камарилья, — проговорил Волков с неожиданной для него злостью. — Особенно перед вторым туром. Ташка от возмущения чуть инфаркт не получила. Вырвал её с телевидения. А то остался бы вдовцом. Лгали круглые сутки! Да нет, не лгали... Это даже нельзя назвать ложью! Бандитизм это! Преступление! С утра до ночи показывали кадры, как кто-то кого-то расстреливает. Больше всего смаковали выстрелы в затылок. По всем каналам, особенно по гусинскому НТВ, повторяли: “Так будут делать коммунисты, когда вернутся к власти”. Зюганова, который по всем опросам опережал Ельцина, изображали Гитлером. Да Геббельс им в подмётки не годится! Заправлял всем этим какой-то Малашенко...

— Знаю, — сказал Савельев. — Работал в международном отделе Цек-Ка, а в последний горбачёвский год — у него консультантом. Потом перебежал к Гусинскому, возглавил НТВ и стал хулить вчерашнюю кормилицу свирепее своего идейного учителя Яковлева.

— Чево же не хватало этим перевертышам? — возмутился Нестеренко. — Жили ведь получше, чем весь народ.

— Денег, Андрюша. Денег. Купили их за большие деньги. А большие деньги мог дать только воровской ельцинский режим. Штобы переизбрать его с рейтингом в три процента, правительство стало продавать за границу даже государственные драгоценности. Огромные капиталы бросили для победы Ельцина олигархи. Спасая его, они спасали полученные, благодаря Ельцину, сказочные богатства. Я сказал тебе, за сколько был продан “Уралмаш-завод”. А кто купил? Некий Бендукидзе. Ещё недавно заведовал маленькой лабораторией... клетки животных изучал. Жил в однокомнатной квартире и носил единственные златанные джинсы. А потом Ельцин с Чубайсом дали ему возможность накупить безымянных ваучеров у нищих людей и стать хозяином “Уралмаша”. Разве такие не будут спасать Ельцина? “Наличку” раздавали миллионами. Покупали популярных певцов, танцоров, знаменитых режиссёров, артистов... Помнишь историю с коробкой из-под ксерокса? Полмиллиона долларов! Поймали прямо на проходной Белого дома двоих помощников Чубайса. И чем кончилось? Прокуратура не нашла хозяина этих денег. Где-нибудь в мире такое возможно?

Савельев разволновался. Он ввязался в ту избирательную кампанию на стороне Зюганова. При всех своих сомнениях относительно него Виктору казалось, что это наиболее оптимальный кандидат. В случае победы олигархические средства массовой информации, по команде хозяев, будут следить за его деятельностью через увеличительное стекло. Не то что ошибочные, даже правильные шаги станут подвергаться жёсткой критике, как внутренней оппозицией, так и зарубежными силами, кровно связанными с российской олигархией. Работать президенту будет трудно. Но такая обстановка заставит его действовать строго в рамках закона. А главное — в интересах народа, который, в случае чего, может оказаться единственной поддержкой против проигравших сторонников ельцинизма. Савельев видел, как встречали Зюганова на Всемирном экономическом форуме в Давосе — словно будущего пре-

зидента России. Помогать Ельцину в избирательной кампании отказались даже те американские политтехнологи, которые за четыре года до того привели к власти Клинтона. “Мы можем участвовать только в выигрышных кампаниях”, — заявили они, объясняя, что законным путём Ельцин выиграть не может. И приводили аргументы. Он стар, сильно болен (перенёс два инфаркта), косноязычен, хронический алкоголик и бессовестно лжив. А главное, развязал войну в Чечне, породил невероятную коррупцию, упразднил социальные блага и почти лишил миллионы людей пенсий. Поэтому вместо прежней популярности имеет ненависть обманутого и обнищавшего народа.

Впрочем, Виктор сам знал это лучше американцев. Массовые опросы показывали, что мнение “при коммунистах было лучше, и мы хотели бы вернуться к прежнему” полностью разделяли 30 процентов населения. Ещё 33 процента в значительной мере соглашались с такой оценкой. Потрясены были и демократы первой волны — такого опущения жизни они не могли представить. Возврата к советской власти эти люди не хотели, но и Ельцин вызывал отвращение. Миллионы граждан готовы были поддерживать Зюганова не из любви к нему, а из-за ненависти к Ельцину и его режиму. Самым распространённым стал лозунг, рождённый на родине Ельцина в Свердловской области: “У кого в голове полено, тот пусть голосует за ЕБээНа”. Савельев не мог простить Ельцину ни разворованной страны, ни разрушенной экономики, ни расстрела парламента в октябре 93-го, когда его самого едва не убили озверевшие омоновцы при уходе из Белого дома.

Помня разгул извращённой, всё переворачивающей с ног на голову лжепропаганды о защитниках парламента в 93-м, Виктор был готов к чему-то подобному и во время избирательной кампании. Но действительность показала, что геббельсы нового времени способны на такое, до чего не доходили даже их предшественники. На голодную, измороженную страну обрушился Великий Потоп клеветы и дезинформации. Миллиарды украденных у народа денег заговорили продажными устами купленных знаменитостей и полуживыми голосами зомбированных бедняков. Двадцать три часа пятьдесят пять минут в сутки дикторы, комментаторы, корреспонденты, “простые телезрители” работали на Ельцина. И только подлинные “интересанты” сохранения ельцинизма любой ценой — олигархи: Березовский, Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Фридан, Авен, Потанин, Виказав перед выборами угрозу противникам действующего президента, теперь не озвучивали публично своих пристрастий. За них работала армада спущенных с цепи нравственных извращенцев от пропаганды.

Чтобы участвовать в борьбе с максимальной отдачей, Савельев взял в редакции отпуск. Это дало возможность ездить по разным городам, выступать на митингах и собраниях избирателей. Он не уклонялся от споров с противниками. Наоборот, искал их, чтобы на глазах слушателей фактами опровергать ложь ельцинистов. Как журналист, он располагал большим количеством информации, а отчаянный по натуре и порой резкий до грубости, не раз публично позорил оппонентов. Особенно не церемонился с теми, кто в заслугу Ельцину ставил “создание класса собственников” с помощью приватизации, и утверждение “настоящей демократии после подавления коммуно-фашистского парламентского мятежа в октябре 93-го года”. Однажды во Владимирской области, на собрании в районном Дворце культуры, Виктор даже устроил потасовку с ельцинским агитатором. Владимир Волков, которому он рассказал об этом, неодобрительно покачал головой. “Надо, Витя, словами их бить. А кулаком действовать — так народ оттолкнёшь”. Но Савельев на этот раз был не согласен с близким товарищем. “Добро должно быть с кулаками!” — часто повторял он слова известного поэта и потому несколько не жалел о том происшествии на встрече с избирателями.

Зал мест на 400 был полон. Люди стояли и вдоль стен. Для агитаторов и члена участковой избирательной комиссии — молодой блондинки с серьёзным лицом, на сцене поставили стол и традиционную трибуну. Представителями Ельцина выступали двое: средних лет женщина — завуч местной школы и небольшой, подвижный мужчина с откормленным лицом, которого представили как предпринимателя. Савельев был один. Завуч довольно сдер-

жанно, словно выполняла не очень приятное поручение, рассказывала о Ельцине. Говорила, как он боролся за интересы народа с партийной номенклатурой и лично с Горбачёвым, как ему трудно работаете сейчас, “поскольку кусают Бориса Николаевича всякие критики, вроде Зюганова, а сами ещё ничего не сделали”. Виктор до собрания поговорил с разными людьми, в том числе с учителями, а потому без труда дезавуировал все похвалы Ельцину.

— Всё, што появилось в нашей жизни плохого за последние годы, — заявил он, встав не за трибуной, а рядом с ней, — всё имеет прямое отношение к Ельцину. При нём, а не при ком-то, страну залила преступность. При нём стали нищими миллионы людей. Его счета в зарубежных банках называют газеты, а он молчит. Если молчит, значит, правда. От него берёт начало коррупция в ближайшем окружении и как зараза распространяется вширь и вглубь. Все социальные блага, которые были у народа, Ельцин отнял. В школе... в вашей школе (показал на завуча) дети падают в обморок от голода. Может, вам лично (снова жест в сторону оппонентки) зарплату дают, но остальные учителя её не видят. Детские сады за взятки берут бизнесмены, и матерей вынуждают сидеть дома. При этом даже мизерные пособия, на которые ребёнка нельзя прокормить и двух дней, не платят по полгода. Отцы тоже остаются дома, поскольку заводы прекращают работу.

Савельев заранее узнал у журналистов местной газеты про состояние здешнего градообразующего завода, который, будучи продан, на 90 процентов сократил число рабочих. Несколько раз Виктор касался заводских дел, и детальное знание ситуации, знакомой большинству сидящих в зале, находило у них поддержку.

Но если женщину-завуча Виктор в какой-то мере пожалел — ему было видно, что она отстаивала Ельцина против воли, то за предпринимателя взялся основательно. Невысокий, сытый по виду мужчина с запомнившейся Виктору странной фамилией Назаретов, стал преподносить в качестве одной из главных заслуг Ельцина приватизацию. А для Савельева это была кровоточащая тема. Когда он изучал документы для будущих статей, его трясло от гнева. Иначе как огромной диверсией против государства Виктор эту операцию не называл.

— Господин Назаретов уверяет нас, што приватизация по Ельцину создала в России класс собственников. Классе, как все, наверно, понимают, это нечто большое, многолюдное... Не десять тысяч человек... Не двадцать... А хотя бы миллион. Тем более, для 86-ти миллионов трудоспособного населения страны это совсем не много.

Виктор сделал паузу, взгляделся в зал:

— Есть тут хоть один собственник? С нефтяной скважиной? С угольной шахтой? С заводом? Ну, в крайнем случае, с маленькой обувной фабрикой или цехом мороженого?

В зале засмеялись.

— Нет. Это и понятно. Приватизация Ельцина—Чубайса задумывалась не ради вас. Она сделала собственниками... владельцами фантастических богатств сделала не миллионный класс, а небольшой отряд. Вроде пионерского. Но пионеров жадных, как голодные волки. Нас — десятки миллионов граждан — обманули. Просто ограбили. И государство получило крошки с воровского пирса.

— Надо было спешить! — громко сказал из-за стола Назаретов. — В других странах также было.

— Вы обратили внимание, товарищи: надо было спешить! Я вам сейчас объясню, почему торопились Ельцин с Чубайсом. Но сначала про другие страны. В одном только 94-м году ведомство Чубайса — Госкомимущество — продало около 47 тысяч государственных предприятий. В том числе таких, как ваш завод. Запомнили? 47 тысяч! Российская казна за них не получила даже одного миллиона долларов! А в тот же год в Чехии приватизировали в два раза меньше предприятий — около 25 тысяч. И как вы думаете, сколько пришло в чешский бюджет? Миллиард двести миллионов долларов! Вы понимаете разницу? Миллион и миллиард с лишним!

В зале зашумели, какая-то женщина крикнула:

— Стервецы они там, в этом имуществе!

— Кто они есть, судить вам. А теперь — почему спешили. Верховный Совет России, тот, который Ельцин расстрелял в октябре 93-го, принял закон о приватизации. В нём записал: приватизационные чеки — каждый равен десяти тысячам рублей — должны быть только именными. Но Ельцину внушили, а мы теперь знаем, как это не трудно сделать с алкоголиком, што приватизацию надо проводить иначе и решительному человеку. С подачи Гайдара президент поставил во главе Госкомимущества Чубайса. И тот придумал, как обойти закон. Уговорил Ельцина издать указ, которым вместо именных чеков были введены обезличенные ваучеры. Теперь у ловких людей появилась возможность скупать эти самые бумажки и на них приобретать заводы, фабрики, нефтепромыслы, комбинаты.

— Што вы хотите? Дело было новое, а на новой дороге кто не спотыкается, — опять громко, чтобы услышали и в дальних рядах, заявил Назаретов. — Незначительные ошибки у каждого могут быть. Наверно, были они и у Анатолия Борисыча.

— Незначительные? — переспросил Савельев. — Ну-ка, товарищи, оцените сами. Лишь за один год приватизации потери от разрушения экономики страны превысили потери в Великой Отечественной войне в два с половиной раза! Представляете масштаб этих “незначительных ошибок”? Четыре года самой разрушительной в нашей истории войны нанесли стране меньше ущерба, чем один год приватизации по Ельцину—Чубайсу! Да и были эти “ошибки”, как вы понимаете, я беру это слово в кавычки, далеко не случайными. Большинство предприятий продавалось иностранцам. Через подставных людей, по ценам в сотни раз дешевле, чем они стоили. Например, московский автозавод имени Лихачёва, который стоил один миллиард долларов, продали всего за четыре миллиона. В 250 раз дешевле! Челябинский тракторный завод, где было 54 тысячи работников, отдали за два миллиона двести тысяч долларов. В Европе столько стоит небольшая пекарня. Представляете? — пекарня и завод, где пятьдесят тысяч человек. Недавно Ельцин приехал в Челябинск... На встречу с избирателями. Ему стали кричать: “Долой!”, “Убирайся!”, “Ограбил страну!”.

Но самое преступное, што Чубайс с Ельциным стали продавать оборонные предприятия, приватизация которых вообще была запрещена законом. Я вам приведу только два примера из многих сотен. Американская фирма приобрела контрольный пакет акций курского завода “Кристалл”, где выпускались важные детали для ракетного комплекса “Игла”. После этого уникальную технологию американцы забрали себе, а мы остались и без ракет, и без завода.

Савельев специально упрощал разговор, чтобы донести до людей серьёзную информацию. Он видел, что в зале даже движения не было: так внимательно слушали люди.

— И второй пример. Некто Джонатан Хэй купил 30 процентов акций московского электродного завода и работающего с ним в паре института “Графит”. Это были **единственные** в стране (Савельев сделал ударение на слове “единственные”) разработчики графитового покрытия для космических аппаратов и авиации. Здесь была создана несгораемая “рубашка” для нашего космического “Бурана”. Тут же готовилось графитовое покрытие для военных самолётов — вы, наверное, слышали про самолёты-невидимки, сделанные по технологии “стэлс”. После покупки Хэй сразу отказался выполнять заказ наших военно-космических сил и стал работать на американскую корпорацию.

По залу покатались волны ропота. Люди нервно заговорили другу с другом. Сидевшая за столом завуч встала и ушла в боковую дверь на сцене. Во втором ряду поднялся крупный мужчина лет сорока.

— Скажите, а кто привёл нам этого Ху... как вы сказали: Хей? Он чей вообще?

— Заместитель Чубайса. Кадровый сотрудник ЦРУ. Чубайс пригласил для такой приватизации больше двухсот иностранцев. Среди них оказалось несколько десятков американских кадровых разведчиков. Представляете,

сколько государственных секретов, сколько технологий уникальных они перетащили в Штаты. А наши заводы уничтожили...

— Да кто ж его держит — этого Чубайса? Его расстрелять мало! — раздался возмущённый голос. — Может, Ельцин ничего этого не знал?

— Держит Ельцин. А знал он всё доподлинно. Я вам называю только отдельные факты, а подробные сведения посылали Ельцину и Черномырдину Генеральная прокуратура, Счётная палата, контрразведка ФСБ.

— Господа! Господа! Вас обманывает этот человек! — нервно вскочил за столом Назаретов и показал пальцем на Виктора. Предприниматель уловил настроение зала — оно было резко против Ельцина. — Борис Николаич уволил Чубайса из вице-премьеров. Он учёл недовольство народа — ваше недовольство, господа! и расстался с ним.

В зале послышались саркастические возгласы. Какая-то женщина громко, с насмешкой, спросила соседку:

— Ты почему, госпожа, пришла в рваных колготках? Миллионов што ли нет?

— Забыла нарисовать! — со смехом ответила та. — Сейчас возьму вон у того — за столом — карандаш и нарисую.

Савельев тоже хмыкнул, довольный реакцией народа.

— Как раз врёт именно он, — кивнул Виктор в сторону Назаретова. — Ельцин убрал Чубайса из правительства, чтобы дать более ответственное задание. Знаете, где сейчас “приватизатор всея Руси”? Руководит избирательным штабом Ельцина! Вся эта бешеная ложь о Зюганове по телевизору и в газетах — дело Чубайса с подручными. Газету “Не дай Бог!” видели?

— Кладут в ящики! Видели! — раздалась выкрики. — Тошнит от неё! Безобразие!

Виктор и сам не предполагал, что такое возможно. Перед началом избирательной кампании страна вдруг увидела новую газету. С необычным названием: “Не дай Бог!”, красочную, на великолепной бумаге и омерзительную по содержанию. Как говорили Савельеву даже сторонники Ельцина, читать её нормальным людям — “всё равно, что есть дерьмо”. Она была вся — от первой до последней буквы — нацелена на дискредитацию Зюганова. Его не просто сравнивали с Гитлером — прямо называли фюрером. В статье “Зюг Хайль!” говорилось, что пока одни политики работают в меру сил, чтобы преодолеть стоящие перед страной трудности (это Ельцин-то?), другие предпочитают спекулировать на них с целью добраться до власти. “Именно таким образом, — писала газета, — в 1933 году пришёл к власти в Германии Адольф Гитлер. И именно таким способом пытается сегодня стать президентом России Геннадий Зюганов”. В газете под своими именами и фотографиями выступали против Зюганова не только купленный российский кино-, театральный и эстрадный бомонд, но и оплаченные зарубежные артисты, которые, если и видели противника Ельцина, то разве что на фотографии. А без подписей, анонимно, печатались совсем фальшивки — письма якобы сторонников Зюганова. Специально с грамматическими ошибками, с грубым, корявым текстом, с обещаниями всех пересажать и перестрелять, “когда мы придём к власти”.

В каждом номере многостраничной газеты разные авторы повторяли одни и те же тезисы: если победит Зюганов, в России вспыхнет гражданская война, наступит голод, начнутся массовые репрессии, расстрелы.

В одном из номеров было напечатано “Письмо из будущего” вроде бы простого россиянина: “Страну нашу по просьбам трудящихся, может, слышал, переименовали — теперь мы живём в Зюгославии. Столица Зюгодан называется. Недавно денежную реформу провели. Новые деньги ввели — зюгрики. Ходят по городу оборзюги. Все — с зюгомётами. А в помощь им совсем пацанов, подзюганков набирают — из активистов “Гитлерзюгенда”. Телевизор не включают уже. Там каждый день два фильма крутят — “Небесный зюгоход” да “Зюгарка и пастух”.

Редакция предлагала читателям сочинять такие “письма”, а в качестве награды обещала турпоездку за границу. “В одну из тех стран, граждане которых проголосовали правильно”.

Избирательный штаб Зюганова протестовал, обращался в избиркомы и суды, но там на всю эту вакханалию не обращали внимания. Даже когда в одном городе-миллионнике, по приказу местных властей, во всех магазинах с прилавков и витрин убрали продукты, а вместо них разложили газету “Не дай Бог!” с фотографиями и статьями о Большом голоде (смотрите, что будет в случае победы Зюганова!), разгул тотальных подтасовок не остановился. Газета продолжала выходить каждую неделю 10-миллионным тиражом и бесплатно раскладывалась по почтовым ящикам в городах и посёлках российской провинции. Ельцинская власть вместе с олигархатом тратили на её выпуск громадные деньги, которых хватило бы кормить средних размеров город. Но цель оправдывала средства. Если учесть мнения социологов, что каждый номер обычно читают в среднем три-четыре человека, то информационному изуверству подвергались до 40 миллионов избирателей.

Напомнив залу об этой газете, Савельев снова заговорил о предстоящем голосовании во втором туре. В него вышли Ельцин и Зюганов. Первый набрал 26 миллионов голосов, второй — 24 миллиона. Но за бортом остались ещё 20 с лишним миллионов. Тех, кто голосовал за других кандидатов. За них и развернулась ожесточённая борьба.

— В ближайшие дни будет решаться судьба нашей страны, — сказал Виктор. — Вами будет решаться. Вашим разумом. Подумайте, на кого вы можете надеяться. За генерала Лебеда проголосовали 11 миллионов человек. Однако Ельцин пообещал ему большую должность, и генерал продал свою армию тому, с кем боролся. Сейчас они должны сделать выбор. Так же, как миллионы других. Некоторые думают: што может решить один мой голос? Но миллионы складываются из единиц! И если мы поймём, што от каждого из нас зависит, как будет завтра жить его семья, а послезавтра — его внуки, мы откажем в доверии ельцинскому режиму. У нас была возможность иметь другую страну. Многие из вас, может быть, помнят, как осенью 93-го года руководители 62-х субъектов Российской Федерации из 88-ми потребовали от Ельцина отменить свой антиконституционный Указ о ликвидации Советов в стране, снять осаду Белого дома. В случае неисполнения пригрозили перекрыть все дороги в Москву, объявить всеобщую забастовку, прекратить поставку продуктов и перечисление денег. Если бы они сделали это раньше, чем Ельцин начал расстрел народного парламента, мы жили бы сейчас в иной стране и, может, по-другому....

— Правильно Борис Николаич их опередил! — крикнул Назаретов, пербив Савельева. — В этом Белом доме... Ха! Народный парламент! Там собрались одни красно-коричневые. И защищать их пришли подонки! Надо было всех расстрелять! Тех и других.

Виктор вдруг почувствовал, как у него часто-часто забилося сердце. После 93-го это происходило каждый раз, когда что-нибудь напоминало о тех страшных днях. Он повернулся к маленькому, откормленному человечку, уставившемуся на него злыми чёрными глазами, и, чётко выговаривая каждое слово, сказал:

— Я был там, господин Назаретов. Выходит, тоже подонок? Как и ни за што убитые люди?

— Они получили по заслугам!

Савельев стремительно подошёл к предпринимателю. Тот сообразил, что противник сейчас ударит его по лицу, и выставил вперёд руки. Но Виктор перехватил его кисти и, как щётками по барабану, начал хлестать назаретовскими же руками по откормленной физиономии человечка.

— Перестань! Ты што делаешь, коммуняка?

В зале сначала изумлённо замолчали, а потом по рядам покатился смех. К Савельеву подбежала блондинка из участковой комиссии, стала отгаскивать от предпринимателя. Тот вырвал наконец руки и замахнулся на Виктора. Но тренированный журналист увернулся, и Назаретов ударил по голове девушке.

С гамом, смехом, с угрозами предпринимателя подать на Савельева в суд собрание закончилось, и, уходя, Виктор с удовольствием слушал, как люди обсуждали сказанное им, как ругали Ельцина, и тогда ему казалось, что при

таком настрое народа, а он этот настрой чувствовал на многих встречах, не бывать больше нынешнему президенту во власти. Однако результаты повторного голосования потрясли журналиста. Человек, достойный, по глубокому убеждению Савельева, тюрьмы, вместо этого получил поддержку немалой части растоптанного народа.

Теперь, по прошествии двух с половиной лет, острота потрясения вроде бы притушилась, но достаточно было Виктору вспомнить тогдашнее послевыборное торжество ельцинистов, как глаза наливались кровью и прежний гнев, смешанный с презрением, искажал его лицо. А презирал Савельев, с трудом признаваясь в этом даже себе, именно ту самую часть народа. Да, на него обрушились небывалый в истории словонад дезинформации, прямой лжи и подсудной клеветы. Но разве слушающий всё это безработный инженер, голодная мать, разорённый крестьянин не видели по собственной жизни, при ком они получили свои беды? Поэтому, соглашаясь сейчас с Волковым по поводу массированного зомбирования миллионов людей, Виктор не снимал вины и с самих этих миллионов.

— Малашенки и другие, как говорит Андрей, “перевёртыши” — это, конечно, продажная шушера, — сказал Савельев. — Кто больше заплатит, тому будут служить. Но народ-то наш! Народ!... Што ж он за глина такая, из которой то и дело лепят топор на его собственную шею?! Я не могу себе представить, как в какой-нибудь другой стране люди знали бы столько же про убийственные дела своего президента и захотели добровольно снова дать ему власть.

— Народ, — сыто усмехнулся Слепцов. — Мой хозяин, у которого я работал сторожем на даче... из этих, какие разбогатели в один момент... он мне сказал однажды... Я ему тоже вот так: “А как же народ?..” Он поглядел на меня... знаете, как на козьяку глянул, поглядел и сказал: “Народ... Плюнь ему в рот — обижается... Два, говорит, полагается”.

— И ты не дал ему по морде? — рыкнул Нестеренко.

— Как дашь, когда кормит.

— Тогда ты и есть козьяк!

— Конечно, за такое, Андрей, можно любому хозяину врезать, — согласился Савельев, с лёгкой брезгливостью глянув на Слепцова. — Но объясни мне, как может голосовать за Ельцина мать убитого в Чечне солдата, отец парня, которому вместо института дорога только в наркоманы и бандиты, как родители проституток не зачёркивают ненавистную фамилию? Сейчас любой бомж скажет тебе, што приватизация в России — это “прихватизация”, што залоговые аукционы — это бесплатная раздача самых драгоценных “жемчужин” индустрии, таких, как “Норильский никель”, нефтяные и газовые месторождения, нескольким банкирам за их поддержку на выборах. Разве этого мало, штобы народ вышвырнул Ельцина из власти?

— Ты ещё забыл 93-й год, — сказал Волков. — Вот где преступление, цена которого — виселища.

— Не забыл. Не знаю, как вы, а я, наверно, буду помнить это до конца жизни, — нахмурился Савельев.

— А я-то уж тем более, — произнёс Нестеренко. — Вместе с первомайским подарком ношу и октябрьский.

Глава пятая

Первое время после разрушения Советского Союза Андрей Нестеренко считал депутатов Верховного Совета РСФСР такими же врагами, как Горбачёва и Ельцина. Ведь они почти поголовно (188 — за) поддержали Беловежское соглашение, которое ликвидировало Советскую державу. Против голосовали только 6 человек. Вот эти шестеро и были, по мнению Андрея, настоящими представителями народа. Остальных он презирал и даже не интересовался их делами. Тем более, жизнь пошла такая, что надо было, прежде всего, думать о семье. Усыхающую пенсию матери не платили по три-четыре месяца. Детский сад, где работала жена, закрыли и всех воспитателей

уволители. Завод почти остановился. Новый директор (прежний, демократ, пристроился в каком-то департаменте у Гайдара) как-то ухитрился находить микроскопические средства, но их не хватало даже на оплату электричества и мазута для котельной. Несколько цехов отключили от тепла, и они стояли мрачные, холодные, словно декорации для фильма о конце света.

Андрей искал любую возможность заработать. Не оставляя завода, в гараже у себя начал ремонтировать электрическую проводку машин. Постепенно клиентов становилось больше, но все они были такие же нищие, как Нестеренко, и у него не поворачивался язык запрашивать высокие цены, хотя провода он покупал за свои деньги.

Чтобы уйти от перекупщиков, электрик начал связываться с кабельными предприятиями, с которыми до разрухи сотрудничал его завод. Так пришла мысль самому стать связующим звеном между кабельщиками и небольшими потребителями. Занять одну из ниш ликвидированного Госснаба.

Переговорив с директором, Андрей взял под склад маленькую подсобку в своём остановленном сборочном цехе. На заработанные деньги купил компьютер. Экономил на чём только можно. Сам договаривался с заводами и покупателями, на своей машине ездил за кабелями и развозил их по клиентам. Был грузчиком, продавцом и даже бухгалтером. Семье жить стало немного легче. Андрей мог бы начать успокаиваться, но происходящее в стране, наоборот, всё чаще приводило в гнев. Ельцинская власть по всем направлениям действовала против поверившего ей народа. Обманула с ростом цен и отняла все сбережения. Провела жульническую операцию с ваучерами — Нестеренко, как миллионы других, вложил все бумажки семьи в какой-то инвестиционный фонд, а тот безнаказанно пропал. Только когда началась скупка за ваучеры заводов, Андрей понял, где всплыли эти бесплатно собранные у населения “картинки Чубайса”. Позволив вмиг разбогатевшим прохиндеям вывозить миллиарды за границу, власть обрекала на голод и вымирание миллионы остальных граждан. Поэтому в массовые акции протеста Нестеренко включился без колебаний.

Радовало и то, что так же были настроены его товарищи: Владимир Волков и Виктор Савельев. Правда, журналист, в отличие от учителя, ходил не на все демонстрации. Зато при встречах много рассказывал о начинающихся разногласиях между Ельциным и депутатами Верховного Совета России. Нестеренко сначала слушал об этом равнодушно.

“Одна гоп-компания, — сказал как-то Савельеву. — Того и тех надо гнать”.

Но с каждым разом всё внимательней прислушивался к словам товарища, начиная понимать, что Верховный Совет становится последней преградой на пути вероломных действий кремлёвского властолюбца. К осени 1993 года симпатии всех троих были уже на стороне парламента. И когда Ельцин издал Указ о роспуске Верховного Совета России, Нестеренко возмутился не меньше остальных двоих.

В первые дни противостояния товарищи обсуждали развитие событий по телефону. Савельев несколько раз бывал в Белом доме и после каждого возвращения оттуда рассказывал Волкову и Нестеренко о положении в парламенте. Уже в день появления Указа, 21 сентября, в Доме Советов по приказу московского мэра Лужкова была отключена всякая связь. В отличие от сопливых “путчистов” августа 91-го, которые не догадались отключить даже городские и междугородние телефоны, здесь было “обрублено” всё, включая телевидение. Через два дня столичный градоначальник велел отключить свет, тепло и горячую воду. А как раз в это время начало резко холодать. Необычно ранняя осень покрыла снегами необрунные хлебные и картофельные поля Нечерноземья. Снег с дождём принесло и в Москву. Минусовая температура случалась уже не только ночью, но и днём. Огромное белое здание стало напоминать замерзающий корабль.

Отрезанный от мира парламент не имел возможности донести стране свою оценку ситуации. Сведения из Белого дома разносились, как из осаждённой крепости, листовками и добровольными информаторами. Оппозиционная пресса блокировалась.

Зато ельцинисты круглые сутки заливали страну ложью о сторонниках Конституции, называя их “красно-коричневыми”, пьяницами и дегенератами, которые убивают сотрудников милиции и противодействуют президенту навести порядок в стране.

28 сентября Савельев позвонил товарищам из редакции и сказал, что недавно вернулся от Белого дома. Его изолировали окончательно. По всему периметру оцепили “спиралью Бруно”, за этой колючей проволокой стоят бронетранспортёры, повсюду посты ОМОНа и милиции. Не пропускают ни машины с продовольствием и горючим, ни “Скорую помощь”. Виктор сообщил также, что в воскресенье 3 октября будет митинг на Октябрьской площади. Он был намечен давно, задолго до этих событий. Однако теперь станет грандиозной акцией в поддержку парламента. Ведь с требованиями прекратить блокаду, дать в Белый дом свет и тепло выступили руководители субъектов Федерации. Тысячи людей готовы встать на стороне Верховного Совета. Сам же он, сказал Савельев, попробует проникнуть в Белый дом, как журналист. Если не получится, пойдёт на митинг.

1 октября Виктор позвонил опять. Говорил из телефона-автомата за пределами оцепления. Сообщил, что в Доме Советов ненадолго включили свет, дали горячую воду, а главное, — должны пропустить корреспондентов. В основном иностранных. Им ельцинисты хотят показать, что никакой блокады парламента нет. Заодно пройдут и немного российских журналистов. “Я с ними, — сказал Виктор. — Вечером расскажу вам с Володей”.

Но ни вечером, ни на следующий день Савельев не позвонил. Волков разговаривал с его женой. Она была в панике. Ей сказали, что Дом Советов снова наглухо изолирован, а милиция избивает всех, кто приближается к оцеплению.

В воскресенье Андрей Нестеренко объявил матери и жене: “Иду на митинг. Теперь каждый человек — дополнительная сила”.

Они встретились с Волковым в вестибюле станции метро “Октябрьская”. На площади уже собралось много народу. Милиционеры по мегафону требовали разойтись. Предупреждали, что митинг запрещён властями. Накалённая толпа то тут, то там вступала в стычки с милицией. Послышались призывы: “К Дому Советов!”, “Долой блокаду!” Людская лавина, выстраиваясь на ходу в колонну, двинулась в сторону Смоленской площади. Перед Крымским мостом Нестеренко оглянулся. Подтолкнул Волкова:

— Ты погляди!

Сзади шла огромная, шириной во всю улицу Крымский вал, людская река, конца которой было не видно. Владимир снова вспомнил армейскую науку старшины Губанова и стал определять “сэгмэнты”:

— Тысяч под триста. Если не больше.

В это время головная часть колонны, где они оказались, начала перестраиваться и уплотняться. Идущие в первых рядах мужчины двигались всё быстрее, пока колонна не перешла на ускоренный шаг. Топот тысяч ног превратился в грозный гул. На Смоленской площади колонну встретили кордоны милиции и ОМОНа. Они попытались задержать лавину, но были смяты. Скандируя лозунги: “Банду Ельцина — под суд!”, “Руки прочь от Советов!” люди отбирали у омовцев щиты и дубинки, но самих бойцов не били. “Мы не бандиты! Мы — народ!” — раздавались выкрики теперь уже из бегущей людской массы.

В таком же порыве передние шеренги достигли заграждений вокруг Белого дома. Сразу началась агитация стоящих в оцеплении солдат внутренних войск. Переговоры скоро закончились братанием. На сторону Верховного Совета перешли двести солдат дивизии имени Дзержинского и рота Софринской бригады внутренних войск. Воодушевлённые демонстранты обнимались с солдатами, ветераны с орденскими колодками на пиджаках жали руки молодым бойцам, ребята в униформе угощали сигаретами.

Волков и Нестеренко тоже не сдерживали эмоций. Улыбаясь из-под усов, учитель втолковывал худощавому солдату, что тот и его товарищи поступили ответственно, не направив оружие против стариков, женщин и детей, которые в это время радостным толпами шли к разгороженному Бело-

му дому. А там уже начинался митинг. Многие выступающие говорили о том, что отрешённый от должности, по решению Конституционного суда, Ельцин последнее, что может сделать для спасения себя от тюрьмы — это не допустить кровопролития и отдать приказ о полном отводе войск и военной техники от Дома Советов.

Но в тот самый момент, когда к площади перед парламентом ещё подходила основная многотысячная масса демонстрантов, отставшая от передовой колонны, в спину безоружным людям началась стрельба из автоматического оружия из здания мэрии и гостиницы “Мир”.

Сразу были убиты несколько человек и десятки ранены. Народ заметался по площади, пытаясь укрыться от пуль. В разных местах раздавались крики: “Они начали первыми! Патриарх их должен проклясть!” Это люди напоминали об обещании Алексея Второго предать анафеме тех, кто первый прольёт кровь.

Началась суматошная организация отрядов. Вооружённые и безоружные сторонники парламента пошли на штурм мэрии. Волков и Нестеренко оказались среди них. Андрей нёс омовенский щит. Владимир шёл с милицейской дубинкой. Захват лужковской резиденции произошёл стремительно. Уже через полчаса были заняты пять этажей. С балкона мэрии коротко выступил генерал-полковник Макашов. Когда произнёс: “Больше нет ни мэров, ни пэров, ни херов!”, Нестеренко весело рассеялся: “Вот это правильно! А то развели веякую вшивоту”.

Вернувшись на площадь перед Белым домом, товарищи вспомнили, что тут где-то может быть и Савельев. Но вскоре поняли: найти журналиста в большой мигрирующей массе народа маловероятно. Поскольку оба оказались здесь впервые после августа 91-го, с интересом ходили от баррикады к баррикаде, постояли возле временного деревянного креста, рядом с которым было устроено что-то вроде походной часовенки. Останавливались у палаток: похоже, в них холодными ночами пытались уснуть женщины и ребяташки, которые сейчас то носили какие-то ящики для костров, то подходили к кресту и слушали меняющих друг друга священников.

— Виктор, скорее всего, в здании, — показал на Белый дом Волков. — Работа журналиста сейчас там.

Помолчал и добавил:

— Вот где собирается исторический материал.

Они подошли к подъезду, но охрана внутрь не пустила. Не очень расстроенные, товарищи двинулись к большой группе людей, выстроившихся возле двух грузовиков. И вдруг услышали голос Савельева:

— Зря вы оголяете Белый дом! — громко сказал он мужчине в мятой шляпе и лёгком пиджаке, только что закончившему призывать к “походу на Останкино”. — Они не отдадут телевидение. Аппаратуру выведут из строя, но не допустят к эфиру. А люди нужны здесь.

Интеллигентного вида предводитель махнул рукой на Савельева и приказал забираться в кузова машин.

— Витя! — вскричал Нестеренко. — Вот так “везуха”! Мы с Франком и не надеялись.

Товарищи с радостью потискались друг друга, стали рассказывать, что происходит в городе и что здесь. Савельев повеселел, видя, как площадь и все окрестности заполняет людское море.

— Теперь Ельцину ханá! Такую массу народа не задавить. Завтра Совет Федерации берёт на себя временное управление...

— Ну, вот, а ты говоришь: не дадут телевидения, — заметил Нестеренко. — Как раз сейчас и надо рассказать всей стране. Поехали? Тебя-то пропустят.

— Нет, ребята. Мне надо поговорить с Хасбулатовым. Когда всё закончится, напишу большой материал. А вы езжайте, — показал он на отобранный у омовенцев автобус, который заполняли молодые мужчины, девушки.

Чем ближе подъезжал автобус к Останкино, тем мрачней становился Волков. Кто-то сказал, что в телецентр для его защиты направлено спецпод-

разделение “Витязь”. А Владимир знал подготовку этих ребят. Потом увидели едущие в том же направлении машины с омововцами. “Эти не простят своего позора”, — показал учитель Андрею в окно на сидящих в кузове милицейских “отморозков”.

Но когда добрались до Останкино, Владимиру показалось, что он ошибся. Шёл митинг. Выступающие без особой агрессии требовали пустить в телецентр представителей Верховного Совета и дать им возможность “рассказать России правду”. Так продолжалось довольно долго. От Белого дома приезжали машины и автобус, выгружали новые партии людей и отправлялись за следующими. Стали подходить демонстранты основной многотысячной колонны. Она двигалась медленно, что было вполне объяснимо: в колонне шли не только крепкие мужчины, но и ветераны-старика, женщины с детьми, поскольку погода в этот воскресный день выдалась хорошая, и многие воспринимали дальнейший поход после разблокирования Дома Советов как праздничную демонстрацию. В густеющих сумерках ничего тревожного не наблюдалось.

Тем неожиданной взревел впереди мотор грузовика, зазвенели разбитые стёкла, и тут же началась ошеломляющая, интенсивная стрельба. Многие сначала ничего не поняли, но через секунды, увидев падающих рядом соседей, услышав крики раненых и искажённые лица убитых, остающиеся в живых сами забились в истерику, стали разбегаться, ища хоть какое-нибудь укрытие.

— Што ж они, суки, делают! — заревел Нестеренко, обернувшись к учителю. Тот мгновенно сжался, словно приготовился к прыжку.

— Мы ничево не успеем. Перекрёстный огонь. К ним не подобраться, — быстро говорил Волков, озираясь по сторонам.

А стрельба нарастала с каждой минутой. В наступившей темноте от двух зданий телецентра в обезумевшую толпу сверкающими светляками летели трассирующие пули, и смертельный этот поток рвал людей, прошивал машины “Скорой помощи”, пытающиеся подъехать ближе к десяткам разбросанных по площади тел, зажигал брошенные грузовики.

— Надо отступать, Андрей! — бросил товарищу Волков. Он увидел, как к площади двигаются несколько бронетранспортёров. Послышались голоса: “Наши подошли!”, “Дадут убийцам!”. Но Владимир по обстановке понял: подошло, наоборот, подкрепление к расстрельщикам. БТРы приблизились к многотысячной толпе и открыли огонь на поражение. Крики и вопли поднялись такие, что моментами заглушали грохот пулемётов. Где-то рядом послышалось: “Миткову сюда! С камерой! Пусть снимет своих эсэсовцев!”

— Ух, блин! — вдруг вскрикнул Нестеренко и схватился за левую ногу выше колена.

— Ранен? — тревожно спросил Волков. Он быстро усадил товарища на асфальт. Пуля вошла в мякоть, кровь заливала штанину. Учитель снял рубашку, надел куртку на голое тело. Вспомнив спецназовское обучение, перевязал рану. Пригибаясь, потащил Нестеренко к оказавшимся поблизости кустам. Пули вжикали над головой, ударялись в асфальт.

— Всё, Андрюша. Главное сейчас — вырваться отсюда. Думаю, скоро начнут окружать и прочёсывать.

Нестеренко попробовал встать. Глухо ойкнул. Волков положил его левую руку себе на плечи, и они медленно двинулись по тёмной пустой дороге. Когда дошли до освещённой улицы, Волков спросил у прохожего о ближайшей больнице. Идти дальше было трудно и опасно. Владимир остановил машину, не зная, кто там: свой или чужой? Оказался противник Ельцина. В больнице Андрею сделали перевязку — пуля, к счастью, не задела кость. Хотели отправить в палату, но Нестеренко наотрез отказался. Его ждал Владимир, который считал, что надо как можно быстрее увезти Андрея из Москвы. По жестокости расстрела тысяч абсолютно безоружных людей Волков почувствовал, что бойня у Останкино — это не конец, а только начало репрессий. “Раз они пошли на это, значит, сжигают мосты, — сказал он Андрею. — Теперь им — дорога по трупам. А если так, то начнут проверять и больницы”.

Снова остановив частника, товарищи поехали к Трём вокзалам. Уже выбираясь с трудом из машины, Нестеренко проговорил:

— Витя нас, наверно, ждёт. Не знает, чем кончился поход.

— Отвезу тебя, и утром поеду к Белому дому. Встретимся с ним...

Но ни на следующий день, ни днём позднее их встреча не состоялась...

В ночь с 3-го на 4 октября Савельев почти не спал. Сначала его потряс не только вид раненых, которых привозили из Останкино в Дом Советов, но и их количество. Виктор встречал каждую машину, вглядываясь в темноте в лица, надеясь и в то же время боясь увидеть товарищей. Их не было, а это означало одно из двух: или убиты, или сумели уйти. Но если б ушли, то появились у Белого дома. А если нет среди раненых и вернувшихся живых, то где?

Виктор старался подавить щемящие мысли разговорами с защитниками “оплота Конституции”, как он назвал для себя Дом Советов, представлениями о завтрашнем дне. Ходил от костра к костру, садился погреться, поражаясь выдержке многих людей, оказавшихся возле Белого дома в лёгкой одежде ещё в погожие дни, да так и не сумевших выбраться за тёплыми вещами.

Потом, устроившись на стульях, он начал было засыпать, но разбудила возня и приглушённый шум среди иностранных журналистов. Они явно получили какую-то команду по своим спутниковым телефонам. Стали торопливо собираться, кое-как укладывая аппаратуру и тревожно глядя на своих российских коллег.

— Это не к добру, — сказал Савельев знакомому журналисту из яростной оппозиционной газеты.

С плохими предчувствиями снова лёг на стулья, подложив сумку с диктофоном, зонтом и блокнотами под голову. В комнате было ещё темно, когда зыбкий сон оборвали звуки выстрелов. Виктор сел на стульях, не понимая, где стреляют. Подшагнул к окну и в слабеющих утренних сумерках увидел, как на том самом месте, где он сидел вчера поздним вечером у костра, “восьмёркой” ходит бронетранспортёр, давя походную часовенку, палатки, женщин и детей в них и одновременно стреляя из пулемёта по убегающим безоружным баррикадникам. Несколько человек упали и лежали неподвижно. Другие, видимо, раненые, пытались ползти к подъезду Белого дома, но БТР опустил ствол пулемёта и начал стрелять по мёртвым и недобитым. Лежащие на асфальте вздрагивали, и казалось, люди ещё живы. Но это крупнокалиберные пули рвали и подбрасывали силой удара уже безжизненные тела.

С этих минут начался кошмар расстрела парламента. Некоторые депутаты накануне перебежали к Ельцину, но большинство оставалось в здании. Тут же находились сотрудники аппарата, работники столовой, различных технических служб. В здании оказалось много женщин и детей. Савельев не знал, сколько народу точно: одни говорили — десять тысяч, другие называли меньшее количество. Но то, что людей в Доме Советов много, журналист видел и сам. Те, кто не занимал оборону, собрались в зале Совета национальностей. Он находился на третьем этаже, внутри дома, был без окон, и это делало помещение безопасным, поскольку стрельба началась непрерывная. Били пулемёты БТРов. Поливали из автоматов омоновцы. Стреляли по любой движущейся цели снайперы. А потом раздались залпы танковых орудий. Снаряды рвались на верхних этажах. Знакомые депутаты и офицеры охраны раза два рассказывали Савельеву содержание радиоперехватов. По ним Виктор понял, что уничтожены должны быть все. В первую очередь Руцкой и Хасбулатов.

Не имея оружия, он добрался до зала Совета национальностей. В нём было сумеречно — свет давали только несколько свечей, и тепло от сотен собравшихся людей. В полумраке Виктор разглядел двоих знакомых журналистов, поздоровался с некоторыми, знающими его, депутатами. От взрывов танковых снарядов вздрагивало всё здание, но люди не паниковали. Сдержанно, без надрыва, вели себя женщины. Глядя на них, бодрились мужчи-

ны. Плакали только раненные дети, но их в этом зале, к счастью, было пока не много.

Особенно томительно переносилась неизвестность. Выстрелы почти не затихали. В зале, даже при закрытых дверях, слышны были крики, усиленные мегафоном команды. Чтобы узнать, что происходит, в грохот смертоносного обстрела время от времени выходили депутаты и журналисты. Возвращались то с одной, то с другой надеждой. Поначалу кто-то сообщил, что ожидается прибытие представителей субъектов Федерации. Потом ждали членов Конституционного суда во главе с его председателем Валерием Дмитриевичем Зорькиным.

С самого начала расстрела из Дома Советов по радиации обращались к кому только можно с призывами прекратить огонь, дать возможность вывести хотя бы женщин и детей. В ответ слышался мат, обещание перестрелять всех находящихся в здании коммуно-фашистов.

Через несколько часов в зал вошли представители парламента с двумя офицерами “Альфы”. Спецназовцы прибыли по своей инициативе. Перед этим они провели переговоры с Руцким, Хасбулатовым, Макашовым и другими руководителями обороны о сдаче. Ввиду безвыходности ситуации предложение было принято. Теперь офицеры начали разговор с теми, кого они собрались выводить под своей защитой. Один из них — высокий, с мужественным лицом, в ответ на вопрос, как его зовут, ответил: “Называйте Володя”. Он сказал, что “Альфа” не хочет никого убивать, что они гарантируют вывод всех находящихся в Белом доме людей, независимо от того, депутат он или нет.

Вместе со всеми Савельев был выведен во двор. Руцкого и Хасбулатова увезли отдельно. Остальных — кого повели к автобусам, кого просто отпустили за пределами ограждения. Группе, в которой был Виктор, предстояло идти в сторону гостиницы “Мир” и мэрии. Но там за ограждением, едва сдерживаемая офицерами “Альфы”, бесновалась толпа разъяренных людей. Савельев вспомнил выход работников ЦК КПСС на Старой площади, и неприятный страх замедлил движение. Сзади шёл известный депутат. Виктор знал его ещё с российских выборов в марте 90-го года. Узкая, вытянутая вверх лысая голова, похожая на узбекскую дыню, энергичный голос уверенного в своей правоте оратора. Он был безоговорочным солдатом Ельцина. С гордостью носил единственную в своей жизни медаль “Защитнику свободной России”, которую получил после ГКЧП. Но ещё до того Виктор увидел эту “демократическую дыню” на Старой площади, среди ревуших крушителей тоталитаризма. Несколько дней назад они встретились в осаждённом Белом доме. “Как же смеет Ельцин топтать Конституцию?” — с возмущением проговорил тогда депутат. “Так же, как вы два года назад нарушили Конституцию и развалили Союз, — напомнил Савельев. — Бумеранг вернулся назад”. Теперь идущий сквозь беснующийся строй люди надеялись только на защиту “Альфы”. В них плевали, пыгались достать кулаками, матерно обзывали и, если бы не скалоподобные спецназовцы, ни один человек не прошёл бы к автобусу без разбитого лица.

Чтобы не видеть озверелости негодующего людского коридора, Виктор шёл, глядя себе под ноги. Неожиданно рядом раздался вроде бы когда-то слышанный им голос. Савельев поднял взгляд, и что-то знакомое показалось ему в лице обрюзглого, с нависшими на глаза веками мужчины. Больше того, ему даже почудилось, что мужик как раз узнал его и с какой-то вспыхнувшей яростью дёрнулся к нему. Но тут Виктора подтолкнул идущий сзади депутат, и он ускорил шаг.

При посадке в автобус сопровождающий офицер сказал, что их развезут подальше от Белого дома, а если кто захочет выйти раньше, может это сделать. Савельев решил сойти первым: у станции метро “Маяковская”. Это была прямая линия до его дома. Но не успел сделать нескольких шагов, как рядом затормозил милицейский “уазик”. Выскочившие два омонца с автоматами направили оружие на журналиста и велели садиться в машину.

Его привезли в какое-то отделение милиции. Ещё в машине, где сильно пахло спиртным, отобрали сумку, тычком ударили в зубы, а когда ввели в

помещение, сразу начали избивать. Он успел только крикнуть: “Я — журналист. Отпущен из Белого дома”, как подбежали и те, кто находился за перегородкой дежурного. Бить стали прикладами автоматов, ногами в тяжёлых ботинках, кулаками. Доставившие Савельева громко объясняли остальным, что они от Белого дома следили за автобусом, что две других машины ещё едут за ним, что эта сучья “Альфа” сама заслуживает хорошей дубинки и надо всех переловить, кто “мочил наших ребят”. Потом остановились, вывернули у Виктора карманы, тот, кто достал удостоверение журналиста, бросил его на грязный пол, каблук ботинка повернулся на нём, а бумажник передал старшему. Увидев растоптанное удостоверение, пьяные омоновцы и милиционеры взбеленились ещё сильнее.

— Ты, б...ь, писака сраный!.. От таких, как ты, вся зараза!

— Чево его держать? Счас я его пристрелю!

Рукояткой пистолета Савельева ударили по голове. У него стали подкашиваться ноги, но в последний момент Виктор понял: если упадёт, его убьют. Удары влетали со всех сторон. Кто-то попал в глаз, и Савельев словно ослеп. Били под рёбра, по почкам, по лицу, по голове. Рот наполнила горячая жидкость — Виктор понял, что это кровь. Уже едва стоящего на ногах, его вытащили в задний двор и поставили лицом к стенке. В какой-то смутности кольхнулась мысль: смерть надо встретить лицом. На подгибающихся ногах он с трудом повернулся и увидел прямо перед собой дуло пистолета. Но в этот момент открылась дверь и кто-то крикнул:

— Брось его! Привезли новых! Бабу привезли!

Тут же из дверей выбежали два милиционера. Вместе со стоящим возле Виктора омоновцем они схватили журналиста и не столько отвели, сколько оттащили в камеру.

В маленькой камере лежали и сидели пять человек. Савельева подняли с пола, положили у стены, чтобы не дотрагиваться до избитого человека и не добавлять боли. Сознание было, как при глубоком опьянении: все плыло, кружилось, куда-то проваливалось. Иногда проходила мысль: пока не застрелили... пока жив... В коридоре снова кого-то били, потом из дальней камеры донеслись крики насилуемой женщины. Мужчины в камере заволновались, но они сами были избиты и взаперти.

Утром в камеру вошли двое: майор и вчерашний дежурный, сержант. Он почему-то бил Виктора рукой в перчатке, и после каждого удара голова как будто отрывалась.

— Где тут Савельев? — спросил майор сержанта. Тот переводил взгляд с одного лица на другое и не узнавал.

— Кто Савельев? — повторил майор, обращаясь теперь к сидящим в камере. Держась за стенку, Виктор поднялся:

— Я.

— Выходите, Виктор Сергееч.

В кабинете, куда журналиста привели под руки, майор с сожалением сказал:

— Нам приказали задержать и допросить каждого, кто был в Белом доме. Сотрудники разозлены... Их можно понять: возле вашего Белого дома убито несколько работников милиции. Мы не будем вас допрашивать... Хотя могли бы. Вот ваши вещи. Диктофон. Блокноты. Бумажник... Вы, наверное, потеряли деньги там... где защищали врагов президента... Удостоверение... Испорчено немного... Но вам, я знаю, дадут новое.

Виктора на милицейском “уазике” довели до самого дома. Откуда они узнали адрес, его затуманенное сознание на это не отреагировало. Потрясённая жена вызвала “скорую помощь”. Савельев долго лечился, а когда вышел из больницы, все увидели у молодого ещё человека необычно обильную седину. Он писал заявления в прокуратуру, опубликовал статью о Белом доме и зверствах милиции — к собственному опыту добавилось много других фактов. В какой-то момент появилась даже надежда. Новый Генеральный прокурор России Казанник, когда-то отдавший своё место в Верховном Совете СССР Ельцину, а после Кровавого Октября поставленный президентом-должником на пост блюстителя законности, публично заявил: “Допросив тысячу

военнослужащих, мы получили следующие доказательства: ...**события 4-го октября надо квалифицировать как преступление, совершённое на почве мести, способом, опасным для жизни многих, из низменных побуждений**".

Но прокурора-идеалиста через пять месяцев вынудили уйти, а на его место ельцинские кадры поставили сначала жулика, потом — угодливое подобострастие.

Глава шестая

С годами горечь тех чёрных дней немного ослабевала, однако совсем забыть их, а также поведение людей по обе стороны разделительной черты Савельев не мог. Тем более что каждое напоминание опять сдёргивало с рубцующейся раны утишающую боль повязку времени. Вот и сейчас, услышав в уютном ресторане слова Волкова о 93-м годе, он как будто снова прошёл и ад горящего парламента, и ревущую толпу, и милицейскую пыточную камеру.

— Ты говоришь: достоин виселицы? — раздумчиво проговорил Савельев, глядя куда-то мимо товарища. — Согласен с тобой. Это самое подходящее место, где должен висеть не портрет Ельцина, а он сам. Но я не могу и другого забыть. Народа нашего в те дни. Не всего народа... Пусть части его, но какой! Ты видел кадры, как стоящие на мосту рядом с танками люди реагировали на выстрелы по Белому дому? Молодые мужчины... С детьми на руках... Веселились... Некоторые даже аплодировали удачным попаданиям. А там в это время погибли их ровесники... Такие же русские люди... И это один и тот же народ... Наш народ... А посмотрел бы ты на лица тех, кто встречал нас при уходе из Белого дома. Готовы были разорвать.

— Таких, Витя, немного, — сказал Волков. — Они боялись потерять полученное от ельцинизма.

— Интересно, чево терял Карабас? — негромко проговорил Слепцов. — Он ведь тоже там был.

— Вон как! — воскликнул Савельев. — То-то мне показалось знакомым лицо! Я ведь видел вас, Павел, и его... как он: Сергей? всего один раз. И помнится, мы не поняли друг друга. Вы уже тогда стояли на другой стороне.

Услыхав слова Слепцова, Нестеренко заволновался. Посмотрел на Волкова:

— Чёрт, как хорошо, што ты не отвёз тогда меня в больницу к Карабасу. Верно угадал: шарили везде.

— Я после Белого дома долго не мог спокойно проходить мимо стадиона, который рядом, — сказал в волнении Савельев. — Знаете, иду — и сердце, кажется, лопнет. Дышать не могу. Душат слёзы... Это у меня-то слёзы! А душат... На заборных столбах стадиона... На каждом столбе чёрно-белые снимки убитых... Студент, 18 лет... Инженер, 28 лет... Школьница, 16 лет... И так десятки... сотни. Какие ж это боевики?! А их по приказу Ельцина расстреляли...

— Ельцин — враг народа, — тихо, но с убеждённой каменностью произнёс Слепцов. — Его люди, убивающие безоружных, озверели. А почему? Он снял с них ответственность за зверские дела. На себя взял. Это самая большая вина. Антихристовая. Власть захотел сохранить. Я тоже ходил мимо того стадиона. Каждый раз, когда глядел на фотографии, со слезами в душе, с криком немим просил Бога: "Господи! Не оставь ты зверей в двуногом обличии без своего праведного гнева! Накажи ты их невиданными карами! Их накажи! Ихних детей накажи! Штобы все знали — и они сами — эти убийцы, и дети их, штоб знали, как страдали безвинные люди, терзаемые ельцинскими зверями".

— Не Бога надо просить, — оборвал его Нестеренко. — Свою голову иметь. Бог-то Бог, да сам не будь плох. А у тебя то сова, то Бог... Если бы все нормально соображали, Ельцина давно бы не было. Смотри, што натворил, паскудник! Страна разорена, людей пустил по миру.

— Ну, глядя на вас, этого не скажешь, — остывая от внутренних страданий, проговорил Слепцов. — “Новые русские”.

Он нетрезво подёргал полу дорогого нестеренковского пиджака.

— Повезло вам.

— Везёт тем, кто везёт, — отбросил его руку Андрей. — Ты на нас не гляди. Мы — исключение из правил. Если не считать воровских олигархов, то таких, как мы, раз-два и обчёлся. Володю ученик нашёл. Много ума в них вкладывал. Я чуть ли провода не грыз... Царапался, чтоб вылезти из ямы. Витя — у него профессия прокормит. А вот миллионы пошли с котомками. И сейчас идут. Особенно после дефолта. Некоторые только из “мусорки” вылезли — Ельцин их — раз! и опять туда.

— А они до сих пор не понимают, от кого беда, — усмехнулся Волков. — Перед Новым годом встретил свою бывшую — не знаю, как сказать: директрису? завуча?

— Это которая хотела врагов царапать? — вспомнил Савельев Старую площадь.

— Она. Даже сначала подумал: ошибся.

В тот раз Волков опять был без машины с шофёром. Незадолго перед тем он вернулся из Франции и, чтобы снова почувствовать обычную московскую жизнь, проехал на работу, как делал иногда, на метро. Вышел из подземного перехода и, прежде чем двинуться в сторону своего офиса, который был дальше по улице, огляделся. Площадь у входа в метро, почти вкрутовую охваченная зданиями, напоминала какую-то огромную кастрюлю, где кипела, булькала и колыхалась людская каша. После августовского дефолта, когда разорилось много средних фирмочек и мелких предпринимателей, значительная часть выброшенных из экономического бульона людей, чтобы выжить после очередного ельцинского удара, перетекала в самую простую, примитивную торговлю. Возле станций метро, в подземных переходах, на тротуарах с раннего утра вырастали лёгкие лотки, открывались складные будочки, расставлялись длинные ряды дощатых ящичков. Всё это было заложено и завешено мужскими носками, женскими бюстгалтерами разных размеров: от крошечного блюда до астраханского арбуза, трусами, стиральными порошками, самой ходовой сантехники и множеством других товаров первоочередной необходимости, которые к ночи собирались, складывались и загружались в помятую иномарку или старые советские “жигули” и увозились до следующего утра.

Волков уже двинулся было к своему офису, арендуемому в новом современном здании, как вдруг услышал где-то в людской толчее призыв газетчицы:

— “Спид-инфо”! Газета “Спид-инфо”! Покупайте, молодой человек! Это газета для вас!

Владимир остановился. Подумал, что ошибается. Голос был похож на овцовский, но в то же время заметно отличался. Вместо жёстких интонаций в нём слышалась усталая хрипотца и какая-то придушенность. Волков пошёл на голос и вскоре увидел газетчицу. Это была Нина Захаровна. Одета в толстый, немодный пуховик, в тёплые штаны, заправленные в сапоги, Овцова держала на левой согнутой руке пачку газет. На этой же руке висела большая и, похоже, тяжёлая сумка. Женщина опасалась ставить её на грязный, в окурках и плевках, асфальт и время от времени поддерживала сумку правой рукой.

Волков не хотел подходить. Он понимал, какая это будет неприятная для Нины Захаровны встреча. Однако газетчица тоже увидела его и криво усмехнулась. Владимир подошёл, поздоровался.

— Откуда вы такой нарядный? — сумрачно спросила она. — Прямо как “новый русский”.

— Из Парижа.

— Из Парижа? — не поверила Овцова.

— Ну, да! Вы ведь мне предсказывали... Быть в Париже... Как всем противникам революции, работать дворником.

— И вы им работаете? — с сарказмом оглядела дорогую одежду Волкова Нина Захаровна.

- Нет. Я работаю вице-президентом французско-российской компании.
- Ну вот, благодарите нас. Мы вам такую жизнь устроили.
- А другим? — сурово спросил Волков. — Десяткам миллионов?

Окинул взглядом поношенную шапку, старые захватанные очки, обветренное лицо, на котором, как маленькие раскаляющиеся конфорки электрической плиты, начали проступать красные пятна.

— Себе вы тоже такую жизнь хотели?

— Я, как миллионы других, получила свободу. Вам этого не понять, што это такое, когда нет никакого насилия, когда человек свободен и может делать всё, што захочет.

Волков не стал продолжать бесполезный для него разговор. Отходя, он снова услышал громкие, с хрипотцой призывы:

— “Спид-инфо”! Покупайте газету “Спид-инфо”! А вам, молодой человек, рекомендую взять и пачку вот этих... да, гофрированные... А хотите — с усиками...

Владимир ещё не успел отойти далеко, как вдруг услышал неожиданно изменившийся голос Овцовой:

— Ну, почему, сержант? Чево плохого я делаю? Если хотите, можете...

— Не положено! — перебил плаксивые причитания мужской бари-тон. — Ты долго ещё будешь собираться? А ну-ка, проваливай, тётка!

— Я потом позвонил в школу, — сказал Волков заинтересованно глядящим на него товарищам. — Узнал... Нина Захаровна работала на какой-то частной кондитерской фабрике. Дефолт их разорил. Овцова сразу пошла в отдел образования. Всё-таки была директором... видная активистка. Места не нашлось. Посоветовали попроситься в нашу же школу. Она пришла к Надежде Аркадьевне — это одна из фурий Овцовой. В директора её рекомендовала Нина Захаровна. Но та отказалась взять свою бывшую благодетельницу хотя бы учителем химии.

— Говорю ж тебе: волчьи нравы, — заметил Нестеренко. — Даже зайцы становятся волками.

— А вы на охоту ездите? — спросил Слепцов.

— Бывает, — сказал Волков. — Игорь Фетисов помер, ездим втроём.

— Не дождался Игорь Николаич карабановского рая, — усмехнулся Нестеренко. — Спросить бы сейчас с этого предсказателя, да он сам в дерьме. — А я оставил охоту. Ружья пришлось продать — оба... жить было не на што. Но я был всё равно ушёл от этого. Больше не подниму оружия. Даже на зверя. Хватит убивать. Ельцин... Чечня... Красные... Белые... Пусть Бог разбирается, кто прав, кто виноват. Человеку не дано... И на митинги не хожу... На демонстрации... Вы вот говорили про выборы... А мне они теперь совсем безразличны. Аня пошла, а я остался.

— Во, блин! — вскинул чёрные бровицы Нестеренко. — Только што сказал про Ельцина: враг народа, — правильно сказал, а теперь: не подниму ружья. Бог он, Пашка, неизвестно, когда накажет. Да и будет ли возиться? Церковь наша слишком уж добрая. Прямо по Ленину. Только тот звал учиться, а эта: молиться, молиться и ещё раз молиться... Дубину надо взять, врезать падле по башке за то, што невинных, как ты говоришь, убивал, а потом за него, грешного, помолиться.

— Бороться, Паша, за нормальную жизнь, достойную человека жизнь, надо на земле, — сказал Волков. — Каждый может это делать в меру своих сил и, конечно, разумения. Я, например, больше признаю политические методы борьбы. Поэтому поддерживаю кое-кого деньгами. Витя борется — идеи распространяет. Хотя сейчас на телевидение с такими идеями, где народные интересы присутствуют, не допускают... Там с утра до ночи из людей животных делают...

— А это тоже идеи, — вставил Савельев. — Давние идеи наших врагов. Старшее поколение оплевать, заставить детей презирать отцов, а из детей вырастить безмысленную траву. Надо сказать, многое им удалось. Поэтому ведут себя, как оккупанты. Прошлой осенью, когда исполнилось пять лет

Октябрьскому расстрелу, я встретил одну перепечатку. Из “Огонька” 93-го года. Статью Новодворской...

— Ф-ф-у, — с отвращением поморщился Нестеренко. — Мерзость...

— Да. Я взял ту статью... Хочу сделать работу... Её смысл: опора сегодняшней власти.

Савельев нагнулся, поднял стоящий возле его стула портфель.

— Вот послушайте, што написала после расстрела Белого дома Новодворская: “Мне наплевать на общественное мнение. Рискуя прослыть сыромядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день — 5 октября, когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И “Белый дом” для нас навеки — боевой трофеей. 9 мая — история дедов и отцов, чужая история”.

Виктор проглотил комок в горле, выпил минеральной воды. “Я желала тем, кто собрался в “Белом доме”, одного — смерти. Я жалела и жалею о том, что кто-то из “Белого дома” ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь...”

Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда можем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.

Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки, от руки интеллигентов. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть.

Мы вырвали у них страну. Не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших командос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами... Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение”.

Савельев закрыл папку, положил в портфель. Все сидели потрясённые. Наконец, Волков провёл руками по лицу, словно стирая с него что-то.

— А ведь это уголовное дело, — проговорил он. — Призыв к массовым убийствам и оправдание их.

— О чём ты говоришь? — воскликнул Савельев. — Кто судить-то будет? Свои? Ворон ворону глаз не выклюет.

— Это не человек, мужики, — трудно выговорил Нестеренко. Он вспомнил многотысячную колонну безоружных демонстрантов на Садовом кольце, смертельные трассирующие “светляки” из телецентра, грохот пулемёта БТРа по толпе женщин и детей возле Останкина. — Так не может думать человек... Тем более — говорить... Я сейчас же поручу найти её портрет...

— Разве можно, Паша, не бороться с этими нелюдьми, с их идеологией, с их властью? — обратился Волков к Слепцову. — У каждого свой метод борьбы. Сегодняшней борьбы. На земле... Андрей, тот вообще придумал невероятный способ. Наш Вольт борется унитазами. И у него неплохо получается.

Слепцов в недоумении оглядел по очереди каждого:

— Да ладно вам. Какие ещё унитазаы?

— С портретами, — сказал Нестеренко, — наливая в фужер апельсиновый сок. — Когда вы с Карабасом помогли развалить страну, я слово дал. Теперь выполняю обещание. Могу и тебе подарить... штобы помнил: в чьей компании оказался.

* * *

Андрей Нестеренко, действительно, слово сдержал. Но получилось не сразу. Пока он выбирался из безденежной трясины, было не до реализации замысла. Однако он о нём не забывал. Нашёл книги по изготовлению фаянса. На одном из кабельных заводов увидел помещение, где арендаторы начали выпуск керамической посуды, фотографий для могильных памятников и декорированных настенных тарелок. Продукция эта Андрея не заинтересовала, а вот о технологии производства он расспрашивал каждый свой приезд за кабелями.

Когда стал понемногу денежно “оперяться”, завёл разговор с директором своего завода. Тому нужны были хоть какие-нибудь деньги, и он разрешил в том же нестеренковском цехе поставить муфельную печь. Электричество Андрей пообещал оплачивать сам. Вдобавок, заводу — арендная плата.

Первые унитазы Нестеренко делал лично. В помощники взял безработного бригадира слесарей Анкудинова. Вдвоём смешивали глину, каолин и кварцевый песок. Сырую массу процеживали через сито. Вручную долго мяли. Некоторого оборудования ещё не хватало — не было денег, чтобы купить. Поэтому компенсировали энтузиазмом.

Андрей узнал, как серое сырое изделие сделать ещё до обжига белым. Для этого будущий унитаз надо покрыть тонким слоем ангоба — жидкой белой глины. Затем должна начинаться работа художника — на влажной поверхности создаётся изображение того, что увидят люди после нанесения прозрачной свинцовой глазури и обжига в муфельной печи.

Художника у Нестеренко не было, и они с Анкудиновым по очереди пробовали себя в непривычном деле. Первый портрет Горбачёва, который переносили на унитаз, глядя на фотографию “пятнистого”, оказался таким уродливым, что оба долго не могли отсмеяться. Этот унитаз Нестеренко взял себе, как память о начале нового дела.

Для росписи следующих изделий Андрей позвал художника, которого ему рекомендовал один из знакомых. Много заплатить не мог — расплатился унитазом. Художник продал его и получил хорошие деньги. Трое первопроходцев поняли, что это может стать хорошим бизнесом.

Однако Нестеренко помнил предупреждение Савельева: продавать нельзя, могут подать в суд за оскорбление личности. И он стал дарить. Знакомым. Знакомым знакомых. При этом всем объяснял: это подарок. Но люди понимали цену такому подарку и, в свою очередь, начали дарить обществу с ограниченной ответственностью “Очищение” различные суммы денег, как пожертвования меценатов. Производство фаянсовых изделий разрасталось. Андрей купил необходимое современное оборудование, расширил штат, приняв на работу людей из бывшего сборочного цеха. Унитазы шли нарасхват. В каждом блистало какое-то конкретное лицо. Сначала спросом пользовались изделия с портретом Горбачёва и “Беловежской троицы”. Все в цветном изображении, похожие, словно живые. Горбачёв глядел прямо на посетителя туалета. Ельцина, Кравчука и Шушкевича художник изображал барельефно, как когда-то рисовали Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Чтобы не обижать женщин, в унитазе размещались два портрета: на задней и передней стенке.

Потом интересы сдвинулись. После начала российского разрушения подскочил спрос на Ельцина, Гайдара, Чубайса, Черномырдина. При этом Горбачёв в сортирном рейтинге по-прежнему занимал почётные первые места.

Но настоящую революцию в унитазном бизнесе совершил новый молодой технолог “Очищения” Борис Механик. Он придумал то, чего никому не удавалось сделать в фаянсовом производстве за все века его существования. Андрей и сам не знал, как это получалось у Механика, однако фантастический результат потрясал. При попадании струи мочи на лицо изображённого “героя” лицо это начинало морщиться, хмуриться, брезгливо кривиться, словно было живым и испытывало мучительные страдания.

Так как фирма, кроме серийных изделий, выполняла индивидуальные заказы, портретный ряд мог быть расширен за счёт новых “героев” своего времени.

После внедрения ноу-хау Механика спрос на продукцию фирмы “Очищение” стал расти ещё быстрее. Теперь уже половину бывшего сборочного цеха, откуда когда-то выходили способные защитить страну зенитные ракетные комплексы, занимало производство унитазов с портретами тех, кто эту защиту разрушил. Поскольку изделия можно было не продавать, а только дарить, за ними на завод приезжали со всей страны. Кое-кто просил нарисовать сразу нескольких “личностей”.

О том, что частное стало переходить в общественное, Нестеренко догадался, когда поступил первый заказ на писсуар. В квартире, даже с двумя

туалетами, вряд ли кто будет ставить эту сантехническую штукювину. Значит, Лица пошли в массы. К тому же писсуары оказались гораздо лучше унитазов приспособлены для крупных, красочных портретов. Начало положила, как всегда, Москва. Здесь изделиями “Очищения” оснастили двадцать общественных туалетов. Однако традиционно ревнивый Петербург взял реванш в другом. Он установил портретную галерею разрушителей в тридцати туалетах.

Власти не сразу поняли, что их подставили. Ведь народ бил струями мочи в таких же, как они. Начался демонтаж унитазов и писсуаров. Но победа давалась с трудом. Днём сантехники изделия демонтировали, а следующим утром лица разрушителей опять ждали необычной расправы. У большинства туалетов вырастали очереди, как перед входом в самый популярный музей. Особый восторг вызывали конвульсии и гримасы обливаемых физиономий. Тем более, что к портретам главных разрушителей страны добавились изображения главных разграбителей России — олигархов и их пособников. Из общественных туалетов до стоящих в очереди то и дело доносился рёв удовлетворения. Это народ мстил тем, кого не мог наказать заблокированным правосудием.

Нестеренко был доволен. Он мобилизовал людей на критическое отношение к существующей власти не хуже, чем его товарищи своими партиями, митингами, газетами. И это сейчас лишний раз подтвердил Владимир Волков. Но Пашка, Пашка! Неужели они были когда-то близкими людьми, полностью понимали друг друга?

— Ты опять, Слепцов, не на той стороне, — проговорил Андрей. — Не посредине ты — между ими и нами, хотя тоже ничего хорошего: как дерьмо в проруби, а на ихней стороне. С теми, кто эту паскудную жизнь устроил. Чем больше таких, как ты — отстранённых, безразличных, тем лучше им. Безопасней творить свои дела. Значит, ты с ними. А против кого? Против тех, с котомками. Против своего отца, которого они убили. Да против себя ты!

Павел слушал бровастого соседа сначала без всяких чувств. Рассеянно помешивал ложечкой принесённый официантом кофе, мысленно готовился к скорому уходу из этой уютной обстановки в промозглый, сырой переход с текущей мимо него рекой озабоченных лиц. И вдруг представил отвратительно жирную Новодворскую, идущую мимо ограды стадиона, оклеенной портретами убитых юношей... таких, как его сын... торжествующую при виде этих вырванных из жизни детей, представил её довольных соратников и вспомнил слова Карабанова у газетного киоска. “Для кого мы ломали ту жизнь? Для них?” Поднял голову. Из провалов глазниц на товарищевой блеснул острый, как когда-то, взгляд. “Купили нас, дураков. Но, может, не до конца?” Волков понял его. Подумал: не страшно упасть. Страшно не захотеть вставать.

— Ты свою специальность-то не забыл? Не растерял в демократической дороге советскую науку? У меня освобождается место экономиста.

Нестеренко и Савельев с удивлением поглядели на товарища.

— Ладно, ладно вам. За битых двух небитых дают. А впереди ещё долгая борьба. Фирма “Очищение” не скоро останется без портретов.

ЮРИЙ УБОГИЙ

ОВРАГ

Редчайшее было событие, в одночасье изменившее жизнь огромной страны и всех в ней людей поголовно. Чем-то открытие памятника напоминало: сдёрнули покров и увидели ошалелого, с вывернутыми карманами человека.

Вот и мы зашли с сыном утром первого января 92-го года в ближайший большой магазин, новые просмотрели ценники, прошлись вдоль витрин, переглянулись, а потом и смеяться стали. Странная реакция, но, поозиравшись, поняли, что мы отнюдь не одиноки. Так откуда ж она? А от той простоты, с которой всех нас, весь народ то есть, оставили вдруг в дураках. Преду-преждали, конечно, о грядущем отпуске и росте цен, но не в десять же раз! Ну, что тут было делать? Конечно, посмеяться над собственной глупой доверчивостью. Хорошая на первый момент реакция. И еще оживление некоторое среди людей в магазине было заметно от резкой перемены к худшему. Пусть хуже, но зато по-другому. Обновление!

А ночью, куря сигарету, поймал себя на том, что дым подольше в груди задерживаю. И опять засмеялся — предел экономии, как будто это не табак, а травка какая-нибудь дорогая. Много потом эпизодов похожих случилось, и хорошо, что сначала посмеяться духу хватало, ну а потом, глядишь, и помрачнеть.

Шел в ту же пору по рынку и услышал: “Дед, махорки купи!” Впервые меня вот так, со стороны, дедом назвали. Продавал мужичок махорку не пачками, а стаканами из мешка, как бывало в детстве на поселковом нашем базарчике. И именно от этого на душе потеплело как-то. А потом вспомнился Василий Васильевич Розанов, который, живя в Сергиевом Посаде в 18-м году прошлого века и будучи страстным курильщиком, окурки у чайных и пивных собирал. И это тоже странно согрело. Типичная наша картина — как только очередной “обвал” социально-экономический, так перво-наперво с солью и куревом зарез. До сбора окурков у меня, правда, не дошло, но недокуренную сигарету несколько лет обратно в пачку засовывал. И в этом тоже была некая теплота из детства, собирали мы тогда окурки папирос и различали с первого взгляда, до мундштука бумажного докурено или еще с табачным остатком. Остаток бывал изредка большой, в половину, и назывался такой окурочек “богатым”.

* * *

Ранней весной того же года ехали с сыном на лыжах и увидели, что на дне нашего, близкого к дому, оврага колья, вешки, стало быть, расставлены-вбиты. Участок, значит, кто-то застолбил. Обсудили, опять посмеялись: “Клон-

дайк”-де, золотоискательство напоминает, а потом и посерьезнели, и помрачнели. Решили, что надо и себе участок застолбить, и сделали это вскорости. Странно было в землю, снегом покрытую, колья вколачивать. До хлопка в спине: к гладу и мору готовимся, что ли?

* * *

Недели через две иду в ранних сумерках по почти бесснежной уже земле и слышу сильные, эхо в овраге дающие, удары железа по железу. Пошел на звук и увидел мужика, стоящего на торце железной бочки и трубу железную в землю вбивающего. Ограду, выходит, вокруг своего застолбленного участка человек начал строить. И так это меня вдруг достало! Крайняя какая-то ощутилась в этом нужда, пепелищам и землянкам войны и первого послевоенья близкая. И сближение такое с временем раннего детства уже не согрело, а древний какой-то вызвало ужас.

* * *

Время и раньше было не из легких, а теперь наступило и совсем уж тяжкое, вот именно, что “овражное”. Руками своими, давно отнюдь не мозолистыми, надо было картошку свою насущную добывать, понимая ее как последнюю самую линию обороны. Тогда и пришлось на свою семью-команду посмотреть, насколько она боеспособна и как может показать себя в наступившей заварухе. Матушке моей к началу наших овражных работ было за семьдесят, и участвовать в них она никак уж не могла по возрасту и плохому очень зрению. Опыт же огородных работ имела громадный, почти всю, в сущности, жизнь. Живя с ней вдвоем, имели мы половину небольшого дома и двадцать соток земли. Работала она фармацевтом, и эта огородная добавка была ей трудна. Я помогал, конечно, по мере сил – картошку полон и окучивал, воду для полива носил из колонки метров за пятьсот. Ну и посадка-уборка само собой. Тяжелое это дело – большие огороды иметь. Так, помню, и говорили буквально: “Вот пойдут огороды, света белого не увидишь”. И как же она потом, у нас живя, тосковала по этой огородной каторге! Стоит, смотрит, как мы работаем, и, чувствую, плачет без слез. И если удавалось хоть что-нибудь сделать – счастлива была. Как-то сажали мы с ней рябину под окнами, и она вся сияла, потому что саженцы при закапывании поддерживать могла.

Успели мы сводить ее и в овраг, на наш участок. Долгое было шествие с ее возможностями и местностью, весьма пересеченной. И печальное, для нее, конечно. Жили-жили, работали-работали и вот в овраг какой-то идем, в котором надеемся подкормиться...

О происходящем в стране она меня почти не спрашивала. Мудрая была, догадывалась, что я ей немного объяснить смогу. Радио, однако, в своей комнате слушала постоянно. Как-то спросила: “Что ж, и Ленин теперь плохой?” – “Говорят, что так...” – “А что же дальше будет?” – “Будем надеяться, что лучше”. Вздохнула: “Пока солнце взойдет, роса очи выест...”

Жена Ирина работала психиатром в больнице, рядом с которой мы и жили. Острое отделение, все сложно, ответственно, напряженно. Особенно в “новые” времена трудно стало, наплыв больных увеличился резко. Раньше-то многие из них сторонились больницы, а теперь стали воспринимать ее, как некий островок спасения в опасном, обезумевшем прямо-таки мире. Казалось, местами поменялись психиатрическая больница и обычная, повседневная жизнь.

Работник Ирина поразительный, про таких именно говорят – в руках все горит. И умела она все огородные дела делать уж если не лучше, то во всяком случае быстрее нас всех.

Андрей, сын, работал хирургом в больнице “Скорой помощи”. Там тоже, конечно, работы резко прибавилось, а обеспечение лекарствами и всем остальным резко упало. Медсанбат, а не больница, так говорил. И с работы, особенно с дежурств суточных, возвращался чуть живой, с лицом серым, взглядом замученным.

А землю любил, с детства был у него на нашем огороде собственный маленький участок, и что-то он там растил самостоятельно. Теперь же главная тяжесть огородной работы на него и легла, все, что наибольшего мускульного усилия требует. Рюкзаки, например, едва подъемные, которыми картошку из оврага домой носили осенью.

Очень хорошо бывало вдвоем с ним какую-нибудь работу общую делать. Помню, привезли весной “КамАЗ” навоза, для ближайшего, у самого дома, участка, вот мы и перетаскивали его на носилках по густой, по щиколотку, грязи, разговаривая при этом о самом, что называется, “высоком”, метафизическом. И так хорошо, естественно как-то совпадал разговор этот и навоз. В одном они были рядом, только на разных концах.

Жена Андрея Елена учительствовала в школе. Тоже дело из самых трудных, особенно в то смутное, дикое время. И на земле, конечно, работала, если возможность и силы находились.

Внук Дмитрий пережил в овраге первое, по-моему, увлечение: девочкой с соседнего, через ручей, участка. Он за ней все бегал, а она от него все убегала со смехом. Классическая картина, хоть в пять лет, хоть в двадцать пять. Но ведь и работал он тоже, жуков колорадских собирал, называя это: “Ловить мерзавцев...”

У меня работа была легкая – редактором в издательстве “Золотая аллея”, да еще и с графиком рабочим свободным, почти надомная. Вот я, компенсируя хоть как-то эту легкость, побольше времени в овраге и проводил. Чудесно было одиноко поработать до заливающего глаза пота, а потом перекурить, сидя на берегу ручья. И писалось мне в ту пору, как никогда раньше – легко и свободно. Самые светлые вещи в те тяжкие, мрачные времена были написаны, словно бы наперекор, в противовес...

В пору овражных работ появился у нас и новый член большой нашей семьи – внучка Дарья. Трудней, конечно, стало, но ведь и легче! Помогала она, кроха эта, чудесным каким-то образом тягомотину всякую-разную переносить. В буквальном смысле помогала, самим своим существованием. Посмотришь на нее, на руках подержишь, и станет тебе пободрей и полегче.

Вот такая у нас была овражная команда. И отношения в ней, команде-семье, были тогда лучше, чем когда-либо раньше.

* * *

Удивительное совпадение: в начале наших овражных работ посетили нас два моих старых друга, люди очень разные и очень похожие в одном – в рожденном аскетизме природы и образа жизни. Жизнь наступила совсем уж скудная, и они, друзья, как бы говорили мне: вот и хорошо, вот именно так жить и надо.

Один из них, Всеволод Катагощин, философом был, не по образованию, а по складу личности и ума. Лет тридцать мы с ним дружили и беседы философически-метафизические вели, каждый раз подолгу, по несколько часов кряду. И все хотелось поглубже, еще поглубже уйти, как хочется еще рюмку выпить, хотя пили всегда один лишь чай. И предел хмеля этого метафизического в конце концов обозначался – все, дальше некуда, хватит. Даже чувство, похожее на похмелье, бывало, когда беседа заканчивалась, неприязнь к подобным разговорам возникала и нежелание впредь их вести. Но проходило небольшое время, и вновь к ним тянуло, как пьяницу к вину. Что же за хмель это был, да и теперь бывает, хоть и гораздо реже? Пожалуй, хмель свободы умственно-духовной, когда можно идти, куда только хочешь – дальше, глубже, выше...

Любопытно, что объективная оценка этой “глубины” и “высоты”, если бы она была возможна, существенного значения для меня бы и не имела. Главным и притягательным было субъективное ощущение свободного погружения в сущность вещей и явлений. Профессиональный философ оценил бы такое, возможно, как праздную болтовню, да и скорей всего. Эта мысль, кстати, мне и приходила, особенно с “похмелья” разговорного, и я был доволен, когда статьи моего друга появились в “Новом журнале” и в “Вестнике русского христианского движения”. Последняя его публикация, к великому сожалению, посмертная – “Проблема существования зла”.

Хорош был мой друг в своей рванине нищенской, настоящий философ-бродяга. Хотя, при всей бедности архивного работника, мог бы и вполне обычно одеваться, но такой уж у него стиль был, нравилось, наверное, нищим бродягой себя чувствовать. И быт в одинокой жизни был у него такой же. Хлеб-чернушка, похлебка чечевичная, капуста морская да чай. Квартира выглядела тоже вполне по-нищенски, не считая обилия книг. Похоже, судя по воспоминаниям современников, Николай Федоров, аскет-философ известный, жил. Такой образ жизни не только приобретенным, но и врожденным, вероятно, бывает, доставляя человеку некое особенное удовлетворение. Прочитал где-то, как жили вдвоем монахи-аскеты, расстались и потом один написал другому: “Помнишь, как мы наслаждались аскезой?” Рассказал об этом своему второму другу — писателю Владимиру Богатыреву, и он кивнул спокойно и согласно, потому что сам жизнью аскета жил, пришлось это понаблюдать. И радость, и удовлетворение от этого получал и получает. Минимальные потребности минимальную зависимость от мира иметь позволяют, свободу, насколько она вообще возможна. А большие потребности и большую зависимость налагают, прикованность к комфорту покупному. Заботу, неволю. Ту самую “золотую клетку”.

Писатель и по виду внешнему, и по образу жизни очень философа напоминал. И беседовать с ним было не менее интересно, но совсем иначе. Был он (да и есть, жив, слава Богу) немногословен и в немногословности своей очень емок и глубок. Скажет две-три фразы, и запомнишь их надолго. И очень конкретен, как чистый, истинный художник. Тут уж никакого метафизического “полета” не было и в помине, а лишь конкретность и образность. Спросил как-то его о здоровье и услышал в ответ: “Чем дальше, тем лучше. Как валун замшелый”. Гуляли с ним недалеко от нашего дома весной памятного 92-го, он посмотрел на наш овраг с участком застолбленным и сказал: “Ничего, выживем на неудобьях”. Угадал, на них мы тогда и выживали.

Правда, два исключения он в своем стиле жизни все-таки сделал. Одно — сортир во дворе своего дома в Орловской деревне Каменке, капитальнейший, чистейший: второе — письменный стол в квартире в Долгопрудном под Москвой, антикварный красавец, очень дорогой. Два таких просвета, отдушины в нищете и аскезе.

Во время его гощения у меня в Калуге гуляли по городу и он, завидев церковный купол, останавливался непременно, снимал шапку, крестился широко, размахисто и кланялся, заставляя прохожих недоуменно сторониться. На другой прогулке, за городом, присел вдруг на обочине перед какой-то железкой, начал ковыряться в ней. Оказалось, штучку какую-то блестящую отламывал, чтобы икону свою домашнюю приукрасить. Видел потом у него эту икону, всю окруженную стекляшками цветными, бусинками, фольгой... И с удивлением вдруг почувствовал, что это не смешно, не нелепо, а очень как раз хорошо. Вот прямо из-под ног, из жизни окружающей что-то подходящее найти и самое для тебя дорогое приукрасить. Спросил его однажды, как одинокую жизнь переносит? Ответил, не задумываясь: “С тех пор, как верю, не бываю один”. Вот признак веры истинной и дар ее великий... Или такое о нем: присел на краю горохового поля и ел созревший горох очень долго, а потом заявил: “Все, пообедал. Люблю подножный корм”. Нечто тут от жизни отцов-пустынников древних христианских есть, питавшихся акридами и диким медом. Прочитал где-то в его прозе рассуждение о склонности употреблять что-нибудь попроще. Именно о том, что если б у него был выбор между зубным порошком и пастой, то он выбрал бы порошок по причине именно простоты. Казалось бы, какие пустяки все это, но тут ведь и громадная, важнейшая, принципиальная развилка для всего человечества: или употреблять безудержно, или самоограничиваться. Первое опасно, а то и погубительно, второе благотворно-спасительно.

А прозаик он первоклассный, дебютировавший совсем молодым циклом очерков о родной своей Каменке в “Новом мире” Твардовского.

* * *

В овраге, с делами своими земледельческими, провели мы шесть лет. Чудесное было место — лужок у самого ручья в долинке такой уютной с крутыми, матерыми берегами. А сверху небо — все то же и все разное в разную

пору и погоду. Одну весну и начало лета рядом с нашим огородом даже утка дикая гнездилась, и утят вырастила, и улетела с ними в конце концов. И журавли каждый год летели и летели то на север, то на юг, огромными иногда треугольниками, вызывая в зависимости от направления то радость, то грусть. Мелких же птиц, трясогузок особенно, было великое множество, а однажды пролет гусей увидеть пришлось, таких мощно-неторопливых, темно-серых, огромных в низком своем полете. Царственный был у них и вид и полет. И слова Бориса Шергина вспомнились, которые он часто говаривал: “А дни, как гуси, пролетали”. Даже ондатру видел как-то в апреле, плыла к верховью ручья. Не было бы у нас многолетней овражной работы, то ни этого, ни многого другого не увидел бы и не узнал. . .

* * *

С древности и по наши дни существует понятие “гений места”. Некий дух, покровитель, хозяин тайный какой-то определенной местности, связывающий человека, душу его с местом обитания. Вот и у нашего околотка такой “гений” для меня есть, чувствуется – наш овраг. И еще точнее, излучина ручья в овраге с омутком и перекатом каменистым, с берегом крутым, почти обрывистым, с лужком аккуратным, ровным напротив. Даже камень большой, обтесанный вблизи лежит, в землю вросший, с вырубленной на нем неразборчивой, полустертой временем надписью.

Когда иду по этому месту по тропинке торной, то теплеет на душе. Энергетика особенная, подогрев некий, приятно бодрящий, из глубины земли словно бы идет. И красиво очень, сын в детстве много времени здесь проводил и один, и со мной, и с приятелями. Вон там, за ручьем, в кустах густых, штаб у них был, тайник, захоронка, как оно в такие годы и полагается. Вот у этого омутка он подолгу сиживал, водяных насекомых наблюдал, а то и ловил и приносил потом в дом. А на этом обрывчике песчаном ос выслеживал. Целый небольшой период в жизни был у него такой энтомологический, и я заодно кое-что в этом смысле почитывал и кое на что поглядывал. Отсюда, от детства сына идет, конечно, часть теплоты этого места овражного. А еще и история греет – именно сюда, в лесок за оврагом, Наполеон из Москвы шел к продовольственным нашим складам главным, там расположенным. Шел, да не дошел, не пустили. В сущности, в овраг наш не пустили, к гению места нашего.

Именно здесь, на обрывчике над ручьем, возвращаясь с Оки на велосипедах, остановились мы с внуком Дмитрием посидеть-отдохнуть. На четвертом курсе Смоленского мединститута он, кажется, был. Сидели, переговариваясь неспешно, и вдруг слышу: “Я хочу, как вы с папой, жить”. Проняло это меня, дорогого стоит такое признание.

А километрах в трех от этого места кладбище, где матушка лежит и мне лежать, конечно. Ну, там другой “гений”, деревня Тиньково о нескольких дворах, где главная святыня земли Калужской была обретена: икона Пресвятой Богородицы. Богородица написана с библией в руках, единственное такое ее изображение.

Думаю, что гений места у каждой местности, а значит, у каждого человека есть, если даже он о существовании этих гениев никогда ничего и не знал и не знает. Просто чувствуется – вот место легкое, милое, тянет сюда придти и быть подольше.

Если уж про “гения места” написал, то надо и дом наш помянуть, неподалеку стоящий: кирпичная восьмиквартирная двухэтажка, расположенная совершенно чудесно: с одной стороны город, подошедший уже вплотную, с другой овраг с ручьем, лесок, пруд, поле. И дальше лес и поле, поле и лес на многие километры. Сколько здесь живу, столько и судьбу благодарю за место такое прекрасное. У самого дома цветы, сирень, шиповник, жасмин, матерые березы, клены, липы, рябины, груши дикие, цветущие вот именно что с дикой, ошеломляющей прямо-таки силой. Да и плоды дающие в диком каком-то количестве. Виды из окон дома один другого лучше, особенно со второго этажа, где, прямо над нашей с женой квартирой, сын с семьей живет.

Не раз в центре города смотрел с грустью на ждущие сноса старинные дома. Тоже двухэтажные, толстостенные, с дырами дверей и окон. Заглянешь – господи, какое все маленькое внутри, комнатки, комнатки крохотные. Пото-

му, наверное, что пустые, убитые уже. А какая жизнь радостная и мучительная шла, бурлила, кипела годы многие, столетия даже в этих комнатках, коридорчиках, уголках! Шла да вся и вышла, только стены помнят ее, да и они вот-вот исчезнут...

Наш дом стоит на земле полсотни лет, а мы живем в нем больше сорока. Часто, возвращаясь поздним вечером из Москвы домой, видел я, наконец, его горящие огни на фоне темного или звездного неба и думал-чувствовал с облегчением, что наконец-то из пустыни громадного города к людям, к жизни человеческого вышел. К дому своему!

В городе Тарусе есть художник, который много лет пишет картины с одним и тем же названием: "Домик, в котором ждут". Вариантов тут множество, чем он и пользуется. Картины маленькие, в ладонь, и покупают их очень охотно. Это можно было бы и заранее угадать – всем хочется иметь домик, в котором ждут, хотя бы на картинке. Уютный такой, с оконцами светящимися... А мне такую картинку и купить нужды не было, меня всегда ждали и ждут – и дом, и родные в нем люди.

Дом был хорош и, главное, мил мне и снаружи и изнутри – моя крепость, моя хижина, моя берлога. За многие годы совместной жизни мы словно пропитались взаимно: он мной, а я им. И оторвать нас друг от друга было бы, как по живому резать. Два дома, в сущности, и было у меня в жизни – первый, детский и юношеский, в Тиму, в поселке районном на Курщине, и вот этот, точно уж последний, на окраине Калуги. Между ними многократно и очень по-разному было просто жилье, крыша над головой...

* * *

Пять соток целины поднять нелегко и времени на это уходит довольно много. Копали чаще всего вдвоем с Андреем. Неторопливо копали и так же, в лад работе, неторопливо разговаривали. Чудесно разговор при такой работе идет, словно под неким хмельком равномерного мускульного усилия. И откровенность, и задушевность бывает тогда совсем особенная, чистая, легкая.

Разговор часто в сторону воспоминаний уходит – и общих и у каждого отдельных. И в сторону родичей, близких и дальних. К предкам, в общем-то, поближе. Земля, наверное, которая была перед глазами и перед лопатой, к этому склоняла, в одном они были рядом – род, родина, земля родная... Недавно, кстати. Андрей по интернету вышел на Центр генеалогических исследований и нашел там в ревизских сказках за 1756 год пять носителей редчайшей нашей фамилии, казаков разных куреней (полков то есть). Все из Войска Запорожского, переселенного потом Екатериной Второй на Кубань, откуда и отец мой, и дед, и прадед. Глубокий какой корень нашелся – 250 лет! И так это меня порадовало, будто я награду некую вдруг получил...

Было в нашем овраге и кое-что, напоминавшее мне крохотную курскую деревушку Красный Камыш, в которой мы с матушкой провели всю войну. Ручей, очень похожий на речонку Тим, у которой мы жили, близкий, рукой подать, горизонт там и здесь, небо низкое, как крыша над головой. Потому, может, он и вспоминался мне часто, тот мой Камыш, когда я в нашем овраге одиноко работал. Самые давние это были воспоминания, самые первые.

Копаясь, режешь лопатой луговину, густо, плотно затравленную, с сочным, влажным хрустом, словно по живому режешь. Да оно и есть по живому, как же еще? Зелень молоденькой травки в черноту вывернутой наизнанку земли превращаешь. А вот и ручей совсем рядом, можно остановиться, выпрямиться, спину размять, вздохнуть глубоко, постоять... И вдруг почувствовать, что тебя далеко-далеко, в рай какой-то перенесли: кочки в прозрачной воде, шелковистость травы под босыми ногами, солнце, спящее не только сверху, но и снизу, одиночество, но не тревожное, а спокойное, надежное. Словно ты и один, но и под присмотром чьим-то. Не материнским, не людским вообще, а иным совсем. Ты и растворен в окружающем, но и отделен от него, одновременно как-то... Может, это первым шевелением Бога в душе было, думаю я, очнувшись? Лишь в чувстве, без понимания всякого, без слов...

Продолжаю копать и слышу треск мотора, резкий, напряженный, злой даже какой-то. А это мотоплуг неподалеку запустили, и мужик-сосед идет за

ним, пошатываясь, делянку свою, очень большую, распахивает третий уже день. И опять в Камыш уход: трактор колесный на дороге, гул его мотора, кольца синего дымка над трубой. Вот надвинулся вплотную, подавив меня и все окружающее грохотом, колесами громадными, зубастыми, протыкающими дорогу, вонью удушливой. Хочется убежать, но стыдно. И утешает-успокаивает, что человек живой на этом чудище сидит, весь черный, масляно-блестящий, с лицом тоже черным, но улыбающимся. Натик, говорили тогда, Натик! Такое, значит, имя было ему, трактору, на человеческое похожее, свойское: Толик, Валик...

Самое сладкое в работе – покурить на берегу ручья, глядя на воду, на водоросли, как зеленые волосы под ветром, на водомерок, танцующих в заводи вечный свой вальс. Чиркнул зажигалкой, а сразу за ней возникают, проявляются вдруг могучие мужицкие руки. В одной синеватый камень, кремь, прижатый к нему жгут серой ваты, трут, в другой светлая прямоугольная железка, кресало. Удар, удар, удар кресалом о кремь – и сыплются искры, крупные, яркие, на трут падают, и он начинает дымиться понемногу. Мужик дует осторожно, и в вате трута растет, рыжеет все ярче огонь. И что-то важное, торжественное чувствуется во всем этом: только что не было огня, и вот он есть, из камня и железа получился на моих глазах...

Кресало было первым металлом, железом, которое запомнилось. А вторым немецкая ложка-вилка оказалась, складная, на заклепке. Белая, блестящая, из нержавейки, как потом узнал. Крутить ее в руках, складывать-раскладывать было любопытно, но есть ею я не мог никак. Думал, ею же немец, враг заклятый, ел! Казалось, что след губ его на ней все еще сохранился. Удивительно, что ложка-вилка эта до сих пор цела, семьдесят почти лет! В ящике со всяким мелким железным хламом лежит, нет-нет в руки и попадет. Возьмешь и на мгновение оцепенеешь. Одна из старейших вещей в доме, “из той зимы, из той избы...” А того раньше из какого-то неведомого окопа, блиндажа. Крупновская сталь... Не раз выбросить хотел и оставлял все-таки. Она ж не только немецкая, она ж и наша. Трофей...

Последний раз я был в Камыше человеком более чем зрелым. И он принял меня с тем вечным спокойствием, с которым всегда принимает нас родина, ничего от нас не ожидая и не требуя. Хочешь, люби ее, хочешь, нет. Это твое дело, а она, вот она, просто есть. И какая в этом сила, великодушие и доброта. И какая для нас свобода!

* * *

Первый год был нелегко не только вскапыванием целины, но и сильной засухой весной и в начале лета. Поливать пришлось картошку ведрами из ручья. Жутковато было видеть, как пар из горячей, пересушенной земли поднимается, и неведомые жуки-пауки, сколопендры-саламандры какие-то из нее вылезают.

А вообще было прекрасно: копать-сажать, полоть-окучивать, урожай убирать. Опустить руки в землю, как в воду нежно-теплую, достанешь картофелину огромную, овальную, розоватую, и лежит она на ладони, как драгоценность, только что добытая-найденная. Странно и трогательно эта наша картошка называлась: “детскосельская”. Можно, конечно, догадаться, что в Детском Селе под Ленинградом, Санкт-Петербургом теперь, сорт этот вывели, но и это ведь приятно. Другие сорта тоже назывались неплохо: “кристалл”, “лорх” и самый распространенный, какой-то народно-простецкий, не вполне как бы и сортовой – “синеглазка”. Очень мило, как про сестренку или подружку. А цветение картошки! Бело-сине-сиренево-розовое полотнище ситца громадное лежит перед тобой. И скромное, и роскошное, одновременно как-то. Отдельный же цветок изящен и утончен и даже вдруг ювелирное что-то в себе показывает. И понятным становится, почему когда-то дамы при французском дворе такими цветками платья и шляпки свои украшали. Полюбуйся на все это да и вспомнишь картошку послевоенья, когда была она в наших курских местах не вторым хлебом, а первым. Так и говорилось: на картошке сидим, картошкой живем. И памятник ей я прямо-таки вижу: ладонь, а на ней та самая, “детскосельская”, картофелина, как дар Божий, спасительный. Одна из моих любимых картин, кстати, “Едоки картофеля” Ван-

Гога. Сидят эти едоки за столом, лица некрасивы, уродливы почти, но такой в них во всех свет ангельской доброты и любви. И протягивает один из едоков своей соседке картофелину так, словно это не еда самая простецкая, бедняцкая, а прекрасный цветок...

* * *

Посадили картошку, и началось строительство заборов. Я сомневался, что они нужны, но когда у соседей выкопали только что посаженную картошку, сомнения кончились. Смешно это было и горько и даже страшновато: такое сделать! Подобного даже после войны не припоминалось...

На колючую проволоку вдруг возник великий спрос, бухтами небольшими, аккуратными ее стали продавать на рынке и очень дорого. А мы от ограды базы военной, бывшей неподалеку, огромную бухту колючки ржавой, свое уже отслужившей, утащили. Прилаживаемся нести, а тут мужик с карабином на плече подходит и овчарка с ним. Стоит, смотрит, молчит. Внук пятилетний ему и крикнул: "А ты чего здесь делаешь?". Тот ответил не сразу и странно как-то: "Песни пою". И ушел. Молодец, ведь мог бы и покричать, и прогнать нас хотя бы для развлечения. Может, и сам себе участок для картошки выгородил где-нибудь на пустыре с такой же колючкой...

Разбирал я эту бухту громадную очень долго. Казалось бы, нет занятия неприятнее, а ведь привык, едва ли не полюбил его. Да и вообще, все свои физические, ручные работы в жизни вспоминая, думаю, что со всякой можно сродниться, какой-то интерес в ней найти. Ну, почти со всякой, так скажем. Войти в нее, работу, надо, и вот изнутри-то она окажется и полегче, и поинтереснее, чем если со стороны только ее видеть. И это утешительно. Говорят же, что даже раб галерный, в конце концов, начинает любить свое весло.

После мороки с колючкой надо было заготавливать для забора столбы. Часть оврага неподалеку была густо заросшей осиною, березой и ольхой, и вот тут-то и началась великая порубка. Крупные деревья не трогали, конечно, а те, что потоньше, так и затрещали под нашим топором и многими-многими соседскими. Неловко, стыдновато было это делать, но успокаивало одно – необходимость крайняя. Ради картошки насущной это творили всем миром, и если был тут грех, то невеликий, простительный. А потом, с годами, оказалось, что порубка только на пользу оврагу пошла: была урема сырая, темная, местами непролазная, а стало место светлое, просторное, веселое. Только пеньки во множестве торчали, да и те потихоньку заросли кустарником и высокой травой.

В конце концов, выстроились заборы вокруг тридцати примерно участков, в чем-то разные, но в главном одинаковые вполне – в виде нищенском. Оставалось ждать роста картошки и появления злодеев – воров.

* * *

Когда увидел большой довольно-таки по площади кусок выдернутой и чуть только подвявшей картофельной ботвы и множество маленьких, с орех, клубеньков, то испытал редчайшее, считанное число раз в жизни бывавшее чувство – ярость! И желание поймать того, кто все это сделал, и побить беспощадно. Когда же волна, распирающая грудь и голову, схлынула, удивился на самого себя. Ну, подергали ботву, ну, сколько-то картофелин мелких сумели найти и унести, пустяк же сущий! Откуда же реакция такая, инфарктная прямо-таки? Много чего за жизнь долгую у меня воровали – деньги, часы, велосипеды, но никогда ничего похожего я не испытывал. Весь убыток-то теперешний в медный грош! И понял тут же, что теперь плод работы прямой, потной украден, вот именно поэтому так и повлияло. Сложная очень была реакция – что-то и детски наивное было в ней, и что-то мудрое, из старины глубокой. Некое первичное преступление было совершено по отношению ко мне – был забор, граница, мною обозначенная, а кто-то взял да и преступил ее...

Прикопал я выдернутую ботву, всю покрытую по краям белыми горошинами, да только не прижилась она.

* * *

Вот и стали мы овраг свой, участки свои драгоценные сторожить по очереди, по графику такому устному. Днем это женщины делали, а по ночам мужики. Брели термос с чаем покрепче, чуть-чуть еды, фонарь сильный, дальнобойный, палки в роли оружия. Много таких объединений огородно-картофельных в городе и вокруг него образовалось, и чего только в них не бывало. Там вышку наблюдательную построили, там вора избили крепко, там подстрелили даже. И в СМИ не раз обсуждалось, как с ворами этими быть, насколько силу к ним применять можно?

В первый раз на караул шли с чувством, похожим на то, с которым новые ценники в универсаме увидели — и смешно, и дико. Ухмылялись, посмеивались с сыном, переглядываясь. Дожили, приехали! Идем в овраг с дубьем картошку свою кровную сторожить-защищать. Потом попривыкли и напоминали друг другу вполне обыденно — наша смена завтра, не забыть. . .

В начале лета пришлось мне в Москву съездить, и я с некоторым даже удовлетворением увидел, насколько мы в своем картофельно-огородном деле не одиноки: вся полоса отчуждения вдоль железной дороги раскопана была. И успокоился окончательно — конечно, выживем и даже вороватых своих сограждан подкормим.

* * *

Людей в овраге оказалось много, и кое с кем познакомиться и даже подружиться пришлось. Ничто так не сближает, как общее, постоянное, на годы многие, дело. То сдача или прием караула, то отдых-перекур совместный, то нужда в совете земледельцев более опытных, чем ты сам.

Ближайшими соседями были Анна Ивановна, “баба Аня”, как мы ее между собой называли, и муж ее Николай Иванович. Пенсионеры, в больших уже, по сравнению с нами, годах. Он всю жизнь газопроводы “тянул”, а она на стройках штукатуром-маляром работала. Изредка дочь их появлялась с мальчиком лет пяти, явно стеснявшаяся родительского занятия.

Баба Аня поражала живостью нрава и работоспособностью, совершенно неумной. Как возьмется за лопату или тяпку, так и не разгибается и час и два. Посмотришь в очередной раз на нее, отдыхая, и не верится, что можно в ее годы так работать, с энергией такой и напором. И выражение лица на этой нашей овражной работе, если случалось сойтись и словом перекинуться, бывало у нее удивительное — не усталость, не озабоченность, а какой-то свет и радость потаенная. Оказалось, что и родители, и деды-бабки у нее “вечные крестьяне”, как она выразилась, были, и она, всю жизнь работая на стройках, всю жизнь мечтала до земли “дорваться”. Ну, вот и дорвалась, наконец, в нашем овраге. “Тут мне рай” — ее слова.

Муж ее Николай Иванович был человеком крутого, тугого замеса и телесно, и душевно. Говорил веско и медленно, часто употреблял, как присловье: “Поймите меня правильно”. И ясно так представлялась его работа мастером на прокладке газопровода, тяжкая и грубая, мат-перемат кругом и вдруг объяснение какое-нибудь и оправдание перед появившимся начальством. Вот тут-то его фраза и была хороша: “Поймите меня правильно”. И въелась на всю жизнь, которой оставалось ему уже и немного. Умер на четвертый, кажется, год нашей овражной работы. “На ходу, — рассказывала баба Аня. — На ходу!” В ту пору смерть “на ходу” стала чаще встречаться, так мне казалось. Вот и второй сосед с участка над нами, полковник-врач в отставке, тоже на ходу умер. Копался я как-то у себя ранней весной, вижу, сошлись в стороне баба Аня и жена полковника. И вдруг крик громкий горестный и баба Аня за голову обеими руками держится. Новость узнала — умер полковник на днях. А какой был здоровяк по виду, какие ступеньки от ручья наверх к себе аккуратно вырубил, как ведра с водой носил на участок неторопливо и солидно. И легко, казалось. . .

* * *

Сразу за участком бабы Ани вдруг пара молодая появилась с ребенком, мальчиком лет двух. Поздновато они пришли, уже и трава была подросшая, и участок им остался совсем крохотный. Приятная, интеллигентная была пара, и работали они с какой-то особенной тщательностью, слой дерна, например, срезали и, стряхнув землю, в сторонку откладывали, рыхлили вскопанное, как грядки лишь рыхлят. По инструкции книжной действовали, скорей всего.

Грустно было их видеть – ну, что они надеялись собрать с такого клочка? Два мешка картошки в лучшем случае? Тревога, что ли, их сюда привела, тревога о том, что, глядишь, вообще есть нечего будет? Приходили они ненадолго, но часто, и я стал постепенно замечать, как им здесь хорошо. Работают себе дружно и неторопливо, а сын по травке бегаёт или рядом толчется-мешает. А потом сидят в тени березовой на подстилке синей и перекусывают, и смеются, и с сыном играют-дурачатся. На следующий год они не появились, и я подумал: а вдруг эти месяцы с мая по сентябрь в нашем овраге у ручья окажутся лучшим временем их жизни? И очень может быть...

* * *

Мужик, забивавший ранней весной железные столбы, стоя на бочке, тоже оказался соседом. Пенсионер Степаныч, еще вполне крепкий, всю жизнь отрубивший на турбинном нашем заводе слесарем-инструментальщиком. Корневой такой работяга, на которых многое у нас в стране держалось. Он и дом сам себе построил, один из первых на нашей окраине. Мы брали у него тачки при необходимости – одна оказалась музейной прямо-таки: вся как из железа целиком вылитая, несокрушимая, на одном колесе. Из первых пятилеток, из лагерей, из войны... Вторая самоделка, платформочка жестяная на велосипедных колесах. Может, у него и третья была для третьей какой-нибудь надобности.

Настоящим мужиком этот Степаныч оказался, спокойно-приветливым, надежным, прочным. Думалось, глядя на него, что уж он-то всегда выживет, да и другим поможет. А счастливым я его видел, когда он траву, в ближнем леске накошенную, на своей тележке-платформе домой вез, а рядом внучка лет семи шла. Сказал, улыбаясь: “Помощница!”.

Запомнился вечер знакомства с ним. Сидели с приятелями у костерка (ночь дежурства впереди была) и пригласили его к нам по-соседски. Тут я и затеял, не вовремя как-то, дерево небольшое на краю своего участка срубить. Смотрю, Андрей подходит. Оказалось, что Степаныч ему сказал: “Помоги отцу!”. Посмеялись, а чего, собственно, было смеяться? Хорошо сказал для первого знакомства.

* * *

В начале нашего оврага есть пруд, в котором мы лет двадцать купались, пока не стал он постепенно очень уж грязным. Любил я после купанья на плотине посидеть, глядя, как пацаны с высокой ограды водостока в воду прыгают, и сам с каждым в воображении прыгал то так, то эдак. И казалось, что вечно мог бы вот так сидеть и не надоело б. Есть занятия и состояния, которые привкус вечности имеют, вот это и было одно из них.

Сразу за плотиной много никем не занятого места осталось, потому чтолюдно и в смысле воровства и всяческой порухи опасно. И вдруг место оказалось занятым – вагончик жилой там поставили, надо же! Сложное ведь дело – грузить его на платформу краном, везти, сгружать, тоже краном. Весь подъезд к участку колесами тяжелых машин был размят, разбит. Серьезный человек укрепляется, подумал я, и с намерениями серьезными. Оказалось, пациентка психиатрической больницы, лежащая в ней периодически по поводу депрессий. Средних лет, крупная, сильная, мужеподобная. Огородила участок, самый из всех большой, посадила садик, раскопала землю под огород и стала в вагончике постоянно жить с апреля по октябрь год за годом. Сад подрастал, огород процветал. Мне, проходящему часто мимо, предлагала по-

рой то огурцов, то кабачков. В больницу за все овражные годы не попала ни разу.

Иду как-то летом к плотине и вдруг по глазам ударило – вагончик сгорел. Каркас железный остался да кое-где куски жести черной, покоробленной на огне. Сожгли, конечно. Хозяйка рядом что-то делает, и подойти к ней у меня духу не хватило.

Немного поуспокоившись, вспомнил из Гете: “Меня не трогает крах царств и падение тронов. Пожар крестьянского двора – вот истинная трагедия”.

Нередко нечто подобное приходилось видеть и в советские времена и, гораздо чаще, после них. Словно бес какой-то людей толкает: разломать, разбить, изуродовать, сжечь... И без малейшего, пусть даже негативного, смысла. Только бы погубить или испоганить. С детства помнятся кучи дерьма на торных тропинках и собственное недоумение – чего ж было в сторону не сделать хоть шага три?

А хозяйка слепила шалашик в стороне от пожарища, убрала осенью урожай и больше здесь уже не появилась.

* * *

Картошку окучиваю в палящий полуденный зной. Если земля, как сейчас, слежавшаяся, убитая, то нет, пожалуй, труднее огородной работы. Даже ряд тридцатиметровый примерно сразу не пройти, приходится постоять на половине. Весь мокрый, конечно, глаза пот разъедает, во рту горечь полынная. Но я, странно, люблю эту работу и именно в зной. Все мне тут мило – и усилие, и терпение, и усталость, и звон в ушах, и предвкушение скорого отдыха. Ну, вот этот рядок добыю – и перекур в тени, у ручья, у воды.

Во время перекура наплывает вдруг давнее-давнее, и похожее, и иное совсем.

...Склон желтый, пологий, уходит куда-то вдаль, теряется в туманце знойном, серо-голубом. Щетка стерни блестит скользко, под ногами шуршит, проминается, укалывает лодыжки. Пахнет разогретой на жаре пылью, соломой и чуть-чуть хлебом.

Мы колоски в мешочки собираем. Нас много, по склону рассыпанных, бредем и бредем вверх, наклоняясь и выпрямляясь снова и снова. Глаза ловят колоски, а руки вперед тянутся, хватают их и хватают, и нет этому конца. Колоски шершавые, колючие, упругие. В упругости их есть что-то живое, кажется, выпрыгнуть из горсти могут, как кузнечики.

Сначала работается легко, играючи, но потом становится все тяжелее. Жарко, голова тяжелеет, пот глаза ест, ладони горят и саднят. Мешочек наполняется медленно, а уминается с обидной, разочаровывающей быстротой – нажал сверху, и будто нет в нем почти ничего...

Помочь надо, сказали нам перед выходом в поле. Стране помочь, которой трудно. Это приятно было услышать, некую особенную значительность делу нашему, такому простому, придало. Стране помочь... А что это, страна? Все люди наши и вся наша земля. Значит, сами себе и помогаем, вроде бы так.

С приходом утомления и, особенно, жажды чувство значительности нашего занятия тает и исчезает. Такие эти колоски маленькие и так их набралось мало, что уже и невозможно связать их со словами “наша страна”, “наша земля”. И какое-то далекое, как укол, чувство жалости к чему-то, к кому-то возникает вдруг. К себе, что ли, ко всем нам, по склону ползущим, к самой нашей стране?..

* * *

Метрах в трехстах от нашего участка проходит железнодорожная ветка, к месту тех самых продовольственных складов, к которым Наполеон в 12-м году рвался, покинув Москву. В насыпи тоннель для пропуска ручья, очень внушительный. Особенно гранитные блоки, которыми выложены торцы тоннеля,

поражают своей величиной и мощью. Сколько ни ходишь мимо, а непременно на них взгляд остановишь каждый раз. И что-то говорят тебе эти блоки, что-то успокаивающее, заставляющее замедлить торопливый свой шаг. Высотой тоннель метров в шесть и в пределах досягаемости человеческой руки исписан густо. Слова из времени нашего детства из трех и пяти букв не встречаются уже, а жаль. Было в них для нас что-то греховно-священное, потому их и писали, а теперь так они обыденно затерты, что и писать их незачем. А вот о том, кто кого любит, надписей много, и это радует. Есть, стало быть, еще горячее для продолжения жизни.

Тоннель в жару прохладен, в непогоду уютен, и случается постоять в нем, подумать о чем-то. Ни о чем, а значит, обо всем сразу.

Живое местечко – тут и альпинисты начинающие костыли в зазоры между торцовых блоков каменных вбивают и на тросах потом болтаются, тут и туристы соревнования проводят, бегают по бревнам через ручьи или на тех же тросах через него переползают; тут и парашютисты, тоже начинающие, конечно, бегут с насыпи вниз сломя голову и подлетают совсем немного на парашюте-крыле... И, конечно, всякие любопытные случаи бывают.

Иду как-то со своей картофельной работы и вижу на лужке у самого тоннеля множество детей дetsадовского возраста и двух женщин, воспитательниц, стало быть. Надо же, думаю, как далеко зашли, самим, наверное, в такую чудесную погоду прогуляться захотелось. И тут же другое вижу – утка с утятами маленькими совсем плывет по ручью против течения мне навстречу. Утят, как сейчас помню, девять было. Утка меня увидела и к берегу под нависающую над водой траву повернула и спряталась там с утятами. Рядом со мной пережат каменный, бурливый, неужели, думаю, она с крохами такими преодолеть его хочет? Ну, и стал за куст, жду. Вижу, и воспитательницы меня заметили, смотрят, переговариваются, смеются. Про утку-то с утятами они не знают и недоумевают, конечно, чего это мужик стал за куст и стоит?

Утка, наконец, выплыла из-под травы и к пережату, а утята за ней. И так они лихо вслед за мамашей его преодолели, меж камней юрко пробираясь по струям сильным, бурлящим, что я в полный восторг пришел. Прохожу потом мимо воспитательниц и одна из них спрашивает с улыбкой: “Что это вы там высматривали?” – “Утка с утятами проплывала”, – говорю. “Ой, и нам бы посмотреть!” И побежали они с детьми вверх по ручью, только ничего, наверное, не увидели...

Вспоминал я этот случай с грустью какой-то прощальной, как ни странно. С грустью, потому что ничего подобного теперь не может быть никак. Ужас перед педофилами накрыл не только страну, но, кажется, и весь мир. Тут уж и гулять так далеко с детьми не уйдешь, и с мужиком, за кустом прятавшимся, приветливо не заговоришь. Тут полицию сразу вызывать надо.

Всю жизнь я с детьми и ближними, дворовыми, и иными-разными пообщаться любил, имел такую слабость. И они меня отнюдь не чурались, особенно когда бороду белую завел. Что-то дед-морозовское во мне их, похоже, привлекало. Сiju недавно в нашем скверике ближнем и чувствую вдруг чирканье по спине раз и другой. А это девчушка лет пяти каким-то хлыстиком со мной забавляется. Станный такой хлыстик, покупной, что ли? Спросил ее об этом, она начала отвечать, и вдруг такой ужас в глазах у нее плеснулся! Запнулась на полуслове, и бежать во все лопатки. Все ясно: наказания родителей вспомнила... Да я теперь, если даже ребенок и подойдет, и заговорит, тут же его, что называется, “отшиваю”.

Помню, в пору оврага еще подсели ко мне на лавочку в том же скверике маленький, спокойно-важный толстячок с девчушкой. И так хорошо мы посидели, поговорили “за жизнь”. Теперь уж так не посидеть...

* * *

Кроме земли, помогала выживать и живность всякая-разная. С того же 92-го года начались по ночам петушиньи крики – и на нашей окраине и, рассказывали, даже в центре города. У нас петухи кричали дружным хором, по часам, как в настоящей деревне. Да что там наши петухи – в Обнинске, безупречно ухоженной городе науки, возникли кое-где на месте уличных газонов загончики такие аккуратнейшие, с оградками изящными, художествен-

ной почти выделки. А внутри куры во множестве. И так все это выглядело приятно и мило, что можно было и оставить навсегда. . .

Появились у нас и коровы. Пасли их чаще женщины интеллигентного вида. У каждой пастушки две-три коровы, крупных, выхоленных, с большими выменами. Тоже было мило: коровы едят важно так и значительно, а пастушки на раскладных стульчиках сидят, вяжут или книжки читают. Посмотришь и подумаешь – при таких живых заводиках по переработке травы в молоко чего же и не прожить. . .

Надежда Мандельштам, жена поэта, вспоминала, что в поисках возможности хоть как-то прокормиться была у них “идея коровы”. Поселиться они с этой целью хотели как раз в наших краях, в Малоярославце, но как-то не получилось. И Пришвин вспоминал, что в первую же ночь с женщиной, на которой он потом женился и многие годы прожил, они решили завести корову. А через несколько лет и завели, поселившись в Сергиевом Посаде. И молоко продавали на рынке. . .

Чаще всего пасли коз, и главной козопаской была у нас Зинаида Семеновна, бывшая больничная санитарка со стажем чуть ли не в полвека. Был у нее и самый большой участок, наполовину засаженный свеклой для коз. А их было не пересчитать. От совсем малых до матерых с выменами коровьей почти величины. Жила она одна в собственном домике, и там тоже был участок земли немалый, безупречно всегда ухоженный. И стадо она пасла, и на земле работала с раннего утра до темноты с венами на ногах жуткими. Вот я и думал, зачем она каторгу такую себе устраивает, куда все это, наработанное, девать. Оказалось, в Харьков, дочери. Жила она с ней вдвоем, проживала, потом мужичок какой-то вдруг появился да дочь и увез. И осталась одна. И посылает теперь дочери с семейством самодельную тушенку из козлятины в банках стеклянных.

Шел как-то через поле над оврагом и увидел камень большой и привлекательный. Присел на корточках, осмотрел, пошатать попытался, прикидывая, нельзя ли его домой как-нибудь притащить? Вдруг козленок подбежал, другой, коза здоровенная. . . Оглянулся – Зинаида Семеновна со всем стадом. “Ой! – смутилась. – А я думаю, чтой-то мужчина нашел? Клад, что ли?” – “Да вот, – говорю, – камень красивый”. – “А зачем он?” – “Ну, как. . . Посмотреть приятно”. Помолчала она с явным недоумением. “А как же его до дома перететь? На носилках если или на тачке? Или, знаете, к сумке с колесиками приладить как-нибудь. . .” Хороший был совет, на сумке камень этот я и привез. . .

Как-то дежурили мы с Андреем, и сменить нас должна была Зинаида Семеновна, на дневной пост заступить. Ночь была с грозовым ливнем, и мы прятались под кузовом легковушки, специально для того приспособленным. Ранним утром смотрим, Зинаида Семеновна идет, часа на два раньше условленной пересменки. Объяснила, подойдя: “Дай, думаю, ребят отпущу, все равно сна нет”.

А потом вдруг не появилась по весне ни она, ни стадо ее великое: умерла от инсульта и тоже “на ходу”.

* * *

Сколько жизней людских девяностые годы унесли, и представить страшно. Потому, может, и думалось о смерти тогда часто – маячила она постоянно вокруг.

Кто не перебирал варианты ухода, всякий, наверное. А главных-то и немного, можно прикинуть. Во-первых, классически – в своей постели. Желание большинства, а в пору войн, революций, иных бедствий часто и мечта несбыточная. Противоположный вариант: смерть при напряжении сил максимальном – в бою, в схватке, в борьбе со стихией, с роковым стечением обстоятельств. Пушкинский вариант, ему желательный. Он так и писал: “в бою ли, в странствиях, в волнах. . .” И даже о смерти Грибоедова написал едва ли не с завистью, что она была “мгновенна и прекрасна, посреди смелого, неравного боя и не имела в себе ничего томительного”. А вариант “постельный” описывает он с некоторой насмешливой неприязнью, говоря о возможном конце жизни героя своего Ленского: “И умер в обществе детей, плаксивых баб и лекарей”. Сам же ушел по пути какому-то среднему – и схватка была, и пуля в живот, и двухсуточное потом страдание в постели.

Кажется, что желание смерти быстрой и легкой должно быть всеобщим, не желать же долгого и тяжкого умирания? А вот поэт Иннокентий Анненский тако-го и хотел, считая, что умереть быстро все равно, что уйти из ресторана не расплатившись. Умер же “на ходу”, на ступеньках Царскосельского вокзала. Народный взгляд на умирание близок взгляду Анненского — “смертное страдание” принять надо, очиститься им, грехи искупить, насколько возможно.

Теперь смерть в больнице, в реанимации очень часта. Оно и хорошо, оправдано практически, но уж очень казенно, холодно. Что последним человек увидит: медсестру, врача или потолка белизну безучастную? И кто последние его слова услышит-разберет? И кому их сказать?

Последних слов много у людей, которые на всеобщем виду жили, запомнено и записано было. У Пушкина они просты и конкретны: “Дышать тяжело, давит...” Чехов бокал шампанского выпил, сказал по-немецки: “Я умираю...”, из вежливости, наверное, к немцу-врачу, и умер. А Толстой, писавший, как никто, глубоко и много о смерти, даже договорился с дочерью о знаке, который подаст ей, если говорить уже будет не способен. Знак о понимании смысла жизни в самый последний перед смертью момент. Смыслом же он полагал приближение к Богу и увеличение любви. И вот если он именно так, уходя, продолжает считать, то опустит веки согласно, а если нет, то посмотрит вверх. Весь Толстой в этом поиске высшего смысла до самого-самого предела. Насчет знака о смысле жизни не знаю, а в последних словах: “любил много...” согласие с самим собой как раз и есть.

“Приближение к Богу...” Но ведь и в приближении к смерти или быстром, или медленном, или даже пережитом мгновенно, когда она проходит рядом и мимо, что-то высшее, вот именно божественное, ощущается. Не только верующими, но, подсознательно, и всеми, скорей всего. Близость смерти и ужасает человека, но и приподнимает его над обыденностью жизни. В “Моцарте и Сальери” пушкинском Моцарт играет для Сальери дважды. И оба раза музыка потрясает слушателя своей мощью, гармонией и красотой. И оба раза она о смерти. Из объяснения Моцарта к первой игре: “Я весел... Вдруг виденье гробовое, незапный мрак иль что-нибудь такое...” А в объяснении ко второй Моцарт говорит о том, что пишет “Реквием” и что заказал его ему “черный” человек. И играет отрывок из этого “Реквиема”. Сальери, который, разумеется, знает музыку Моцарта прекрасно, чувствует именно в этих двух последних вещах вершину его, полного жизни и жизнелюбия, творчества. А они-то о смерти, о переходе жизни в смерть. И выходит, что смерть не только уход из жизни, но, одновременно, ее вершина. **З а в е р ш е н и е.**

И в литературе нечто похожее. Какие мощные, истинно боговдохновенные страницы именно умиранию героев посвящены! “Война и мир” Толстого, князь Андрей, тяжело раненный, глядящий в небо и готовый облегченно уйти в него, раствориться в нем. Анна Каренина под колесами поезда, свеча, вспыхнувшая в ее сознании, чтобы затрещать и навеки погаснуть. Герой толстовской же повести “Смерть Ивана Ильича” с его последним ощущением: “Вместо смерти был свет...” Или Григорий из “Тихого Дона”, который, похоронив Аксинью, поднял голову и увидел над собой “черное небо и ослепительно сияющий, черный диск солнца”. Предел трагизма и предел художественной мощи при этом!

Смерть, уход, конец — и какая энергия жизни и творчества у художников, которые все это выражают. И парадокс, и доказательство, что жизнь и смерть связаны неразрывно некоей единой силой. Высшей, небесной, божественной.

А в те далекие девяностые при мыслях о смерти про бомжей иногда вспоминалось в сильные морозы. Как они-то их перемогают, вымерзают, наверное, как воробьи. И чудилось даже, что весной их становилось меньше...

* * *

Побывал в нашем овраге гость ночной, нежданный. Сидим у костерка, стражу отбываем, и вдруг со стороны поля и леса человек возникает, приближается медленно и как-то зыбко. Наконец обозначился в свете костра: мужик как мужик, пристойного, городского вполне вида, но без обуви, в одних носках. Вроде бы и не пьян, но какой-то очумелый, растерянный. И спрашивает, где центр города примерно? Показали, куда идти, и поинтересовались,

почему блуждает ночью босиком. Оказалось, приехал на пикник с компанией, прилег под кустом в сторонке подремать, а проснулся в темноте и одиночестве. Ну, и побрел на зарево городское, а потом на свет костра. Трудно будет ему до центра добрести, все ноги побьет. Самое же худшее он сам и высказал: “Не пойму, то ли не нашли меня, то ли просто забыли? И туфли кто снял?” Погрелся чуть у огня, да и побрел в темноту. И тема для размышления была у него такая, что до дома хватит...

Случился и еще один гость, совсем другого рода, и в пору он попал совершенно особенную. Решили мы с Андреем засеять осенью, после уборки урожая, весь наш участок озимой пшеницей, делал так кое-кто из соседей. Весной надо было дожидаться подросшей хорошенько “зеленки” и все вскопать, удобрив ею землю.

Сеял Андрей, беря горстями пшеницу из ведерка на груди и размашисто, как сеятель некий древний, ее перед собой полукругом разбрасывая. Даже рубаху к этому случаю красную, распоясав, с воротником на русский манер надел – хоть картину с него пиши.

Рассеянное зерно надо было землей прикрыть, и мы приспособили для этого железную трубу, длинную и тяжелую. Привязали к концам проволоку и стали неторопливо и аккуратно по участку ее взад-вперед таскать. Таскаем-таскаем и, смотрим, Григорий Фидлер, друг детства Андрея, с овчаркой на поводу к нам идет. Прекрасный парень, всегда ему симпатизировал: спокойный, добрый, скромный, как девушка, и силы совершенно непомерной, изумляющей. И ее он по славной своей натуре хорошо очень употреблял – восточными единоборствами занимался без прямого контакта с противником. Ушу, так, кажется. Там и философия целая в подоплеке, и учитель Лао-Цзы. Григорий же в советские времена инженером стал и на крупном заводе работал.

Поговорили, конечно, и оказалось, что он бизнес торговый завел и на днях в Италию улетает по делам. Беседуем, и вижу, обоим им как-то неловко: один по миру разъезжает, а другой в овраге железку какую-то по земле волочит. Очень уж сопоставление странное! Что ж, способы выживания всего-навсего, подумал я. Натура тут решает, обстоятельства, случай, судьба в конце концов...

Особенно ушедшие из разваливавшейся тогда армии офицеры меня удивляли, солидные такие майоры-подполковники отставные. Один рыбной ловлей занимался, как работой прибыльной, большой был этого дела любитель и знаток; другой веники березовые, банные во множестве заготавливал и перекупщиком из Москвы продавал; третий шампиньоны выращивал, тоже в основном для Москвы. И думалось иногда, что, может, эти занятия им службы армейской оказались милее да и прибыльнее, как знать?

* * *

Страна заборов... Особенно тогда, в 90-е, это в глаза стало бросаться. Из чего только их не городили: куски жести, пластика, отходы штамповки, рабица ржавая, даже подносы общепитовские древние... А один большой участок был сплошь кроватными сетками и спинками огорожен, и видеть такое было тревожно, как нечто госпитальное, из войны, из беды. А другие заборы, не овражные, у бедных хилые, кособокие, у богатых несокрушимые, до неба почти? А ограды на кладбище вокруг могил? От кого и чего загораживаемся? Друг от друга? Да, конечно. А еще, может, подсознательно и от пространства своего бесконечного, которое словно бы угрожает нахлынуть вдруг, как потоп. Но оно же, пространство, не только угрожает, но и влечет, иначе б не дошли мы мало-помалу аж до Тихого океана...

Случился у меня в самое “заборное” время приступ радикулита. Очень не хотелось на диване лежать, а хотелось столбы, вокруг участка уже поставленные, ошкуривать. Сделали анестезию, я и пошел в овраг радостно и пробыл там на ногах часа три. Утром проснулся, а левая стопа отвисает – парез. Так он до конца и не исчез, напоминает о битвах за выживание давности двадцатилетней.

И еще воспоминание “заборное”. Копал ямы под столбы, а рядом старый друг, мудрый собеседник Всеволод Катагощин стоял-наблюдал. Хорошо очень было: денек серенький, смирный, приятная, неспешная работа, прият-

ный, неспешный разговор. Суть его хорошо помню: как оценить смерть под забором? Ужасна ли она (как, в общем-то, предполагается) или, может, не так и плоха? И решили дружно, что не только не ужасна, а чуть ли не хороша. Долгим и очень уж мучительным такое умирание быть не должно, да к тому же под небом, а не под потолком. И сейчас вот вдруг вспомнилось, что самый первый в жизни рассказ я написал на близкую этому разговору тему: о том, как лесник уходит самовольно из больницы, чтобы на воле помереть...

Еще очень славно было привозить из леса на лыжах столбы для ближнего, у самого дома, участка. Засунешь топорик за ремень, побегаешь, сколько хочешь, по лесу, а потом столб и вырубил из подходящей сухостоины. И на плечо его, и вперед. А лучше всего было столбы эти, за зиму накопленные, в палисаднике ошкуривать на мартовском пригревающем солнце: синь неба плотная, блеск солнечный, горьковатый запах коры и древесины...

Вижу теперь, что и заборы наши и стража были, в общем-то, условностью, знаком таким для потенциальных воров: да, огорожено, да, охраняют. Но если нужно, то в темное время бери дырн, продырявливай потихоньку забор любой в любом почти месте и забирай, что хочешь. Ну, даже и забрал, так не от хорошей же жизни, а по горькой нужде. Точно такое же суждение по телевизору от ветерана войны как-то услышал. Вернулся он из госпиталя домой и увидел, что комната его в коммуналке открыта и из нее вынесено все, что можно было вынести. Сказал он это, помолчал и добавил: “А я и не осуждаю, крайность у людей была. Ну, и взяли, ну и что ж...”

А картошка все самые трудные годы была на рынке удивительно дешевая. Потому, конечно, что все почти ее и выращивали. Даже Ельцин сказал как-то, что обязательно два мешка картошки каждый год для пропитания семьи сажают. Соврал скорей всего, но кого-то, может, и подбодрил — не робейте, мужики, я с вами...

* * *

Приехал в Москву, когда на нее вдруг упал сильнейший, под 30°, мороз. Люди оказались одеты не по погоде, бегут по улице растерянно-испуганные. Надо было дорогу спросить, но, вижу, всем не до вопросов. Наконец, подошел к тетке, продававшей с лотка какие-то газетки, журнальчики тоненькие, жалкие. Она съезжилась, нахохлилась, ногой об ногу стучит, лицо угрюмое, посиневшее. А когда к ней обратился, в лице у нее такое вдруг вспыхнуло участие, такая готовность помочь, такая доброта, что на меня словно бы теплом пахнуло и даже согрело на мгновение.

Очень мы все мрачны в последние, многие и многие уже, годы, недоступно-озабочены, словно пылью какой-то безнадежно-безрадостной покрыты. А вот так обратишься к человеку, по виду мрачному, даже злому, и он меняется неожиданно на нечто прямо противоположное. Тяготятся люди своей угрюмостью одинокой и готовы по первому поводу ее отбросить. Отбросить-то на малое время можно, а вот чтобы преодолеть, изжить, нужно время большое. Жизнь, в сущности, нужно изменить...

А еще стоял как-то в нерешительности: то ли вниз по скользкой, крутой, льдистой тропинке рискнуть спуститься, то ли в обход пойти? А внизу передо мной два мужика, хмельноватых, похоже, остановились, ждут, что делать будут. И я, по детскому какому-то позыву не оплошать перед зрителями, к крутизне и шагнул. Тут один из мужиков, толстяк краснолицый, и крикнул вдруг: “Стой, дед! Костей не соберешь!” Ну, я и послушался с чувством облегчения и в обход пошел. И до сих пор того мужика с благодарностью помню. Порыв его, невольный словно бы какой-то. Такой мужик в подобном порыве и ребенка из-под колес, рискуя собой, выхватить может. Для Шопенгауэра, смотревшего на натуру людскую весьма мрачно, есть в ней нечто несомненно светлое и доброе: “первичный моральный импульс”. Он, похоже, у того мужика и сработал. А второй мужик, хорошо запомнил, лишь с любопытством на меня смотрел, ожидая потехи. Вот по такому признаку люди тоже делятся — есть ли способность к “импульсу” этому или нет. Помогут или мимо пройдут.

Ну, это все моменты, случаи, а бывает, что идет от человека сильный, ровный, негасимый свет и тепло. Такой у нас продавщица в ближайшем маленьком продуктовом магазинчике была в “овражную” нашу пору. Тамара Ива-

новна. Только, бывало, и слышишь ее имя – и когда к ней люди обращаются или даже между собой говорят. Средних лет, небольшая, плотная, круглолицая, сероглазая. Равномерно, постоянно приветливая со всеми. И не то чтобы улыбочивая, нет, скорее сдержанная даже. Вот от нее-то этот свет и это тепло и шли и всех людей вокруг согревали, словно фара некая таинственная у нее внутри была.

Всегда в этом магазинчике народ толпился, хотя рядом, в двух буквально шагах другой, точно такой же по набору товара был. К ней шли, к Тамаре Ивановне. Словом перекинуться, посмотреть на нее, погреться. Кое-кто из женщин даже ожидал терпеливо, когда очередь иссякнет, чтобы лишним словом с ней без помехи перекинуться. Смотрел я на все это и думал – психотерапия настоящая! Впору деньги ей, Тамаре Ивановне, по медицинскому ведомству платить. И немалые.

Когда же ушла она с этой работы, то и количество людей тут же в магазине резко уменьшилось. Не к кому стало ходить.

Встретил ее недавно, и оказалось, что живет она по-прежнему с мужем и двумя сыновьями и больше всего боится, что дом ее частный снесут и дадут вместо него квартиру. Кошек и собак держать будет негде, и деть их некуда. На вопрос же, зачем ей такая их орава, ответила, что натащили бездомных и увечных. Узнали, что берет, и тащат. Отказать же не может, хоть и клянет себя за это...

Свет не без добрых людей... Приятная вроде бы поговорка, успокаивающая. А думаешься, то и не по себе станет. Не без добрых... Стало быть, встречаются, как редкость, как исключение. Вдруг и встретится добрый человек, если повезет тебе очень...

Кажется, что в новые времена доброты в людях меньше стало, но это вряд ли. Не меняются глубинные свойства человеческие так быстро. А вот что проявлять ее, доброту, люди сдержаннее стали, словно бояться в ответ оплеуху получить, это истинно так. Тут уже и отвага некоторая нужна – и самому доброе сделать, и на чужую доброту понадеяться.

Оказались мы с матушкой лет шестьдесят назад в Курске по пути домой. Машины из-за долгих дождей и непролазной грязи не шли, и мы простояли на выходе из города целый день в тщетной надежде уехать. Начало темнеть, и матушка вдруг повела меня к маленькому домику рядом – проситься переночевать. Там оказалась девчонка, чуть меня постарше, и разрешила посидеть, подождать прихода своей матери. И я, клевавший на табуретке у двери носом, скоро и на кровать был уложен и заснул. Проснулся под разговор матушки с вернувшейся хозяйкой, которая говорила, что она кондукторша на трамвае, а муж ее в тюрьме, но скоро выйдет. Я послушал немного и заснул уже до утра.

Поведение матушки, по теперешним понятиям недопустимое, наглое даже, объяснялось просто. Она сама была человеком доброты безразмерной и от других, естественно, ожидала того же. И ошибалась редко. Излучение добра, исходившее от нее, имело такую силу, что и они теплели и добрели прямо на глазах...

* * *

Чего только в те родненькие девяностые не приходилось делать – мешки тяжеленные женщинам и старикам помогать носить-возить, пьяных или “паленкой” отравленных мужиков со снега или раскаленного морозом асфальта в места потеплее перетаскивать, в заварухи пьяные вмешиваться... Много плохого, а то и ужасного было, но вдруг случалось и хорошее.

Попал я тогда в милицию, и зачитывает мне старший лейтенант протокол наутро. Мелькнули там и слова: “оказал сопротивление”. Я как-то и внимания на это не обратил, собираюсь подписывать и вдруг слышу: “Мужик, ты что? Это ж тюрьма!” Глянул – напротив открытой в коридор двери сержант на рундуке каком-то сидит, он, стало быть, и крикнул. Рывкнул на него лейтенант злобно, он и исчез. И так на душе вдруг потеплело: тот самый “первичный моральный импульс”, о котором я уже упоминал, у человека сработал. Не все потеряно, пока он цел...

Бывало и забавное, как не бывать. Подходит как-то бабенка лет под тридцать, вида пропойного и говорит: “Лапуль, дай рубль, не хватает...” Да я бы

ей и десятку дал за такое слово! Никогда меня так трогательно-тепло не называли и уже не назовут...

Бомжи тогда были очень тяжелы, которые и до нашего дома, до подъезда добирались. Зайдешь, а человек лежит на лестничной площадке в углу, калачиком свернувшись. Пульс нормальный, запах понятный, бомжовский с самогонной добавкой. Вот что с таким делать? В квартиру тащить?

А тяжелее всего было видеть старушек с лицами учительниц начальных классов, которые в мусорных бачках копались. Вот их я никак не мог власти тогдашней простить. И не простил.

* * *

Эти шесть лет в овраге вспоминаются теперь как целая маленькая жизнь. Лучшее время – посадка картошки, пожалуй. Совпадало оно с майскими праздниками, вот люди по-праздничному и настраивались: одежонка поярче и поновей, музыка то здесь, то там, выпивка-закуска в конце работы. Помню, копаюсь один на участке после вчерашнего праздничного застолья и слышу крик: “Дед, иди пива выпей!”. Смотрю, на бугорке через ручей мужик-сосед дальний сидит, знакомый лишь по виду. И что-то меня остановило: то ли слово “дед”, не вполне еще привычное, то ли тон снисходительный, хоть и приветливый. Ну, и отозвался: “Спасибо, нет!” Тут же и пожалел, но поздно было. А потом даже и вспоминал этот случай с чувством пусть и мельчайшей, но все-таки потери.

У Твардовского, кстати, есть нечто похожее в очерке “Память первого дня”. Идет он по полевой дороге в самый канун войны и видит на обочине, в тенечке старика, сидящего перед четвертинкой и скудной закуской. Поздоровался с ним, а тот и говорит: “Садись, поднесу”. Отказался, а потом, в войну, вспоминал это с сожалением, будто не только от чарки отказался, а от многого еще дорогого и невозвратимого. Мы же от участка своего в овраге отказались в конце концов, и теперь вспоминается он как нечто близкое и дорогое. А вот насчет невозвратимости жалеть, наверное, не надо, да и не гарантирована она, эта невозвратимость. Для сына и внуков во всяком случае...

* * *

Вспоминаешь “время оврага” и, параллельно как-то, вся жизнь вспоминается кусками-кусочками произвольно совершенно, из глубины некоей темной вдруг выплывая и в нее же уходя. Хаос воспоминательный, но есть в нем и тайный, лишь порой едва различаемый строй и лад. Ход жизни самой на родине твоей, большой и малой.

Впервые чувство родины шевельнулось во мне лет в десять по пути в Пятигорск и обратно. Горы утром появились за вагонным окном – они выступали прямо из ровной-ровной земли громадами одинокими, одна, вторая... Каждая подолгу держалась в окне, будто двигалась, плыла рядом с нами едва заметно.

Матушка сказала, что это уже родина отца за окном, здесь где-то, неподалеку, он родился, в казачьей станице. И я вдруг то ли от ее слов, то ли от внутренней какой-то, подсознательной перемены в душе почувствовал, что и степь, и горы мне милы, что они мне тоже родные, что я неким чудом уже бывал здесь когда-то. И с тех пор по дороге на юг всегда то же самое чувствовал.

А потом, на обратном пути, было утро в наших уже, курских местах. Оно было мгlistым, дождливым и печальным до тоски. Холмистые поля, пологие косогоры плыли-разворачивались за окном, и так они были пустынные и так скудные! Черные, грязные дороги вились вдоль хода поезда, телеги с тощими лошаденками едва-едва тащились по ним, стаи ворон и грачей летели низко и неохотно невесть куда. Деревеньки с избами хилыми, скособоченными, крытыми серой соломой, появлялись и исчезали, и возникали вновь, и начинало казаться, что одна и та же деревня идет и идет по кругу без конца... После всего яркого, праздничного, сказочного, что я видел в Пятигорске, это было таким скудным, таким жалким и таким родным. Именно в то утро чувств-

во родины пронзительно укололо меня больно и сладко. Уж сколько раз я его испытывал потом в разных ситуациях, но суть оставалась та же, первая – сладкая, щемящая боль. Об этом же, буквально об этом у Блока через много лет прочитал: “...твои мне песни ветровые, как слезы первые любви”. Может, и слезы были, да я их не заметил или решил, что соринка попала в глаз...

А вот и еще о том же. Сходили с Андреем в мой родной Камыш (он впервые), постояли у могилы деда, немцем во дворе собственного дома заколотого, и возвращаемся домой, в Тим, где мое детство прошло и кусочек Андреева тоже. По пути перекусываем в тени лесозащитной полосы, да и засыпаем.

Сон тут, на родной земле, совсем особенный, напоминающий полет с закрытыми глазами. Оттуда, где хорошо, туда, где еще лучше. Летишь, но как-то и остаешься на месте, слыша шорох листы на ветру, птичий писк и щебет, стрекот кузнечиков и, кажется, мерный, спокойный, роевой гул земли под ухом. И тело продолжаешь ощущать, но уже как что-то далекое, не вполне и твое – с толчками сердца в землю, с шумом крови в ушах, с бегом букашки по ноге. И мысли мелькают – короткие, редкие и тоже не вполне твои, а с кем-то другим общие. А может быть, это и не сон даже, и не дрема глубокая, а просто покой? Тот самый, который все ищут и никак не находят? Но тогда почему он именно здесь ко мне приходит? Родина потому что вокруг и сын рядом? Наверное, так...

Это состояние сна-покоя или покоя-сна хочется длить и длить бесконечно, но оно неудержимо уходит, редеет, пропуская в себя все больше четкой реальности – далекий, напряженный зуд мотора, коровье мычание, хлопок пастушьего кнута. А вот звук совсем близкий – Андрей уже сидит с покрасневшей, примятой щекой и с хрустом ест яблоко...

Солнце клонится к закату, зной смягчается, и идти еще приятней, чем раньше. Тянет ускорять и ускорять шаг, но я и себя, и Андрея придерживаю. Как недавно хотелось пробыть в покое-сне подольше, так и теперь хочется идти и идти без конца по полевой нашей дороге. Она так легка, что уже и не понятно, мы ли по ней идем, она ли нас на себе несет все ближе к Тиму.

Первые его очертания, наконец, вырастают впереди из степи. Именно отсюда я увидел их когда-то впервые, а теперь вот увидит и Андрей. Идем и идем, Тим растет-подрастает, но я молчу. Пусть сам заметит как можно позже, впечатление будет сильней. Весь день, а сейчас особенно, у меня такое чувство, словно я некое наследство ему передаю.

Андрей замедляет шаг, косится на меня вопросительно, и я киваю: да, Тим. Приостанавливаемся, молчим, смотрим. Я ощущаю непривычную, редкостную силу и ясность своего взгляда и вдруг понимаю, что он как бы удвоен сейчас...

* * *

Хорошо помню погреб детства с его лазом узеньким, ступеньками хилыми, дощатыми, норками мышиными в стенах, с чудесной прохладой в летнюю жару и могучим запахом земли. Главное же, выбраться из него и хотелось и нет, одновременно как-то. Вот и сидел, затаившись, а потом вдруг пугался словно бы, что так можно невзначай навсегда здесь остаться, и поспешно выбирался на волю, на солнце. И опять было двойственное чувство – и рад, что выбрался, и жаль чего-то.

Рядом с домом нашим была аптека, в которой работала матушка, и аптечный подвал. Тут было совсем иначе – пространства много, свод каменный высоко над головой, ящики с лекарствами. Что-то мощное, крепостное, древнее. Когда “Скупого рыцаря” пушкинского впервые читал, то представлялся мне живо тот подвал, аптечный. Вот в таком вполне могли б стоять сундуки с золотом.

Спросил однажды знакомого белорусского поэта, молоденького, хрупкого, бледного, как лето провел, очень в том году жаркое. Ответил, что в погребе сидел, стихи там писал. Оно и смешно, оно и понятно.

До постройки погреба картошку мы хранили в закрое под лестницей и в картофельной яме. Яму я выкопал в нашем саду и сделал это с удивившим меня самого наслаждением. А потом подумал, что это ведь всегда было, с детства раннего: ковырять землю железкой какой-нибудь, просто палкой, с песком, с грязью возиться. Бесмысленное, казалось бы, занятие, но смысл некий все-таки брезжил – притяжение земли, желание до чего-то тайного и нужного в ней докопаться.

Даже первые свои деньги на покупку часов я заработал лет в четырнадцать, копая траншею на кирпичном заводе. Копал одиноко и было мне хорошо: вот чернозема слой полуметровый, вот песок приятно-влажноватый, а вот и глина твердейшая, которую приходилось рубить уже ломом. Потом ямы бесконечные пошли под посадку кустов и деревьев, а потом могилу для матушки обустроить случилось. И как ни горька была эта работа, но ведь чем-то и утешительна. Вот именно, что осознанием ясным общности человеческой судьбы: все в нее ляжем, в землю. И хорошо бы не в какую-нибудь, а в эту вот, свою. Недаром некоторые люди, долгие годы на чужбине прожившие, хотя в старости на родину вернуться. Для той же, наверное, цели...

Недавно узнал, что закапыванием в землю невроты лечат. Душу лечат, говоря пошире и попроще. Рюют нечто вроде могилки мелкой, желающий полечиться укладывается в нее и его землей засыпают, вставив трубку для дыхания. Время такого сеанса оговаривается заранее. Ну, и досрочно можно освободиться, знак “наверх” подав. Станный, жутковатый даже метод лечения, но ведь и резон какой-то в нем есть: полежи, подумай о жизни своей, о смерти своей неизбежной. Пустяки житейские от важного отдели толком. Предварительные итоги подведи. Многое там, в земле, может с душой человеческой случится. И плохого, и хорошего, целебного.

Погреб мы сделали за два примерно летних месяца – как песню спели. Работали втроем, мы с Андреем и сосед Виталий, прекрасный человек и работник умелый.

Обстоятельства нам благоприятствовали, словно кто-то говорил со стороны или сверху: давайте, давайте, мужики, нужное дело делаете. Рядом завод, начавший строиться и вскоре заброшенный, был, и мы оттуда всю железную “снасть”, для погреба и погребки необходимую, притащили. Многие в округе так делали и правильно – не пропадать же добру брошенному.

Потом машина кирпича красного нам как с неба свалилась случайно и в самый подходящий момент. Горячий еще был кирпич, прямо из печи, сквозь рукавицы жар его чувствовался. А еще потом дверь для погребки появилась и тоже ко времени. Роскошная дверь, филенчатая, полированная, для начальственного кабинета была бы как раз. Долго не мог к ней привыкнуть, все казалось – не по чину честь.

Что ж, громадная империя рухнула, и обломки ее подбирали кто как мог. Вот и к нам во двор какие-то ее крохи случайно попали...

В студенческих стройотрядах Андрей работал каменщиком, и это теперь пригодилось. И погреб он кирпичом выложил, и стены погребки поставил. Хорошо вышло и стоит все до сих пор, как штык, ни трещинки нигде. Можно гордиться.

Кирпичные стены погреба обмазывали смолой, расплавленной на костре. И так смола глубинно-черная бугрилась медлительно, тяжело и грозно, закипая, что делалось как-то не по себе. То штурм стен крепостных представлялся и вот такая же смола, на штурмующихся сверху льющаяся, то нечто совсем уж адское, на иконах, на лубочных картинках виденное. Даже дядюшка мой тимской Николай Панюков вспомнился. Встретив на улице своего начальника, с которым у него была долгая тяжба по поводу какой-то несправедливости, он говорил ему: “Котлы кипят!” Неплохо бы и сейчас эти слова на митингах выставлять для предостережения власть предержащим.

Очень тревожно, страшновато даже было, когда я в одиночестве (ребята мои отлучились куда-то) машину-бетоновозку встречал. Подъехала она, гро-

мадная, к краю погребка, стала “вертушку” медленно наклонять, я и оцепенел, и потом мгновенно покрылся. Хлынет, подумал, раствор на наш потолок погребной да его и проломит. Долго потом все это расхлебывать придется. Потолок, к счастью, выдержал, и чувство удовлетворения радостного вспыхнуло – хорошо сделали!

Да и во всей нашей стройке больше всего радости и было. И усилия потные были в радость, и отдых потом. Смеялись много, порой и до слез. Чай крепкий пили часто, и подавала нам его Ирина в окно, выходящее в палисадник с лавочкой. Прекрасные были чаепития, лучших, может, и не было никогда, а теперь уж и не будет...

* * *

Погреб и погребка, то есть сарай кирпичный над ним, получились такими большими, капитальными, что и не верилось – мы ли это все сделали, своими руками? И подумалось, что можно ведь и совершенно самостоятельно, автономно, если понадобится, выжить-прожить. Земли в овраге и вокруг сколько хочешь, “буржуйку” можно смастерить, дрова рядом в лесу и воду добыть можно. Прожили же матушка с тетушкой и мной, сопливим, всю войну в маленькой курской деревушке на полном самообеспечении! В мысли этой было что-то успокаивающее, гордое даже, но что-то и горчило, саднило, побаливало. Вот именно, что за державу обидно было – неужели и до этого докатимся?

Есть у Толстого в “Войне и мире” мысль, что победила Наполеона прежде всего не армия, а та русская барыня, которая, сказав, что она Бонапарту не слуга, взяла да из Москвы и уехала. Вот и тогда, в начале девяностых, прожили-выжили и потому, что всем миром на землю вышли с лопатами на плечах. Или, как написал мне друг детства Генка из-под Ленинграда – наперевес...

Вспоминаются эти тяжкие, в общем-то, годы с удивительной теплотой. Все вторичное, наносное, мелкотщеславное отодвинуто, отброшено было главным – продержаться, устоять. И отношения людские в моем пространстве наблюдения улучшились, потеплели. Семья сплотилась, соседи сдвинулись потесней. Все словно бы чувствовали подсознательно, что выживать надо не только поодиночке, но и всем миром. Чем-то это время первое послевоенное напоминало: ценностью, резко возросшей, хлеба насущного, одежды, твари обыденной, рабочего усилия потного, прямого. Весомостью слова доброго, приветливого и, самое, может, главное, надеждой. Верили, что еще немного, еще чуть-чуть и полегче станет. Продержимся, “перетерпим, перетрем”, как у Твардовского в “Василии Теркине” сказано.

А еще у того же Твардовского есть строчки о мечтах юности перед отъездом из дома в “большую” жизнь. О многом с другом мечтали, в частности “и о том, в каких мы брюках домой зайвимся п о т о м”. А я в свое время мечтал о велосипеде, а внук уже о машине, что каждый и получил в конце концов. Вот что тут было, в мечтах этих, ярче и важнее? Брюки, конечно. И оценка внутренняя, сокровенная богатства, бедности, нищеты даже громадный имеет разброс, до парадоксальности. Написал же Мандельштам: “В могучей бедности, в роскошной нищете живи, спокоен и утешен”. Напоминает чем-то Франциска Ассизского: “Бедные, алмазы божьи”.

Вообще, заметно было в лихие девяностые, что те, кто пережил войну и первое послевоенное, были как-то спокойнее. Знали, чувствовали по опыту, что жизнь, она всегда жизнь. В самой сути, в самой основе своей близкая, сходная и в бедности, и в богатстве. Не было бы только совсем уж грубого, мучительного голода-холода, но и тут варианты существуют. Помню рассказ покойного приятеля, замечательного художника Петра Петровича Козьмина о том, как он лежал на животе в болоте поздней осенью и вдруг счастье непонятное ощутил – а это, оказывается, минометы немецкие замолчали...

Улучшение жизни постепенное я заметил в повседневности по уменьшению количества съедаемого хлеба. И почти жаль его стало, как старинного, главного друга детства и молодости. Мое поколение институты кончало на бесplatном хлебе в студенческих столовых. Всегда можно было плотно поесть за две чайные копейки: сначала хлеба с горчицей, потом хлеба с чаем слад-

чайшим (сахар сыпался в стакан собственноручно). А если на три-четыре стакана раскошелиться, то можно было из столовой уйти, пошатываясь от сытости. Хлеб чаще всего бывал "орловский", серый такой и совершенно чудесный.

* * *

Что-то уж слишком благостным у меня все получается. Почти одни радости, а где же растерянность, страх, тоска, ужас даже порой – куда нас несет неудержимо и чем все это кончится?

Писал, как вспоминалось, а вспоминалось в основном именно хорошее, как оно, в общем-то, и быть должно. У памяти хороший вкус, есть такая поговорка. Да и тогда, в овраге, к тому, что получше, душа поворачивалась, чтобы выжить, уцелеть. Плохое перетерпываем, перемогаем, а за хорошее держимся, стоим на нем. На любви, коротко говоря. К миру, к людям, к самому себе в конце концов. Сказано: "Возлюби ближнего, как самого себя". Вот и сделай так, с себя начиная, все на свои законные места и станет. Понятно, что каждый грош приходилось тогда считать, а подойдет к тебе на улице мужичок замученный и так посмотрит, что и отдашь ему этот грош. И станет тебе самому полегче.

Кстати, тогда я чаще давал, чем теперь, хотя о грошах речь уже, в общем-то, давно не идет. Забогател, видно, зачерствел. По пословице: мозолистая рука таровата, а мягкая неподатлива. Вот мозолей-то у меня теперь уже и нет. Да и меньше их гораздо стало, просящих, и отношение к ним изменилось. Недавно высыпал мелочь в ладонь мужику раза в два меня моложе и слышу: "Вы кому же это даете?" Строго так, начальственно. Посмотрел – приличный господин, за дверцу хорошей машины держится, готовясь садиться. Развел я руками почти виновато – и он по-своему прав был, конечно.

А еще неловко как-то казалось о своих трудностях-горестях писать, потому что очень многим пришлось гораздо, гораздо труднее. Чего уж тут со своими соваться? Вполне средними они были, всеми, кто честно свой кусок хлеба зарабатывал, переживались.

О делах же социально-политических ничего не написал, потому что совершенно к этому не способен. До тошноты и отчаяния при попытке. Есть люди, которым такое дано, они о переломных-костоломных девяностых годах писали и еще напишут. Вот и дай им Бог получше написать и к правдистине поближе.

Лихие девяностые не то что научили, а напомнили хорошо знакомое с военно-послевоенных лет – жизнь, она всегда и всюду жизнь со всеми ее главными ценностями. И трудные времена эти главные ценности как раз и обнажают. В этом их благо великое.

Как-то услышал в троллейбусе: "Я муху свою берегу, что ты! Раз до девятого этажа долетела, пусть живет". Посмотрел – мужик пожилой, вида простецкого. Вот это ко всему живому любовь, позавидовать можно! Есть у Льва Толстого дневниково запись о том, что во всяком положении человек радость может найти, даже в тюремной одиночной камере: луч света, муха...

* * *

А что ж овраг? А овраг "пребывает вовеки", как и вся земля, по слову Эклизиаста. Пребывать-то пребывает, но и защищать его пришлось в конце девяностых. Объездную дорогу по нему проложить собрались впритык к нашей улице и рядом с больницей. Пришлось письмо протестное писать, подписи под ним собирать по ближнему народу и в пикете стоять утром у городской управы. Пикет был – мы с Андреем, внук Дмитрий и сосед Виталий. И плакатик мы держали такой жалкенский. Потом сочувствующие подошли, человека три-четыре, и девушка из городского радио. Постояли, постояли да и пошли восвояси.

А в овраге тем временем работа разворачивалась вовсю: технику пригнали, ручей начали спрямлять, землю овражную ворочать так и эдак. И вдруг все остановилось и исчезло – ни техники, ни людей. Остался на память лишь прямой, как стрела, кусок ручья и выровненное в этом месте, как стол, дно

оврага. Загадка для будущих жителей: откуда эта странная, не природная какая-то, ровность и прямизна?

Внезапное прекращение работ тоже осталось загадкой. Не пикет же наш подействовал — смешно и думать! А вот упоминание в письме об овражном пруде, периодически “уходящем” куда-то в землю, вполне могло подействовать. Карстовые явления, не шутка! Проверили да, глядишь, их и нашли. Как бы то ни было, но дорогу отодвинули метров на пятьсот в сторону, и овраг наш живет себе поживает по-прежнему. Только вот огородники из него ушли, осталась лишь баба Аня и сосед ее милиционер Вовка, как она его называет. Полицейский, по-теперешнему. Полезное соседство в смысле защиты от воров.

Бабу Аню встречаю время от времени в нашем околотке, останавливаемся словом перекинуться. И, кажется, что она почти не изменилась за эти годы многие. Вижу ее и в овраге во время прогулок, и работает она все так же, не разгибаясь. Понимаю, что не может такого быть, а вот есть же!

Иду недавно мимо нашего футбольного поля и слышу оклик дальний, зычный. А это баба Аня ко мне прямо через поле с играющими футболистами спешает.

— Что ж ты огурцы не взял? — кричит. — Я ж тебе и рисовала, где лежать будут!

— Так дождь же целый день был, — отвечаю виновато.

— Дождь, да... А, постой, постой!

Ставит сумки свои ветхие, возится в них суетливо.

— Ради бога, не надо!

— Ничего, возьмешь чесночка... Возьмешь, возьмешь!

И остаюсь я стоять с увесистым пучком чеснока в руках. Не едим мы его никогда, но ведь не откажешься! Баба Аня уходит торопливо, а я смотрю ей вслед так, будто старого боевого товарища этим взглядом провожаю...

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

ГОГОЛЬ БЕССМЕРТЕН

Юмор и гумор

Пришел товарищ на заседание серьезной организации. Вопрос повестки дня глубокомысленно обсуждался, каждый из выступающих о себе думал, или, точнее, мнил высоко. Каждый представлял из себя довольно своеобразный художественный тип. После заседания мы вышли, переглянулись и изрекли: **“Да, Пушкин наше все, но Гоголь бессмертен”**.

Велик, велик Николай Васильевич, не только в прошлом, но пронизательным взглядом пронизывал настоящее и, возможно, будущее. Архетип-то остался!

Юмор и гумор

Эти два слова стоят у меня в книжечке вместе, потому что одного смысла, но оттенки всё-таки есть. Юмор широк, разливист, может касаться всего. Иногда тоньше, иногда покрепче и “на грани”.

Гумор – хитроват, кажется более наивным, но столь же задирист и глубокомыслен, смешлив и поучителен.

Юмор – это по-украински гумор, а гумор – это по-русски юмор.

Два народа умели пошутить над собой, да и друг над другом, а уж если над ворогом, то пощады не давали. Чего только стоит одно письмо турецкому султану от запорожских казаков всех национальностей.

Вот и получал я этот и целебный нектар с цветков России и Украины, от хохлов и кацапов, чьи прозвища давно уже не царапались, а выражали больше задиристую насмешку. Украинцы и русские давно создали улыбчатый союз, а может даже всепобеждающий блок, что посильнее всякого НАТО.

В этой книжечке собраны выражения, высказывания, забавные истории и ситуации, с которыми мне лично удалось столкнуться, услышать, которыми делились со мной знакомые и близкие в школе, в университете, на комсомольской работе, в издательском деле, на державных дорогах власти, в писательских буднях, да и просто на отдыхе или на прогулке. Тут и мудрые высказывания стариков на ферме и провинциальных патриотов, вождей и людей, не претендующих на руководство. Рассказы с хитрым прищуром и наивная смешная простота, в которых я никого не хочу осмеять, а улыбнуться вместе с ними.

Обовязково обмануть...

В юности я пытался быть лектором, да и был таковым в ЦК комсомола Украины и в Николаевском обкоме комсомола. У меня в запасе было три лекции: отпечатанная одна об истории комсомола, вторая была о международ-

ном положении (это дело я любил) и третья, пользующаяся наибольшим успехом у девушек-доярок, когда приходилось выступать на фермах. Девушки задавали вопросы, каверзные для лектора: “А якщо вона (то есть другая) приходит и хлопця заманує? А це дружба називається?” Лектору приходилось выкручиваться, объяснять на классических примерах литературы. Но это не помогло. Дружба – дружбой, а любовь – любовью.

Старики, скотники и механизаторы усаживались плотно на первых рядах и хотели до глубокой сути разобраться в международных делах. А были они часто люди “подкованные” и бывалые. Служили раньше в армии, слушали политинформации, а некоторые даже воевали – так что “политику” знали и шагами измерили.

Помню, когда, приехав, объяснял очередную денежную реформу – хрущёвскую. Раньше, при Сталине, бывало всё ясно: цены понижают – хорошо, но мало. А тут реформа была связана с 10-кратным понижением цен и зарплаты. Вроде бы ясно: всем поровну и одинаково ниже. Я с комсомольским энтузиазмом объяснял это на очередной ферме. Сидевший на первом ряду, повернувший ко мне ухо дед недоверчиво покачивал головой. Я начал кипятился: ну, все объясняют нам в правительстве, что ясно, как десять к одному: если понизятся цены, то понизится и зарплата – всё станет дешевле в десять раз. Дед снял кепку, чтобы лучше слышать, но всё равно покачивал головой. Я начал сердиться, покраснел, размахивал руками, но дед, вздыхая, согласия на такую реформу не давал. Как будто кто-то его и спрашивал. Потом, видя, что я совсем удручён и расстроен, махнул рукой, встал и грустно, как бы наущая и жалея, мне сказал: “Ну, сынок, ладно, хай буде так, но не знаю де, не знаю як, но обманють! Обов'язково обманють! Вот это “обов'язково (обязательно) обмануть!” научило меня на всю жизнь, показало всю необязательность и обманность многих реформ. Не знаю де, не знаю як, но обманють! Обов'язково обманють!”

Наши дети крупнее

В 70-х годах во главе делегации советской молодёжи я поехал в США. В делегации были ребята из Грузии и Литвы, а также группа комсомольских активистов и журналистов из РСФСР. Советскими почему-то называли себя только русские ребята, а грузины гордо и громко произносили, что они грузины, а литовцы, правда, потише, что они литовцы. Русские, как и сегодня, затолканные в понятие “россияне”, не стеснялись, что они советские. В делегации была девушка из Иркутской области, секретарь комсомольской организации, строитель, кажется, даже на кране работала. Ну, в общем, из Иркутска тогда не так часто в США ездили, и я представляю, как её наставляли перед отъездом в обкоме комсомола, возможно, и в обком партии вызывали. Надя была девушка красивая, смотрела на мир уверенно. Везде, где мы побывали – на заводах, в комбинате питания, на стройке, в гостинице гордо говорила: “А у нас в Братске лучше, а у нас в Иркутске красивее”. Журналисты наши, народ ехидный, над ней подтрунивали. Я решил как-то её защитить, утихомирить насмешников. Сказал ей: “Знаешь, Надя, тут, в Америке, тоже что-то хорошее есть, ты присмотришься – может, полезное что-то или красивое”. Она подумала, согласилась вроде бы. В Чикаго мы были в муниципальном детском садике, разукрашенном, с массой игрушек, сменной одеждой, с невиданным количеством фломастеров (у нас они тогда только появились). Выходим, журналисты жмутся к Наде. Что скажет? Она подходит ко мне, минуя их, и громко говорит: “Валерий Николаевич, неплохой детский садик, неплохой, опрятный! Но вот что я Вам скажу...” Все напряглись. “Наши дети крупнее!”. Все задумались и хохотнули. Я же подошёл к ней и поцеловал.

В колхозе должен быть порядок

В 1990 году я в составе делегации Союза писателей России был на декаде русской литературы на Ставропольщине. В переполненном зале вышел и рассказал о книжке “Адмирал Ушаков”, которая вышла в серии ЖЗЛ. Зал внимательно слушал, но видно было, что аудиторию волновали проходящие перемены, разрушающая перестройка, и я вспомнил недавно рассказанную историю.

Вся страна знала известного председателя колхоза с Одесщины Макара Посмитного, дважды Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета.

Он неоднократно бывал за границей, человек был авторитетный, и вот недавно его взяли в составе делегации Верховного Совета в Англию. Пригласили в ЦК, рассказали о наших связях, о британских делах. С докладом в Англию Посмитный не выступал. Но англичане пригласили его на Би-би-си, и корреспондент с ехидной улыбочкой задал первый вопрос Посмитному: “Скажите, пожалуйста, господин Макар Посмитный, как у Вас относятся к демократии?” Макар Иванович погладил усы и спокойно и рассудительно ответил: “Демократия – це дело хорошее. Демократию мы любим и уважаем, – потом подумал, что-то вспомнил, ударил кулаком по столу и ответил, – но у себя в колгоспи я люблю порядок!”

Аудитория в Ставрополе взорвалась аплодисментами, всем в области, недавно возглавляемой Михаилом Горбачёвым, хотелось порядка. Но он так и не наступил. А в союзном колгоспи (колхозе), конечно, рядом с уважаемой демократией должен быть порядок.

Стриптиз на удочку

Югославия. 1962 год. Приглашён в город Дубровник на совместный югославо-американо-русский семинар о международных делах. Сделал чёткий доклад о нашем миролюбии, предварительно показав его в КМО (Комитет молодёжных организаций). Сходил днём на пляж, надел, к некоторому удивлению американцев, плавки с завязывающимися сбоку тесёмками. А у американских коллег были какие-то космические одёжки. Ну, да ладно, и в наших плавках в глубину Адриатики нырять можно. Вечером югославский руководитель Союза студентов (а я шёл по разряду студентов МГУ) пригласил проехать по ночному Дубровнику. Я с осторожностью согласился. Отношения с Югославией налаживались, но не всё ещё было ясно. Известен был анекдот того времени о том, как едут Хрущёв, Кеннеди и Тито по дороге. Кеннеди включает правый поворот и поворачивает направо. Хрущёв включает левый поворот и поворачивает налево, а Тито включает левый поворот, а поворачивает направо. В общем, мы не знали тогда, куда поворачивает Югославия, хотя и сами неизвестно куда рулили. Студенческий лидер, однако, был довольно гостеприимным и дружелюбным, завёл в один бар, где играл оркестр, во второй, где выступала какая-то шоу-группа, а потом спросил: “Хотите посмотреть стриптиз?” Честно говоря, я не знал, что это такое, а спрашивать не хотелось. Кивнул неуверенно головой. В полутёмном зале нам принесли джин с тоником. Заиграла музыка. Вышла девушка и неожиданно для нас стала раздеваться. Да и не вульгарно, а подавая удочку, чтобы посетитель снял крючком ту или иную одёжку. Вот уже кофточка снята, вот юбочка, кто-то зацепил за бюстгалтер. И вот, грациозно приплясывая, она направляется к нашему столику. В голове пронеслось: завтра зловредная югославская “Борба” или, ещё хуже, “Политика” даст фотографию, как советский студент раздевает ночную диву в кабаке. Это было ужасно! А она действительно подходит к нашему столику и протягивает мне удочку – снимай. У меня оказалась блестящая реакция, я сказал: “Ну, хозяева это умеют делать лучше нас”, – и протянул удочку студенческому лидеру, который спокойно и неторопливо снял удочкой трусики. Бокал с джином я поспешно выпил. Фотография советского студента в югославской “Борбе” не появилась, а на стриптиз я больше не ходил.

Не с той стороны

Марина Журавлёва, секретарь комсомола, симпатичная женщина, одевающаяся со вкусом и по современным тогда меркам, приехала в студенческий Харьков, ибо она отвечала в комсомоле за студентов. После походов в вузы и встреч обкомовцы вывезли Марину на берег Донца, где зажгли костёрчик, ожидая уху. Марина сидела с ними в коротенькой юбочке, колени её, естественно, обнажились, и на одно из них сел комарик. Простодушный и довольно услужливый секретарь по работе с сельской молодёжью закарпатец Вася Ярошевец развернулся и довольно увесисто хлопнул по коленке, пошутив при этом: “У нас кажутъ: видкиля комар прилетив, то оттуда и жених буде”. На ко-

ленке лежал прибитый комар, да виднелось красное пятно от Васиного шлепка. Марина, интеллигентная ленинградка, сначала опешила, а потом сказала: “Я очень рада, Василий, что комар не с вашей стороны прилетел”. А Вася потом долго повторял: “Вот эти ленинградки, с ними и пошутить нельзя”. После этого визита Марина к харьковчанам больше не ездила.

Наши боги сильнейше...

В издательстве “Молодая гвардия” публиковалось много интересных людей с яркими биографиями. Вот пришла к нам известная ещё до войны Мария Демченко. Она была известной свекловодкой, получившей 500 центнеров с гектара. За это Сталин лично вручил ей орден Ленина. А случай она рассказала поучительный. Получив орден, она приехала в село и сказала родителям: снимайте икону и вешайте портрет Косиора (был такой первый секретарь ЦК компартии Украины). Косиора повесили. Через год его арестовали. Батяка с вопросом посмотрел на дочь. Мария неуверенно сказала: “Давай повесим туда портрет Постышева, который стал первым секретарём ЦК компартии Украины”. Через год Постышева тоже арестовали и расстреляли. Отец вздохнул, пошёл в чулан, достал икону, не злорадствуя, повесил вместо Постышева и негромко сказал: “**Ни, дочка, наши Боги сильнейше**”.

Ценку эту Мария в книжку не вставила, но слова народные – “**наши Боги сильнейше**” – были убедительны.

Маршал на коленях

Из Николаева меня послали на конференцию Одесского военного округа. Командующим там был генерал армии Бабаджанян. Он выступил перед комсомольцами и встретился с нами, представителями областей, входящих в округ. Так мы и познакомились. Вскоре он стал маршалом. Я предложил ему написать книгу о войне. Маршал писал с энтузиазмом, приезжал в издательство. Это было событие: не каждый день в издательстве был маршал, хотя и бывали. Он зашёл ко мне в кабинет, рассказал, как пишется, и заметил, что я держусь за поясницу, участливо спросил: “Что, болит? А ты знаешь, как вылечить? Смотри!” Маршал встал на колени, сразу поднялся, потом ещё раз встал на колени. И тут открылась дверь, и вошёл наш боевой фотограф Михаил Харлампиев и, как всегда, с фотоаппаратом. Сразу же сделал щелчок и вот – потрясающее фото: маршал на коленях перед издателем. Бабаджанян не спеша встал и показал кулак. “Если фото появится – танки в издательство введу”. Михаил был фронтовиком, твёрдость и непоколебимость танкистов знал, поэтому сказал: “Засвечиваю, товарищ маршал”, – и щелкнул объективом. И уже выходя, сказал: “Я бы эту фотографию за миллион рублей продал”. Маршал хохотнул: “Я бы и сам за миллион продал”.

Муж принял это сообщение с пониманием

В отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ мы собирались после больших поездок и обсуждали итоги. Я гордился, что по моей записке, направленной в ЦК партии, город Комсомольск-на-Амуре был награждён орденом. Это было событие, но я не мог поехать. В эти дни была встреча молодых писателей в Вешенской у Шолохова, которую я организовал. Туда приехал наш инструктор Слава Гурьев, создатель целого ряда афоризмов. Он доложил, как прошёл праздник, какое было веселье и радость, какой яркий был фестиваль, но от выстрела ракеты, которая упала в толпу, погибла женщина. Повисла гнетущая тишина. Люся Милянчикова с ужасом спросила: “А как муж?” Слава помолчал и, подбирая слова, сказал: “**Муж отнёсся к этому с пониманием**”. Ну, в общем, и смех, и грех. А Слава прослыл женоненавистником, хотя и женщина, как выяснилось позднее, выжила.

По газонам не ходить

В санатории Красиво на Белгородчине всё сверкает и сияет, цветёт и пахнет. По территории гуляют яки, антилопы, пони, есть даже два медведя. В прудах плавают лебеди, гуси, утки. На ветках и в клетках сидят фазаны, павлины,

куропатки, сверху, со своего роста, на них глядят страусы. Да, в общем, чего и кого тут только нет.

Когда мне звонят из Москвы и спрашивают: какой курс лечения я принимаю, то, в зависимости от времени года, говорю: “Прохожу курс тюльпанотерапии, розовые воздушные ванны или рябиновые успокаивающие капельницы”. Человек необычайной и во все проникающей энергии, генеральный директор этого райского хозяйства, где несколько лечебных корпусов, масса медицинских кабинетов и сверхвежливый, красивый и заботливый персонал, Галина Дмитриевна Черкашина – заботница от Бога и губернатора Савченко, который только приговаривает ей: “Смотри, только не хуже, чем в Швейцарии, обойди по услугам Испанию, дай фору Сочи и Ялте”. И каждый год в санатории что-то прибавляется: и зимний сад, и корпус для научных конференций, банный комплекс на берегу речки Псел и блистательный аквапарк, и новые пруды, и водоёмы, виноградные поля и клубничные плантации. В общем, чего тут только нет. Народ не успевает следить за новациями.

Решили там в потаенных местах выставить всякого рода фигуры. Так встала на клумбе в окружении приземистых кустов фигура Венеры Милосской. Ну, не оригинал, конечно, но довольно приличная копия. Уборщица, которая убиралась вдоль дорожек парка, ещё вчера фигуру не видела и настойчиво предложила ей покинуть клумбу. Та, естественно, продолжала стоять. Уборщица решительно потребовала уйти с клумбы, а потом воскликнула: **“Вы же знаете, женщина, что по газонам ходить нельзя!”** Стоявший рядом народ захотал, а тётушка, наконец, увидела, что это скульптура, махнула рукой и сказала: “Всё равно по газонам ходить нельзя”.

А у Вас гирише...

Приехав из Москвы, приветствую в Киеве моего друга Бориса Олейника в связи с 60-летием в актовом зале “Украина”. Годы напряжённые, с одной стороны, резко выступают “свидоминезалежники”, с другой – “отпетые патриоты”, а плоды народного труда делят “новые русские” и “новіукраїнці”, но в основном, “старые евреи”.

Я начинаю слово: “Приветствую Вас, Борис Ильич, от секретарей Союза писателей России – Бондаренко, Дорошенко, Барановой-Гонченко...”. В зале смех: вот на каких ресурсах человеческих живут москали. Я продолжаю: “А также от Юрия Бондарева, Михаила Алексеева. Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Карпова, Петра Проскурина...” В зале аплодисменты.

* * *

На фуршете Борис Олейник благодарит: “Я тебе бажаю счастья, Валера, повной хаты, добрых людей и щоб сала було богато... – потом хитро прищурился и закончил, – но я же хохол и хай у мене буде теж все це, но трошки бильше”. Хохочем. Я отомстил: “Вот ко мне недавно позвонил Миша Шевченко (секретарь письменников Украины) и спросил: “Ну, як там у вас в Москви?” – “Плохо, Миша, плохо”. – “Ой, тай у нас погано. А як влада?” – “Да, какая там власть, бандиты с большой дороги!” – “Ой, тай у нас теж саме! А як президент?” (Ельцин недавно расстрелял парламент, в стране олигархический разбой.) Я говорю: “Хуже некуда” – “Ой, и у нас такой же!” Потом помолчал и сказал: **“Ни, у вас ще гирише”**. Всё-таки патриот Украины Миша. Посмеялись тоже.

ИСТОРИИ ПРО СТАЛИНА

Засядько норму знает...

Нашим автором в “Молодой гвардии” был светлый и весёлый поэт Феликс Чуев. Отец у него был лётчиком, погибшим во время войны, и Феликс был влюблён в авиацию. Но главная его и бесстрашная любовь в те времена была любовь к Сталину и как руководителю государства, и как человеку великих масштабов, и как рачительному и внимательному человеку, и как экономисту и философу, и как хозяину и человеку техники, науки, культуры. Он мог гово-

рять о нём часами, подвергаясь осмеянию, оплевыванию и даже общественному порицанию. В этой любви и восхищении ничто не могло его остановить. Он знал все факты биографии, встречался с военными, изобретателями, государственными деятелями, бескомпромиссно выступал с опровержениями антисталинских высказываний, хотя зачастую у него не хватало, да и не могло быть исчерпывающих аргументов. Он записал тогда беседы с Молотовым, Кагановичем, Головановым, маршалом Рокоссовским и многими выдающимися людьми сталинской эпохи. Сейчас это бесценные документы. Но ещё он был неистощимым балагуром, знавшим много придуманных и истинных историй и анекдотов о Сталине. Мне запомнились, по крайней мере, три из этих историй. Феликс рассказывал:

— Это было до войны. Одна из шахт в Донбассе постоянно давала план или даже превышала его. Сталин попросил вызвать директора этой шахты. Прибыл гигантского вида шахтёр, который и организовал эту работу. Это был Засядько. Сталин расспросил его обо всём, а потом задал вопрос: “Товарищ Засядько, а вы водку пьёте?” Тот ответил: “Конечно, пью”. — “А стакан можете выпить?” — “Могу”. — “Наливайте”. Засядько налил и выпил. “А второй можете выпить?” — “Могу и второй”. — “Наливайте и пейте”. Засядько выпил. “А третий можете выпить?” Засядько вытер губы и сказал: **“Нет, Засядько норму знает”**. Сталин отпустил его, а через несколько месяцев предложил назначить наркомом угольной промышленности.

На Политбюро произошло обсуждение. Каганович сказал: “Засядько же крепко выпивает”. Но Сталин возразил: “Нет, товарищи, Засядько норму знает”.

Ну и шуточки...

Вторую историю не знаешь, куда отнести: то ли к шуткам, то ли к издевательствам. Носенко во время войны возглавлял один из оборонных комитетов. Однажды, находясь в Кремле в 1943 году, он увидел Сталина, который проходил мимо и сказал ему: “Носенко, а ты ещё не сидишь?” Носенко пришёл домой, ничего не сказал жене, но попросил подсушить сухари, приготовить смену белья и положить всё в чемоданчик. Проходит месяц, два, полгода. Носенко снова в Кремле в 1944 году, получает задание и слышит снова реплику Сталина: “Носенко, а ты до сих пор не в тюрьме?” Бедный Носенко пришёл домой чёрный, перепроверил чемоданчик — там всё было готово, как и прежде. Месяц, два, пять. Победа. На заседании Политбюро Сталин всех поздравляет, благодарит за работу и, обращаясь к Носенко, говорит: **“И мы ещё находили время для шуток, так, товарищ Носенко?”**

Ну и шуточки, после которых надо было сушить сухари. И Феликс зарзательно смеялся.

А Варшава была

В 1945 году в Москву из Лондона приехала делегация с эмигрантским польским премьером Миколайчиком. Надо было определить новую границу по так называемой линии Керзона, установленной после Первой мировой войны. Миколайчик кипятился, требовал установить границу по линии 1939 года. Сталин был спокоен: советские войска не только освободили Польшу, но вели наступление на Берлин. Западные земли Украины и Белоруссии, конечно, отошли Советскому Союзу (о чём надо постоянно напоминать бандеровцам и западенцам, чьи войска участвовали в борьбе с нашей армией). Миколайчик воззвал: “Отдайте нам Львов! Он ведь никогда не был русским городом” (он был в подчинении Австро-Венгрии). Сталин спокойно выслушал его и сказал, раскуривая свою трубку: **“Львов не был, а Варшава была”**. Возражать было бессмысленно. Вот эта державность и привлекала Феликса.

Загадочное и таинственное слово

В 1929 году, как рассказывал мне один застарелый украинофоб, секретарь ЦИК Украины Скрынник решил начать украинизацию населения, которое, как и сейчас, в большинстве своём говорило по-русски. Он обратился к “Всесоюзному старосте”, Председателю ВЦИК СССР Михаилу Ивановичу Калинину с просьбой выделить средства на эту кампанию. Калинин спросил: “Сколь-

ко тебе надо, ведь у нас идёт усиленная индустриализация?”. Скрынник сказал, что надо один миллион золотом. Калинин всплеснул руками: “Да ты что? Скажи, как по-украински будет голова?” — “Голова”. — “А рука?” — “Рука”. — “А нога?” — “Нога”. — “А спина?” — “Также спина”. — “А жопа?” — “Так жопа будет срака”. — “Так что, я тебе на сраку один миллион должен дать? Нет, давай будем проводить индустриализацию”.

* * *

Действительно, с этим словом какие-то странности. Учительница спрашивает:

- Назовите дети слово на букву “ж”. Ты, Леночка.
 - Жук, Мария Ивановна.
 - Правильно. А ты, Вася.
 - Железо.
 - Ну, тоже правильно.
 - А ты, Вовочка, только без фокусов.
 - Жопа.
 - Ну, Вовочка, такого же слова нету.
 - Как же так, Мария Ивановна, жопа есть, а слова нет?
- Да, дети ставят иногда в тупик своими вопросами.

* * *

Мария Ивановна говорит: “Сегодня, дети, мы будем объяснять слова. Вот что такое катастрофа? Скажи, Наденька”. — “Мария Ивановна, катастрофа — это когда два козлика идут по брёвнышку, бьют друг друга рожками и падают в воду. Это катастрофа”.

— Нет, Наденька, это **беда, а не катастрофа**, а катастрофа, когда летит самолёт, там сидят богатые люди, олигархи, самолёт взрывается и падает, а богатые люди погибают. Это катастрофа. Скажи, Наденька, что такое катастрофа?

— Ну, катастрофа — это когда богатые люди летят на самолёте, он взрывается, они падают и погибают. Это катастрофа. Но это не беда, а беда, когда два козлика идут по брёвнышку, бьют друг друга рожками и падают в воду.

Такова детская логика...

Не примем... Очень умный...

Приём в члены Союза писателей — процесс непростой. Нужна книга, или две, три рекомендации от членов Союза, решение общего собрания и утверждение Центральной приёмной комиссией.

Однажды я находился в Туле на прекрасном Толстовском празднике. Очень содержательный доклад сделал завкафедрой университета, потом я узнал, что у него почти десять книг по литературоведению. Я потихоньку спросил у ответственного секретаря писательской организации: “По-моему, интересный литератор, писучий, с мыслями, принимать в Союз надо”. Пахомов, серьёзный и многоопытный секретарь Союза, помотал головой и твёрдо ответил: “Нет, не примут наши”. — “Почему?” — “Очень умный”. Такой вердикт не так редко встречается у наших коллег. Ум для многих опасен.

Пушкин — якутский писатель

В Советском Союзе была блестящая школа переводчиков, которые русских писателей делали близкими, понятными и родными для народов страны.

На одном из пленумов Союза писателей прекрасный народный писатель Якутии Николай Лугинов, лауреат многих общероссийских и республиканских премий, пишущий на якутском и русском языках, сказал: “Я жил в улусе и до третьего класса считал, что Пушкин — якут и якутский писатель”. Так можно превосходно перевести и сделать Пушкина якутским народным писателем! Слава советским переводчикам! Где они?

“Всё потеряем...”

На улице Грановского привилегированная больница. Там лечатся депутаты Верховного Совета, члены ЦК, Герои Советского Союза, министры и их заместители. Я попал туда с приступом желчекаменной болезни как главный редактор “Комсомольской правды”. Лечат, как везде, но более внимательно. Родственников в определённое время пускают. Но вот к одному замминистру запустили жену во внеурочное время. Она зашла в палату, а там мужёнок развлекается с медсестрой. Та выскользнула, а жена, недолго думая, схватила тапочки и стала бить мужа и кричать: “Ну, гад, я тебе суп принесла, а ты тут амурничаешь”. Потом выгнала его тапком в коридор, добавляла довольно громкую ругань. Муж бегал по коридору, уклонялся от тапок и уговаривал жену: “Тише, тише, Маша, **всё потеряем**. Всё потеряем, дорогая!” Не знаю, потерял ли он “всё”, или крики жены не услышали, и он продолжал работать в том же качестве, но опасение – “всё потеряем” многих высокопоставленных особ заставляло умирять свои вожделения.

“А москаль спивает...”

В Крыму в 1999 году отмечали 200-летие Пушкина. Приехала представительная украинская делегация писателей. Во главе Дмитро Павлычко, Иван Драч, секретари писательских организаций.

С Павлычко давно знакомы. В новой Украине фигура заметная, представитель власти. Напоминаю: “А помнишь, тебя издали в “Библиотечке избранной лирики” “Молодой гвардии” 500-тысячным тиражом?” – “О то была казка!” Я напоминаю, что всё сейчас развалили. Он разводит руками. Возлагаем цветы в Ялте у памятников Пушкину, Лесе Украинке, Богдановичу (классик белорусской литературы). Делегация из Белоруссии приехала. И пошли ещё к не очень известному, но яркому украинскому писателю, переводчику, поэту Степану Руданскому, написавшему изумительную, печальную и с надеждой песню “Повій, вітре, **на Україну**” (хотелось бы напомнить выправителям украинской мовы, что Тарас Шевченко также писал “**на Україні** милой” (як умру, то поховайте) и тоже не чурался предлога “на”). Павлычко величественно сказал: “Ось цю пісню і виконаєм. Оксана (красавица из Винницы), заспівай, всі разом”.

Все запели, и я с ними, ибо у нас дома и в Николаеве, и в Киеве, и в Москве Светлана и все мы эту песню пели и любили. С первым куплетом было всё в порядке – все знали. Второй пропела одна Оксана, а третий – не помнила и она. Пел один я. В стороне стоял и корчился от смеха Владимир Казарин, зам. главы правительства Крыма, великий славянофил и утвердитель братства русских и украинцев. “Ты чего?” – спросили у него. “Так **хохлы молчать, а москаль спивает!**”. Да, так бывает, но чаще второй куплет “большие патриоты” не знают и у нас.

Футбол – партийный вид спорта

Под своё начало в обкоме комсомола я получил политпрос, художественную самодеятельность, комсомольские патрульные дружины, правонарушителей, хоровые коллективы, студентов и спорт. Надо было везде побывать, познакомиться с ребятами, поговорить, узнать о проблемах. Мои соседи по общежитию Вена и Витя подзуживали: “Ну, что так плохо играет “Судостроитель”?” Особенно их задевало, что он проигрывает одесскому “Черноморцу”. Дошла очередь и до “Судостроителя”. Пришёл в раздевалку, стал укорять ребят, говорил о патриотизме, напомнил, что Николаев возник на несколько лет раньше Одессы. Да и вообще, надо помнить о комсомольской ответственности перед городом. Футболисты молчали, с некоторым удивлением поглядывая на посланца комсомола. Тренер куда-то вышел во время моих филиппик, я попрощался с каждым за руку и приехал в обком комсомола. Там ждал нагоняй от Василия Немятого, первого секретаря: “Тебя кто туда посылал? Вот звонил уже секретарь обкома партии Момотенко, на тебя уже тренер пожаловался. Он сам футбол контролирует. **Запомни: футбол – партийный вид спорта**”.

Чтобы лучше была...

Моя дочь уже давно взрослая, всё умеет, но каждый раз повторяет: “Вот, как мама учила”. Она уже готовит лучше мамы, украшает дом не хуже, собирает все мои разбросанные записки, классифицирует их, как Света, но каждый раз повторяет: “Вот, как мама учила”. Это хорошо, конечно, думаю, когда это в ней появилось? Да, всегда было. Помню, когда она вышла погулять после небольшой взбучки и встретила такую же восьмилетнюю, как она, Ленку Попцову, и та сразу предложила ей какую-то игру, Марина раздумывала. Тогда Ленка спросила: “Тебя когда-нибудь мама наказывает?” Маринка вздохнула и призналась: “Да, наказывает”. Ленка победоносно на неё посмотрела и сказала: “А меня не наказывает”. Марина подумала и, чтобы не оставлять впечатление о жестокостях родителей, ответила: “А знаешь, почему она меня наказывает?” – “Почему?” – “Да чтобы я лучше была...” Эту фразу наши семьи взяли на вооружение: “наказывает, чтобы лучше была”.

Последний хохол империи

После смерти Сергея Лыкошина самым верным и последовательным бойцом святой Руси в аппарате Союза писателей России остался Сергей Иванович Котьяло. Он прошёл постижение литературы русской и мировой сам, в Литературном институте, в журналах “Молодая гвардия” и “Дружба”. Периодически за строптивый характер и служение правде изгонялся из разных мест, работал строителем, восстанавливал Данилов монастырь и другие русские святыни. Обладает феноменальной памятью, знает наизусть многие духовные тексты и русскую классику. Спорить с ним было нелегко – он оперировал точными знаниями и книгами. И ещё он был яростным борцом за святую Русь – Россию, Украину, Белоруссию. Тут не было пощады “высокоумным патриотам”, “свидомым украинцам”, латинизированным белорусам. В российских СМИ нередко провоцировалось великорусское чванство, пренебрежение – “куда они денутся”, в ющенковских “самостийных кругах” стоял истошный вопль о европейском пути Украины, в худосочных последователях Беловежской Пути в Белоруссии усиленно вытаскивали польскую шляхту, выдавая её за белорусскую (вековечно измывавшуюся над белорусами). Это было горько и обидно. Надо было снова соединять восточных славян, давать им единое знамя. И оно было, о нём сказал в своих триумфальных поездках на Украину и Белоруссию Патриарх Кирилл – единая святая Русь. Для Котьяло это цель жизни, его дух. Он вместе с нами мотается по Украине, где создаются дружественные писательские организации, находит пишущих людей, которые укрепляют эту дружбу, принимают участие в создании единого русско-белорусского Союза писателей, резко обрывает хулителей этого объединения. В этом направлении работает созданное им общественное объединение “ИХТИОС”, журнал “Новая книга России”.

Мало ли что становится при его участии фактом нашей дружбы, деятельности и мысли... Почти незлобливо, по-доброму он получил прозвище, а скорее, звание – “**Последний хохол империи**”. Думаем, что не последний, и не только хохол, а русский и белорус, и не только империи, а всего Союза и объединения.

Даст Бог нам всем следовать этому пути.

К чёму цэ?

Мать Сергея Котьяло прошла всю советскую жизнь – воин Отечественной войны, колхозница, бригадир, агроном колхоза, в перестроечные годы была на пенсии. Внимательно слушала радио из Москвы и Киева, смотрела телевизионные политические передачи. Вслушивалась в путаницу и красно-речие слов, в кудые мысли и противоречивые фразы. Потом вздыхала и говорила как бы себе: “К чёму цэ? (К чему это?)” Да, действительно, всё больше было путаников, безответственных политиков, экономистов, философов, чьи речи были бездумны и запутанны. Действительно, “**к чёму цэ?**”. Обилие болтовни, пошлости, вранья. Однако эфир и СМИ полнятся.

Диссертация по Блоку

Когда я был в гостях у композитора Георгия Свиридова, с которым мы очень дружили, он стал увлечённо рассказывать о стихах Блока, декламировать их, вспоминать, где и когда Блок их написал, под каким влиянием или впечатлением. Много услышал впервые. Я с изумлением сказал: “Георгий Васильевич, дак Вы запросто можете защитить диссертацию по Блоку и его творчеству. Такие знания!” Эльза Густавовна (его жена) всплеснула руками: “Да разве по Блоку только? Послушайте, как он рассказывает о Есенине, о Фете. А по Пушкину он давно уже академик”. Да, Георгий Васильевич был “литературный” композитор, знал творчество поэтов, их страсти, их мысли, наполнял их звуками.

И что радостно – он знал и любил современных поэтов и писателей, а мы (Распутин, Крупин, Костров, Куняев, Астафьев) бывали на его концертах и в гостях. Он и сам любил приходить в Союз писателей России. “Мне здесь тепло и уютно”, – говорил Георгий Васильевич.

Останний раз пишу...

На Украине выходил чудесный юмористический журнал “Перец”. Его главным редактором был известный по всей республике юморист, байкар (баснописец) и острослов Степан Олейник. Но вот был у него один грех – он не сдерживал себя и ругался, нередко и на своих работников. Те осерчали и написали в ЦК партии (вот чем иногда приходилось заниматься высшему органу коммунистов). Там состоялся секретариат, Степану сделали выволочку и даже, говорят, вынесли догану (выговор). Степан возвратился с секретариата чернее тучи. Сослуживцы смотрят, как себя поведёт Главный. Он молча потребовал все материалы в номер. Читает, хватает красный карандаш и на первой корреспонденции размашисто пишет: “Гимно! останний раз пишу, но гимно!” Не знаю, писал ли ещё “останний” (последний раз) Степан Олейник, но сослуживцы больше в ЦК не жаловались.

Какая Вы сегодня длинноногая!

Василий Дмитриевич Захарченко, блистательный (и по внешности, и по обхождению) человек поучал меня: “Валера, говори людям побольше хороших слов. Женщин засыпай комплиментами”. Когда я говорил, что комплимент сразу не придумашь, он отвечивал: “А ты не придумывай, а скажи ей сразу с утра: “Какая вы сегодня длинноногая” – и она будет довольна и рада”.

Вместе со всем народом

В начале встречи команданте Уго Чавеса с митрополитом Кириллом, бывшим тогда руководителем Отдела внешних отношений Патриархии, в Каракасе (митрополит совершал поездку по приходам Русской Православной Церкви в Латинской Америке) произошел интересный диалог, как рассказал мне присутствовавший при этом человек. Команданте протянул руки, выходя из-за стола, и, приветствуя митрополита, громко сказал: “Приветствую Вас. Мне только что звонил Фидель Кастро, который три часа беседовал с Вами, он сказал мне: “Ты сейчас будешь беседовать с самым умным человеком планеты. Наши кардиналы, – сказал мне Фидель, – чего-то не понимают”. И дальше полушутя-полусерьезно сказал: “Товарищ митрополит, примите меня в Православие!” Митрополит в том же духе ответил Уго Чавесу: “Да, но только вместе со всем народом”.

А зачем мне это нужно?

В советские времена каждый год проводилась Неделя детской книги, которая открывалась в Колонном зале Дома Союзов. Торжественно, шумно, весело. Агнию Барто окружили первоклассники, к ней протягивали книжки, блокнотики, приглашения, чтобы она расписалась, дала свой автограф. Энергичная девочка, расталкивая других, прорвалась к Агнии Львовне, про-

тянула бумажку, та расписалась, автограф был получен. Девочка отошла в сторонку, долго рассматривала надпись, потом так же энергично прорвалась к Барто и требовательно спросила: “Тетя, а зачем мне это нужно?” Агния Львовна пожала плечами, не знала, что и ответить. Да на такой вопрос ответить нелегко.

Основной и постоянный закон социализма

В Киевском университете у нас “философы”, то есть студенты философского факультета, считались самыми мудрыми. Иван Жмыря к тому же был старше нас, историков, на один курс и говорил афоризмами. Ажиотаж вокруг сталинской работы “Экономические проблемы социализма в СССР” уже спадал. Но Ваня поучительно обращался к нам: “Ты знаешь основной постоянный закон социализма?” В ответ на наше неопределенное молчание вздыхал, удивляясь нашей отсталости, провозглашал: “Основной и постоянный закон социализма это закон о временных недостатках!” Ошарашив своим знанием, оставлял нас при размышлении, то ли он шутит, то ли смеется над нами, то ли знает политэкономии лучше.

Исторический и придуманный герой

В 1995 году я попал на неделю в Анапу, там отдыхал в одном из домиков строительного треста. Я сидел в тени и писал своего “Ушакова”, а вечером рядом веселились крепкие и здоровые мужики, наверное, казаки.

Один из них подошел и дружелюбно спросил: “Ты что делаешь? Ты кто?” Я ответил, что писатель. Он вытащил меня к столу, где находился весь “букет отдыхающего”: светлая, на травках, ну и все кавказские вина. “Ты что написал?” Объясняю: историческое повествование “Росс непобедимый”. Про век XVIII, про южное морское окно России в Европу, Азию и Африку и о том, как Екатерина переселяла черноморских казаков на Кубань. Там вообще много исторических лиц: князь Потемкин, Суворов, Ушаков, писарь войска запорожского, который и привел казаков сюда, фамилия его Головатый.

“Постой, постой, – вскричал один. – Я и есть праправнук того Головатого”. – “А ну покажи паспорт”, – потребовал я. Какая художественная радость обнаружить потомков своего героя. Стакан “Кубанской”, конечно, выпили. Но потом я добавил, что у меня там не только исторические реальные герои, но и художественно придуманные обобщенные мной образы. Вот, например, казак Щербань, что следует по всем страницам. “Постой, постой, – вскричал второй. – Какой я выдуманный. Моя фамилия Щербань, и я тоже из казаков”. Не без недоверия я попросил и его показать паспорт. Да – Щербань! Конечно, закрепили это событие, а на следующий день реальные и художественно придуманные герои меня провожали, как будто я побрызгал их живой водой.

Хотели как лучше... чего?

Виктор Степанович Черномырдин – та политическая фигура, вокруг которой немало высказываний, причем самого разнообразного свойства. Мы же сегодня вспоминаем его качество подлинного словотворца, неученого лингвиста, выдающего в свет неожиданные высказывания, порой становившиеся пословицами.

Чего стоит его знаменитое изречение: “Хотели, как лучше, а получилось, как всегда”; “Лучше водки хуже нет”; “У нас в стране какие партии ни создавай, все – КПСС”; “Здесь вам не тут”; “Вот тут за телеканалы борются два еврея, а какая в них разница?..”.

Особо он любил обозначить казачье начало в предмете. Ведь он был из рода оренбургских казаков. Поэтому, когда создавался Шолоховский комитет, В. Черномырдина пригласили вместе с М. Алексеевым, В. Ганичевым, Ф. Кузнецовым возглавить его. Он с какой-то юношеской энергией воспринял это и выпустил (за свой счет) стотысячный “Тихий Дон”, участвовал в выпуске первого и второго рукописных томов после многолетних и, возможно, умышленных потерь последних. Множество журналистов было у нас в Союзе писателей России, когда тома представили публике. Виктор Степанович выступил, в общем, как шолоховед.

Но речь все-таки не об этом. После избрания Предсовмином он осторожно вел поиск тех людей, которые умели работать, а не только громить предыдущие времена. Одним из таких людей стал Виктор Поляничко, которого я знал и с которым дружил более тридцати лет. Виктор работал в Челябинске, потом в ЦК ВЛКСМ, секретарем Оренбургского обкома партии, в секторах отдела пропаганды ЦК партии. Оттуда его послали в Афганистан, где он стал консультантом у Президента Наджибуллы. Здоровый, крепкий, он был под стать этому лидеру афганской революции, которого предало политическое руководство нашей страны того периода.

Поляничко был в Афганистане до последнего. Был отозван, уехал, его избрали секретарем компартии Азербайджана, где уже начали греметь выстрелы Нагорного Карабаха, начались погромы, а там и Советский Союз распался. Он возвратился в Москву, занимался наукой, пробовал себя в коммерции, но душа не лежала. Тут и последовало предложение Черномырдина: стать представителем Правительства в ранге заместителя председателя Правительства в зоне кровавых стычек между осетинами и ингушами.

Черномырдин знал Поляничко, когда в советское время сам был директором строительства Орского металлургического комбината, а Поляничко был комсоргом на стройке. Его хватку, умение говорить с людьми, разрешать конфликты он видел тогда. И вот пришло время применить их там, где льется кровь.

Виктор позвонил мне и сказал об этом. Я напустился, выговорил ему: “Ты уже под пулями был в Афгане, в Азербайджане, чего ты будешь кого-то обслуживать”. Он тихо ответил: “Там же люди погибают, попытаюсь умирить их”. В общем, разговор закончился, и я сказал: “Виктор, я тобой горжусь, но береги себя”. Он пообещал приехать на мой юбилей (его день рождения был за два дня до моего).

Возопил “Московский комсомолец”: “Опять “коммуняк” возвращают”. Виктор же начал решительно, провел сбор стариков с той и другой стороны, встретился с общинами, закрыл два легальных рынка оружия. Работал неустанно. Террористы не могли простить такого вмешательства в их планы. В горном ущелье он был расстрелян в машине со своими спутниками.

На поминках я оказался рядом с Виктором Черномырдиным. Мы помянули друга, Виктор Черномырдин, зная наше неодобрительное писательское мнение о многих действиях властей, спросил: “Что надо? Чем помочь?” Я ответил, что ничем. (Хотя проблем было много.) Через год, по каким-то неизъяснимым причинам того времени, Союз писателей оказался заложником ситуации. Банк “Изумрудный”, который был арендатором третьего этажа нашего здания и оплачивал по договору предыдущих лет расходы на содержание здания, обанкротился, и громадную сумму денег обязали, опять по каким-то запутанным правилам, выплачивать Союз. Мы были никудышными финансистами и юристами и не могли отстоять свои права и отвергнуть притязания. Даже для тех лет сумма долга была громадной — 2 миллиарда (!) рублей.

Государство нам ничего не давало и давно не финансировало, взносы (мизерные) оставались на местах. Крах? Здание Союза писателей отбиралось, все выдворялись на улицу. Обращались везде: помогите. Никто не откликнулся. И тут кто-то предложил обратиться к Правительству. Было почти бесполезно, но вспомнил вопрос Черномырдина на поминках. И написал письмо.

Через несколько дней в квартире раздался звонок, подбежала внучка и сказала мне: “Там какой-то Черномырдин”. Я подошел, он сразу спросил: “Что там?” Объяснил. Еще вопрос: “Сколько?” Откровенно говоря, горло пересохло, я нерешительно сказал: “Два миллиарда”. И новый, совершенно неожиданный и, честно говоря, непонятный вопрос: “**Чего?**” Я объясняю: “Два миллиарда рублей”. Пауза и быстрый ответ: “Завтра решение примем из резервного фонда Совмина. Куда перечислить? В министерство культуры?” — “Что Вы, там они и останутся. В минфин, там есть заместитель, которого мы знаем, и тот нам поможет”. — “В общем, послезавтра получайте, расплачивайтесь”.

Целый месяц мы расплачивались с коммуналкой, электричеством... И когда не осталось ни рубля, вздохнули. Знающие люди говорили: “Эх ты, простофиля, сказал бы долларов, жили бы припеваючи”.

Интриги, батюшка, интриги

Встретил я однажды знакомого приятеля, который работал в высокопоставленном аппарате. Поздоровался, увидел, что он как-то осунулся, стал не таким уверенным, спросил: “Что-нибудь случилось?” Он сказал: “Давай я тебе другую историю расскажу. Знаешь, нередко к Мавзолею я поднимался по Красной площади, а там, помнишь, справа возле стен большой туалет находился, там чисто, светло, цветы в горшочках стоят. Познакомились с уборщицей Марией Ивановной. Проходил там часто и заглядывал, но однажды мою знакомую там не встретил. А через несколько месяцев оказался на окраине Москвы, захожу в туалет, стены тюремной синей краской покрашены, на окнах решетка, пол грязноватый, да и мухи летают. Ба! А там дежурит моя знакомая. Я к ней: “Марья Ивановна! Как Вы здесь оказались?” Она скорбно потупилась: “Интриги, батюшка, интриги”.

Я понял, для чего мой знакомый поведал сию историю.

Всё равно возьмём

В четвёртом классе в 1944-м и 1945 году дали ответственное поручение: передвигать красную ленточку продвижения наших войск на большой фанерной карте, которая стояла в центре нашего села. Прослушав утром сводку Совинформбюро, я бежал и передвигал ленточку вперёд. Иногда приходилось дописывать на карте города, которых там не было. Но особенно хотелось передвигать ленточку вперёд, когда об этом не сообщалось, особенно в 1945 году. В начале апреля я передвинул ленточку вперёд на сам Берлин. Подошедший безногий фронтовик покачал головой: “Берлин-то ещё не взяли”. Я понимал, что этого не произошло, и полез отодвигать ленту. Фронтовик остановил: “Не надо, **всё равно возьмём**”. Так я взял Берлин по твёрдому указанию фронтовика на десять дней раньше его капитуляции.

“Жить без здоровья”

Валентин Григорьевич Распутин человек серьезного, часто трагического, нравственного бытия. Но в отношениях с людьми он нередко тихо шутит. Одна из последних его мягких шуток: на вопрос “Валентин Григорьевич, как здоровье?” – Валентин вздыхал и отвечал: “Да знаешь, я решил жить без здоровья”.

Не перехмуриваться...

Как буря, врывается в издательство Егор Исаев, полный размышлений, высказываний, стихов. От него нелегко было уйти, не выслушав порцию высказываний. Запомнились его слова: “**Не надо перехмуриваться...**”; “**Мы ребята с придурью, но не дураки...**”

Не спаивайте

Василий Белов – выдающийся русский писатель, был человек нестандартный, неожиданный в своих выводах и выступлениях.

Губернатор области Позгалев рассказывал, что в первый день своего выхода на работу к нему в кабинет вошел Белов и сказал: “Мы будем Вас беспощадно критиковать за наплевательское отношение к нуждам людей”. Я, сказал губернатор, согласился, но заметил, что работаю всего один день, и попросил критику перенести на другие сроки. Василий Иванович задумался и произнес свои знаменитые слова: “**Все впереди**”, которые стали названием его романа. Как всегда, в эти годы он боролся за деревню, за крестьянина, за землю. В 80-е годы резко выступал против пьянства, чем нередко озадачивал своих собратьев.

В Иркутске, на ежегодном празднике “Сияние России”, после выступления в аудитории писателей повели на ликероводочный завод, который один, из небольшого количества предприятий города, был рентабельный, даже с большой прибылью. Директор завода с энтузиазмом рассказывал, что чистая байкальская вода является залогом выдающихся качеств иркутской водки, и она поэтому идет даже за границу, дает прибыль в валюте. Василий Иванович слушал, слушал, а потом резко сказал: “Вот вы и спаиваете наших лю-

дей, делаете их дебилами и пьяницами. Разве вам не стыдно?” Директор завода, ожидая похвалы за умелое ведение хозяйства, опешил, стал неуклюже оправдываться, что-то обещал... Василий Иванович встал и, не попрощавшись, стал уходить. За ним потянулись нехотя и другие. У входа остались и сумочки с двумя бутылками из чистой байкальской водки, которыми хотел одарить писателей директор. Кто-то с сожалением остановил на них свой взгляд, но взять не решился. Авторитет Белова был непререкаем.

УЛЫБКА ШОЛОХОВА

Конечно, неисчерпаем в своей усмешке Михаил Александрович Шолохов. Его хрестоматийный дед Щукарь породил галерею хитрющих, простоватых, себе на уме героев. А его боец, неунывающий, боевой, находчивый Лопахин из “Они сражались за Родину” явил тип солдата войны, своеобразного Теркина, терпевшего урон, поражение, но победившего. Его юмор, насмешки, подначки естественны.

В моем личном арсенале немало выражений, ситуаций, веселых или по крайней мере забавных историй от Шолохова. Возможно, некоторые из них были мифом, некоторые рассказывал он сам. Вот, например:

“Больше кого, товарищ Сталин?”

Весной 1942 года, приехав в Москву с Западного фронта, сдав журналистские материалы в “Правду” и “Красную звезду”, он нехотя согласился встретиться с американским капиталистом, который привез помощь. Когда тот, сидя в кресле, барственно протянул ему руку, Шолохов поднял его резким: “Встать!”. Тот встал, даже вскочил, с опаской вглядываясь в писателя.

Шолохов в застолье повздорил с Эренбургом: тот увидел в Калуге убитую еврейскую девочку, не заметив тысячи убитых калужан. С досады от такого невнимания ко всем жертвам “хлопнул” рюмку водки и вышел, хотя его просили задержаться. Вечером хотел уехать на фронт, но решил, что уедет утром. А утром в дверь постучали два крепких капитана: “Товарищ Шолохов?” — “Да”. — “Проедемте с нами”.

Ехали из гостиницы “Москва”. “Если прямо, то к Лаврентию, — рассказывал позднее Шолохов, — если направо, то в Кремль”. Повернули направо, проехали в Спасскую башню, провели по коридорам. И оставили в комнате, где сидел мурый Поскребышев (помощник Сталина).

“Я сел, — рассказывал Шолохов, — положил руки на колени, а галифе замасленные, когда тушенку поешь, то руки положишь, они же жирные”. Посидел полчаса. Звонок. Поскребышев, открыв дверь, шепотом сказав: “На этот раз тебе, Михаил, не отвертеться”. Шолохов пожал плечами и шагнул в кабинет. У окна спиной к нему стоял Сталин и курил трубку. Минута, две, три... Он, не оборачиваясь, спросил со своим небольшим акцентом: “Товарищ Шолохов, гаварят, вы стали больше пить?” Ну не объясняться же, Шолохов и спросил: “Больше кого, товарищ Сталин?” Трубка задымилась, заклубилась, Сталин усмешливо покачал головой, обернулся и предложил: “Садитесь, товарищ Шолохов”. И вслед за этим неожиданный вопрос: “А вы не помните, когда Ремарк написал “На Западном фронте без перемен”?” — “В двадцать восьмом или двадцать девятом, кажется”. — Сталин прохаживался вокруг стола и сказал: “Мы не можем столько ждать, товарищ Шолохов. Мы должны показать, как наш народ воюет”.

Беседовали долго, он расспрашивал, что говорят солдаты, как сражаются офицеры, где самые гибельные бои. Шолохов не говорил об этом прямо, но, возможно, тут и зародилась мысль о большой книге о войне. Впереди были еще Сталинград, Курск. Распрощавшись, Шолохов вышел мимо Поскребышева и ткнул тому под нос кукиш: “На!” А главы из “Они сражались за Родину” появились в “Правде” уже в конце войны.

“И за отсутствующих здесь женщин!”

После очередной беседы-разгона с творческой интеллигенцией в Кремле Хрущев пригласил всех участников на прием. Проходя рядом с Шолоховым, он сказал: “Поведи стол, Михаил, ты же знаешь, как с интеллигенцией обра-

щаться”. Шолохов, как всегда, разгладил усы и стал во главе стола. Известно, что первый тост по кремлевскому ритуалу произносился за Генерального секретаря ЦК КПСС (тогда Председателя президиума). За этим внимательно следил Михаил Андреевич Суслов. Шолохов же предложил тост “За нашу Родину, Советский Союз!”. Кто бы возражал, но Суслов напрягся. Ну ладно, второй тост. Хрущев сидел рядом, с одной стороны Нина Петровна, с другой Екатерина Фурцева. Шолохов взглянул на них, других женщин и боевито предложил: “Давайте поднимем наши рюмки за присутствующих здесь женщин”. Все с удовлетворением выпили, Никита Сергеевич чокнулся со своими соседками. Михаил Суслов был обескуражен. Ну, наверное, следующий? Шолохов без особого перерыва провозгласил третий. Ну вот, слава Богу, наверное, скажет по ритуалу. Шолохов погладил усы и с усмешкой сказал: “А теперь давайте выпьем за отсутствующих здесь женщин”. Было весело и даже зазорно. Суслов держался за сердце. Спас Сергей Михалков, он всколик и провозгласил: “Давайте выпьем за нашего руководителя, дорогого Никиту Сергеевича”. Стулья задвигались, все встали. С тех пор тост “за отсутствующих здесь женщин” пользуется неизменным успехом.

“Вот тут-то ее и пить, Миша, развезет...”

А вот уже из того, что видел и слышал сам. В 1967 году в Вешенской прошел выдающийся семинар-встреча с молодыми писателями страны. А молодыми тогда были Василий Белов, Владимир Фирсов, Лариса Васильева, Олжас Сулейменов, Феликс Чуев, да, в общем, 30 человек из Советского Союза и других стран.

Шолохов сказал вступительное слово, об ответственности писателя, пригласил всех выступить на вечерней казачьей сходке. Особенно радостно было, что с нами Юрий Гагарин. О розыгрышах и улыбках Юры я уже рассказывал. А он был весел, говорлив, расположен к шуткам. Шолохов глядел на него с любовью, как отец на сына.

На берегу Дона, когда мы всей гурьбой расположились возле дуба, Юра занял кутерьму, играл в волейбол, ходил на руках, кинулся в Дон. Шолохов, усмехаясь, попросил: “Ты, Юра, мне писателей не угрожь, они же слабенькие”.

А Юра свои розыгрыши начал ещё в самолёте, когда летели из Москвы. Он сидел на первом ряду с Сергеем Павловым, первым секретарём ЦК ВЛКСМ. А через проход я и Юра Верченко, как организаторы семинара. Ну, на первый ряд принесли закуски, и вдруг вижу: девушки-стюардессы вокруг меня тоже начали суетиться, привезли тележку, поставили рюмки коньяка, бутерброды с икрой. Вдруг вижу: Юра давится от смеха. С чего он это? Девушки за ним ухаживают, а он серьёзно говорит: “Да я-то что, а вот тот длинный блондин первый полетит на Луну”. Так я и слетал на Луну!

А нас следующей день после утреннего заседания у нас был обед в хуторе Каргинском. Жара была 35 градусов. Хотя закрыли ставни, но есть не хотелось. Сыр загнулся, водка была теплая. Мы застонали: “Жарко ведь, Михаил Александрович”. — “А я сейчас ехал, — сказал он, — навстречу кум Петро, на одном плече и руке пиджак, во второй руке ополовиненная бутылка водки. Я ему говорю: “Что ж ты, Петро, пьешь-то, жарко...” Он переложил водку в другую руку и поднял палец вверх: “Вот тут-то ее и пить, Миша, развезет...” Мы захохотали. Немножко и нас развезло.

Ты все “сено пьешь”. У каждого казака в глазах должна быть мутнинка

Ну и, конечно, он был мастером короткого, точно, незабываемого слова, определяющего суть явления. Я встретил его в больнице на улице Грановского. Он расспрашивал, что вышло в издательстве “Молодая гвардия”, интересовался, какие стихи, что написал Володя Фирсов, которого он любил. Надо ж тебе строчка — “А соловей свирепствовал!” Я сказал, что все обсуждают “Судьбу” Петра Проскурина, но многие высказываются, что она чрезмерно рыхла и пухла. Попыхивая неизменной сигарой в мундштуке, Шолохов сказал слово, которое указало на недостатки романа: “Недопек Петро, недопек”.

Я призывал Шолохова пить обязательно травяные настои, которыми меня поила Светлана. Ухмыляясь, на следующий год он спросил: “Ну а что, Валера, ты все сено пьешь?”, принизив мой медицинский ранг.

Можно вспомнить многое, но вот еще одно яркое неожиданное слово.

Я попросился принять очень упрасивавшего поговорить с Шолоховым моего коллегу из Болгарии, директора издательства “Народна младеж” Попова. Шолохов вздохнул и разрешил: “Нашим можно”. Мы приехали, в группе были еще писатели Анатолий Иванов, Владимир Чивилихин, Владимир Фирсов. Весь вечер проговорили о “Тихом Доне”, его прообразах, о гражданской войне, казачестве. Когда прощались, он попросил секретаря райкома Маяцкого: “Ганичева мы в казаки уже принимали, надо ведь и Попова принять”.

Для Маяцкого Шолохов не только литературный авторитет, он верховная власть. “Все будет сделано, Михаил Александрович”. В гостинице, в комнате для гостей уже все было приготовлено. Секретарь сказал: “Главное, Попов, казак должен любить свою Родину”. За это выпили стакан граненый, все 200 будет. Попов должен был выпить до конца. Председатель Исполкома сказал: “Казак должен любить землю, холить и лелеять ее”. Опять граненый стакан. Женщина, председатель колхоза сказала, что казак должен любить жену и вообще быть достойным мужем. Опять Попов должен был выпить граненый. Военком сказал, что казак должен уметь стрелять, быть зорким. Опять граненый. В общем, до десяти наставлений, наверное. Затем пара ударов нагайкой по заднему месту. Грамота.

Утром, рано, зашли попрощаться к Шолохову. Попова поддерживали слегка. Попрощались. Шолохов спросил: “Ну а Попова-то приняли в казаки?” Говорим: “Да, приняли”. Он подошел поближе, взгляделся в нового казака и, улыбаясь, сказал: “Да, вижу, что приняли. У каждого казака в глазах должна быть мутнинка”.

(Окончание следует)

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО

*член-корреспондент Россельхозакадемии,
губернатор Белгородской области*

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Россия в очередной раз переживает сложные времена: ее экономический рост практически остановился. На многочисленных форумах предлагаются в основном одни и те же рецепты изменения ситуации: улучшение инвестиционного климата, поддержка инноваций, уменьшение роли государства в экономике, интеграция на постсоветском пространстве, развитие инфраструктурных проектов и так далее. Все это правильно, но при этом совершенно отсутствует глубокий анализ роли фундаментальных макроэкономических факторов, приведших экономику России в состояние ступора.

Ныне в стране сложился классический сырьевой (неоколониальный) тип экономики, основными чертами которого являются:

растущий экспорт сырьевых товаров – нефти, газа, железорудного сырья, угля, леса, зерна, рыбы;

потеря конкурентоспособности;

доминирование на потребительском рынке импортных товаров и услуг;

нарушение баланса интересов и рост противоречий между национальными товаропроизводителями и потребителями (доминируют при этом интересы потребителей).

Относительная экономическая стабильность последних лет объясняется исключительно благоприятной конъюнктурой на экспортные товары и сырье.

Вступление в ВТО юридически закрепляет сырьевой экономический статус-кво России в глобальной экономике.

Таким образом, состояние национальной экономики нашей страны в большой степени определяется действием внешних факторов. Малейшие их изменения, в каком бы регионе мира они ни происходили, всегда будут отражаться не только на экономической, но и на социальной и внутривнутриполитической ситуации в России.

Есть ли у нашего государства шанс стать более или менее независимым экономическим, а значит, и политическим игроком в мире в сложившихся макроэкономических условиях? Да, есть.

Но прежде необходимо разобраться в истинных причинах потери конкурентоспособности отечественной экономики и точнее установить диагноз нынешнего экономического состояния страны.

Для начала внимательно проанализируем причины экономического подъема в нулевые годы. После дефолта 1998 г. ежегодный реальный рост ВВП вплоть до 2009 г. достигал 6–8%. Многие экономисты связывают это с повышением мировых цен на углеводородное топливо. Это верно, но лишь отчасти. Главным же условием, на мой взгляд, обеспечивавшим подъем экономики в этот период, явилась обвальная девальвация рубля в результате дефолта. Именно она привела к резкому росту цен на импортные товары и сделала нашу экономику конкурентоспособной, особенно на внутреннем рынке. Это стало мощным фактором развития прежде всего несырьевого сектора экономики за счет возможности импортозамещения товаров широкого потребления, в первую очередь продовольственных. Но, к большому сожалению, это преимущество в течение 10 лет Россия растеряла полностью, и лишь высокая экспортная цена нефти и газа продолжает поддерживать экономическую стабильность в нашей стране.

Механизм потери конкурентоспособности экономики России за последние 10–13 лет оказался банально простым, а с экономической точки зрения – парадоксальным. Парадоксальность заключается в том, что внутренняя инфляция в данный период неуклонно укрепляла валютный курс рубля, то есть привела к его удорожанию по отношению к доллару в 4 раза. Поскольку средняя ежегодная инфляция за последние 13 лет составила примерно 12%, легко посчитать, что суммарно за указанный срок она достигла 400%. Но поскольку официальный курс доллара США и в 2000-м, и в 2013 гг. оставался неизменным, равным примерно 30 руб., это привело к росту затрат на производство одного и того же товара (при неизменной технологии) в 4 раза, причем не только в рублях, но и в долларах.

Это означает только одно – конкурентоспособность российской экономики за 13 лет снизилась по отношению к мировой в 4 раза (за небольшим минусом, связанным с инфляцией доллара США). Так, если в 2000 г. затраты на производство условной единицы продукции в России были в твердой валюте в 1,5–2 раза ниже, чем на аналогичную продукцию в западных странах, то в начале 2013 г. они стали во столько же раз выше. Итог очевиден: российская экономика за данный исторический период прошла путь от устойчивой конкурентоспособности к полной ее потере.

Логику лиц, ответственных за принятие макроэкономических решений в нулевые годы, понять можно. Ими двигали благие намерения быстрее поднять уровень жизни людей, выровнять внутренние цены на товары и услуги естественных монополий с мировыми, вступить в ВТО и стать частью глобальной экономики, поддержать, с одной стороны, импортеров новых технологий, а с другой – банки и корпорации, взявшие большие займы в валюте за рубежом. Вероятно, расчет был и на то, что в России удастся за короткий период создать эффективную модель экономики. “Усыпили бдительность” и резко возросшие в эти годы мировые цены на углеводороды, металл, уголь и прочие традиционные товары российского экспорта.

Однако факт остается фактом: российская экономика находится в настоящее время в макроэкономическом тупике, относительная стабильность зиждется на зыбком фундаменте конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта, прежде всего нефть и газ. К сказанному необходимо добавить еще несколько суждений.

Во-первых, российская экономика за счет инфляции при неизменном валютном курсе “потяжелела” не только в рублях, но и в долларах. Доллароёмкость ее за эти годы увеличилась минимум в 8 раз, в том числе за счет инфляции в 4 раза, за счет реального роста экономики – в 2 раза. Фактически она стала наряду с углеводородами (цены на которые поднялись в 8–10 раз) резервуаром для связывания долларов США, эмиссия которых превышает в последнее время 1 трлн ежегодно. Данное обстоятельство явилось мощным фактором сохранения стабильности мировой финансовой системы, за что Россия заплатила потерей конкурентоспособности национальной экономики.

Во-вторых, если бы в течение 12 последних лет реальная стоимость рубля по отношению к доллару (валютный курс) была такой же, как и в 2000 г., то только за счет экспорта наша страна получила бы дополнительно порядка 200 трлн руб., это почти три годовых ВВП или 10 консолидированных российских бюджетов. Иными словами, вследствие удорожания рубля 3 года из 12 лет наша страна работала на чужую экономику.

В-третьих, главным инвестором любой экономики является, как известно, рядовой покупатель. Однако три четверти розничного оборота в России из-за ревальвации рубля в настоящее время формируются за счет импортных товаров, а это более 10 трлн руб. (или свыше 300 млрд долл. США), ежегодно уходящих из страны на поддержку зарубежных товаропроизводителей. Плюс утечка капитала – около 100 млрд долл. в год. Это еще одна цена, которую мы платим за избыточное удорожание рубля.

В-четвертых, не способствует улучшению экономической ситуации в России и образование Таможенного Союза с Беларусью и Казахстаном. Дело в том, что накануне вступления в данный Союз Беларусь девальвировала свою национальную валюту в 3 раза, благодаря чему сейчас белорусские товары, особенно продовольственные, вытесняют аналогичную продукцию российских производителей на наших рынках. Следовало бы помнить, что любой экономический союз может быть взаимовыгодным только при единой валюте, при одном центре денежной эмиссии, а также единых мерах поддержки и защиты интегрированной экономики.

В-пятых, все эти годы российские банки кредитовали нашу экономику под 12–18% годовых, объясняя высокую процентную ставку уровнем инфляции. Аналогичную позицию занял и ЦБ РФ в отношении ставки рефинансирования. Но при этом недоговаривалось главное: в условиях неизменного валютного курса рубля процентная ставка в рублях остается тождественной процентной ставке в долларах США.

Следовательно, в течение 13 лет российские банки выдавали кредит юридическим и физическим лицам под 12–18% в пересчете на валюту, что в 3–5 раз выше, чем банки на Западе. А ставка рефинансирования ЦБ фактически в десятки раз превышает стоимость денег аналогичных мировых финансовых регуляторов. Непонятно только, зачем в этой ситуации ЦБ РФ размещает золотовалютные резервы страны за рубежом под 1–2% годовых? Ведь за эти годы, кредитуя нашу финансовую систему под 8–10% годовых в рублях при неизменном валютном курсе рубля, можно было заработать не менее 1 трлн долл. США.

В итоге доходность банковской системы страны за последние годы возросла как в рублях, так и в валюте почти в 10 раз, а вот расплатиться за это пришлось ростом производственных затрат, повышением цен на товары и услуги, а главное – потерей конкурентоспособности. Таким образом, замораживание валютного курса рубля стало мощным финансовым насосом не только по утечке капитала за рубеж, но и по перекачиванию капитала из реального сектора в финансовый.

В-шестых, уместно в этой связи обратиться к опыту других стран, где наблюдается более гибкая макроэкономическая политика, например Китая. За короткий исторический период в “Поднебесной” создана вторая по объему экономика мира с мощным экспортным потенциалом. Можно называть множество причин “китайского чуда”, но фундаментальной стала девальвация юаня в конце второй половины прошлого столетия с 0,40 долл. США за 1 юань до 0,12, то есть в 3,3 раза. И лишь в последнее время под мощным давлением США курс национальной китайской валюты незначительно ревальвирован и достиг 16 центов за 1 юань.

В свое время аналогичную ситуацию демонстрировала Япония, которая в условиях выгодного валютного курса йены добилась “японского чуда”. Лишь после долгого “выламывания рук” американцы вынудили Японию подписать в 1985 г. “Соглашение отеля Плаза”, вследствие которого курс йены был ревальвирован почти в 2 раза. “Японское чудо” было свернуто, конкурент устранен. Спустя четверть века японцы вынуждены вновь девальвировать национальную валюту, чтобы вывести страну из долговременной экономической стагнации.

В-седьмых, от макроэкономической политики последних лет выиграли не только экспортеры сырья, банкиры и олигархи. Выиграли и простые люди: наемные работники, предприниматели, пенсионеры, так как их доходы выросли, догоняя инфляцию не только в рублях, но и в долларах. Так, месячная зарплата по стране возросла не менее чем в 6–8 раз: со 150 до 1000 долл. США. Произошло это отнюдь не по причине повышения производительности труда в 8–10 раз, а исключительно из-за ревальвации рубля. К примеру, зарплата рабочих на Западе за это время выросла не более чем на 30–40%. Благодаря росту доходов в валюте россияне стали больше ездить за границу на отдых, покупать там недвижимость, открывать депозиты в оффшорных зонах и т. д. Безусловно, от ревальвации рубля выиграли и импортеры оборудования, машин, технологий.

Однако все это видимое благополучие существует благодаря высоким ценам на экспортные товары, поэтому может рухнуть в один момент, что, кстати, показал кризис 2008/09 г.

С другой стороны, значительная доля доходов населения уходит опять-таки за рубеж (покупка импортных товаров, приобретение недвижимости за границей, утечка капитала и т. д.). В общей структуре выручки нашей долларизованной экономики доля доходов населения вряд ли превышает 25%. Как это ни парадоксально звучит, но фактическое повышение жизненного уровня населения за последние годы – результат не столько роста национальной экономики и ее эффективности, сколько ревальвации рубля. И эта данность не могла не отразиться на внутрисполитической ситуации в России, поскольку создалось огромное противоречие между интересами национальных потребителей и товаропроизводителей, что вылилось в массовые народные волнения в 2011–2012 гг. События на Болотной площади явно отражают интересы национальных потребителей, которые и есть продукт макроэкономической политики России последних лет, получивших относительно больше других от курса на удорожание рубля. Поклонная же площадь отражает интересы национальных товаропроизводителей, которые лучше чувствуют пульс реального сектора экономики, производящего реальную добавленную стоимость. И они, как никто другой, ощущают на себе замедление этого пульса, не до конца понимая фундаментальные причины происходящего.

Увы, при неизменности экономического курса противоречие между потребителями и товаропроизводителями будет и дальше нарастать, следствием чего явится усиление внутрисполитического напряжения.

Что же делать в сложившейся ситуации для перевода нашей экономики с матрицы гипертерифированного сырьевого развития на матрицу сбалансированного и устойчивого экономического роста?

В мире еще никто не придумал иного стимула, кроме стимулирования спроса. Но применительно к нашей парадоксальной экономической ситуации речь идет не столько о стимулировании спроса со стороны населения, бизнеса и государства (поскольку он и так относительно высок), сколько о переориентации его на товары и услуги отечественного происхождения за счет импортозамещения.

Для создания комфортной экономической среды для российского бизнеса административные факторы (таможенные пошлины, тарифы, квоты и т. д.) в условиях ВТО применять невозможно, экономические (повышение эффективности производства, увеличение производительности труда) требуют времени и денег, институциональные (улучшение инвестиционного климата) малоэффективны, если вообще не бесполезны в сложившейся ситуации. Поэтому единственным доступным и эффективным способом переориентации спроса с внешнего на внутренний рынок является девальвация рубля.

Однако ни в коем случае нельзя ограничиться только удешевлением национальной валюты, поскольку можно получить непредсказуемый рост инфляции, повышение цен, резкое снижение доходов и уровня жизни людей, как это произошло в 1998 г. во время дефолта и после него. Эти негативные последствия можно и нужно в значительной степени ослабить, если нет возможности избежать их вообще.

Не претендуя на полный перечень мер по переводу макроэкономической ситуации на предсказуемый уровень не только экономического роста, но и социальной стабильности, перечислю лишь наиболее важные.

Во-первых, удешевление рубля необходимо сопроводить комплексом административных и экономических мер по контролю за ценами на товары и услуги (как оптовыми, так и розничными), широко применяемых в практике развитых стран. Ибо такой распушенности в ценообразовании, как в России, нет ни в одной стране. В этой связи надо прямо признать, что никаких экономических причин для инфляции и роста цен в нашей стране нет. Наоборот, есть банальное, наглое повышение цен товаропроизводителей и посредников в погоне за сверхдоходами и прибылями. С одной стороны, это является следствием отсутствия реальной конкурентной среды, с другой – слабого контроля со стороны госрегуляторов за издержками производства, рентабельностью, межотраслевыми затратами. Например, та драма, которую переживает сегодня мясная отрасль сельского хозяйства вследствие снижения закупочных цен на 30–40% (действие фактора вступления в ВТО), нисколько не отрази-

лась на стоимости мяса и мясных продуктов в торговле, которая получает сверхприбыли, пользуясь своим монопольным правом.

Если оптимизировать в нашей экономике издержки на посреднические услуги, администрирование и управление, обеспечение безопасности бизнеса, размер арендных платежей на недвижимость и землю, стоимость услуг многочисленных контролирующих и разрешительных организаций, платежи кредиторам, затраты на доступ к инфраструктуре, а также ограничить потолок уровня рентабельности для всех хозяйствующих субъектов на внутреннем рынке хотя бы 25%, можно добиться снижения стоимости на товары и услуги в целом на 30–40%. Данная мера в условиях неизбежного роста цен на импортные товары при девальвации рубля станет серьезным экономическим и социальным амортизатором на потребительском рынке страны.

Во-вторых, ставка рефинансирования ЦБ не должна превышать 0,5–1% в год, а в коммерческих банках кредиты следует выдавать не более чем под 3–5% годовых. В связи со снижением реальной внутренней инфляции (а возможно даже дефляцией) нужно пересмотреть ставки по всем ранее выданным коммерческим кредитам (до 3–5%), включая ипотечные, а предоставленные в валюте – перевести в рублевые по курсу на момент выдачи кредита. При этом действующие меры со стороны государства по субсидированию процентной ставки для отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов необходимо отменить, а сэкономленные несколько сотен миллиардов бюджетных средств направить на временное поддержание ставки по депозитным вкладам денежных средств населения.

Нет смысла объяснять, к какому мощному оживлению экономической жизни в стране приведет долгожданное наведение элементарного порядка в финансовой сфере. При этом возможный временный дефицит ресурсов в банковской системе необходимо покрывать за счет кредитов ЦБ, тем более что в нем появится значительная рублевая ликвидность за счет переоценки золотовалютных резервов вследствие девальвации национальной валюты.

В-третьих, государство должно стать мощным драйвером в стимулировании экономического роста и внутреннего спроса за счет активного направления средств на развитие инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог. При этом следует установить контроль за ценообразованием в дорожном строительстве. Так, стоимость четырехполосной дороги, соответствующей всем современным стандартам, не должна превышать 3–4 млн долл. за 1 км. До 2020 г. можно реально построить не менее 50 тыс. км современных автобанов, соединив ими не только областные центры, но и большинство районных. Источником финансирования дорожного строительства могли бы стать целевые инфраструктурные займы Центрального банка регионам РФ, которые окупались бы в течение 10–12 лет ежегодным ростом ВВП на 4–6% только за счет качественных дорог.

Вторым направлением экономического роста, стимулируемого государством, должна стать поддержка индивидуального жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры. За счет умело выстроенной системы взаимодействия и партнерства между государством, регионами, застройщиками и банками вполне возможно ежегодный объем индивидуального строительства жилья по стране довести до 1 млн усадебных домов, или 130–150 млн м² в год.

Поддержав только эти два направления, мы создадим мощный мультипликационный эффект экономического роста во всех отраслях на ближайшие 10–15 лет. Последствия укрепления социальной стабильности и национальной консолидации российского общества трудно переоценить.

В-четвертых, любые действия по стимулированию экономического роста обречены на провал, если на рынке труда нет квалифицированных кадров, что в настоящее время становится главным сдерживающим фактором развития российской экономики. В стране необходимо в срочном порядке провести реформу профессионального образования, максимально адаптировав его к потребностям экономики. Для этого надо сбалансировать интересы государства, работодателей, учебных заведений и учащихся.

Предстоящий период экономического оздоровления потребует от всех нас консолидированных и солидарных действий, а это может обеспечить только Президент страны. Поэтому экономические преобразования должен возглавить Глава государства, создав для этого необходимые органы управления, наделенные широкими полномочиями, и обеспечив широкую разъяснительную работу по всем принимаемым решениям, действиям и их последствиям.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

Государство, не имеющее национального ядра и национальной идеи, не может иметь творческой жизни.

Н. А. Бердяев

Взяться за анализ и размышления о национальной идее меня побудило положение, сложившееся в последние десятилетия жизни нашей страны.

400 лет тому назад Россия переживала смутное время: безвластие, развал экономики, утерю национальной гордости и т. д. После Лжедмитриев нашу страну испытывали на прочность крымчаки, шведы, французы, фашисты, но Россия сохранилась как государство, выстояла, не покорилась. Одной из основных причин этого было наличие национальной идеи.

Наши недруги поняли, что силой Россию не победить. У них уже давно созрел план “покорить” Россию через утрату веры, православия, духовности и нравственности народа. Были открыты шлюзы, и через средства массовой информации хлынул поток чуждых нам “ценностей” – алчность, разврат, цинизм, насилие, культ потребительства – разбогатеть любой ценой – за счет обмана, подлости, нарушения каких-либо моральных устоев.

Государство, по существу, самоустранилось от решения этих проблем, в стране нет идеологии, наступил вакуум, который по закону природы заполнился грязью, бездуховностью. Наступил духовный Чернобыль, а с этого начинается гибель государства. К сожалению, план наших “доброжелателей” сбывается.

Есть в этом вина нашего государства? Да, есть! В статье 13 действующей российской Конституции четко записано, что в России “никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной”. Невольно вспоминаешь слова нашего выдающегося философа Н. А. Зиновьева о том, что целились в коммунизм, а попали в Россию. Составители Конституции да и политическое руководство того времени боялись реставрации коммунистической идеологии и оставили Россию без руля и ориентиров в бурной политической жизни нашей страны.

Цель моих нынешних размышлений не в том, чтобы указать, кто виноват (это, на мой взгляд, очевидно), куда важнее определить, что делать? Я глубоко убежден, что это не риторический вопрос, а скорее жизненный: будет ли Россия самобытной и уникальной страной, сохранится ли наш самобытный народ с его вековыми традициями и интеллектуальным обществом? Все это требуют осмысления, анализа и, самое главное, выработки необходимых для России политических решений.

Итак, что же происходит в стране и чем вызвана тревога о её будущем?

В 1991 году начался новый этап в жизни нашего государства. Не так уж давно, поздравляя народ с наступающим 2011 годом, Президент страны заявил, что у нас молодая страна, возраст которой всего 20 лет. Правда, потом пришлось поправиться и объявить, что в 2011-м мы отметим 1150-летие российской государственности. Тот, кто готовил текст для Президента, перепутал понятие “страна” и “общественный строй”.

Многие ожидали, как же будет отмечаться это глобальное событие. Были разные мнения. Но никаких торжеств не было! Возникает вопрос: почему принято решение так отметить юбилейный год, о котором Президент говорил в Новогоднюю ночь?

А о чём говорить, о каких достижениях докладывать народу? О разрушении СССР и ликвидации советского общественного строя? Так об этом за 20 лет наговорились вдоволь и руководство страны и их антисоветские сторонники, которые родились в советское время, получили образование, специальность, народные знания и т. д.

Обычно в таких случаях говорят о достижениях в экономике, научно-техническом прогрессе и о повышении благосостояния людей. Что можно было сказать по этому поводу в тот юбилейный год?

Основные виды производств, в основном перерабатывающих, пришли в упадок, многие заводы прекратили свое существование, вместо них появились торговые магазины, бутики и т. д. Мы в советское время были неудовлетворены тем, что существовала большая сырьевая зависимость страны от экспорта нефти и газа. Но мы в то время и подумать не могли, что такой перекос, как сегодняшний, вообще возможен.

За 20 постсоветских лет не построено ни одного крупного предприятия, а существующая материальная база промышленности устарела на 70%. В своей книге “Великая Отечественная: битва экономик и оружие победы” я привел данные о росте экономики за 20 довоенных лет с 1917 по 1937 год. Темпы роста национального дохода увеличились за это время в СССР в 4,6 раза, в США – в 1,5 раза, в Англии – в 1,3 раза, во Франции – в 1,2 раза. За это 20-летие (1917–1937 гг.) в нашей стране было построено более 10 тысяч предприятий!

В послевоенный период (1945–1965 гг.) была полностью восстановлена разрушенная войной экономика, впервые ракета поднялась в космос, человек побывал в нем, построили атомную электростанцию, атомный ледокол и т. д.

Такое соотношение двух советских двадцатилеток и нынешней двадцатилетки – говорит само за себя. Можно ли было напоминать об этом в тот юбилей? Нет, конечно.

И в социальной жизни народа происходило подобное. За предвоенный период была преодолена неграмотность населения, обеспечено было право на труд и на отдых (последний безработный был на бирже труда в 1929 г.), обеспечено бесплатное образование и медицинская помощь и т. д. Можно ли было поднимать этот вопрос в нынешний двадцатилетный юбилей? Конечно же, нет. Я не идеализирую советский период – всё там было. Но глубоко убежден, что разрушать его до основания безумно. Надо было оставить в прошлом плохое и взять с собой в будущее хорошее.

Многие граждане нашей страны тяжело пережили разрушение СССР. Они видели в нём мощное единое государство, способное защитить их от многих невзгод, в том числе и от внешних недругов, которых в нашей многовековой стране было более чем достаточно. Они видели, как рассеялся русский народ, как живут “самостийные” государства, и не хотят, чтобы подобное произошло с Россией.

Из хода нашей новейшей истории XX века можно сделать вывод, что природа и методы разрушения государства одни и те же. Перед революцией 1917 года в течение длительного времени шло усиленное наступление определенных групп интеллигенции на основы государства Российского. На власть, религию, национальные ценности общества.

Февральскую революцию 1917 года совершили не большевики, а либерально настроенная часть общества. Большевиков в то время было примерно 24 тысячи человек, и многие из них находились в ссылках и эмиграции. Либералы сыграли решающую роль в возникновении хаоса и распаде страны на многие части.

В 1960–1980 годах подобное происходило в СССР. Та же категория людей усиленно и настойчиво подтачивала основы единого государства. В ход запустились все негативные явления советского строя, которые, к сожалению, имели место быть, делались обобщения, идеализировался западный образ жизни и т. д. Чем это закончилось – известно.

Прошли годы, и многие из этих разрушителей вновь взялись за дело. Им теперь уже не нравится новая Россия, восстановленное в полном объеме православие. Теперь ими взяты на вооружение новые аргументы: власть не та, религия не та, незаконно запрещают пропаганду педофилии и гомосексуализма в СМИ и т. д.

Все, что говорилось и писалось о так называемой русской либеральной интеллигенции 100 лет назад, имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. “Русским либералам, – писал в августе 1909 года в своем письме к философу Николаю Бердяеву архиепископ Антоний, – не ненавистны злоупотребления властей (как либералам заграничным), даже не самые власти, а ненавистна сама Русь, ненавистен христианский уклад её жизни и народных понятий”.

Правда, прежние “ниспровергатели” боролись с Россией все-таки по идейным соображениям. У нынешних же – ненависть к Российскому государству является проходным билетом к постоянной визе в Вашингтон, Лондон, Брюссель и т. д.

А можно ли представить, что во Франции, США, да и других странах публичные лица заявляют, что большинство народа – это “недочеловеки, принадлежащие низкокачественному ядру”. Ведь это пахнет расизмом. Один из авторов пошел еще дальше, заявляя, что разговор о национальных святынях и национальных ценностях – вздор, а православие – это только “кровавая, деструктивная, лицемерная и агрессивная идеология”. Попробовал бы он это сказать в Польше, стране католицизма? Страшно даже представить его дальнейшую судьбу.

Недавно в одной из газет был опубликован интересный материал о “мерной иконе”. Для большинства наших людей, в этом я уверен, такой термин прозвучал впервые. На самом же деле традиция мерной иконы восходит к XVI веку, когда наши предки заказывали икону в честь святого, именем которого назван младенец. Величина доски, на которой писался образ небесного покровителя, соответствовал росту ребенка при появлении его на свет.

Заказывая такую икону, люди стремились обрести для детей духовную поддержку, передать наследникам символ веры и нравственной преемственности. Наделить наследников символом, который отражал бы не материальное богатство и прелести роскоши, а живое движение истории истории родной страны, родного края, своего народа.

Я привел этот пример, чтобы еще раз подчеркнуть значимость нравственной преемственности и дать отпор тем отморожкам от политики и творческих деятелей, которые грязными руками марают наш народ и его Историю.

Она у меня одна, Россия, в ней я живу и в ней я буду умирать. Я хочу, чтобы моя Родина занимала в мире достойное и уважаемое место.

А между тем, можно было бы и дальше перечислять проблемы жизни нашего государства. Прежде всего обострение политической жизни. В последнее время энергия масс, накопившаяся в прошедшие годы, выплескивается на улицы. Все эти социально-экономические, духовные и политические проблемы требуют своего решения. Здесь есть два пути: или ничего не делать, что может окончиться для России трагически, или направить разбухшую энергию общества в русло созидания во благо Отечества.

Для решения этих проблем требуется объединяющая идея. Непреодолимая сила сплывающей народ идеи сказывалась во все переломные моменты нашей истории. Мировой и отечественный опыт показывает, что наиболее эффективной в этом вопросе является национальная идея государства.

Смысл национальной идеи государства

Вопрос о национальной идее России имеет длительную историю. Он важен как для страны в целом, так и для каждого человека. Страна развивалась успешно, когда у людей была уверенность в будущем, когда они знали, чем живет Россия, куда она движется, что для неё важно и ценно.

Не корысть, потребление и достаток любой ценой всегда были и остаются движущей силой России, а идея. Такие призывы, как “воруй и не попадайся”, “обогащайся за счет других”, “однова живем, после нас – хоть потоп”, “на наш век хватит”, “до царя далеко – до Бога высоко”, “стыд глаза не выест”, “не обманешь – не продашь” и т. д., очень заметные в современной России, к её успеху и процветанию не приведут.

Если взглянуть на проблему через нашу литературу, то можно с полной уверенностью сказать, что выдающиеся писатели, как дореволюционные, так и советские, в своих произведениях никогда не проповедовали эти “ценности”.

Национальная идея это среда, в которой живет, развивается и действует каждый гражданин, общество в целом, политические деятели и руководители. Без неё возможны только неудачи и угасание. К сожалению, у нас есть люди, которые искренне недоумевают: “Ну и что? Ну, угасает, ну, деградирует... Мне-то лично не плохо. Да вон сколько машин в личном пользовании стало. Какая свобода наступила. Въехать-выехать из страны теперь можно свободно! Обогащаться можно без ограничений. Полки в магазинах ломятся от всего. Оставьте нас в покое! Не нужно нам никакой национальной идеи. Дайте попотреблять! Да какая мне разница, где жить – в России, в Канаде...”. И это сказал не какой-то обыватель, а академик РАН.

Национальная идея – это для тех, кто думает не только о своём благе, для тех, кто думает и о других, и о своей стране. Национальная идея формируется в семьях, школах, пропагандистских, информационных ведомствах, закрепляется исторически, передается в поколениях, находя при этом современные формы своего воплощения. Живая, она развивается во времени, но при этом сущность ее остается неизменной.

Без национальной идеи государственность в долгосрочной перспективе не может существовать. Она дает смысл жизни стране, и поэтому у сотен стран мира такая идея существует.

И только современная Российская Федерация более двух десятилетий не имеет национальной идеи. Такое положение нашей страны на фоне других стран современности – абсолютный нонсенс.

Старые идеологические ориентиры разрушены, новые не созданы. В 1996 году в начале второго срока нахождения у власти Президента РФ Б. Н. Ельцина российская элита, наконец, задалась вопросом, какую же Россию мы строим. Импульсом здесь стала фактическая беспомощность России в период первой чеченской войны (1994–1996 годы) и вероятность поражения Ельцина на выборах. К тому же наша страна в очередной раз балансировала на грани гражданской войны.

Тогда для генерального идеологического поиска была создана даже специальная группа экспертов. Перед нею поставили задачу: выявив, какие вопросы более всего волнуют россиян и максимально интенсивно обсуждаются в обществе, сформулировать идею, способную объединить российских граждан, и сделать это в течение 2 месяцев. Положение в стране требовало срочной разработки объединяющей идеи. Группа предложила десятки дефиниций общероссийской национальной идеи.

Реакция на саму постановку этой проблемы оказалась неоднозначной – вплоть до резко отрицательной. Так, согласно мнению одного известного философа, доктора наук, “идея не может быть русской, немецкой или еврейской. “Национальная идея” – такая же глупость, как “национальный кислород” или “русский водород”. Можно легко предположить, как отреагировала бы немецкая или израильская общественность на подобные пассажи. Автору перекрыли бы кислород – это уж точно.

Мировой опыт показывает, что наличие национальных ценностей и идей – явление не только нормальное, но и закономерное, причем эта закономерность выдвигается на первый план в наиболее сложные, переходные периоды истории. И если в современной России, проходящей через тяжелейший трансформационный кризис, общенациональная идея в течение 20 лет, мягко говоря, остается “в тени”, это очень дорого обходится стране.

По-видимому, настороженное отношение к рассматриваемой проблеме отчасти спровоцировано усталостью от идеологического диктата прежних десятилетий и опасениями нового диктата. Но если “отрицатели” национальной идеи и правы, то лишь в самом узком смысле: она не может быть по заказу начальства выращенной в “идеологической пробирке”, а затем в приказном

порядке спущенной сверху. Национальная идея не формируется по указанию сверху.

Идея — составляющая самого духа нашего народа, его исторической памяти и его исторического самосознания, к глубокому сожалению, уже два десятилетия подавляемых либеральными доктринами. Это и либеральная во многих своих элементах социально-экономическая политика, провоцирующая невиданное имущественное расслоение населения, “генерирующая” многие десятки долларовых миллиардеров. И “упорядочение финансовых потоков” даже применительно к Вооруженным Силам, разрушительное для этого “вечного и верного союзника России”. И вседозволенность деятельности многих, явно идеологически враждебных нам и финансируемых из-за рубежа, некоммерческих организаций. Я уж не говорю о политике в отношении средств массовой информации, которые просто ведут войну на уничтожение традиционных российских нравственных ценностей.

Президент страны прав, признавая, что предмет его особой гордости — нынешняя стабильность — “шита наскоро”. И для того, чтобы эта стабильность стала прочной, предстоит превратить наше глубоко расколотое по всем направлениям российское общество в сообщество людей, связанных единством своей исторической судьбы, чувствующих свою личную ответственность за настоящее и будущее страны.

Анализ наследия упомянутой экспертной группы (через пару лет “тихо” распущенной) и последующих публикаций на тему конкретно-содержательно-го наполнения общенациональной идеи показывает большой разброс предложений. Здесь и “правовое государство”, и “здоровье”, и “единение”, и “милосердие”, и “рыночная экономика”, и “демократические свободы” и т. д. В последние годы все более настойчиво ведут речь о патриотизме, о целостности и суверенитете России. Это — реакция на все те же разрушительные тенденции в стране, на падение ее престижа за рубежом, на угрозу расчленения России со всеми грядущими бедами. Люди на себе испытали, да и до сих пор испытывают последствия разрушения Советского Союза.

Еще одна часто фигурирующая в этой связи группа сюжетов касается соотношения государства, общества и личности. Либерально настроенные авторы утверждают, что исходный пункт индивид, а общество и государство — суть лишь фон, внешняя среда, оболочка бытия. Другие настаивают на первичности государства, в котором конкретные люди функционально выступают как “колесики и винтики”.

Не усматриваю в этом “многоголосии” ничего страшного: оно выражает интересы различных социальных групп нашего переходного, еще далеко не окончательно структурированного общества.

Руководству же страны совместно с представителями общественных структур и науки следует, на мой взгляд, тщательно изучить все предложения и выбрать из них наиболее актуальные, способные объединить, сплотить российское общество во имя его сохранения и развития в едином государстве.

А вот дебаты о том, есть или нет в этом необходимость, надлежит прекратить, пока еще существует возможность остановить развал государства. Завтра уже может быть поздно! Вспомним в очередной раз, что происходило в 1989–1991 годах с Советским Союзом. Критическая точка распада была пройдена благодаря предательской позиции Горбачева, а последующие многочисленные предложения по сохранению государства отразили лишь конвульсии умиравшего организма.

Предложения по национальной идее России

Среди важнейших составляющих национальной идеи на первое место, на мой взгляд, следует поставить идею целостности России. Наша страна является уникальным, федеративным и самостоятельным государством с собственным путем своего исторического развития.

В дальнейшем будут приведены факты создания и сохранения России в течение многих веков. Здесь же необходимо остановиться на разрушении СССР в 1991 году. События тех лет должны стать горьким уроком, предостерегающим от разрушения единого и мощного государства.

Разрушения Советского Союза поздней осенью 1991 года описано во всех деталях и со всеми действующими лицами. Напомню только, что движущей си-

лой развала страны был сепаратизм, облеченный в форму национализма бывших партийных лидеров союзных республик.

Появились лидеры, в основном из партийной элиты, которые, видя слабое положение союзной власти, стремились стать во главе республик. Тысячелетняя история мира знает: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме».

В этом отношении показателен пример Северной и Южной Америки. Как известно, в южной части Американского континента было практически две колонии. В начале XIX века там произошли революции. Несмотря на то, что здесь проживали этно-культурно близкие народы, на месте колоний Испании и Португалии образовалось более тридцати стран, границы которых проходили по условным демаркациям провинций, установленных для улучшения управления ими. Подавляющее большинство этих государств не имело возможности жить самостоятельно и попадало в зависимость от других стран. Зато во главе каждого встал президент.

В то же время Северная Америка, имея население различных национальностей, через тяжелейшую гражданскую войну объединилась в единое государство, которое сейчас называется США и является великой державой. И здесь возникает тот же вопрос: почему? Население Соединенных Штатов посчитало, что единое государство позволит им лучше решать свои экономические проблемы, будет эффективнее защищать от внешних врагов и т. п. Не поучительный ли пример это для наших «расчленителей»? Или мы плохо знаем историю, или она не учит нас ничему?!

Не буду говорить и о положении государств, вновь образованных на базе союзных республик после распада СССР. Живу я в Российской Федерации, правопреемственной прежде всего РСФСР, поэтому все мои думы, переживания, боль и радость связаны с жизнью нынешней России.

Позволю себе кратко напомнить о ситуации накануне краха, так как это принципиально важно для понимания мотивации большинства последующих решений, принимаемых властью вплоть до наших дней включительно.

В личной, эмоционально напряженной борьбе с Горбачевым за кресло в Кремле Ельцин в конце 1980-х годов пошел на сговор с республиканскими лидерами и поставил «на кон» судьбу Советского Союза. Именно Ельцин и его окружение первыми в российской истории разыграли «русскую национальную карту», потребовав суверенитета России, якобы угнетаемой союзной бюрократией.

Горбачев ответил Ельцину той же монетой. Он начал подыгрывать национальным настроениям на уровне российских автономий, а их в России было 15, то есть столько же, сколько союзных республик в СССР. Чтобы сохранить поддержку лидеров автономий, Ельцин провозгласил лозунг – «берите столько суверенитета, сколько проглотите».

Вот и «проглотили», и Россия оказалась на грани развала. Спасая ее от расчленения, власть была вынуждена пойти на подписание особых соглашений с территориями. Таких соглашений было подписано свыше 40, то есть фактически с половиной субъектов Российской Федерации.

Оно и понятно. Кто мог в то время требовать особых условий? Только тот, кто не зависел от дотаций из Центра. Позже эти лидеры создадут блок «Отечество» и попытаются политически, через выборы в Государственную Думу, взять власть в свои руки. Однако легальному походу «конфедератов» за властью предшествовала их попытка антиконституционного переворота в самом начале 1999 года, которая и сформировала Владимира Путина как лидера.

Лишившись накануне выборов 1996 года опоры силовиков и потеряв в результате этих выборов легитимность, Ельцин вынужден был продолжить политику заигрывания с регионалами, позволив им в рамках Совета Федерации сформировать некий современный вариант Боярской думы. Напомню, верхняя палата парламента России тогда напрямую формировалась из руководителей исполнительной и законодательной власти регионов.

Ослабевший физически, явно недомогавший Ельцин представлял собой жалкое зрелище. В Кремле заправляла президентская «семья» (в широком, полукриминальном, смысле этого слова). Экономическая политика страны потерпела крах в виде дефолта. В бизнесе разгорелась междоусобица. А самому Ельцину грозил импичмент.

Фактически власть валялась в грязи, а Ельцин примерял на себя роль Горбачева конца 1980-х годов. Как и в случае с Горбачевым, атака шла не

персонально на Ельцина, а на институт президентства. Дошло до того, что Совет Федерации выступил с инициативой отменить всенародные выборы Президента России и избирать главу государства голосованием сенаторов, то есть по выбору региональных лидеров. Таким образом, все повторялось, как и в борьбе с СССР. Пройди тогда это предложение, сегодня мы бы уже не жили в единой стране под названием Россия...

Итак, загнанный в угол, делегитимизированный и лишенный системных опор (Государственной Думы и Совета Федерации) президент пытается спастись от многочисленных коррупционных скандалов, но казалось, что дни президента Ельцина, а вместе с ним и единой страны сочтены. Но надо отдать должное Борису Николаевичу – у него был звериный инстинкт власти. И если в первом случае этот инстинкт сработал на развал СССР, то во втором – спас от развала Россию.

Избранный в 1991 году Президент РФ Б. Н. Ельцин оставил после своего правления в 1990-е годы тяжелый след. Он неистово сокрушал центральную власть СССР, но когда сам получил таковую в России, оказалось, что он совершенно не готов к управлению государственной и социально-экономической жизнью страны. Власть упала в руки, но что делать с ней, он не ведал. Говоря объективно, Ельцин (а я его знаю по Свердловску) был всегда силен как разрушитель и слаб как созидатель, хотя по образованию и опыту работы он строитель.

Предстояло спасти страну. В экстренном порядке Ельцин передал ускользающую власть Путину. И тот стал твердо проводить линию по укреплению государства. Все последующие его действия и решения были подчинены одной задаче – уничтожить (в политическом смысле этого слова) заговорщиков и устранить в будущем любую возможность заговора против верховной власти.

Меры, предпринятые Владимиром Путиным в первые два срока его президентства, сегодня вменяются ему в вину. При этом историческая логика развития управленческой системы подменяется логикой личных пристрастий. Проще говоря, Путина обвиняют в антидемократичности, склонности к тоталитаризму.

Я тоже не исключаю личных мотивов в действиях Владимира Путина по выстраиванию (а точнее будет сказать, восстановлению) вертикали власти. Отрицать это было бы глупо. Однако в его действиях присутствует очень жесткая системная логика, и отрицать это значит быть еще большим глупцом.

Объективно говоря, его деятельность по укреплению вертикали власти носила положительный характер, так как это укрепление направлено на благо российского общества. Если же оно служит определенным лицам или группе лиц, то неизбежно общественное противостояние со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Скажу больше, перерождение первого во второе происходит в обязательном порядке. Утверждаю это ответственно, основываясь на истории КПСС и собственном опыте. Модернизационный механизм управления страной в ручном режиме возможен и необходим только в переломный период, будь то форсированная индустриализация или Великая Отечественная война. Общество способно принимать жесткий диктат власти в очень короткой исторической перспективе, когда цель ограничения собственной воли осознанна и понятна.

Сложившаяся же сейчас опасная для России ситуация требует от Путина новых, нестандартных решений. Необходима, повторюсь еще раз, срочная консолидация общества на созидание и долгосрочную стабильность. Президенту придется лично находить реальные пути консолидации, собирая разрозненные силы.

Еще об одном элементе вертикали власти. Несколько лет назад В. В. Путин осведомился о моем мнении относительно местного самоуправления. Я ответил ему, что знаком с этой системой в Швеции и других скандинавских странах, но шли они к этому долго, создав финансовую основу для самостоятельного функционирования самоуправления. По моему мнению, мы сейчас не созрели для “усечения” вертикали власти и для самофинансирования муниципальных органов, ибо львиная доля федеральных средств уходит на поддержку территорий. О каком же самофинансировании муниципальных органов и их политической самостоятельности может при этом идти речь? И, тем не

менее, закон о самоуправлении был принят. И стали муниципалы постоянными просителями, а губернаторы – дающими. Хорошо, если между этими двумя ветвями власти существует взаимопонимание, и руководитель территории по-прежнему считает их “своими”. А если нет? Здесь есть о чем подумать!

Федеративное устройство нашего государства требует особого внимания к складывающимся отношениям между регионами и Центром. Во многом это предопределяет или стабильность, или внутренние противоречия, которые могут привести к дестабилизации.

Судя по содержанию предложенной политической реформы, Владимир Путин это прекрасно понимает. Реформа носит осознанный, системный характер. Назревшая и продуманная, она, надо полагать, готовилась исподволь и задолго до протестного всплеска. Ошибкой же стала форма ее подачи.

Вновь избранный российский президент должен понимать, что время создания вертикали закончилось. Цели по разрушению сложившихся в ельцинский период сепаратистских конструкций как на территориальном, так и на уровне бизнеса достигнуты.

Сама по себе вертикаль не реформируема. Она будет защищать свое существование всеми возможными способами. В системной логике личные гарантии и обязательства не работают.

В заключение раздела хотел бы высказать свое отношение к такой идее, как парламентская республика. Я убежден, что реализация её на настоящем этапе жизни государства не реальна, вредна и весьма опасна. Мы знаем такие страны с парламентской властью, особенно скандинавские. Но они шли к этому весьма длительное время и имели совсем другую основу.

Мы имеем небольшой, но тяжелый опыт в этом отношении. В 1989 году измененная советская конституция практически провозгласила парламентскую республику. Идеологами этого были М. Горбачев, А. Яковлев и другие их соратники и единомышленники. За восемь месяцев страну заболтали, было утеряно управление. И тогда Горбачев осознал, что он является “главно-уговаривающим”, а сотня народных депутатов в пылу полученной ими власти очень быстро расправились со страной. И только в марте 1990 года съездом народных депутатов Горбачев был избран президентом. Но это ему мало помогло. Страна по инерции и с помощью либеральных демократов продолжала катиться к своей кончине.

Второй, на мой взгляд, составляющей национальной идеи России является **социальная справедливость**.

Существует мнение, что российский народ является приверженцем материальных ценностей. В то же время западные “специалисты” по России утверждают, что у нашего народа никаких особенностей и “духовных ценностей” нет, он ничем не отличается от западного общества потребления.

На самом деле отсутствие ярко выраженных материальных ценностей российского общества обусловлено исторически. На протяжении веков русский человек по своей природе был аскетичен, он довольствовался необходимым, потому что только при этом можно было выжить в наших климатических и исторических условиях. Суровая жизнь приучила к самоограничению в материальной жизни. Именно поэтому среди русских не было широко распространено стремление к накопительству, к обогащению любой ценой.

Русское сознание религиозно и нравственно, несмотря на сегодняшнюю аморализм. Основная русская моральная ценность – справедливость. Обществу близка идея справедливости и социального равенства. Её разделяло и дореволюционное крестьянство, её разделяет и подавляющая часть населения современной России.

Нестыжательство является результатом учения русской православной Церкви. В нашей жизни материальное стяжательство никогда не было общественным идеалом. Об этом говорят произведения наших писателей и мыслителей.

Справедливости ради нужно сказать, человек не может быть абсолютно равнодушным к материальным ценностям. Но это является стремлением обеспечить разумный достаток нормального своего жития. Не случайно у русского человека есть две заповеди: “не бери больше, чем надо” и “умейте обходиться без лишнего”.

Об этом же говорят проведенные социологические исследования. Итак, несмотря на промывку мозгов населения и призывы “обогащайся”, а также на

то, что в последние 20 лет люди решали только одну задачу – выживание в борьбе с бедностью и даже нищетой, на вопрос “насколько важно для человека быть богатым и иметь много денег?” – ответили “очень важно” только 16%. 70% считали иначе.

Об укоренившемся в народном сознании неприятии “сребролюбия” свидетельствует ряд пословиц:

- “Не хвались серебром, хвались добром”.
- “Беда деньгу родит”.
- “Богатство перед Богом – большой грех”.
- “Деньгами души не выкупишь”.
- “Не от скудости скупость вышла, от богатства”.
- “Богатство спеси сродни”.
- “Богатство родителей – порча детям”.
- “Отец богатый, да сын неудатый”.
- “Лишние деньги – лишние заботы”.
- “Хлеб да живот – и без денег живет”.
- “Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою”.
- “Скупому душа дешевле гроша”.
- “Кто до денег охоч, тот не спит всю ночь”.

Стремление к наживе противоречило представлениям о нравственной чистоте и гармонии. Сложившееся в “лихие” 1990-е годы резкое имущественное расслоение грозит России социальными катаклизмами.

О значении социальной справедливости в жизни нашего общества очень ёмко сказал Председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин: “Реальное обеспечение социальных прав человека и гражданина – это необходимое условие не только политической стабильности общества, но и успешного его развития по пути гуманизма, демократии и прогресса”.

Содержание понятия социальной справедливости многогранное. В следующей главе более подробно говорится об этом. Здесь же мы остановимся только на некоторых направлениях. Проблема социальной справедливости наиболее актуальна в сфере экономики. Народ не может согласиться с огромнейшим материальным расслоением. Нынешние капиталы, как правило, не созданы трудом праведным. Сверхбогатые люди обязаны денно и ночно молиться на Гайдара и Чубайса, а также на их “отца” и “благодетеля” Ельцина.

Социальное расслоение достигло невиданных масштабов. Правительство признает шестнадцатикратный разрыв в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных. Независимые эксперты называют цифру вдвое больше.

В экономике, по мнению известного экономиста академика Д. С. Львова, надо, чтобы каждый член общества был наделен непререкаемым правом равного доступа к тому, что в России от Бога, то есть к доходу от используемого природного потенциала страны. Это право должно материализоваться в жизненном стандарте: бесплатная медицина для всех, бесплатное образование для всех, жилищные услуги для всех в пределах установленной законом нормы, точно так же, как и бесплатный приусадебный или садово-огородный участок земли в личном пользовании граждан.

Следующей, не менее важной составляющей социальной справедливости является сохранение народонаселения, “сбережение народа”. От этого будет зависеть будущее нашей страны. По мнению Запада, в нашей стране достаточно 50 млн человек для добычи нефти и газа, вырубки леса, добычи руды и т. д.

Вопрос народонаселения всегда был актуален для нашей страны. Еще в 1754 году граф И. И. Шувалов заявил: “Сохранение народа – вот главная задача, которая должна стоять перед властью”. На “сбережение” народа влияет много факторов социально-экономических, духовных и нравственных.

Особое место здесь занимает здравоохранение. Завоеванные в советское время гарантии бесплатной медицинской помощи практически уничтожены. В этом деле, как и во всей нашей жизни, главное – деньги. В результате по рейтингу ООН страна оказалась на 120-м месте по доступности медицины. По продолжительности жизни Россия занимает лишь 97-е место в мире. И что можно еще ожидать, если у нас фармакологическая промышленность фактически уничтожена. 80% лекарств ввозят из-за рубежа. Все это грозит тем, что лекарства скоро превратятся в недоступную для населения роскошь.

Подводя итог демографическим проблемам, можно твердо заявить, что в их основе лежит социально-экономическое состояние общества. Поражают поистине трагические изменения в обществе. В. Д. Зорькин привел убийственные данные. Это цифры, характеризующие глубину нашего падения. В 2007 году в стране было 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 5 млн беспризорных детей, 4,5 млн проституток, итого 16,5 млн человек “исключенных”, что составляет 11,3% населения. Есть о чем размышлять.

... В национальной идее России должно место занимает **прогресс общества**. Без прогресса не может нормально развиваться государство. Оно остановится в своем развитии и займет самую низшую ступень.

Прогресс имеет широкий спектр, охватывающий все стороны существования общества. Это и образование, и наука, и философия, и духовная жизнь общества, и многие общественные науки и т. д. Сейчас же остановлюсь только на вопросе образования и науки в нашей стране.

Школы, средние и высшие учебные заведения есть основа прогресса общества. Известно высказывание Бисмарка о том, что войну с Францией в XIX веке выиграл не прусский солдат, а прусский учитель. Известно также, что после запуска в СССР спутника в космос президент Кеннеди сделал вывод, что “Советы” выиграла соревнования благодаря своей школе и науке.

Советская школа, прошедшая “новации” 1920-х годов, в конечном итоге пришла к классической форме образования, заложенной еще в царской России. Поэтому нашу школу можно с большой уверенностью считать дореволюционно-советской.

За годы советской власти ее основополагающие принципы не изменились. Но последнее время руководителей системы образования охватил реформаторский зуд. Вместо классических экзаменов было насильственным путем внедрено ЕГЭ. Этот вид экзаменов нигде в мире полностью не прижился. Он был введен во Франции для получения минимального образования определенной категории людей и просуществовал всего 4 года. Подобное положение наблюдалось и в других странах.

Введение этого “новшества” уже наделало много бед, в их числе всплеск коррупции при торговле ЕГЭ. В 2013 году в стране прокатился шквал коррупции во многих регионах страны. Дело дошло до отстранения от должности чиновников и руководителей учреждений образования. Имели место даже аресты министров образования некоторых регионов. Но самое главное – ЕГЭ не побуждает учеников иметь универсальные знания, не расширяет их кругозор.

Не менее вредно предложение определиться с основными и вспомогательными учебными дисциплинами. Могут ли все юноши и девушки заранее, в этом возрасте, знать свои устремления? И снова имеет место ограничение кругозора. Мой жизненный опыт показывает, что наш российский гражданин, а тем более специалист, имеет гораздо больший интеллектуальный кругозор, чем его коллеги на Западе.

Два столетия в России была четкая система подготовки специалистов среднего и высшего образования. Наша система себя оправдала, в стране был создан мощный инженерный корпус. Поэтому совершенно непонятно введение бакалаврата и магистрата. Зачем сделали? Только потому, что это есть за рубежом?

Принятый в 2012 году закон об образовании еще более ухудшил положение. Этот закон приведет к тому, что через пять лет число бюджетных студентов в России сократится, по меньшей мере, на 700 тыс., а их количество в расчете на 10 тыс. населения составит уже не 170, а 125. Расходы же государства на образование в 2013–2015 годах сократятся с 4,8% до 4,1% расходной части госбюджета.

Говоря о прогрессе в стране, есть необходимость остановиться еще на развитии науки.

Роль науки и образования была всегда определяющей для социально-экономического и интеллектуального уровня общества.

Год 2013-й ознаменовался двумя событиями в жизни академического сообщества. Это 150-летие великого русского ученого и мыслителя Владимира Ивановича Вернадского и неожиданное появление правительственного проекта закона, предполагающего фактическое уничтожение Российской Академии наук (РАН), а также специализированных академий медицины и сельского хозяйства.

Сегодняшняя ситуация не является новой. В. И. Вернадский в “Очерках по истории Академии наук”, написанных в 1914–1916 годах, отмечает: “Все время в течение столетий многим казались траты на Академию ненужной роскошью или прихотью... Для оправдания её существования и затрат на неё в среде общества и правительственных кругов существовала тенденция переделывать внедренное в русскую жизнь новое дело не то в учебное заведение, не то в собрание придворных ученых вроде придворного оркестра или театра”.

В основе “разгрома” академической науки лежит убеждение определенной части руководства страны, что наша академическая наука устарела, неэффективна и т. д. Они видят “свет в окошке” в развитии теоретической науки в университетах, то есть по образу и подобию Запада. По-видимому, по этой проблеме необходимо дать историческую справку.

Почему российская наука пошла по пути сосредоточения науки в академических учреждениях, а не в университетах? Причины этого восходят ко времени создания Петром Великим Академии наук в 1724 году. Официально история Академии начинается с 1725 года – с издания указа.

В начале XVII века университеты в Европе испытывали кризис. Они были схоластичны и чужды научным изысканиям. Передовые ученые того времени, прежде всего Лейбниц, создатель Берлинской академии наук, советовал Петру идти по пути организации академии, а не университета. Лишь к середине XVIII века совершился переворот, когда наука стала проникать в европейские университеты. В дальнейшем это определило на века вперед развитие европейской науки, преимущественно на базе университетов.

Таким образом, в мире за столетия сформировалось две системы развития науки. И позволительно спросить авторов только “университетской” науки, сколько потребуются времени для реализации этого “проекта” вместо существующей Российской Академии наук? Сто, двести лет, а промежуток этого времени будет черной дырой в отечественной науке?

Создание Российской Академии наук 290 лет тому назад Петром I положило начало развитию науки в нашей стране. Великий М. В. Ломоносов был первым русским ученым. На протяжении трех веков наука непрерывно совершенствовалась, завоевывая одно из первых мест в мире. Достаточно упомянуть Д. И. Менделеева, И. М. Сеченова, И. П. Павлова, М. В. Келдыша, С. П. Королева, И. В. Курчатова, А. П. Александрова и др. За столетие в стране сформировались выдающиеся научные школы, внесшие огромный вклад во многие сферы мировой науки.

После разрушения Советского Союза положение резко изменилось. Рыночные отношения отодвинули науку на обочину. Но мы должны быть благодарны РАН за то, что она в тяжелейшее время сохранила фундаментальную науку. В отличие от отраслевой, которая в 1990-е годы прекратила свое существование.

Полтора десятка лет тому назад автор этих строк имел беседу с одним из влиятельных американцев. В разговоре был затронут вопрос развития науки в современном мире. На мое убеждение, что России, как великой и суверенной державе, нужна сильная и эффективная наука, он с убеждением и некоторым сарказмом заявил, что я ошибаюсь. России не надо тратить деньги на науку, мы вам дадим для жизни все товары и продукты, вы же нам поставляйте нефть, газ, руду и другие полезные ископаемые, которыми Бог наградил вас.

Предлагаемое “сотрудничество” напоминает “эквивалентный обмен” с дикарями, когда стеклянные бусы меняли на золотой песок и самородки.

В мире систематически происходят существенные изменения.

Рынок товаров уступает место конкуренции научных идей и технологий. Вперед бурно выходит интеллектуальная собственность. Фундаментальные исследования и прорывные технологии вытесняют прежние технологии.

Как относится к этим изменениям руководство стран, думающих о будущем своего народа, можно судить по высказыванию президента США Барака Обамы. Выступая в 2009 году на ежегодном собрании Национальной академии наук США, он сказал: “Вызовы, которые встают перед нами сегодня, безусловно, сложнее, чем все, с чем нам приходилось сталкиваться раньше... В такой трудный момент находятся те, кто говорит, что мы не можем позволить себе инвестировать в науку, что поддержка исследований – это что-то вроде роскоши в то время, когда приходится ограничивать себя лишь самым

необходимым. Я категорически не согласен с этим. Сегодня наука больше, чем когда-либо раньше, нужна для нашего благосостояния, нашей безопасности, нашего здоровья, сохранения нашей окружающей среды и нашего качества жизни”.

Обама признал, что Соединенные Штаты до сих пор ехали на запасе фундаментальных открытий полувековой давности. Теперь надо добиться нового продвижения в фундаментальных знаниях, при этом перспективные открытия будут питать успехи государства в течение следующих пятидесяти лет. Для лидерства страны в науке и образовании будет выделяться более 3% ВВП. “Фундаментальные исследования – это научный капитал”, – сделал заключение президент США.

Подобные слова должны были прозвучать и у нас. К сожалению, этого не произошло. Я проанализировал послание Президента страны Парламенту от 22 декабря 2012 года. Там нет позиции руководства страны в вопросе развития науки. Более того, через несколько месяцев министр образования и науки заявил, что наука в рамках РАН бесперспективна и архаична. Все это оскорбило многочисленный коллектив РАН и членов других госакадемий. В знак протеста лауреат Нобелевской премии Ж. И. Алферов демонстративно покинул пост руководителя общественного совета по науке министерства. Такое отношение министра, ответственного за науку в стране, вызвало шквал негодования. Посыпались требования его отставки.

Но все изменилось 28 июня 2013 года, когда правительство внесло в Госдуму проект закона, в котором три академии: Российская Академия наук, медицинская и сельскохозяйственная – ликвидируются. Вместо них создается “Клуб академиков”. Вся собственность этих академий – институты, лаборатории, земли – изымается и передается в ведение правительства.

Проект вызвал шок как в научной среде, так и у думающих людей. Предлагаемые новации, безусловно, должны были обсуждаться в стране. Все же произошло наоборот. Кремль потребовал, а Государственная Дума беспрекословно согласилась рассмотреть этот закон в ускоренном порядке.

В нарушение всяких норм и правил закон был продавлен в Думе в течение одной недели. Единственное “ослабление” – дали возможность рассмотреть проект закона в 3-м чтении осенью 2013 года.

Я полагаю, что 28 июня 2013 года войдет в историю нашей страны, как трагический день развала отечественной науки. А ведь страна, которая не развивает науку, превращается в колонию.

В предложенном читателю материале я позволил себе высказать свое личное мнение. Я люблю историю и поэтому на отдельных примерах происходивших событий тысячелетней России я хотел бы подчеркнуть, что национальная идея была всегда необходима на крутых переломах её жизни. Мне думается, на настоящем этапе жизни нашего Отечества наиболее актуальными были бы: **Единство, Прогресс, Социальная справедливость.**

Мыслями по обоснованию этих предложений я и поделился с читателями.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

НАША МОСКВА

Москва – огромный город. По существу – это целое государство с многомиллионным населением с колоссальным грузом всевозможных проблем. Как в этих условиях дойти до каждого жителя, узнать о его нуждах? Только с помощью местного самоуправления, которое гораздо ближе к “земле”, чем центральные структуры городской власти. Отрадно, что в мэрии и Правительстве Москвы видят проблему и не скупясь делятся полномочиями с районными муниципалитетами. Модель управления, предлагаемая руководством столицы, в идеале призвана стать “демократией для всех”.

Другое дело, что развитие местного самоуправления и самоорганизации населения – это сравнительно новые начинания. Преимущества их очевидны, но и проблем при реализации возникает немало. Об этом размышляет Виктор Владимирович Курасов, в недавнем прошлом – руководитель одного из столичных муниципалитетов.

Парадоксально, но, как явствует из его статьи, противниками передачи полномочий на места зачастую выступают... местные депутаты. Тогда как столичные власти и новоизбранный Мэр проявляют живейший интерес к вопросам московского городского самоуправления. Об этом, в частности, свидетельствует участие С. С. Собянина в VI Съезде муниципальных образований города Москвы.

В своём выступлении Сергей Семёнович сказал, обращаясь к делегатам Съезда: **“Москва, как вы знаете, находится в части построения власти в уникальном положении. Во всех крупных городах России, не считая Санкт-Петербурга, на районном уровне вообще отсутствует какое-либо местное самоуправление, даже в городах-миллионниках. Там в целом орган власти единый, единое местное самоуправление охватывает весь город, всю городскую систему власти. Москва же, как город федерального значения, обладает и муниципальными, и государственными полномочиями, поэтому у нас два уровня власти – это городской уровень власти и муниципальный. С одной стороны, городу Москве требуется организовать муниципальное самоуправление со своими вопросами местного значения, со своими полномочиями, с другой – необходимо исполнять государственные полномочия и сохранять единство городского хозяйства. Это противоречие привело к тому, что мы недостаточно, на мой взгляд, используем потенциал, заложенный в самой системе местного самоуправления. Значительная часть москвичей вообще не знает своих депутатов и не видит в местном самоуправлении на сегодняшний день реальной силы, способной отстаивать интересы жителей. И такое положение дел, конечно, не идёт на пользу ни жителям, ни развитию города в целом”**.

Действительно, местное самоуправление – это и есть та “сила”, как точно заметил С. С. Собянин, которая, прежде всего, должна отстаивать интересы жителей. В июле 2012 года Московская городская Дума приня-

ла, а Мэр Москвы утвердил Закон №39 “О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы”. Однако готовы ли местные органы самоуправления принять на свои плечи дополнительный груз ответственности за решение многих сложных проблем города и района? – Тут возникает множество вопросов, о которых и ведёт речь автор статьи. В любом случае – развитие местного самоуправления, той “низовой демократии”, которая, собственно, и должна дойти до каждого гражданина, это единственный путь утверждения правового государственного порядка, исключаящего все проявления произвола и бюрократизма со стороны властных структур.

Заканчивая своё выступление на Съезде муниципальных образований, С. С. Собянин подчеркнул: **“Москвичам необходимо местное самоуправление, которое будет выражать их интересы по ключевым вопросам местной жизни – от благоустройства дворов и парков до работы поликлиники, строительства магазинов и других объектов шаговой доступности. Бюджетные средства, направляемые на развитие конкретных районов, должны быть подконтрольны местным собраниям, а главы управ и руководители ключевых районных служб должны быть подотчётны жителям конкретных районов по результатам своей работы. И, конечно, задача развития местного самоуправления не должна быть делом одного дня или одного года. Она требует времени, политической воли, настойчивости, как со стороны депутатов, так и правительства Москвы. Тем не менее – основной вектор движения должен оставаться неизменным. Это превращение местного самоуправления в дееспособную, эффективную власть, которая будет работать для москвичей и под их контролем”**.

Редакция журнала надеется, что статья Виктора Владимировича Курасова о проблемах самоуправления в Москве, по большому счёту – о проблемах народовластия, явится началом плодотворной дискуссии о дальнейшем развитии демократического строя вообще, перспективах нашего государственного бытия, которое вообще невозможно без успешного взаимодействия власти и народа.

ВИКТОР КУРАСОВ

СУДЬБА САМОУПРАВЛЕНИЯ В МОСКВЕ

*Деятельность муниципальных органов
и возможности общественной самоорганизации*

Только что закончившаяся кампания по выборам столичного Мэра выдвинула районных депутатов в центр всеобщего внимания: без их подписей кандидат в градоначальники не может преодолеть так называ-

емый “муниципальный фильтр”. В то же время предвыборные баталии показали, что далеко не все кандидаты (не говоря уже о широкой общественности) понимают суть и назначение местного самоуправления. Так что же это за институт и каковы сегодня его полномочия? Давайте разбираться.

Местное самоуправление в городе Москве имеет особенности, которые отличают его не только от всей России, но и от самого близкого по своей специфике города федерального значения Санкт-Петербурга. Удивительным образом “новая” (часть Московской области, присоединённая к городу) и “старая” Москва живет по разному законодательству. “Новая” по федеральному, “старая” по региональному. Но и это не всё, половина “старой” добровольно отказалась от государственных полномочий, а половина нет. Вот так и живём.

Так что же есть такое местное самоуправление в Москве? Чтобы понять, как оно сложилось и в чем суть сегодняшних проблем, имеет смысл вернуться на 20 лет назад.

Развитие местного самоуправления в Москве в соответствии с действующим законодательством, уж так сложилось, полностью зависит от отношения к данной проблеме высшего должностного лица – мэра города Москвы.

Как управление государством Конституцией Российской Федерации было “заточено” под президента, так управление Москвой, Уставом города Москвы и другими нормативно-правовыми актами (далее НПА), было “заточено” под мэра. Юрий Лужков создал систему власти, в которой не было места местному самоуправлению, и если бы не жесткая политика федерального центра по данному вопросу, всё, наверное, было бы по-другому.

Указом Президента РФ от 24 октября 1993 г. № 1738 были утверждены положения “О выборах в Московскую городскую Думу 12 декабря 1993 года” и “О системе органов государственной власти в г. Москве”. Согласно этому Указу, в Москве учреждалась следующая система органов государственной власти: Московская городская Дума – представительный орган; мэрия Москвы (московская городская администрация) – исполнительный орган во главе с мэром; правительство Москвы – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый мэром; отраслевые и территориальные органы управления городом, создаваемые мэром. Хотя в названии указа и были слова о реформе органов местного самоуправления, в его тексте места самоуправлению не нашлось.

Указом Президента РФ от 10 декабря 1993 г. № 2125 “Об общих принципах административно-территориального деления и организации местного самоуправления в городе Москве”, выпущенным за два дня до принятия Конституции Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы было предложено разработать и принять в январе-феврале 1994 года нормативные акты, регулирующие порядок проведения реформы местного самоуправления в столице. Указом было утверждено Временное положение об административно-территориальном делении города, согласно которому районы являлись муниципальными образованиями и в них создавались муниципальные собрания и муниципалитеты. Вроде все ясно и понятно, но по разным причинам нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие местное самоуправление в Москве, не были приняты.

Принимая 28 июня 1995 года Устав города Москвы, уже руководствуясь принятой 12 декабря 1993 года Конституцией Российской Федерации, Московская городская Дума предложила жителям Москвы **осуществление местного самоуправления в весьма усеченном виде – путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через систему органов самоуправления города Москвы – городских органов**. Для этого Уставом закреплялся двойной статус Думы и городской администрации, согласно которому они **одновременно** являются орга-

нами городского (местного) самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации и обладают всеми законодательно установленными полномочиями указанных органов без создания отдельных органов власти города – органов городского (местного) самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, то есть без разграничения – **все власть, как и ранее, в одних руках.**

Однако через два месяца – 28 августа 1995 года вышел федеральный закон 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (далее 154-ФЗ), который установил, что **население городского поселения не может быть лишено права на осуществление местного самоуправления.**

Пытаясь выйти из создавшегося “не правового” положения отцы города приняли “соломоново решение”, так как управа по своим функциям “похожа” на орган местного самоуправления, то 11 сентября 1996 года был принят Закон города Москвы № 28-91 “О районной Управе в городе Москве”, которым она **наделялась функциями органа местного самоуправления** по вопросам местного значения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством города Москвы к компетенции городского (местного) самоуправления. Районную Управу, как и районное Собрание, возглавлял глава Управы, который избирался советниками районных Собраний по представлению мэра Москвы.

Так была создана **видимость местного самоуправления.** Но, несмотря на всю противоречивость закона, были в нём и полезные нормы, отсутствующие в настоящее время: Советником мог быть избран гражданин Российской Федерации – житель Москвы, **постоянно проживающий не менее года на территории района;** осуществление контроля за использованием материально-финансовых ресурсов района; рассмотрение и утверждение годовой программы (плана) социально-экономического развития и застройки территории района, изменений в ней, отчёта о ее исполнении; избрание главы Управы; осуществление контроля за деятельностью главы Управы.

Но не всех устраивало такое положение дел с местным самоуправлением. Ряд граждан, не согласившись с такой вольной трактовкой федерального законодательства, обратились в суд. Решением Московского городского суда от 26 декабря 2000 г. (№ 3-713/2000), Верховного Суда Российской Федерации (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 октября 2000 г. № 5-Г00-111, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 марта 2001 г. № 5-Г01-12) такое положение дел было признано не соответствующим федеральному законодательству. Суды пришли к выводу, что **осуществление полномочий местного самоуправления органами государственной власти города Москвы является незаконным и не может рассматриваться иначе, как лишение жителей Москвы конституционного права на осуществление местного самоуправления.**

В связи с этими судебными решениями 6 ноября 2002 года был принят закон № 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, установивший принципы и порядок организации местного самоуправления в столице. Фактически была осуществлена реформа местного самоуправления, в результате которой созданы внутригородские муниципальные образования в районах города, сформированы муниципальные Собрания и муниципалитеты, определены вопросы местного значения как собственная сфера компетенции местного самоуправления.

Право определения вопросов местного значения законом города Москвы было установлено 154-ФЗ и развито вышедшим 6 октября 2003 года федеральным законом 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (далее 131-ФЗ).

Про полномочия, которыми тогда наделили местное самоуправление, можно откровенно сказать – власть руководствовалась принципом “на тебе Боже, что нам не гоже”. На практике местное самоуправление так и не стало инструментом “самостоятельного решения населением вопросов местного значения”.

Другими словами, местное самоуправление **при прежнем мэре в Москве** рождалось не благодаря, а вопреки, не как любимое дитя, а как нежеланный ребенок, не по доброй воле, а “из-под палки” Верховного суда РФ.

Настоящее **движение в этом вопросе началось с приходом нового мэра** – Сергея Собянина. Всех приятно удивило то, что мэр пришел на заседание съезда Ассоциации “Совет муниципальных образований города Москвы” (далее СМОМ). Для сравнения: Ю. Лужков не присутствовал на четырех предыдущих съездах. Совершенно неожиданным стало предложение о назначении на год глав управ районов **после обязательного согласования с Муниципальным Собранием** (далее МС). Очень многие главы, ранее смотревшие свысока на МС, изрядно “понервничали” на таких “смотреинах”, под перекрестным допросом депутатов. **Впервые официально была озвучена мысль о совмещении должностей руководителя муниципального образования, руководителя муниципалитета и председателя Муниципального Собрания в одном лице.** Осторожно было сказано о перераспределении полномочий.

У муниципалов появилась надежда. Но чиновничий аппарат силён в своём самосохранении. Постепенно согласования глав управ превратились в формальную профанацию и междусобойчик, так что из 125 муниципальных образований только в одном произошло совмещение, фактического перераспределения полномочий так и не произошло.

Важной вехой стали выборы 2012 года в муниципальные собрания внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее ВМО). Во многих ВМО депутатами стали новые лица. В принципе, это хорошо, но не все так очевидно. Почему-то ряд “оппозиционных” депутатов решили, что они за полгода во всем разобрались и теперь будут решать судьбу самоуправления в Москве.

Муниципальные Собрания ВМО Тропарево-Никулино, Печатники, Таганское в декабре 2012 года обратились в СМОМ с просьбой **забрать у них государственные полномочия.** Причём сделали они это ещё до того, как СМОМ, в соответствии с законом, получил право законодательной инициативы в Мосгордуме. Настораживает тот факт, что МС сами имеют право законодательной инициативы, но “оппозиционеры” решили своими правами не пользоваться, а переложить это бремя на других. Накануне Нового года “оппозиционеров” вместе с поддержавшими их депутатами КПРФ и “Справедливой России” пригласили на заседание Президиума СМОМ, где с их инициативой согласились и приняли решение внести в Мосгордуму в порядке законодательной инициативы соответствующие законопроекты. Так на основании обращений трёх МС были внесены законопроекты о внесении изменений в ряд законов с отказом от полномочий и фактической ликвидацией муниципалитетов.

История, пожалуй, не знает случаев, когда вот так, **по доброй воле отказывались от полномочий при общемосковском громогласном фоне – Ну, что вы от нас хотите, у нас же совсем нет полномочий!..** Вот такой изыск.

После этой инициативы снизу пошла цепная реакция отказов, и к моменту выхода соответствующих законов уже 58 ВМО добровольно отказались от полномочий.

Что же так не устроило оппозиционных депутатов и представителей двух оппозиционных партий, какие доводы они приводили в обосновании своего предложения?

Первый и основной – “Дублирование полномочий”. Странно, так как это **переданные** полномочия, то есть, передав их, Москва **именно таких**

уже не имеет. Да, в разных НПА Москвы есть дублирование, но только в части контроля. Муниципалитет исполняет полномочие, префектура или профильный департамент контролирует исполнение. В чём дублиаж?..

Второй – “Экономия денег”. Очень спорный довод. Все сотрудники опеки, КДН, досуга и спорта перешли в управу и Департамент социальной защиты населения города Москвы, где зарплаты никак не меньше, а соцпакет больше. В управах созданы соответствующие отделы с соответствующим заместителем главы управы. Вместо муниципалитетов создали аппараты по своей сути обслуживающие только муниципальное Собрание. Парадокс в том, что такие аппараты были, когда 131-ФЗ объявлял представительный орган обладать правами юридического лица. Когда в федеральный закон были внесены изменения, вводящие норму “может обладать”, извечный вопрос, быть или не быть, сразу был решен – не быть. **В 2010/11 годах по “просьбе” города все муниципальные собрания как юридические лица были ликвидированы.** Но дело не в ликвидации, создавшей немало проблем с увольнением сотрудников, а в том, что тогда штат состоял из трёх человек, из которых один орговик справлялся с тем же объемом работы, с которым теперь с трудом справляются два орговика с юристом. Был один, стало – три.

Вот так мы экономим.

Стоит отметить, что передача полномочий произошла как-то в очень большой спешке. Переход спортивно-досуговых учреждений вообще законодательно не был подготовлен. Если в муниципалитетах в 2011 году были приняты и опубликованы порядка 20 НПА, регулирующих работу учреждений, то в городе правовой базы просто не оказалось. **Передав в 2006 году полномочия муниципалитетам, город оказался совершенно не готов к их возвращению.** Для закрытия правовых дыр при формировании госзадания были надерганы услуги и работы из перечней Департамента культуры и Департамента физической культуры и спорта города Москвы, что мало соответствует тому, чем учреждения раньше занимались. Оказавшись в городе, учреждения вместо необходимого для работы правового поля увидели одну большую правовую дыру. Конечно, есть надежда, что принятие соответствующих НПА дело скорого времени, учитывая, что все проекты для муниципалитетов подготавливались СМОМ, который тесно взаимодействует в своей работе с городом.

Отсутствие правовой базы не самая большая проблема, проблема в другом – у учреждений теперь нет “хозяина”, который бы за них раздел и отстаивал их интересы. Учредитель – префектура, ведомственная подчиненность – управе. В префектурах заместители префектов по “социалке” от них отбрыкиваются всеми силами, Департаменту культуры они не нужны, Департаменту физической культуры и спорта тоже. А за каждым ГБУ десятки живых людей, которые самоотверженно, за копеечные зарплаты, занимаются с жителями.

Став “государственными”, в учреждениях были “приятно” удивлены зарплатами коллег из образования, культуры, спорта и других братьев по ГБУшному цеху, которые оказались в 2, 3, а то и в 4 раза больше. И хотя базовые тарифы ЕТС у всех одинаковые, профильные департаменты позаботились о своих подчиненных, пролоббировав принятие соответствующих НПА с повышающими коэффициентами. Досуговые же учреждения как были “сиротами”, так, похоже, и остались. Если раньше муниципалитеты разводили руками и показывали пальцем вверх, объясняя скудность соответствующих расходных статей расчётами бюджета города Москвы, то теперь не понятно, на кого показывать пальцем. Наверно, недаром введен соответствующий термин – минимальная бюджетная обеспеченность. Меньше уже нельзя, а больше “жирно” будет. **Молодые и без большого опыта и разряда специалисты могут рассчитывать на зарплату, которая уже меньше официального прожиточного минимума в Москве,** что в принципе противоречит здравому

смыслу, так как найти желающих работать за такие деньги иногда становится просто невозможно. С одним и тем же дипломом уйдя из досуга, например, в образовательное учреждение, соискатель сразу почувствует большую разницу.

К сожалению, приходится констатировать, что как были учреждения обузой, так и остались. Никто не хочет ими заниматься, никому они, получается, не нужны – ни бравым депутатам, ни правительству Москвы. Всё как с брошенными детьми. Одни, не думая, отказываются, другие, скрепя сердце, берут на госсодержание.

Сравнение с детьми не случайно. Опека, КДН, спорт и досуг, все эти полномочия на 90% связаны с детьми, – с нашими детьми. Они живут где-то рядом с нами, но, увы, не в нашей жизни. Спрашивается, кому видней, что происходит в подъезде, доме, микрорайоне – жителям вместе с депутатами, или префекту, главе управы?.. Создаётся впечатление, что у некоторых горячих голов просто есть желание особо ничего не делать, ни за что не отвечать и переложить всю ответственность на государственную власть. Кстати, у некоторых “оппозиционеров” это проходит “красной нитью” – **отдать всё, чтобы потом можно было спокойно кричать на всех углах, что во всем виновата власть!** Самое обидное, что инициаторами передачи полномочий стали не вечно попрекаемые депутаты – директора школ и главврачи, а молодые оппозиционеры – жители районов. Ну не могут же быть безразличны депутату жителю проблемы района, связанные с детьми. Получается – могут!

Трудно порой упрекать префекта или главу управы, когда они проводят в жизнь что-то, что не совсем согласуется с интересами жителей. У них работа такая – выполнять указания свыше. Но у них заключён контракт с мэром, а у депутатов – с жителями района. Иногда создаётся ощущение, что народные избранники про это забыли. Сколько у нас поменялось и поменяется еще глав управ и префектов, а вам, депутаты, **здесь жить и смотреть в глаза своим соседям – жителям района.** И если пока многие ограничиваются популистской риторикой и бравыми лозунгами, придёт время, и за свои “дела” придется отвечать!

В чём же заключается работа депутата, к которой многие так сильно рвались? Она существенно отличается от творчества депутатов Госдумы и Мосгордумы. Кстати, некоторые новоиспечённые депутаты были неприятно удивлены, узнав после своей победы на выборах, что **работа муниципального депутата является общественной и никак не оплачивается.**.. Единственным бонусом может служить бесплатный проездной на все виды транспорта, и то, если вы не достигли пенсионного возраста. Правда, надо признать, в конце мая текущего года вышло дополнение в закон о поощрении активно участвующих в работе депутатов. Интересно посмотреть реализацию данной инициативы и её прозрачность. Она вносит некую интригу в повседневные муниципальные будни. Теперь уже можно констатировать, что депутатский труд стал частично оплачиваться. Значит, и спрос теперь будет жёстче.

Приняв решение об участии в выборах, не все понимали, что значит быть депутатом, совершенно не представляли объём работы, который свалится на них. Так что же это за работа? – Её можно условно разделить на два основных направления – в офисе муниципалитета и на территории. В офисе в среднем раз в месяц, а то и чаще проводятся заседания муниципальных Собраний – Советов депутатов. Обычно здесь же раз в месяц проходят встречи с жителями. При принятии ряда вопросов проводятся заседания профильных комиссий. По некоторым вопросам, например, внесение изменений в Устав, проводятся заседания рабочих групп и публичные слушания. Публичные слушания проводятся также по бюджету. На территории работа более интересна, но и более утомительна. **Ремонт подъездов, выборочные капитальные ремонты, благоустройство дворов, ремонт спортплощадок – это все тоже зона ответственности депутата.** Процесс обычно делится на три этапа.

Сначала нужно завизировать акт открытия работ. Потом прийти проконтролировать процесс ремонта, может и не один раз, если жители недовольны, как идёт работа. И в заключение участвовать в приёме работ с подписанием соответствующего акта. Кажется, немного, но когда домов, подъездов, площадок несколько десятков, то впечатлений хватает.

И это только часть работы депутатов, на самом деле забот и хлопот намного больше. В середине прошлого года был принят закон о дополнительном наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы. Депутаты теперь заслушивают отчёты глав управ, руководителей ГКУ ИСов, МФЦ, ЦСО, поликлиник, директоров школ, управляющих организаций. Согласовывают адресные перечни благоустройства дворовых территорий, многоквартирных домов, подлежащих капремонту, проекты ГПЗУ площадью до 1500 кв. м, проекты схем нестационарных торговых объектов, сезонных кафе, шлагбаумов и т. д.

Полномочий действительно всё больше и больше. Выделяются дополнительные средства для благоустройства или капремонта именно по просьбам депутатов, сверх плановых перечней. Как говорится, работай на благо жителей и ни в чём им не отказывай. Но практика показывает, что редко депутаты предлагают “свои адреса”. В основном все перечни, как основные, так и дополнительные, формируются соответствующими специалистами управы и ГКУ ИСов.

К сожалению, проблема инертности и равнодушия пронизала всё наше общество, включая депутатский корпус. Кто-то идёт по убеждениям, кто-то ради престижа, кто-то сам не знает зачем. Отмена ранее действовавшей нормы по годовичному проживанию в районе для кандидатов в депутаты привела к тому, что приехавший в отпуск или командировку из Владивостока может принять участие и стать избранным депутатом в Москве!.. И совершенно другая история, будет он работать или не будет. Если даже группа жителей решит его отозвать, то на такой случай нет чёткого правового решения. В законах подробно прописаны гарантии осуществления полномочий депутата, **но не его обязанности.** Одним из недостатков законодательства является отсутствие простого механизма отзыва избирателями своих депутатов. А это реальное право каждого избирателя, одна из форм непосредственной демократии в местном самоуправлении. Норма по отзыву прописана в 131-ФЗ, но на практике получается, что помимо судебного подтверждения противоправных действий нужно провести процедуру по отзыву, похожую по сути на выборы. Получается юридический нонсенс. Например, для того чтобы стать депутатом, нужно в среднем 1000 голосов, а для того чтобы перестать быть депутатом (отзыв), нужно около 7000 голосов, что на практике абсолютно нереально. Столько людей никогда не приходит на участки. Поэтому представительный орган становится заложником ситуации. “Плохого” депутата практически невозможно лишить мандата и кроме общественного порицания никаких санкций не предусмотрено.

Наткнувшись на таких депутатов и не найдя с их стороны поддержки, жители нередко самоорганизуются в инициативные группы и своими силами пытаются решить насущные вопросы. Жизнь показывает, что в основном это происходит, когда власть решает что-то строить под “носом” у москвичей. В последнее время, после пересмотра старых инвестконтрактов, как из небытия вновь стали появляться тени лужковской точечной застройки. Было успокоившиеся за последние годы жители на фоне общего врага в виде застройщиков вынуждены снова объединяться для защиты своих интересов. К сожалению, даже когда муниципальные Соборания поддерживают жителей и принимают решения о недопустимости точечной застройки или транспортной суперразвязки, **их решения не имеют реальной силы.** Как в мае 2006 года у муниципалов отобрали согласование строительства, так с тех пор

решение Собрания по вопросу застройки стало равнозначным с письмом-жалобой рядового москвича. Поэтому протестное движение часто растёт в связи с отсутствием у местного самоуправления необходимых полномочий для решения насущных проблем, связанных со строительством.

Возвращаясь к началу статьи, хочется отметить, что недавно введенный “муниципальный фильтр” заставил всех без исключения претендентов на пост Мэра Москвы по-новому взглянуть на муниципалов. Отсутствие необходимого количества подписей вдруг стало для некоторых кандидатов непреодолимой преградой на пути к заветной цели. Так как не замечать муниципалов стало уже невозможно, интересен краткий анализ предвыборных программ кандидатов в разрезе местного самоуправления. Как уже было сказано ранее, благодаря федеральному законодательству, **от Мэра полностью зависит – каким будет местное самоуправление в Москве.** Так как программа кандидата это – квинт-эссенция его предвыборных обещаний, посмотрим, что нас гипотетически бы ждало при победе того или иного кандидата. Сразу надо отметить: не все кандидаты подошли серьезно к этому вопросу. У многих, видимо, был расчёт, что москвичи не будут читать, а больше слушать, или на то, что никто не знает, что это за зверь такой, и можно писать, особо не заморачиваясь. В результате, несмотря на наличие в своих штабах муниципальных депутатов, ряд кандидатов допустили откровенные ляпы.

М. Дегтярев в своей программе решил вообще не уделять внимания местному самоуправлению.

Н. Левичев, не конкретизировав, ограничился общим тезисом – “Нужна комплексная реформа московской власти – реформа государственных органов и местного самоуправления”. Коротко, но не ясно.

И. Мельников в своей программе удивил тезисом, что “Муниципалитеты – исполнительные органы, которые подчиняются Совету депутатов”. Это практически то же, что сказать – Правительство РФ подчиняется Госдуме. В обещании – “*Расширим полномочия и права депутатов муниципальных собраний, особенно в сферах градостроительства, торговли и транспорта*”.

Интересно, как будут согласовывать маршруты от центра до окраин депутаты муниципальных собраний – Советов депутатов десятков муниципальных образований. А торговлю на сегодняшний день депутаты и так согласовывают.

С. Митрохин, в общем-то, при большом опыте работы в Москве и глубоком знании местного самоуправления, так же удивил некоторыми утверждениями. “*Управы будут ликвидированы. Большая часть их полномочий, включая благоустройство, ЖКХ, спорт и социальную защиту, будет передана муниципалитетам*”. Допустим, управы распустили, большая часть полномочий управы уйдет в муниципалитет, а меньшая куда?.. Управ нет, тогда оставшуюся часть префектур? Не проще ли вместо вывески “Управа” повесить “Муниципалитет”? В разделе “Полноценное управление домами” муниципалитеты неожиданно для себя узнали, что на них лежит “огромная доля забот, связанных с состоянием жилого фонда”.

А. Навальный, собравший в свою поддержку подписи практически всех новоизбранных прогрессивных депутатов, так же не избежал досадных промахов. В тексте программы местное самоуправление неожиданно получило в свое распоряжение – муниципальные предприятия, муниципальную недвижимость, предприятия муниципального хозяйства, муниципальные здания. Видимо, мечта муниципалов воплотилась, хотя бы в программе. Не совсем по адресу тезис “*Проблемы каждого дома и подъезда лучше знают – и поэтому могут решить – не мэр, а муниципалитеты. Вот почему необходимо передать полномочия по принятию многих решений муниципалитетам – и подкрепить эти полномочия финансовыми ресурсами*”.

По закону муниципалитет – исполнительный орган, и в нём работают точно такие же служащие, как в управах, префектуре или мэрии,

а вот депутаты, избранные жителями, которые реально знают (должны знать) проблемы каждого дома и подъезда, почему-то оказались в стороне. Если специалисты муниципалитетов всё так хорошо знают, что надо делать в каждом доме и подъезде, то зачем нужны депутаты?

Практически все претенденты, кроме действующего Мэра, ограничились набором популистских лозунгов, с реальной жизнью ничего общего не имеющих. Ошибки, допущенные в программах, показывают, что темой местного самоуправления никто глубоко не занимался, а самое обидное, не нашлось хотя бы одного муниципального депутата, который, прочитав, поправил бы допущенные ляпы.

Подводя итог, можно сказать, что процесс становления местного самоуправления в Москве не спеша, но идёт. Иногда, как сказано у Ленина – “шаг вперёд, два шага назад”, но все же идёт. За громкими криками: “Мало полномочий, хотим больше!” – тихо так слышен шёпот – эти полномочия возьмите назад... Нонсенс, **одни государственные полномочия город передает муниципалам, от других они добровольно отказываются**. Почти как на базаре, вот это мы возьмём, а вот это нам не нравится – возьмите обратно. В целом же, чтобы брать что-то ещё, надо научиться хорошо делать то, что уже есть. А этим пока мало кто может похвастать.

ВЛАДИМИР ТРОФИМОВ

*доктор юридических наук,
действительный член РАЕН*

РАССТРЕЛ

Прошло уже двадцать лет с момента памятных событий, известных как расстрел “Белого дома”. Именно тогда, двадцать лет назад, возник конфликт парламента с президентом России Борисом Ельциным, который сначала вылился в осаду парламента, а потом и в его расстрел из танков.

Так получилось, что где-то за год до начала этого противостояния я перешел на работу в аппарат Верховного Совета РФ, в Комитет по международным делам. Перешел из Министерства иностранных дел России. Там я до этого работал довольно долго, дослужился до первого секретаря. Наверное, мог продолжать работать и дальше, голодным не остался бы. Были и деньги, и поездки за границу, да и в целом достаточно безбедное существование. Но не надо забывать, что это было самое начало девяностых годов, период сразу после распада СССР. Тогда шел дележ имущества Советского Союза, установление новых отношений с Западом. И сотрудники МИДа были в полной мере втянуты в этот процесс.

А процесс этот, надо отметить, был довольно грязным. Имущество растаскивалось, национальные интересы приносились в жертву другим государствам. Причем непонятно за что. Хорошо быть простым бездумным чиновником, который тупо выполняет поручения начальства и при этом особо не задумывается над смыслом того, что именно он делает. Но вот мне так существовать было неприятно. Тем более что до этого в течение почти двадцати лет я занимался совсем другим делом – пытался отстаивать национальные интересы Советского Союза. Нельзя сказать, чтобы в тот период мои инициативы уж очень приветствовались начальством. Но меня и не увольняли, хотя порой прижимали за излишнее рвение. В МИДе традиционно ценятся специалисты, которые знают предмет, но не лезут в политику. Что им скажут, то они и делают. А инициатива – это лишние проблемы для начальства, надо вникать, разбираться, брать на себя ответственность.

Я не был потомственным дипломатом и не настроен был платить любую цену за дипломатическую карьеру. Отец был летчиком-истребителем, воевал вместе с Покрышкиным, прошел всю Великую Отечественную, а потом и корейскую войну, получил звание Героя Советского Союза, дослужился до генерала. Мать тоже участвовала в Великой Отечественной войне, причем стрелком-радистом на танке. Так что по части общественного статуса и патриотического воспитания у меня изначально было все в порядке.

Так вот, после распада СССР я столкнулся с такими мерзостными и глупыми действиям высшей российской власти, что выдержать это было трудно.

И не мне одному. В тот период много дипломатов расстались с родным министерством. И нередко именно потому, что было тошно участвовать в грязных делишках, а подчас и просто в предательстве государственных интересов.

Я успел проработать в парламенте целый год. История с осадой и расстрелом “Белого дома” началась для меня еще во второй половине дня 21 сентября 1993 года. Уже прошел слух, что Ельцин решил разогнать Верховный Совет. В общем, народ об этом говорил достаточно уверенно. Ко мне в это время пришла какая-то иностранка, занималась наукой, собирала данные для своей книги. Я ей в разговоре так тогда и сказал: “Если сегодня Верховный Совет не закроют...” Вечером я уехал домой. Только приехал – по телевизору зачитывают указ президента. Что делать? Я развернулся и поехал назад в “Белый дом”, хотя и не был уверен, что кого-либо там встречу.

Приехал туда около девяти часов вечера. Комитет по международным делам располагался с обратной стороны здания парламента, на третьем этаже, прямо над двадцатым подъездом, с окнами на стадион. Сразу на площадке третьего этажа находился зал для заседаний Комитета. Но там никого не было. Неужели приехал напрасно? Я прошел дальше по коридору, к своему кабинету. Он был дверь в дверь с входом в кабинет председателя Комитета. Дверь туда была открыта. Значит, кто-то был внутри.

Вообще-то председателем Комитета до этого времени был Амбарцумов. Он сменил Лукина, который уехал послом в США. Это был довольно-таки осторожный человек, старавшийся в первую очередь ни с кем не конфликтовать. А в составе Комитета несколько членов, которые активно выступали в защиту национальных интересов, – известный космонавт Виталий Севастьянов, Сергей Михайлов, журналист Иона Андронов, ленинградец Евгений Пудовкин, Александр Соколов. Они заседаний Комитета не прогуливали, заранее готовились по важным вопросам, старались противостоят попыткам ельцинистов продавать национальные интересы за границе. И Амбарцумов вынужден был считаться с их мнением, подписывал документы, которые подчас очень не нравились в Кремле. Но не исключаю, что если бы на него не было давления членов Комитета, он бы не стал так поступать.

Неужели он вышел на работу после такого указа? Посмел ослушаться Ельцина? В это верилось с трудом. Но кабинет-то его открыт! В чем же дело? Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

Там шло заседание Комитета, хоть присутствовали далеко не все. Во всяком случае, упомянутый мной выше актив сидел за столом и довольно бурно что-то обсуждал.

Вообще-то я и мог, и должен был присутствовать на заседаниях по должности. Так что формальное основание зайти внутрь у меня точно было. А вдруг это какое-то неформальное совещание? Ну, тогда мне просто скажут, чтобы я вышел. И я шагнул внутрь. Как выяснилось, навстречу своей судьбе.

Сидевшие за столом были одеты неофициально, кое-кто даже в джинсах, что было необычно. С другой стороны, было понятно, что они не готовились к этому заседанию и точно так же, как и я, приняли решение срочно приехать.

Все на мгновение замолчали и, повернув головы, стали меня пристально разглядывать. Длилось это всего лишь мгновение. На лице говорившего, это был Михайлов, промелькнуло какое-то сомнение, но он отвернулся от меня и продолжил. Другие тоже отвернулись. То есть меня приняли. Но уже по этой реакции стало понятно, что тут идет речь о чувствительных вопросах. Кстати сказать, я оказался тогда единственным из аппарата Комитета, кто вернулся в “Белый дом”. И единственным, кто там сидел вплоть до 4 октября, до самого расстрела.

Обсуждали сложившуюся после ельцинского указа ситуацию. Каких-то радикальных контрходов никто не предлагал. Просто каждый высказывал свое мнение. Было понятно, что Ельцин вышел за пределы своих полномочий, четко определенных Конституцией. В ней было яснее ясного записано следующее:

“Статья 104. Высшим органом государственной власти Российской Федерации является Съезд народных депутатов Российской Федерации.

Съезд народных депутатов Российской Федерации правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации”.

Ну, какие тут могли быть толкования? Четко и ясно. Более того, дальше в тексте Конституции полномочия парламента прописаны предельно подробно. Из них следовало: президент в полной мере подчиняется парламенту.

А в другой статье Конституции было сказано буквально следующее:

“Статья 121-6. Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно”.

И тут текст предельно ясен. Неужели в этом случае могли быть хоть какие-то толкования или недопонимание? Кстати, конечно же, нигде в той Конституции не говорилось, что президент является ее гарантом. Такое положение вошло лишь в следующую Конституцию, которая действует и поныне.

Собственно говоря, ситуация насильственного разгона парламента обсуждалась довольно долго и подробно и в предыдущие месяцы. Этот вопрос стоял в повестке дня двух съездов подряд. Именно поэтому вышеупомянутая статья 121-6 сначала должна была вступать в силу только после общероссийского референдума. Но в связи с тем, что угроза государственного переворота стала выглядеть вполне нешуточной, очередной съезд ввел эту статью в действие, отменив условие о референдуме.

Короче, эта тема была уже сто раз проговорена на всех уровнях. Теперь наступило время, когда Ельцин практическими действиями нарушал Конституцию. На столе лежал текст его указа с крайне недвусмысленным содержанием. То есть надо было обсуждать уже не гипотетическую, а вполне реальную ситуацию.

То, что действия Ельцина незаконны и антиконституционны – понятно. Но что этому противопоставить? Все-таки ельцинский указ прямо не предполагал применение силы. То есть вроде бы получалось, что орган исполнительной власти вдруг ни с того, ни с сего заявил, что он распускает высший орган власти страны. Но из этого следовало, что Ельцин должен был автоматически утратить свои полномочия. И все остальные органы власти должны были именно из этого и исходить. То есть не выполнять его указаний.

Однако если не выполнять указаний Ельцина, то чьи указания выполнять? Если Ельцин утратил полномочия, то в таком случае у подъезда парламента уже должны были стоять представители всех министерств с вопросом, что им делать дальше и кто теперь их непосредственный начальник. Однако очереди явно не наблюдалось. Даже в тот первый вечер было понятно, что органы исполнительной власти по крайней мере не сочли, что у них теперь есть новое руководство в лице Верховного Совета или даже Съезда. Хотя силовики не были готовы в тот момент и выполнять указания Ельцина по насильственному разгону парламента.

А если силовые ведомства все-таки встанут на сторону Ельцина? Что тогда? Применение силы против депутатов? Аресты? Как в восемнадцатом: “Караул устал”? Тут нужно отметить, что в начале 1993 года Ельцин уже склонялся к мысли разогнать парламент. Более того, активно к этому готовился. Его аппарат сочинял проекты соответствующих указов. Сам же Ельцин пытался найти союзников в лице руководителей силовых министерств. Но тогда не нашел. Может быть, именно потому в первой половине 1993 года переворот и не удался.

А теперь как? Если силовики не изменили своих взглядов, то и теперь можно было рассчитывать, что все закончится пусть и противостоянием, но все-таки без применения насилия, без стрельбы и убийств. Кстати, тут в качестве отступления нужно отметить, что практически сразу после объявления этого указа собрался Конституционный суд, который объявил действия Ельцина неконституционными. А после этого собрался не только Верховный Совет, но и Съезд народных депутатов. И на съезд прибыло достаточно депутатов, чтобы сформировался кворум. Съезд принял вполне недвусмысленные решения по Ельцину и назначил Руцкого исполнять обязанности президента страны.

Именно потому депутаты, участвовавшие в том заседании Комитета по международным делам, сходились во мнении, что насильственные действия совершенно немыслимы. Силовой разгон парламента в ядерной стране представлялся невероятным вариантом. Конечно же, на нашу сторону должны были встать другие государства, особенно западные. Ведь они так агитировали

за установление истинной демократии в России. И они, конечно же, должны были помочь нам принудить Ельцина отказаться от власти.

Депутаты горячо обсуждали все эти темы. А я сидел в сторонке и, сказав честно, был настроен скептически. В отличие от многих членов парламента я давно занимался международными делами. При этом меня учили в МГИМО не пустословию, а реальному пониманию внешней политики и международных отношений. А за годы работы в МИДе у меня появился и немалый практический опыт, в том числе в рамках сложных международных переговоров. И сказать честно, к этому моменту я уже не раз сталкивался с тем, что на словах страны Запада выступали за демократию, за права человека, за международную справедливость. А на деле использовали эти разговоры лишь как орудие, позволявшее получить доступ к ценным ресурсам, а также взять под контроль политические процессы в той или иной стране.

В общем, я не склонен был доверять нашим западным “друзьям”. Хотя и мне в голову не шел вариант, чтобы депутатов, избранных народом, можно было безнаказанно разогнать, арестовать, а то и убить. Даже по моим, намного более реалистичным меркам такое тянуло как минимум на международный бойкот. Я не мог себе представить, чтобы в такой очевидной ситуации риторика Европы и США столь существенно разошлась бы с конкретными делами.

Да и почему Запад должен был поддержать именно Ельцина? Да, конечно, за прошедший год парламент довольно много усилий предпринял для того, чтобы защитить национальные интересы России. Именно через наш Комитет решались вопросы иностранных инвестиций в добычу нефти, газа и других природных ресурсов. И условия конкретных соглашений далеко не всегда находили у нас понимание.

Именно Комитет по международным делам активнейшим образом пытался строго контролировать процесс двустороннего разоружения с США. Ельцин же и его сторонники были готовы чуть ли не на любое разоружение. Но парламент тормозил излишнюю ретивость ельцинистов.

Именно парламент поднял в тот же период вопрос о финансовых последствиях вывода советских войск из ГДР. Так получалось, что Горбачев там проявил непонятную щедрость и просто подарил немцам миллиарды долларов. Мало кто теперь знает, что тогда на рабочем уровне уже была согласована и даже парафирована с немцами договоренность о выплате нам компенсации в несколько миллиардов долларов за оставленное имущество. А тут вдруг Горбачев объявил о нулевом варианте. Так вот, даже спустя годы существовала юридическая возможность поставить вопрос о возврате России этих денег, несмотря ни на какие “нулевые варианты”. Для этого для начала надо было объявить, что Горбачев действовал как предатель своей страны. В Венской конвенции о праве международных договоров такая ситуация прямо оговорена.

В общем, парламент активно боролся за интересы России, за то, чтобы не делать другим странам слишком уж широких подарков. Понятно, что это не очень нравилось за рубежом. Но не поддерживать же из-за этого заведомо антиконституционные действия Ельцина! Ведь он наносил удар в самое сердце демократических процессов в России.

После обсуждения взоры депутатов вдруг обратились ко мне. “А кто будет обеспечивать работу Комитета? Как у нас с аппаратом?” Аппарат в единственном числе сидел тут же, на стуле. “Вы согласны дальше работать с нами?” В общем-то, этот вопрос был излишним. Если бы я не был согласен, то просто остался бы дома, и никто бы меня не осудил. Но я не остался, а вопреки ясно выраженной воле президента страны явился в “Белый дом” на свое рабочее место.

Короче, тут же за меня проголосовали. И я с того момента стал руководителем аппарата Комитета.

Мне отдали ключи от всех служебных комнат, попросили обеспечить сохранность имущества, взять на себя функции обеспечить режим. А главное, как профессиональному дипломату поручили сочинять проекты обращений и заявлений Верховного Совета на международные темы. В результате такие обращения, а их за те дни было принято немало, все написаны моей рукой. Правки в них, конечно же, вносились. Но основное содержание сочинялось именно мной.

К сожалению, толку от тех воззваний и постановлений было не слишком много. В конечном итоге из всех стран мира нас официально так никто и не

поддержал. Не поддержали и в ООН, куда мы обратились с просьбой направить в Россию наблюдателей. Кто-то говорил, что в нашу защиту выступили сорок членов нижней палаты парламента Великобритании. Но про это я слышал только с чужих слов и так и не смог найти тому подтверждения в документах. То есть нас не поддержал никто, никакие депутаты парламентов других стран. В этом смысле наше положение было даже хуже, чем у Милошевича — его во время натовской агрессии все-таки поддержал целый ряд стран, не говоря уж об общественности.

Поначалу, как известно, никакой блокады “Белого дома” не было. Ельцин и его команда явно рассчитывали на то, что после указа все депутаты разбегутся по домам, как крысы. Часть разбежалась. Но далеко не все.

А я в тот первый день уехал на ночь домой, потом на следующий день приехал назад в “Белый дом” на работу. Ко мне, надо отметить, в дальнейшем присоединился еще один мой товарищ. Он не входил в состав аппарата Комитета, а еще раньше решил пойти к одному из депутатов Верховного Совета в качестве помощника. Но не успел оформиться. Я не называю его имени и фамилии по той простой причине, что не знаю, в какой мере он сам хотел бы, чтобы его упоминали в контексте всех этих трагических событий. Причина только в этом.

Вообще из всего многочисленного состава МИДа потом к Верховному Совету подошел только еще один сотрудник — Олег Зиборов. Мы с ним тесно общались, он нам сильно помогал. Даже потом чуть не перешел на работу во вновь выбранный парламент — Думу. В последующие годы он сильно подрос по должности, стал постоянно работать с Путиным в качестве переводчика. И дело не только в том, что он хорошо знал немецкий. Олег действительно отличный работник, тут я выбор руководителя нашей страны понимаю. К сожалению, он недавно скорпостижно скончался. При достаточно странных обстоятельствах.

А других наших дипломатов я в “Белом доме” в те дни не увидел. Вот такая патриотическая подготовка у них оказалась. Правда, потом в личных разговорах то один, то другой утверждал, что они там были и даже что-то помогали. Но я в этом сомневаюсь. Если бы были, я бы точно их там увидел.

Надо честно признать, что российское население Верховный Совет не слишком поддерживало. Около “Белого дома” ходили, конечно, какие-то люди, но их было немного. Может быть, в лучшем случае пара-тройка тысяч. Это были казаки, студенты, бывшие военные. Часть из них ночевала в “Белом доме” или где-то рядом. После того, как здание окружили колючей проволокой, именно они и остались внутри.

Но до колючей проволоки в тот момент было еще далеко. Поначалу никто не мешал входить в “Белый дом” и выходить из него. На подъездах, как всегда, стояла милиция, проверяла документы. Все буфеты и столовая работали в обычном режиме. В этот период я пару раз оставался в “Белом доме” на ночьку. Нам выдали раскладушки с постельным бельем, которые я поставил в своем кабинете. Это были дни, когда проходили заседания Верховного Совета, а потом и десятого Съезда народных депутатов.

Сказать честно, меня очень угнетало, что население нас не поддерживает. Несколько тысяч человек вокруг “Белого дома” было, конечно, просто каплей в море. Вообще-то, если покопаться в мировой истории, то народ во все времена относился к своим парламентам, как правило, с сомнением и недоверием. Люди ведь любят видеть быстрый результат работы. И искренне верят, что хороший руководитель может в одно движение решить любую проблему. Просто надо отдать решительное указание, вот и все. Рубануть, и все дела! Потому-то бывших военных нередко охотно выбирают на политические должности. А тут какие-то разговоры, обсуждения, бесконечные заседания и голосования. Причем кто-то всегда выступает “против”. Как тут разобрататься в такой мутной материи? В общем, простое население, как я считаю, никогда не будет любить депутатов. И дело тут не в том, что нами руководил чеченец Хасбулатов и нерешительный Руцкой. Коренные причины — в отторжении института парламентаризма, в неприятии сложного и непонятного механизма выработки парламентских решений.

Наступила суббота. Был яркий солнечный день. Я ехал на своем стареньком “жигуленке” в “Белый дом”. Очень ясно помню, как подъезжал к Таганке и еще раз вспомнил о том, что население России на нас, по сути, наплевало.

От этой мысли, от обиды меня просто стали душить слезы. Ведь мы не просто боролись за власть. Мы хотели, чтобы Россия была справедливо устроена, чтобы негодяи во власти не торговали направо-налево государственными интересами.

Однако у “Белого дома” в тот день собралось народа побольше, чем обычно. Может быть, тысяч пятьдесят или даже сто. Шел митинг. Пришедшая публика была довольно приличного, не бомжиного вида. У меня отлегло от сердца. Уже сейчас я, конечно, понимаю, что и это количество не означало поддержки большинством населения. Не могу в этой связи удержаться от одного довольно неприятного сравнения, которое мне потом пришло на ум при следующих обстоятельствах. Как-то в будний день довольно поздно вечером я проезжал мимо стадиона “Динамо”. Шел дождь. Но народу было много, очень много, десятки тысяч. Все они, невзирая на поздний час, на то, что завтра рабочий день, на дождь, шли на футбольный матч. Стадион был забит до отказа.

Иными словами, если нашим людям захочется, то они готовы сидеть полтора, а то и два часа под дождем на ледяном стадионе. А к нам не приходили даже бесплатно и в воскресенье, когда ярко и приветливо светило солнце. Значит, не очень хотелось.

В этой связи не могу не вспомнить еще один эпизод. Как-то судьба занесла меня по работе в заштатный французский городок Страсбург. Смотрю — по улице идет толпа людей. И конца-края ей не видно. Я подошел к одному из демонстрантов и попытался выяснить, чего же они хотят, почему чуть ли не половина города вышла протестовать. Против чего? Что такое ужасное случилось в их жизни? Мне объяснили, что местные власти на какие-то доли процента увеличили пенсионные отчисления, или что-то в этом роде. И все враз вышли на демонстрацию.

Однако надо признать, что эти митинги в субботу и воскресенье у “Белого дома” вызвали двойственный результат. С одной стороны, вроде бы они продемонстрировали поддержку со стороны населения. А с другой, ельцинисты не на шутку перепугались. В результате на следующий день здание парламента окружили милицией и опутали колючей проволокой. Всех выпускали, но никого не впускали. Я попытался силой прорваться в переулке около посольства США. Меня схватили и больно помяли. Подействовали только аргументы о том, что я доктор наук. Милиционеры чуть поостыли и в конце концов через какое-то время отпустили меня.

Тогда я спустился к “Белому дому” уже по Калининскому проспекту. Между мэрией и “Белым домом” собралась толпа таких же, как я. Милиция никого не пропускала. Народ ругался, совал милиционерам в нос Конституцию. Так продолжалось, наверное, полчаса. Нождаданно я увидел, что изнутри к милиции подходит Иона Андронов. Я стоял в первом ряду, как-то так получилось, что я стал нажимать на милицию, толпа поддержала, усердно пихая в спину. Милиция такого поворота дел не ожидала, и целостная линия защиты вдруг распалась.

Возникла сумятица, милиционеры меня хватали, валили, я вырывался.

Потянулись длинные дни осады. Я звонил жене и говорил, что ничего страшного, что бояться нечего. В общем, успокаивал, как мог. Наверное, она не восстала против моей затеи не только потому, что я усыпил ее бдительность. Она болезненно переживала всякую несправедливость. А тут несправедливость была налицо. Конечно, понятно, что если бы я не поддержал депутатов, меня бы наверняка обласкали и хорошо пристроили куда-нибудь в администрацию президента, обеспечили бы и квартирой, и другими благами. И жена это все хорошо понимала. Но все-таки не поддавалась корыстным расчетам.

Что мы делали в осаде? Надо сказать, обстановка внутри “Белого дома” была интересной. Там царил необычайный подъем, энтузиазм. Постоянно возникали какие-то публичные дискуссии с большим количеством участников. Всяк мог высказать свое мнение. И все друг друга выслушивали охотно и со вниманием.

Даже все буфетчицы остались на своих местах и всеми силами старались нас как-то получше подкормить. Наверное, те же чувства испытывала и милиция, которая стояла на проверке пропусков внизу каждого подъезда.

В самом начале осады я видел, как к “Белому дому” несколько раз подъезжали черные “волги”, тяжело осевшие из-за перегрузки. Думаю, это под-

возили оружие. Действительно, как оказалось, это было оружие, но самое простое, какое только можно было придумать. Пистолеты ПМ и автоматы АКСУ-74, такие короткоствольные, которыми вооружена милиция. Как потом выяснилось, пуля, выпущенная из этих автоматов, не могла даже пробить двойное оконное стекло в “Белом доме”.

Другого оружия я не видел. В принципе, мы в Комитете по международным делам были хорошо проинформированы. Если бы были запасы какого-то серьезного вооружения, я бы знал. По сути дела, защитники “Белого дома” были вооружены пугачами. Это совпадало с идеологией самого протеста – с голыми кулаками против вооруженных до зубов силовиков.

В ходе моего “сидения” в “Белом доме” случилось несколько примечательных событий, о которых следует упомянуть. Самое сильное впечатление произвели на меня те люди, которые пришли нас защищать, взяв в руки оружие. На нашем этаже сидело трое таких ребят. Они были вооружены этими милицейскими автоматами. Я расспросил их, кто они такие. Это были военнослужащие, уволившиеся из армии. То есть формально пенсионеры. Жители Москвы. По званию от майора до подполковника.

Только вдумайтесь в это! Люди, уже имевшие хорошую военную пенсию в возрасте до сорока пяти лет, живущие в Москве, бросили свои семьи и в целом благополучную жизнь и пришли умирать за таких, как я. Для меня это было самое тяжелое моральное испытание во всей эпопее.

Помню и эпизод с провокатором. Я сидел в столовой и обедал. Вдруг ко мне подсел какой-то молодой человек. Он сказал, что он из дипломатической академии, преподаватель. И вот узнал меня. Более того, он назвал мою и фамилию, и имя. Его же лицо было мне незнакомым.

Так вот, этот тип начал меня горячо уговаривать уйти из “Белого дома”. “Мы все погибнем тут”, – говорил он. При этом довольно-таки заметно тряса всем телом. Сказать честно, я ему не очень-то поверил. Конечно, погибнуть шанс был, тут он не врал. Но, во-первых, хочешь уйти – уходи. Зачем для этого вербовать сообщников? Никаких проблем покинуть “Белый дом” не было. Выходи наружу и иди себе восвояси, никто не держит.

Во-вторых, было немного странно, что он знал меня по МИДУ, причем даже так хорошо, чтобы запомнить имя и фамилию. А я его совершенно не знал. Что уже было необычно – юристов-международников не так много, и волей-неволей мы где-то пересекались на тех или иных совместных мероприятиях. Даже если ты просто сотрудник МИДа, все равно твое лицо будет более или менее знакомо.

В конце концов он нацарапал на бумажке свой домашний телефон и передал его мне. Врать не стану, из любопытства я его сохранил. И более того, через месяц, когда уже все было кончено, позвонил по нему. Хотя сделал это с некоторым напряжением. А вдруг это был никакой не провокатор? И он погиб, а дома сидит его вдова и дети-сироты?

Трубка подняла женщина, видимо, жена. Мне надо было просто попросить позвать к телефону этого товарища. Но я не нашел ничего умнее, чем спросить, все ли с ним в порядке. Женщина на том конце провода так удивилась, что вопросов больше не оставалось. По ее реакции было видно, что этот деятель ни в каких “сомнительных” делах типа защиты парламента от путчистов не участвовал.

Еще ко мне в “Белый дом” передавали записку, в которой было написано, что у моего отца инфаркт, и он просит меня приехать, чуть ли не попрощаться перед смертью. Михайлов, член Комитета, который передавал мне эту записку, был, кажется, уверен, что я уйду. Но я сказал, что останусь. Позже я узнал, что никакого инфаркта у отца не было.

Как-то раз, еще до колючей проволоки, в “Белый дом” пришел Кургинян. Он выступал в холле, забравшись на возвышение. Его слушала пара депутатов, а в основном простые зеваки. Кургинян всех очень твердо убеждал, что расстрел немыслим, невозможен. Все охотно ему поддакивали. Что случилось на самом деле, мы знаем. Как выяснилось, народ отнесся к расстрельному мероприятию довольно спокойно. Ну, расстреляли, и расстреляли. Бывает. Выберем новых.

Припоминаю еще один эпизод. Как-то в наш закуток зашел генерал Макашов. Его охраняла целая толпа людей. Возможно, что он и сам был вооружен. Ясно было, что он – один из организаторов вооруженной обороны. Я об-

ратился к нему с вопросом, не собираемся ли мы идти на попятную перед Ельциным. Он меня заверил, что этого не будет.

Наконец наступило третье октября 2003 года. Мы, конечно, не знали, что развязка близка, и в этот день отправились по каким-то мелким делам в другую часть здания. По дороге попытались заглянуть в импровизированную церковь, сооруженную в одной из комнат над третьим подъездом. Я там и раньше бывал. Незадолго до штурма там прошло богослужение. На меня оно произвело большое впечатление. У меня возникло стойкое чувство, что мы делали не только правое, но и богоугодное дело.

Где-то в районе полудни стала слышна стрельба у здания бывшего СЭВа. Все кинулись к окнам, в том числе и я. Стало ясно, что демонстранты и наши сторонники снаружи прорвали осаду. Наверное, мы испытали чувства, отдаленно похожие на то, что ощущали ленинградцы после прорыва фашистской блокады.

Я выскочил наружу. Со стороны мэрии вдоль "Белого дома" вели огромную колонну милиции. У них были понурые испуганные лица, и брели они точно как пленные фашисты. Оружия, понятное дело, у них уже не было. Кто-то усиленно кричал по громкоговорителю, что это не пленные, что милиция перешла на нашу сторону.

Как же не пленные! Все было ясно написано на их мордах. Тоже мне во-яки! Чуть топнули ногой, чуть стрельнули, они сразу лапы кверху подняли. Как шакалы. Смелые только тогда, когда их много, а жертва беззащитная. Они у меня вызвали только чувство отвращения.

Тут же, напротив нашего третьего подъезда встретил депутата Уражцева, который был членом Комитета. Откуда он взялся? Ведь в "Белом доме" его с нами не было. Тут же выяснилось, что он и его сторонники арендовали рядом с "Белым домом" одну из квартир в жилом доме. И сидели там, ожидая, чем дело кончится. Если парламент расстреляют, то всегда можно сказать, что был непричастен, внутри не сидел, ничего не знаю. А если победит парламент? Тогда надо поскорее выскочить из этой квартиры и смешаться с толпой защитников "Белого дома". Имитируя, что тоже был чуть ли не в осаде. Что Уражцев нам и продемонстрировал.

Тут же мое внимание переключилось на баркашевцев, которые пробегали мимо. Они во время осады находились в "Белом доме", носили военизированную черную форму. Выучка у них была классная. Им дали команду, и они побежали вперед, в переулок между американским посольством и гостиницей "Мир". Бежали они цепочкой один за другим, с коротким интервалом, причем очень быстро, лавируя при этом в густой толпе. Скажу честно, мне бы не хотелось иметь таких бойцов в качестве противников.

В тот же день перед "Белым домом" состоялся большой митинг. Он проходил на участке между третьим и двадцатым подъездами, со стороны стадиона. Выступал Руцкой, наговорил Бог знает чего. Его слова хорошо известны, и считается, что именно они привели к кровопролитию. Я думаю, Руцким в тот момент руководил порыв, давление момента было столь велико, что можно было запросто заговориться. Хотя если ты берешься командовать всей страной, то можно уж было, наверное, за все время сидения в "Белом доме" проработать те или иные варианты выступлений и действий, чтобы не изобретать сомнительные экспромты.

Кстати, о Руцком. Во время осады ко мне подошли какие-то товарищи и предложили организовать выступление Руцкого в эфире. Они говорили, что могут с помощью каких-то ловких технических средств выйти в общероссийский эфир, на время вытеснив "Останкино". Было ли это на самом деле возможно, или нет, я судить не берусь. Не исключено, что это на самом деле была провокация с целью выманить Руцкого куда-нибудь и там либо захватить в плен, либо просто убить. Очень даже может быть. Но тут интересно другое. Я через депутатов довел этот вопрос до самого верха. Со мной в конце концов встретился пресс-секретарь Хасбулатова. И что же, вы думаете, он мне сказал? Я-то ожидал, что Руцкой выступит с каким-нибудь свежим обращением к нации, а мы потом будем пристраивать записанную пленку. На крайний случай я ожидал, что у Руцкого уже имеется по крайней мере несколько записанных обращений на разные темы. Да ничего подобного! Оказалось, что есть в наличии только одна старая пленка его первого выступления. И все! Ничего себе претендент в президенты!

После митинга состоялось пленарное заседание Верховного Совета. Оно началось, если не ошибаюсь, часов в шесть вечера. Где-то около семи слово взял Хасбулатов и сообщил, что, по имеющейся у него информации, к Москве двинулись воинские части. Зачем — он не знает. На этих словах мы и разошлись.

Слова Хасбулатова заставили меня изрядно насторожиться. Если бы воинские части перемещались для защиты парламента, то Руслан Имранович точно бы знал об этом. Получалось, что войска двинулись в Москву по указанию Ельцина.

Я вернулся в кабинет. И тотчас же меня позвали на вход двадцатого подъезда. Так иногда случалось. Кто-то приходил с какими-то серьезными вопросами, и чтобы не звать по каждому случаю депутатов, приглашали меня или еще кого-то, кто был в курсе всех дел и мог решить проблему на месте. Снаружи стояла группа довольно молодых и крайне возбужденных ребят. Они срывающимися голосами наперебой говорили, что в Останкино началась стрельба, многих убили, войска стреляют в толпу без разбора. Я побежал к депутатам. На кого уж там я наскочил сгоряча, даже и не помню. К ребятам выходить не стал. Сказал, что, мол, не волнуйся, во всем разберемся, все под контролем.

Через какое-то время режим охраны здания стал предельно либеральным, уж не знаю почему. Милиция продолжала стоять в подъездах, но при этом уже не требовала предъявлять пропуска. Около восьми часов вечера я обнаружил, что в зал заседаний Комитета по международным делам кто-то заселился. Кто такие? В комнате было около тридцати совсем юных девчонок и мальчишек. Лет по пятнадцать-семнадцать, никак не больше. Одеты довольно своеобразно — какие-то короткие штанишки, шлейки на спине накрест. В общем, детский сад. Они суетились, бегали, что-то таскали, хохотали. Выяснилось, что это группа украинских комсомольцев. Приехали защищать Верховный Совет. И вот пробрались через милицию на входе и самовольно заселились в нашем зале заседаний.

Ну, что тут было делать? Единственно, я их попросил не прикреплять свои плакаты кнопками к двери. Дверь была из хорошего дерева. А они уже наметились на нее. На том и расстались. Надо ли было их предупредить, что тут становится опасно? Я в этот момент еще сам не был уверен, что тут будет мясорубка.

В общем, я не знаю их дальнейшей судьбы. Надеюсь, что охрана их предупредила и они успели покинуть здание. После штурма я смог побеседовать с уборщицей с нашего этажа. Она рассказала, что эти дети предварительно оставили у нее самые ценные вещи, чтобы не пропали. После расстрела никто за этими вещами не пришел.

Я часто вспоминаю этот эпизод, когда заходит речь о количестве жертв в ходе тех событий. Ясное дело, можно посчитать людей, которые жили в Москве, которые ушли к “Белому дому” и не вернулись домой, и о них заявили родственники. А если люди из другого города? Другой страны, наконец? Кто считал их трупы? Сгребли, сожгли в крематории, и концов никаких.

...Время шло. Было около двенадцати часов ночи между третьим и четвертым октября. Я понимал, что уже в полночь вполне может начаться штурм, и морально готовился к этому. Неожиданно Иона Андронов, глава Комитета, предложил мне сопровождать его в посольство США. Иона хотел поговорить с ними поговорить, чтобы не допустить штурма “Белого дома”. У меня и у Андропова не было сомнений, что американцы могли решить этот вопрос.

Итак, мы отправились к американскому посольству. Благо, что оно было совсем рядом. Подошли со стороны переулка, в боковой вход. Надо признать, что американцы встретили Андропова очень любезно. Даже предупредительно. Иона Ионович зашел внутрь, а я остался снаружи, подождать, чем же дело закончится. Ждать пришлось довольно долго. Когда он наконец вышел, на нем не было лица. На все наши вопросы он только с отчаянием махнул рукой. Стало понятно, что американцы определились окончательно и предстоит вооруженный штурм парламента. Да иначе и не могло быть, если уж Ельцин дал указание двинуть вооруженные части к Москве. Рядом с ним было достаточно советчиков. Они бы обязательно отговорили Ельцина, если бы все это не было предварительно согласовано с американскими покровителями.

В посольстве Андронов общался не с послом, а с американским резидентом. Они были более или менее знакомы, может быть даже до степени определенной доверительности. Иона в конце концов связался по телефону с Виталием Чуркиным, который и был координатором и связующим звеном между американцами и ельцинистами. С тем самым Чуркиным, который теперь является представителем России в ООН. Чуркин говорил с Андроновым в крайне оскорбительной форме. При том, что нужды оскорблять у него, профессионального дипломата, в той ситуации точно не было. Мог бы просто формально ответить отказом, и все. Но, видимо, эти оскорбления шли от души, от самых сокровенных внутренних убеждений. В общем, переговоры с ним кончились ничем. Договориться, чтобы дальше как-то избежать ненужного кровопролития, не удалось.

Тут мы с Андроновым разделились. Он вернулся в “Белый дом”. А я решил проехаться по ночной Москве и посмотреть своими глазами, что и где на самом деле творится. Поначалу решил поехать в Останкино. Все-таки туда пошла вся масса демонстрантов. И именно оттуда пришла информация о применении силы, о начале расстрела мирных граждан. Было уже совсем темно. По пустой Москве доехал до Останкино в одно мгновение.

Уже на повороте на бульвар можно было заметить многочисленных людей, стоявших на газоне. Это были остатки той самой миллионной демонстрации. Несмотря на то, что часть людей уже была убита, не все участники демонстрации разбежались. Я думаю, несколько тысяч человек там точно осталось. Они стояли в темноте небольшими группками, переговариваясь. В радиусе метров пятисот от здания телецентра не было никого. Какие-то ребята подробно рассказали, что именно тут произошло за последние часы. Демонстрация подошла к зданию, остановилась. Вдруг раздалась стрельба. Стреляли снайперы с самой телебашни. Открыли огонь и БТРы, которые через некоторое время прибыли к зданию. Стали падать раненые и убитые. Началась паника. Никто такого зверства не ожидал.

Стреляли прямо по людям, без разбора. Да, конечно, были командиры, которые отдавали приказы. Но ведь у снайперов и своя голова была на плечах. Ведь никто же не заставляет тебя стрелять в безоружного человека. Можно и рядом выстрелить... Если цель – разогнать людей, то, конечно же, этого было бы достаточно. Нет, эти снайперы вели прицельный огонь. И ведь они до сих пор живут между нас с вами. Очень было бы интересно докопаться до этих людишек. Наверняка они получили какие-то медали, денежные премии за свое преступление. Что-то должно было остаться в архиве.

Я перешел от группы к группе и расспрашивал об обстановке. Все рассказывали примерно одно и то же. Были не только раненые, но и убитые. И это были обычные демонстранты, без оружия.

Многие предупреждали, что не нужно собираться слишком заметной группой. Несмотря на темноту, могут разглядеть снайперы. И подстрелять. Если уже стреляли на поражение, то и еще могут. Резон в этих советах явно был. То, что мы на прицеле, я и не сомневался. Но где-то внутри на подсознательном уровне не мог поверить, что можно вот так, без причины стрелять в безоружных людей, в мирную демонстрацию.

Неожиданно ситуация изменилась. На перекрестке немного левее нас на пересечении с Новомосковской и ближе к Телецентру вдруг как-то удалось перевернуть грузовик. Я не успел рассмотреть участников. Наверное, их было немало. Видимо, они хотели соорудить что-то вроде баррикады. Перевернутый грузовик вдруг загорелся. Подожгли? Кто?

Все это не осталось незамеченным. Один из БТРов вдруг завел свой двигатель и двинулся по улице Королева в нашу сторону. Не останавливаясь, протаранил горящий грузовик, отбросив его в сторону как спичечную коробку. Затем, уже на нашем уровне, совсем близко, вдруг выстрелил в воздух из пушки.

Все тут же попадали на землю. Машина тем временем повернула, съехала с асфальтированной дороги на газон и покатила почти прямо на нас. Машина ехала к нам, и я вдруг очень ясно понял, что еще чуть-чуть, и я окажусь под этими огромными резиновыми колесами. Но БТР проехал от нас метрах в сорока. Кажется, он при этом ни на кого не наехал, хотя катил довольно быстро, а люди лежали-то на земле, совсем незаметные!

В этот момент я испытал необычное чувство, которое не посещало меня никогда ни до того, ни после. Я вдруг явственно ощутил, что меня волнует

только одна моя собственная жизнь. Другие люди отошли куда-то на второй план. Это чувство посетило меня лишь на мгновение. Но я запомнил его очень ясно. То есть инстинкт самосохранения вдруг взял на себя руководство моим телом, отключив всякие соображения об общественном и личном долге. Я даже и не подозревал до этого момента, что со мной может приключиться что-то подобное.

Все было тут ясно. Ельцинисты отдали команду разгонять демонстрантов, даже если для этого придется применить оружие. И их слуги не замедлили это сделать. Пролилась невинная кровь. И было понятно, что если здесь отдана такая команда и она выполняется именно таким образом, то и с “Белым домом” и депутатами церемониться никто не станет.

Больше тут делать было нечего. БТР проехал по кругу, вернулся и встал чуть подальше горевшего грузовика. А я с нелегким сердцем отправился к машине, чтобы продолжить поездку по Москве. Но куда дальше? Вспомнил, что в этот день по телевидению показывали улицу Горького. Может, туда? Так и сделал. Почти доехал до Пушкинской площади, оставил машину и пошел на разведку.

Улица Горького на пересечении с Бульварным кольцом была перегорожена какой-то баррикадой. На краю баррикады стояла бронемашина, но без пушки. Вид у нее был довольно своеобразный. Какой-то не боевой, не армейский. Частная собственность? Похоже, что именно так и было.

На баррикаде было полно народа, в основном это были молодые ребята довольно плотного телосложения. Тут же еще одна группа молодых парней строилась в шеренгу. Человек двадцать. Они повернулись и пошли организованной колонной. Одеты они были кто во что, явно не военнослужащие. Более того, вид у них был как у народного ополчения, выправки никакой.

У каждого из этой разнопородной ватаги через плечо в чехле висело по винтовке. Чехлы у винтовок были все разные, но некоторые были довольно длинные. И слишком широкие в середине. Снайперские винтовки? Скорее всего. Сейчас принято считать, что огонь по “Белому дому” вели снайперы из “Альфы”. А так ли это было на самом деле? Например, Иона Андронов в своей книге “Моя война” (“Под огнем. От Афгана до Москвы”) рассказывает, что в расстреле “Белого дома” участвовали иностранные снайперы по линии “Моссада”. Очень даже может быть, спорить не стану. Но те, кого я там видел, вряд ли были тайными зарубежными боевиками. Хотя бы по одной той простой причине, что если бы они прибыли из-за рубежа, то сохраняли бы режим секретности и не дефилировали перед многотысячной толпой на Пушкинской площади. Нет, то были скорее всего волонтеры отечественного пошиба.

Тут же, рядом с баррикадой шел митинг. Я стал вслушиваться в выступления. И стало ясно, что ребята с винтовками вызвались воевать с “Белым домом”. Народное ополчение? Из кого? Охрана капиталистов? Афганцы? Я думаю, тут было что-то другое. Не выглядели эти снайперы как охрана у бизнесменов или как бойцы, прошедшие Афганистан. Иначе они себя держали. Они выглядели скорее как добровольцы из этих самых бизнесменов. Самоуверенный вид. Они точно знали, за какие интересы шли проливать чужую кровь. Но при этом явно не были знакомы с армейскими строевыми порядками.

Вдруг мы увидели новое представление. Большая группа молодежи выстроилась в широкую шеренгу, во всю ширину улицы Горького, поближе к зданию мэрии. И неожиданно с диким криком побежала в сторону баррикады. Это было что-то типа репетиции штурма. В этой шеренге было довольно много народа, человек пятьсот, по моим подсчетам. Зрелище жуткое.

Тут к нам подошел какой-то старичок. И крайне недружелюбно сказал, даже почти прошипел буквально следующее: “Шпионы могут и жизнью поплатиться!” Скажу честно, одного брошенного на него взгляда было достаточно, чтобы определить, что это за персонаж. Да и говорок у него был, прямо скажем, хорош, не ошибешься. Но как он определил, кто я такой? Видимо, что-то выдавало во мне чужака.

Избегав самосуда и расправы, я счел, что уже увидел все самое существенное, и решил еще раз проехать к “Белому дому”. Поехал по переулкам параллельно Бульварному кольцу в сторону Калининского проспекта. Но выскочив на Садовое кольцо в районе площади Восстания, увидел на асфальте ясно различимые следы гусениц. Прошли три машины. Но след был поуже, чем у танка. Боевые машины пехоты? И куда же, интересно, они направились в столь критический момент?

На площади Маяковского следы повернули налево, в сторону Белорусского вокзала. Я последовал в том же направлении. И наконец настиг свою цель. Да, действительно, я не ошибся. Это были именно боевые машины пехоты. Они развернулись и стояли носом к центру города. А их окружала большая толпа галдящих ребят. По виду из той же компании, которую мы только что видели на Пушкинской площади. Возрастом все, пожалуй, лет до тридцати. Одеты, как правило, в черное, в кожу. Но явно не военнослужащие. Никакие не афганцы. И не бандюги. Они там то ли активно митинговали, то ли к чему-то призывали. Я проскочил БМП и встал немного поотдаль, ближе к гостинце “Советская”, тоже развернувшись носом к центру города и не глуша двигатель. От машин меня отделяло метров сто, не больше. Чуть в стороне, на боковой дорожке я заметил еще один автомобиль, тоже “жигули”. Сидевшие в ней люди занимались тем же, чем и я. То есть внимательно наблюдали за происходящим. Мне почему-то пришло в голову, что это были сотрудники спецслужб. Уж очень удобно для наблюдения их машина стояла. Чувствовалось, что там неслучайные пассажиры.

А ребята вдруг на наших глазах от слов перешли к действиям. Залезли на броню, начали колотить в люк. При этом непрерывно орали. Но что именно, слышно не было. По виду было похоже, что они что-то там требовали.

Неожиданно одна из машин выстрелила из пушки. Та была направлена в сторону домов, в район крыши. Звук выстрела был просто оглушительным в безмолвном городе. Мне даже показалось, что я услышал, с каким свистом снаряд рассекал воздух. Куда же он попал? Вряд ли в дом, это было бы заметно. Но пушка была ориентирована точно на уровне дома. Видимо, выстрел был произведен в просвет между зданиями.

Вся шатия-братия вмиг полетела кувырком с брони. Я и другой “жигуль” ударили по газам. И полетели в одном направлении — в сторону стадиона “Динамо”. Отъехав метров двести, притормозил. Другая машина сманеврировала и встала за угол дома, чуть высунув нос, откуда и продолжила наблюдение. А нам стало все предельно ясно. Дело шло к началу штурма здания “Правды”. И в этом мероприятии собирались принять участие указанные боевые машины пехоты, явно подведомственные МВД. А также многочисленные волонтеры. Которые, судя по всему, требовали не тянуть и начать немедленно. А бойцы, сидевшие в бронемашинах, не спешили. Очевидно, ждали приказа.

И было понятно, какой именно это будет приказ. Если был произведен выстрел, это означало только одно — у бойцов имелось разрешение применять оружие. Скорее всего, на поражение, иначе они так смело не начали бы стрельбу из пушки в центре города.

Если готовился штурм здания издательства “Правда”, причем с участием боевых машин пехоты, имевшихся в распоряжении МВД, это означало, что имеется и общий приказ на штурм “Белого дома”. Если тут, а также в Останкино были боевые машины, которые, не стесняясь, стреляли даже не из пулеметов, а из пушек направо и налево, значит, примерно то же самое должно было произойти и у “Белого дома”. И до момента, когда должен был быть отдан приказ на штурм, оставалось совсем немного. Во всяком случае, тут, на Ленинградском шоссе, эти БМП явно вышли на исходные позиции и ждали только команды действовать.

Раздалась стрельба. Огонь велся сразу из многих стволов. Я открыл окно и прислушался. Было около семи утра. Сомнений не оставалось. Начался штурм “Белого дома”. Значит, ехать туда было уже поздно.

Все, насилие началось! Ельцин отдал приказ стрелять как по депутатам, так и по тем своим согражданам, которые пытались защищать Конституцию и сделали попытку остановить беспредел власти. Им ответили свинцом. Маски были сброшены, президент ясно показал, что он не намерен считаться с какими-либо законами. Вооруженный мятеж Ельцина перешел в свою завершающую фазу — физическое уничтожение своих политических оппонентов, в первую очередь выступивших против него депутатов. Народ их избрал. А Ельцин решил расстрелять.

Через день после расстрела я решил подъехать к зданию парламента. Подошел к “Белому дому” со стороны мэрии. “Белый дом” был оцеплен. Даже издали было видно, что охрана сожженного здания парламента была явно пьяная. И вели себя эти люди как ошалевшие от выпитой крови скоты. Эти

люди могли запросто выстрелить и в нас, в небольшую группу москвичей, стоявших у ограждения и обменивавшихся мнениями о случившемся.

За ограждением, метрах в тридцати от нас, в траве лежало два трупа. Это были защитники “Белого дома”. Они где-то прятались, но в конце концов решили выбраться, полагая, что уже все кончено, и они не попадут под пули. Как рассказывали нам очевидцы, они выскочили из своего укрытия и побежали прочь. Но тут же были убиты выстрелами в спину этой самой охраной. Зрелище было ужасное. Ведь уже не было никакой осады “Белого дома”. Все лидеры парламента и Руцкой сидели в тюрьме. Всех, кого собрались убить или арестовать, уже были убиты или арестованы. То есть не было абсолютно никакой необходимости забирать жизнь у этих несчастных людей, пришедших к своему парламенту защищать Конституцию. Но их все-таки убили. Картина трупов этих несчастных, лежавших неподалеку от нас, будет стоять у меня перед глазами, наверное, до конца моих дней.

Где-то через неделю я правдами и неправдами получил пропуск на посещение “Белого дома”. Мне разрешили вынести мои личные вещи. Отдельная история, как именно мне это удалось. Но вот удалось. Помог Шелов-Коведяев, первый заместитель министра иностранных дел. Я с ним случайно встретился на Новом Арбате. Он бросился ко мне как к старому знакомому. Я тоже изобразил предельную радость. И повел себя как человек, ни сном, ни духом не причастный к сопротивлению Ельцину. Шелов-Коведяев тут же организовал, чтобы я мог зайти в сожженное здание парламента и забрать свои вещи из кабинета.

Зрелище внутри здания было, конечно же, ужасное. Особенно пострадало крыло в районе третьего подъезда, то есть угол, обращенный в сторону мэрии и посольства США. В районе нашего, двадцатого подъезда, то есть на другом углу здания, тоже были разрушения, но намного меньшие. Тут тоже шел бой, но, судя по всему, не такой интенсивный.

Я сначала зашел в центральный подъезд, находившийся ровно посередине между третьим и двадцатым. До штурма центральный подъезд представлял из себя что-то похожее на витрину большого магазина, шириной метров семьдесят. Теперь все стекла снаружи были усеяны пулевыми пробоинами. Я зашел внутрь, но к своему удивлению обнаружил, что внутри, в холле, совершенно отсутствуют пулевые пробоины на стенах и потолке. Успели отремонтировать за десять дней? Непохоже. Я внимательнее пригляделся к стеклам.

Удивительное дело, но пули, похоже, не пробили двойное, а то и тройное стекло. Первое стекло они пробивали, конечно же. Но, судя по всему, в результате деформировались. Уже в таком виде, потеряв значительную часть энергии, они разбивали второе стекло, причем дырки были большими, в кулак. И падали, ударившись о третье стекло.

Я обратил внимание на заметно более крупные пробоины, шедшие цепочкой в наружном остеклении на высоте двух или даже двух с половиной метров. Я думаю, это были следы очередей из крупнокалиберного пулемета, с башни БТРа. Самое интересное, что и эти пули не смогли оставить даже самых малых повреждений на стенах, хотя, конечно же, прошли все три стекла навывлет. Видимо, закаленные стекла “Белого дома” спасли в тот день немало жизней.

Внутри центрального подъезда все-таки была какая-то перестрелка. Похоже, кто-то бежал вверх по ступеням, а его пытались подстрелить. Цепочки выбоин от пуль тянулись вверх, вдоль лестницы, при этом попали в межэтажные зеркала. Видимо, защитников “Белого дома” тут не смогли перестрелять, по крайней мере, сразу.

Я поспешил в район двадцатого подъезда, на свой третий этаж. Надо ли говорить, что именно я при этом ощущал? Там я обнаружил следующее. Дверь кабинета моего коллеги Юрова, находившаяся почти напротив моего кабинета и выходящая окнами на стадион, была выбита, причем, похоже, ударом ноги. На окне вверху слева виднелись две пулевые пробоины. Я мельком огляделся, пытаюсь обнаружить следы крови. Однако, приглядевшись, понял, что стреляли не снаружи, а изнутри. Очевидно, кто-то из защищавшихся выбил дверь, вбежал в комнату, вскочил на стол и попытался по кривой, сквозь стекло, выстрелить наружу. Обе пули пробили первое стекло в оконной раме. Но при этом деформировались и потеряли энергию. Настолько потеряли, что уже не пробили второе стекло, а только оставили на нем хорошо различимый след. Я пригляделся. Обе искореженные пули лежали внизу рамы, между

стеклами. Получалось, что милицейский автомат не смог прострелить навывлет даже двойное оконное стекло. Кстати, может быть, это было и лучше для этого стрелка. Иначе его бы обнаружили и тут же и пристрелили бы. Но этого не произошло. Во всяком случае, в этом окне не было пробоин от пуль, левших снаружи.

В другом месте, однако, бой все-таки состоялся. На лестнице, которая вела с нашего этажа на четвертый, было разбито окно. Вся внутренняя стена была при этом испещрена следами от пуль. Большинство пулевых попаданий были довольно неглубокими. Но часть пуль выбила в стене довольно глубокие дырки. Я думаю, это были следы от пуль, выпущенных соответственно из автомата и из снайперской винтовки.

Кто-то уже прошелся по всем кабинетам. Ни компьютеров, ни других дорогостоящих предметов видно не было. Я потом поинтересовался, что стало с документами, захваченными в “Белом доме”. Оказалось, что таких набралось около пятидесяти тонн. Их все свалили навалом в каком-то зале размером со школьный для занятий физкультурой. И один архивный работник разбирает всю эту кучу. Я думаю, такими темпами работы лет на двести вполне хватит. Будет, что потом почитать.

В связи с расстрелом парламента нужно рассказать и еще об одном эпизоде. Я о нем знаю со слов Ионы Андропова. Как известно, в ночь перед штурмом он остался внутри здания парламента и потом предпринял серьезные усилия, чтобы не допустить кровопролития. Когда их выводили, он обратил внимание на одного из бойцов “Альфы”. В альфовскую одежду был одет один из сотрудников посольства США в Москве, которого Андронов хорошо знал лично. Они встретились глазами. И Андронов решил, что теперь он точно не жилец. Но все, к его удивлению обошлось, его не тронули.

Я думаю, что американец в этой ситуации проявил благородство и отнесся к Ионе не как к противнику, который мог его потом разоблачить, а как профессионал к профессионалу. Уж не знаю, доложил ли он своему начальству об этом эпизоде, или нет. Но понятно, что достаточно было ему даже устно обратиться к ельцинистам, и Андропова, конечно же, быстро бы “убрали”. И концов потом бы не наши.

Что там делал этот американец? Я не думаю, что он участвовал в штурме. Даже наверняка нет. Скорее он должен был своими глазами увидеть все, что там происходило, и подробно доложить начальству. На всякий случай. Другое дело, что этот эпизод показывает связи Ельцина и его окружения с США. Если уж сотруднику посольства разрешили надеть форму “Альфы” и присутствовать при штурме, значит, было полное доверие и взаимопонимание.

Часто я слышал мнение, что прорыв блокады вокруг парламента был хорошо спланированной провокацией. Что все было задумано заранее и “Белый дом” никогда не мог победить Ельцина, ни при каком раскладе. Я с этим не согласен, и вот почему. Как я уже говорил, перед самым штурмом сидевшие внутри здания парламента передавали друг другу записки своим родственникам на случай своей гибели. Отдали довольно много таких записок и мне. Я оставил их все у себя дома. Там они и пролежали какое-то время. Затем я их взял и стал разбираться, кому звонить, а кому — нет. По счастью, те люди, которые передавали мне эти записки, все остались живы.

Однако одна записка особо привлекла мое внимание. Это не было письмо к родственникам. Там были какие-то числа, фамилии, а также фразы, на первый взгляд не имевшие смысла. Однако, приглядевшись, я не смог удержать возгласа удивления. Цифры были номерами воинских частей. А что значили фамилии? Связники, руководители этих частей? Очень может быть. Если так, то обретали смысл и внешне бессвязные фразы, написанные напротив номеров частей. Возможно, это были пароли, которые означали, что наступил момент выступить на стороне Верховного Совета против ельцинистов. “Над всей Испанией чистое небо”?

Если я не ошибся с квалификацией того, что именно означала эта записка, что выходит, что все-таки были договоренности с воинскими частями.

Как известно, министры Баранников и Ачалов постоянно обещали депутатам, что вот не сегодня, так завтра к парламенту подойдет воинские части. Но они так и не подошли. Видно, плохо эти руководители договаривались. Если вообще договаривались. Но скорее всего такие же переговоры шли и уровнем ниже. И вот там договоренности, похоже, имелись.

У меня есть предположение, почему этот вариант все-таки не сработал. В наши ряды затесался предатель, и я представляю, кто именно. А мы были недостаточно осторожны. Но если бы проявили осторожность и не привлекали к этому делу лишних людей, то не исключено, что история России развивалась бы дальше совсем по другому сценарию.

Действительно, если бы на стороне парламента выступили хоть какие-то воинские части, это предотвратило бы расстрел. Ведь в нем участвовало всего несколько танков. А регулярные части в штурме участия не принимали. Да и в Останкино, насколько я понимаю, по безоружным демонстрантам стреляли не солдаты, а бойцы ОМОНа. Гражданская война? Эти слова очень любят повторяют ельцинисты и либералы. Мол, они предотвратили всеобщую бойню. Ерунда все это, никакой гражданской войны, конечно же, не было бы. Все эти ельцинские защитнички и нувориши тут же разбежались бы по углам, если бы им дали отпор. А точнее, все бы вмиг удрали за границу, к своим хозяевам и покровителям.

В тот же день я эту записку уничтожил. В тот момент обладание подобными бумагами могло запросто стоить жизни, и не только мне. Кто именно тогда передал мне эту записку, я не помню, в тот момент было не до того, народу было много, в "Белом доме" царила неразбериха и суматоха.

Будущий музей расстрелянного парламента пусть ищет себе в экспозицию другие исторические документы. Не сомневаюсь, что когда-нибудь наши с вами потомки отважатся на создание такого музея.

А пока ясно, что последняя точка в истории расстрела "Белого дома" еще не поставлена. Многие участники этих событий пока предусмотрительно помалкивают. До сих пор закрыты многие архивы, содержащие документальные свидетельства о событиях 1993 года. Да и сама власть не слишком склонна поощрять изыскания в этой области. Ведь в результате разгона парламента кремлевские заправилы смогли всеми правдами и неправдами проташить принятие Конституции, по которой мы и поныне живем. Если публично признать, что Ельцин совершил антиконституционный переворот, возникает и вопрос о законности этой нынешней Конституции, а заодно и о законности всех кремлевских властей. Однако я уверен, что время сказать всю правду о кровавой осени 1993 года еще придет.

МИХАИЛ ФАДЕЕВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОКТЯБРЬ

Свидетельства участников событий

Когда меня спрашивают, заранее поднося палец к виску — чтобы pokrutyть им, словно дырку высверливая, — какого рожна я и мои товарищи в октябре 93-го полезли в самую гущу событий, ведь как ни смотри, а всё оказалось напрасно, несмотря на все жертвы, и стоило ли их то, за что принесены были, — у меня нет готового ответа, хотя подобными вопросами я и сам нередко мучаюсь, особенно вблизи роковой даты — ежегодно. Никогда не забыть, как вернулся вечером 3 октября в Черноголовку на одном из последних автобусов 320-го маршрута, как встретила на пороге жена и, быстро поняв, что красные разводы и пятна на обуви и одежде — не абы какая грязь, а скорее всего кровь, бросилась ощупывать да осматривать супруга на предмет повреждения.

— Ну что, что? — измученно отвечал я, — цел, цел, но побили наших, как есть всех положили! Слушай, эти, с автоматами — они же там русские ребята, мы же за них шли, а они по нам — очередями из всех стволов! Как после этого жить-то?!

И хоть в тот день жизнь — свою и чужую — спасти приходилось неоднократно, жить и вправду при осознании перенесенного не очень хотелось рядом с теми, кто все это устроил. Включил телевизор — там перекошенная физиономия Сванидзе: “Мы спровоцировали их, заставили вылезти из щелей!” — это и обо мне, значит! — “они получили свое по заслугам, теперь их спокойно можно будет добить!” Как же я ненавидел его тогда! Сейчас? Чувства теплее не стали, лишь острота ощущений прошла, с ней действительно жить нельзя было, и к причастию не допустил бы поп, если б открылся на исповеди.

До сих пор с тяжелым чувством отслеживаю на экране тех, кто был “за Ельцина”, кто разжигал и науськивал... Ещё хуже — с более близкими согражданами-черноголовцами, отметившимися в те дни застрельщиками огненно-свинцовой кары. Что мне думать о полном лысоватом человеке, кричавшем в зале Дома ученых: “Да, стреляли, и впредь будем стрелять!”? У меня до сих пор перед глазами, как он взмахивал при этом рукой — словно перед строем расстрельной команды. Ладно, он отдал Богу душу, не передо мной ему извиняться. Но еще жив, возможно, тот, кто “стукнул куда следует” о проехавшем мимо Черноголовки грузовике с моряками из Дуброво, спешившими на помощь осажденному Верховному Совету. Их командир, капитан-лейтенант Игорь Остапенко, не прорвавшись через очередную огневую засаду у Чкаловского поворота на Щёлковском шоссе, пустил себе пулю в висок, но не сдался омонцам. Памятник ему, несмотря на скромные размеры, из космоса вполне различим, если приглядеться, на электронной карте “Яндекса”.

Вплоть до несчастного исхода марша на Останкино у нас сохранялось ощущение близкой победы. Когда после прорыва за Крымский мост мы погнали вяло сопротивлявшиеся батальоны дивизии имени Дзержинского – за воняющие милицейской “черемухой” Зубовскую и Смоленскую площади к Новому Арбату и дальше, к Белому Дому, то казалось, что так, на плечах противника, и в Кремль залетим, не остановил даже первый обстрел колонны перед зданием мэрии и вид первых убитых товарищей – на одном дыхании прорвали осаду Дома и захватили стрелявшую мэрию – те первые залпы не были прицельными и массированными. Потом эти же самые быстро бегающие “дзержинцы” и охрана были собраны, по-видимому, хорошо “вздрычены” горластым подполковником Лысюком, будущим Героем России, и посланы вдогонку той же самой колонне, теперь направлявшейся на Останкино.

Трезвый расчет показал бы, что Останкино – стратегический объект, управляемый из Центра, выйти в эфир нам все равно бы не удалось, но это был стихийный, эмоциональный порыв разогретых победным маршем людей: “Ящик, главное оружие манипулирования умами, в руках негодяев. Зло к нам из него пришло, отобьем – и все станет по-другому, разбудим страну, сбросим оккупантов, восстановим Союз”.

Вот почему мы идем огромной пешей колонной на далекое от Белого Дома Останкино, и другого пути у нас нет. Башня – далеко слева, за сквером. Идем туда весело, как-то уж очень дружно, двигаемся по проезжей части, транспорт отсутствовал. Перекрикиваемся с застывшей на тротуарах толпой, людьми, прильнувшими к окнам. На нас не только смотрели, были и сочувствующие и даже примкнувшие по ходу. Вот “крутой” подкатил на “мерседесе”:

– Куда идете?

– Мэрию взяли! На Останкино!

Резкий разворот – и умчался. Не наш.

Я шел где-то в третьей от головы шеренге. Господи, какие же красивые люди меня окружали. Нигде больше я не видел таких прекрасных женщин. Что случилось с той, белокурой и юной, что шла чуть впереди? Где сейчас парень, похожий на Айвенго? Первый раз я видел его в схватке на Смоленской, и вот он идет неподалеке среди товарищей с трофейными щитом и дубинкой.

Мужчина с рюкзаком – приехал на подмогу из Белгорода и прямо с вокзала – к нам, пожилой кавказец в папахе – из Кабарды... Я не знаю, что с ними стало. Но я не вправе о них забывать и не вправе хоронить в своей памяти. Напряги воображение, читающий эти строки, пусть восстанет на мгновение простреленный снайпером парень, пусть глянет на тебя веселыми глазами оставшийся в живых в передраге, да не усомнись же в своём участии. Да, всё кончилось крахом, но мы не уподобились жертвенным баранам и дали последний бой.

Шесть вечера, проспект Мира. Ведущий колонну депутат Верховного Совета генерал Борис Тарасов требует соблюдать строй, лозунги скандирует в мегафон, но “армия” запыхалась, сзади кричат: “Товарищ генералиссимус! Ваше превосходительство! Короче шаг, не поспеваем!” Вот и автобусы с грузовиками начали подкатывать спереди и партиями увозить людей вперед. Проехал и я последние несколько кварталов на автобусе; пешая колонна подошла минут сорок спустя, когда уже начался расстрел, и голова ее попала под перекрестный огонь.

Когда, спустя пару секунд тишины, автоматные очереди зелёными брызгами пронизали толпу, мне удалось отбежать и около часа пришлось отсиживаться за небольшим автобусом-“пазиком” в зоне огня. Рядом прижались к его борту ещё десятка полтора столь же удачливых, но окрест нас множество людей повалилось наземь кто где стоял, целые вперемешку с поражёнными. На моих глазах один попытался подняться и отбежать, но тут же упал навзничь и больше уже не шевелился. Пули высекали снопы искр прямо у нас перед носом, зелёные трассы металась по тёмной улице, только что хлопнула и зашипела шина нашего автобуса, ранило в левую руку моего соседа прямо под его днищем. В его-то крови я и перепачкался, пока снимал с него верхнее и помогал перетягивать рану.

Стрелки в здании были заняты охотой по движущимся мишеням. Как раз тогда, вероятно, был убит выносивший раненых романтичный американец Майкл Тэрри Данкен (Terry M. Duncan) – двенадцать вытащил, на тринадцатом сам попал на прицел.

То, что происходило потом, не имеет названия. Это не был бой, как утверждают “благодарные своим защитникам” телевизионщики и другие предстатели “демпрессы”, — одна из сторон осталась совершенно безоружной. Это не было и классическим расстрелом демонстрации, потому что люди не разбегались дальше, чем метров на триста. Факт, поразивший весь мир: беспорядки случаются в разных странах, но все их участники обычно ретируются, как только раздаются выстрелы. У нас залегли, но остались на месте, под пулями. Более того, потеряв еще с десяток человек, подожгли бутылками с бензином угол здания, где засели стрелки.

Обливаясь кровью, безоружная, никем не управляемая толпа пыталась сражаться. Это был какой-то массовый Матросов, решивший заткнуть собой глотку вражескому доту, “поганому ящику”, “развратителю”. Долго не сдавались и бились как могли, да клыки в пасти остры — головы сложили, а не заткнули, “ящик” их, мертвых, до сих пор грязью обливает, да и мне покою не дает, потому как не могу я ложь его оставить совсем без ответа, а их память — без моей посильной защиты...

* * *

Я задаю вопрос своему товарищу, тоже из Черноголовки, не покидавшему добровольного поста возле Дома от начала всей истории и до конца:

— Слава, я встречал Вас у Дома неоднократно, одну ночь мы здесь продежурили вместе. Но для меня эта ночь была единственной, а вот Вы, как говорится, испили чашу...

Рассказывает Вячеслав Г.:

“Я был там с 21 сентября, в Черноголовку вернулся только 5 октября. Мне бы поступить так же, как и многие мои товарищи: отдежурить какое-то время и освободить место другим. Но передумал, а потом и возможность исчезла. Сперва все было совершенно стихийно, затем те, кто был у Дома постоянно, организовались поотрядно — не столько из оборонных соображений, сколько для удобства самоснабжения и дежурства. Наша баррикада находилась у перекрестка, примыкавшего к жилым домам справа, если стоять лицом к балкону Дома. Люди меня окружали самые разные — от детей до известного историка Алексея Девонисского, с которым я провел большую часть времени. Он погиб утром 4-го.

Смысл дежурства был в том, что мы пресекали провокации, не пропускали со спиртным или с оружием. Бесплатного пива с закусками, как в 91-м у демократов, у нас не было, поэтому и готовили сами. Вообще разница в обстановке возле Дома и в остальной Москве была весьма ощутима, я ведь не только у баррикады сидел, первые пять дней по вечерам уезжал в город, заглядывал в редакцию “Гласности” за материалами. Дом и площадь были островами в мутном болоте, так это воспринималось. Хотя, конечно, не всё — и в идейном, и в практическом смысле — мне там нравилось. Слишком много было пустых разговоров и обещаний. Горы оружия и готовность его применить для защиты — все это оказалось типичной “дезой”. Защитники Дома пугали ею ельцинистов, чтоб не совались, а пресса использовала её же, чтобы настроить против нас обывателя. Довольно много было антиеврейской риторики. Смотрел на это без восторга, но прекрасно понимал, что в сложившейся исторической ситуации без этого, видно, не обойтись: “Бейтар”, по слухам, позже подтвердившимся, расположился в соседней мэрии и участвовал в утренней атаке на нас. Впрочем, у баррикад все ограничивалось лишь словами, на национальность присутствующих никто внимания не обращал, разумеется. В первую же ночь я познакомился с гражданином Израиля, видел его и позже, он чувствовал себя как среди своих. Вряд ли это будет возможно впредь, по эту сторону Рубикона большой крови. Что ж, за все рано или поздно приходится платить. В целом скажу, что если бы это время я провел не там, а в Черноголовке, психологически я бы ощущал себя много хуже, даже учитывая концовку.

Да, иллюзий особых не было. Без оружия — что мы могли? Понимание того, что нас могут просто перестрелять, было, но верили, что обойдется. Поймите, мы чувствовали себя на совершенно законных основаниях, ведь не мы совершали государственный переворот... Отбить атаку ОМОНа мы были не

в состоянии, но надеялись сдержать морально и хотя бы на несколько минут, чтобы Дом не застали врасплох.

Когда началась стрельба, это было около семи утра, я находился на своем обычном месте; рядом был Девонисский. Раздался крик, что прорвались “бэтээры”. Действительно, три машины встали перед баррикадой. Первая очередь была воспринята как дурная шутка, как-то не верилось, что для достижения своей цели кому-то потребуется наше физическое устранение. Кто опомнился, побежал в укрытие. Многие, в том числе и я, нападения ожидали, ожидали и серьезного отпора со стороны Дома, но Дом молчал. Те, кто был ближе к газону, побежал туда через парапет и кусты. Залегли. Огонь не прекращался ни на мгновение, казалось, что бьют по гостинице, находящейся у нас за спиной. В это время штук семь “бэтээров” во главе с гусеничной машиной вырвались со стороны Горбатого моста и со скоростью мотоцикла промчались вдоль Белого Дома, стреляя во все стороны. Потом я увидел одного из своих товарищей — он был ранен и пытался отползти, но его добились прямо на моих глазах: он лежал на открытом месте, и всякий раз, когда пытался шевелиться, по нему возобновлялась стрельба. Алексей Девонисский полз рядом с ним, и тогда ему удалось спрятаться; как он погиб потом, я не видел. Я лежал удачнее, чем они, но помочь им, естественно, ничем не мог. Настроение было мрачное от безнадежности, хотя паники не испытывал. Пытался понять, что происходит вокруг. Более всего поражало, что Дом не отвечает ни единым выстрелом и как бы замер. Зачем было хвастать и обещать поддержку? Потом я узнал, что Руцкой отдал приказ “не стрелять”. Что это было? Игра в благородство? А может, он решил, что если Белый Дом не стреляет, то и те не будут? Если так, то он жестоко просчитался — по Дому били с нарастающим ожесточением. (Дом, конечно же, не все время молчал. Приказ Руцкого действовал, пока штурмующие находились вне здания. — М. Ф.)

Что происходило вокруг в течение тех двух часов, вспомнить сложно. Было много стрельбы, свистящих и шуршащих рядом пуль, метрах в 15-ти упало срезанное снарядом дерево. Летали вертолеты. Было довольно шумно, но однообразно. Людей рядом не было, в пределах видимости лежали неподвижные фигуры — скорее всего убитые. Потом появился человек с белым платком. Он пришел извне. Я видел, как он подошел к лежавшему и пощупал пульс. Было ему лет сорок, светловолосый, с усами и бородкой. Увидев меня и поняв, что живой я один, он стал звать меня к каменному строению в глубину газона. Я, наученный горьким опытом, некоторое время тянул, но потом-таки пробежал разделявшие нас 20 метров. Там мы с ним и сидели еще неизвестно сколько. Времени у нас было много, и говорили мы с ним обо всем на свете, стихи читали... Он действительно пришел уже во время расстрела, будучи не за тех или этих, а просто помочь тем, кто нуждался в помощи. Откуда он и как его зовут, я забыл. Помню, что из “глубинки”. Есть у меня мечта: что он прочтет эти строки...

Штурмующие не предлагали нам сдаться или уйти с баррикад. Как я теперь понимаю, к нам отнеслись не как к вооруженному, готовому сражаться противнику, а как к объекту усмирения, устрашения, а в случае развитого карательного вкуса исполнителей — просто уничтожения. Вот и всё. По тому, что я видел сам, мне ясно — задания брать в плен даже безоружных штурмующим не давали. Зато им дали свободу рук, и прояви они чуть больше усердия и чуть меньше организованности, могли бы перестрелять и друг друга, и ликующих зевак заодно.

Наступило временное затишье, и мы решились. Направились перебежками к жилым домам на Рочдельской улице. Удачно перескочили через колючую спираль, добежали до первого подъезда и сидели там некоторое время. Потом решили поискать своих. В результате наткнулись на двух солдат с майором, и те повели нас зачем-то на крышу. На крыше мы снова оказались одни, не помню почему. Спустились и увидели набережную с подбитым “бэтээром”, как нам показалось, по крайней мере, люк в борту был открыт и оттуда шел дымок, в проезде неподалеку стоял целый БТР и водил ствол в поисках цели. Спрятались от греха подальше и вскоре обнаружили своих. Кто-то вспомнил адрес, где можно было отсидеться. Нас пустили, и мы просидели там несколько часов, глядя, как горит Дом, как потом началась его сдача. Еще раньше, с крыши, видели, как по нему били танки. Мы не хотели подставлять хозяйку, если начнется облава по квартирам, и в сумерках вышли. Очень скоро угоди-

ли в руки омонцев, которые, в отличие от армейских, к делу отнеслись неформально — если называть делом битые сапогами и прикладами.

Защитники Дома были отданы в распоряжение групп оцепления, и здесь все зависело от конкретных людей и ситуации. По рассказам, стреляли в тех, кто выражал непокорность, был в форме или чем-либо не понравился. Остальных просто били. Я отделался легко, все осталось при мне, не считая очков и треснувшего ребра. Собрали нас, повели. Только тронулись, как охранники наши принялись палить куда-то в темноту. Потом запихали всех в автобус, набили битком, внавал, кому ногу сломало, кому руку вывернуло. Смотрел за нами сержант с автоматом, обещая “успокоить” из него тех, кому неудобно. С большим трудом уговорили его выпустить — не из автобуса, из общей кучи — старика-ветерана. Везли нас на Полянку в отделение милиции. Одному омонцу я почему-то показался подозрительным. Объявил меня “боевиком”, которого надо “шлепнуть”. Но это был дежурный юмор, к розыгрышам типа “а этих — в расход” привыкнуть, наверное, трудно, но можно... В милиции охрана сменилась, и больше не били. Долго держали у стены, несколько часов мы простояли, упершись в нее руками. Начались допросы — формальные, без напора со стороны допрашивающих, но все же с угрозой “демократизатором”. Ночь провел в набитой до отказа КПЗ, утром сняли отпечатки пальцев, сфотографировали “на память”, и в середине дня 5 октября большую часть задержанных отпустили. Среди сидевших в КПЗ был один депутат Верховного Совета, был командир одного из отрядов, подраненный в ногу, но сумевший как-то это скрыть. В соседней КПЗ оказался гражданин Китая: видно, гребли всех подряд. Некоторых своих товарищей я потом встречал на митингах...”

* * *

Что же происходило потом? Понедельник был рабочим и учебным днем, полагаю, многие черноголовские студенты могли стать свидетелями того, что наблюдал Сергей, сын моего друга Михаила Д., студент “Бауманки”:

“После часа, когда закончились занятия, я оказался на улице 25-го Октября. Здесь я увидел баррикаду и охраняющих ее очень веселых парней в комбинезонах. Я стал свидетелем такой сцены. Пожилой мужчина остановился перед ними: “В Белом Доме людей убивают, а вы веселитесь”. Тогда один из парней вскочил, схватил его крепко за шею, пригнул и закричал: “А ну, повторяй три раза: “Ельцин — наш президент!” Громче!” — и не отпустил пожилого до тех пор, пока тот не выполнил требуемое.

В начале седьмого я вышел из метро на Смоленской. Улица засыпана битым стеклом, обломками камней и асфальта, кучкуются какие-то люди и что-то обсуждают. Подошел к одной группе. Моложавый человек в длинном пальто и шляпе заводит окружающих, которые и так уже “под градусом”: “Ребята, идем бить коммуны, поднявших руку на законно избранного президента!” Вокруг соглашались, единственная проблема, возникшая в группе, — где искать еще живых “коммунык”. Один кричит: “Идем к Белому Дому, там еще ползают!” Другой: “Пошли на Беговую!” Третий: “Снайперов надо искать!” Ему отвечают: “Они тебя сами найдут, идем на улицу Пятого года, там безоружные”.

Я направился к Новому Арбату, но, не дойдя метров двести, был остановлен цепью ОМОНа. Пока стоял, разговорился с человеком из Фрязино, и он повел меня к Дому через набережную. Я, говорит, был там вчера, сегодня весь день там расстреливали оставшихся. От него я впервые узнал о штурме Дома. Вышли к мосту, в наступившей темноте натолкнулись на цепь солдат. Поразил своим видом страшный пожар Дома, ко многому был готов, но зрелище все равно потрясло. Перед солдатами толпятся довольные зеваки: горит последний оплот коммунизма. Рядом со мной стоял здоровенный мужик в кожанке с мальчишкой-тинейджером, оба в бейсболках. Вдруг со стороны Дома к нам выходит небольшая группа женщин, их пропустили, а те встали и со слезами принялись ругать солдат: “Что же вы наделали, проклятые, не люди вы, а звери”. Здоровый обратился к солдату: “Дай-ка, братан, дубинку, я этой б... глотку заткну, ей, видно, мало досталось”. Оборачиваюсь, говорю здоровому: “Разве можно бить женщин?...” Вдруг тот обнимает меня и начинает исповедоваться: “Братан, да это ж коммуныки, кого жалеешь?”

Их же мочить надо — они в Останкино сколько людей поубивали! Я же только сейчас и жить начал: вот мой сын, ему 12 лет, а уже зарабатывает хорошие деньги на жвачке и сникерсах, мог бы ты в 12 лет при “них” это делать?! Они же меня за спекуляцию сажали, а теперь я — коммерсант, и машина есть, и квартира, и все, что надо!” Я ушел к другой группе, ближе к аптеке, что напротив мэрии, там тоже весело и баночное пиво. Мэрия зияла разбитыми стеклами, стекло покрывало мостовую и хрустело под ногами. Говорят: сейчас будут стрелять. И точно — услышал pistolетные выстрелы и топот бегущих ног. В это время с предпоследнего этажа — второе справа окно новоарбатского небоскреба, того, где глобус вращается, замечаю вспышку, и прямо на меня понеслась трасса. Искры брызнули в пяти метрах, ноги сами подогнулись, кто-то рядом закричал, видно, раненый. Все бросились врассыпную. Опять-таки театрально поперек мостовой разворачиваются два “бэтээра” и начинают долбить из крупнокалиберных по снайперу. В здании что-то загорелось, посыпалось. Стреляли минут пять, потом, видно, решили поиграть силой и протаранили ни за что ни про что стоявшую рядом “поливальку”. Что это был за снайпер?.. Мне приходилось читать, что у защитников Верховного Совета не было трассирующих боеприпасов.

На “Кольце” война еще продолжалась, а мы с тремя парнями, решив, что пора сматываться, побежали к Смоленской. Доходим до метро, а оно закрыто. Только хотели перебежать улицу, как по нам снова ударили очереди. Метрах в 50-ти идут три омоновца и поливают в нашу сторону трассами. Ладно, пьяные оказались. Мы шархнулись за угол, и когда те дошли, кричу: “Вы что, с ума сошли?!” А те: “У нас работа кончилась!” Отдыхают, значит. Мы бежим на Старый Арбат, там какие-то военные с явно нерусскими лицами, смуглые, невысокие — северокавказцы-омоновцы из южных областей, пригнанные на поддержку. На улице брошенные ларьки с товаром — бери, пожалуйста, и темнота. Два раза останавливал патруль, выручал студенческий билет, и уже выйдя к метро, вновь услышал стрельбу. Оказалось, опять бьют по тому же зданию, только с тыла.

Пятого вечером снова был у Белого Дома. Здесь у моста я впервые увидел трупы. Они лежали на набережной, занимая пространство, прикрываемое мостом, и было их около тридцати. Я зашел на мост, смешавшись с толпой, и смотрел вниз. Поодаль лежали еще три трупа в застывших лужах крови и возле них — свечи. Пожар к тому времени прекратился. Толпа на этот раз была настроена антиельцински. Кто-то крикнул: по РТВ будут показывать убитых! Рядом рыдала женщина. Подъехала машина, и вышел мужчина в кожанке. Ну, думаю, “демократ” приехал, но тот подошел к омоновцу и говорит: “Вы, сволочи, за это еще ответите”. Парень интеллигентного вида сказал мне, что от Дома на крытых “ЗИЛах” увозят трупы, и предложил пойти показать. Мы пошли мимо мэрии, и у памятника героям Красной Пресни я спросил у военного из оцепления, из какой он дивизии. Подлетел сержант: “Отойди!” Я осмелел, говорю ему: “Все равно ответите перед народом!” Мой спутник повлек меня дальше: этих, мол, не было тогда, каждые пять часов меняют. А те уж пьяные давно. Обошли стадион и вышли к месту, где теперь крест стоит. Трупов не было, видел лужи засохшей крови и цветы. Народу — только несколько эмвэдэшников и какой-то мужчина в камуфляже, уговаривающий пропустить его на стадион: “Ребята, я такой же военный, как и вы, только я приехал защищать Родину, а вы ее предаете. Дайте же мертвых убрать, там их полно”. Я подошел и поддержал его. На нас залазгали затворами: “А ну назад!” Человек оказался майором ракетных войск из-под Харькова. По нему было видно, что тяжело переживал происходящее. Мы с ним дошли уже до Баррикадной, как вдруг хоп: “Стоять! Почему громко разговариваете?” Окружили омоновцы, вскрыли сумку, сунулись в мой “студенческий”. Обхлопали майора, нащупали перочинный нож: “А это что?” — и удар в лицо, потом под дых и еще прикладом; его поволокли к стене. Я опешил, а они: “Пошел отсюда!”

Шестого числа я уже перелез стену стадиона. Все поле разрыто гусеницами. Ворота со стороны метро на уровне груди — сплошное решето, то же и на подсобных помещениях. Спрашиваю двух солдат: “Убитых в Доме много?” Отвечают: “Мы знаем только, что подземные этажи затоплены и внутри не пускают”. Сюда же зашло несколько жителей окрестных домов, они показали место, где проходили расстрелы — это внутренняя сторона стены, которая сейчас вся расписана извне лозунгами и проклятьями палачам. (И ввос-

ледствии снесенная. — М. Ф.). И действительно, часть резиновой дорожки вдоль стены была снята и сложена в стороне: ее кто-то уже пытался чистить, но это плохо удалось, остались обширные пятна”.

* * *

Совершенно ясно, что боевых действий на территории стадиона не было. Пулевые следы на стенах и постройках могут быть истолкованы, увы, однозначно. Ворота стадиона были открыты на 38-й день. Посетившая его моя знакомая Наталья также рассказывает о многочисленных пулевых отверстиях, но с новой подробностью: в них черенками были вставлены цветы. Здесь она встретила преподавателя и студентку из МГУ, они раздавали ксерокопии “Завещания”, написанного студентом-белодомником в последние часы обороны Дома. Местная жительница рассказывала, как ночью видела погрузку на баржи каких-то тюков, предполагает, что вывозили тела погибших.

Куда делось множество трупов — до сих пор неясно. Во все времена у джеков-потрошителей была одна проблема — как избавиться от тела собственной жертвы. Чего только не изобретали, чтобы полиции не попасться. “Джеки”, стоящие во главе государства, от подобных затруднений избавлены: и трупов нет, и людей таких не было, а если и были, то напрасно. Вопрос закрыт?

* * *

На основании только личных наблюдений и рассказов свидетелей-черноголовцев приходится делать довольно жуткий вывод: власти уже по ходу антиконституционного переворота планомерно провоцировали оппозицию на выступление, затем спланировали и осуществили образцово-показательное подавление восстания ее сторонников в назидание всей нации.

Несколько лет назад по радио один из “последних могижан” русской академической науки сказал: “А что такое человек? Ведь по большому счету не каждый является таковым. Я, например, когда задаю себе этот вопрос, то, зная себя, не могу с полной уверенностью отнести данную особь к человеку. Вот моя жена — да, она точно человек, а я... Не знаю”.

Немногие из нас задаются таким вопросом. Мы, по большей части, не сомневаемся. А зря. Без этой малости, сомнения в собственном человеческом и стремления это доказать, мы просто возглавляем отряд приматов, а лучшим определением нашим будет, по Платону, “двуногое без перьев”. До последнего часа не ясно, по большому счету, до крайнего жеста. Те, оставшиеся в октябре 93-го, уже все за себя доказали.

Нам — еще предстоит.

ПРЕОБЛАДАНИЕ НЕСУЩЕСТВЕННОГО (3-4 октября 1993 г., Москва-Черноголовка)

*Тело живое — нечто несущественное для пули.
Не задерживаясь, она летит дальше
сквозь другие тела
и визжит как от боли,
ударившись об асфальт.*

*Душа вытекает сквозь ничтожную дырку
и нестерпимую боль,
удивлённо озираясь на тело.
Тело, не чуя души,
падает лицом в ладони земли.
Боль для него —
нечто несущественное.*

*Человек несущественен для стрелка за углом.
Внимания к человеку хватает на то,
чтобы вырвать фигуру
из темноты, прицелиться,
спустить курок.
Крика не слышно.*

*Криков не слышно в кресле у телевизора.
Уши набиты враньём комментаторов,
глаза наполнены страхом.
Души человеческой не существует
для того, кто сам обездушен.
Он — то, что он ест,
его жизнь — сплошная еда,
его смерть — как отрыжка.*

*И жизнь чужая, и смерть — нечто несущественное
для наводчика в стреляющем танке.
Нечто существенное — это живые деньги
в своём кошельке
за работу убийцы.
Платит сидящий в кресле
у телевизора.*

*В Москве — усмирение бунта.
На площадях расстрелы и смерть.
Кровоизлияние в сердце России.
— Ничего существенного, — уверяют врачи, пряча трупы. —
Это микроинфаркт.
— Вот это зрелище! — волнуется чернь. — Ещё бы жратвы!..
— Будет! — обещает Главный Хирург, вытирая ручки.
— Едоков стало значительно меньше.
Инфаркт залечили. Второго не пережить.*

*Людей стало меньше.
Кажется временами: на улицах
ни единой живой души.
Так,
нечто несущественное.*

*Когда над существенным
преобладает несущественное,
веселится, пирует нагло и грязно,
значит, лев достался червям.
Если низкое берёт верх над высоким —
значит, корабль перевернулся и тонет,
пускает гигантские пузыри и зрелищем катастрофы
привлекателен для акул
и их прилипал.*

ЧЕСТЬЮ НЕ ПОСТУПИЛСЯ

Как назвать то время — с 1990 года, когда состоялась моя первая беседа с Виктором Сергеевичем Розовым для газеты “Правда”, до 2004-го, оказавшегося прощальным? Называют по-разному. Например, временем перестройки и реформ. Или годами рождения новой России. Многие из тех, рядом с кем он жил и работал, самодовольно именуящие себя ныне творческой элитой, воспринимали всё происходившее тогда с ликованием.

А в его восприятии это была трагедия великой страны. Уничтожение Советской власти, которой за многое он искренне и глубоко был благодарен. Обозначившийся вначале как нечто невообразимое, а потом вдруг ставший ужасающим фактом развал Советского Союза. Ликвидация русской, советской духовности и культуры...

И как же быть ему, старому человеку, когда вокруг нарастает вакханалия разрушения?

Другие деятели искусства (весьма существенное число) приветствуют: всё правильно, так и надо! Исходят угоднической слюной в подбострасти к новой власти.

А он твёрдо встал против.

Запахло большой кровью. На горизонте — расправа над “бунтовщиками”. И та самая “элита”, собранная в Бетховенском зале Большого театра, вдохновляет главного властителя на “решительные действия”.

— Раздавите гадину! — сбиваясь на визг, кричит популярная актриса.

— Канделябрами их, канделябрами! — подстрекает вставший в истерику пианист, вполне сознавая при этом, что “канделябры” по воле президента могут стрелять.

— Холуяж! — прилечатает участников того сборища и всех других ельцинских подпевал честный русский, советский писатель Виктор Розов.

А когда свершится то, к чему призывали “мастера культуры”, когда танковые орудия ударят по Дому Советов и польётся кровь, он, перекрывая одобряющие и поощряющие на продолжение кровопролития вопли, со страниц “Правды” заявит: “Сеются зубы дракона”.

* * *

Давайте же воздадим ему должное. И попробуем представить, разобравшись, понять, что двигало этим человеком в его действиях и высказываниях, которые многим из недавно близких ему людей, прямо скажем, казались недопустимыми и весьма странными. Недаром, как рассказывал мне режиссёр Сергей Розов, сын Виктора Сергеевича, одна известная театральная критикесса, не выдержав, однажды обратилась к нему с крайним недоумением и осуждением:

— Ну почему вы себя всем противопоставляете?

— А знаете, — ответил он, — вчера незнакомая женщина в магазине подошла ко мне и сказала: “Спасибо вам, вы один говорите правду”.

И сколько было таких, как та критикесса! “Террор среды” — понятие

реальное. Этот террор проявлялся не только в частных осуждениях, подобных приведённому выше, не только в изоляции большинством СМИ, где он сразу стал неприемлемым. В тех же СМИ появились по его адресу злобные материалы, переносить которые было тяжело.

Но — он не сдался.

Конечно же, это был его бой за Родину — всё, чему на протяжении без малого пятнадцати лет я стал очевидцем и свидетелем. А оружие в том бою могло быть у него единственное: слово.

В. Кожемяко

СЕЮТСЯ ЗУБЫ ДРАКОНА

Виктор Розов в беседе с Виктором Кожемяко

Пьесы замечательного драматурга Виктора Розова известны не только у нас в стране, но и в мире. Однако в последнее время гораздо большее внимание писателя привлекает жутковатый политический театр абсурда, который разыгрывается вокруг, а особенно — начальные результаты этого драматического, даже трагического действия для большинства россиян.

Виктор КОЖЕМЯКО: Виктор Сергеевич, мне хотелось бы начать с самого задевающего и острого, по-моему, что связано за последнее время в общественном сознании с вашим именем. После встречи творческой интеллигенции с российским президентом в Бетховенском зале весной прошлого года вы окрестили её крылатым словом “холуяж”. Сразу после президентского указа от 21 сентября, перечеркнувшего Конституцию, сказали в “Правде” о своём предчувствии крови. А когда эта кровь пролилась, когда был расстрелян “Белый дом” и в “Независимой газете” появилось жестокое обращение к президенту собрания “демократической общественности Москвы” с призывом уничтожить в России всяческую оппозицию и как можно беспощаднее расправиться с участниками октябрьского сопротивления, вы опубликовали в той же “Независимой газете” своё письмо Ельцину, воззвал к разуму и милосердию. Причём авторов коллективного обращения нелицеприятно назвали людьми злобными, мстительными и трусливыми, а их призывы — антихристианскими, бесчеловечными, сатанинскими. Задолго до этого предупреждали: самое страшное — диктатура. Между тем интеллигенция, кажется, оправдывает и поддерживает новую Конституцию, способствующую по сути установлению режима единоличной власти. Что же, выходит, вы сами, всемирно известный писатель и деятель культуры, ставите себя в оппозицию к нынешней творческой “элите”?

Виктор РОЗОВ: Я нахожусь в оппозиции лишь к определённой части интеллигенции, которая, на мой взгляд, не понимает того, что происходит, и поддерживает силы разрушения, методы насилия. Против этих я выступаю решительно. Но, право, среди интеллигенции немало людей, которые понимают ситуацию правильно, которые протестуют против жуткого эксперимента над великим народом, протестуют против насилия. Достаточно назвать хотя бы имена Станислава Говорухина, Юрия Власова, Никиты Михалкова, постоянного автора “Правды” профессора Сергея Кара-Мурзы. Или вот недавно я прочитал интересную статью Бориса Можаяева, который поддерживает мою мысль, что земля не может находиться ни в чьей частной собственности. Впрочем, это мысль не моя, а Толстого. Я мог бы назвать много представителей интеллигенции, чьи позиции разделяю. Да простите, что вроде получа-

ется, как бы гречневая каша сама себя хвалит, но ко мне подходят люди где-нибудь в магазине, на рынке, в театре и говорят, что они поддерживают мои выступления.

Нет, не могу сказать, будто вся наша интеллигенция сошла с ума. Я думаю худо только о тех, кто призывает к насилию. Это не такой уж большой слой интеллигенции. Но он очень крикливый, и ему отводится очень много места на телевидении, в газетах, и они верещат, они трещат, и эти треск и верещание производят, очевидно, своё впечатление. Но напрасно власти считают, что голос этой части интеллигенции есть голос народа. Думаю, в том должны были убедить наших правителей и итоги выборов...

В. К.: Кстати, я хотел спросить, какое впечатление произвели на вас итоги выборов в Федеральное собрание?

В. Р.: Выборы-то особенно ярко и показали, что не эта верещащая часть интеллигенции реально воздействует на людей. Да люди и сами просто видят жизнь как она есть, и они не хотят согласиться, что должны жить такой жизнью. Они спрашивают: за что? Почему на нас обрушилось такое несчастье? Вот ведь что в первую очередь показали эти выборы. Не было бы Жириновского – все эти голоса получил бы кто-то другой, только не пропрезидентский и проправительственный “Выбор России”. У меня такое впечатление, что ещё больше голосов получила бы тогда партия коммунистов...

Да, та насильственная капитализация на американский манер, которая у нас проводится, она неорганична для нашей страны, она не может быть для нас реальностью, как не стал реальностью коммунизм. Но если коммунизм – это мечта о всеобщем благе, то развитой капитализм американского типа – это совсем не идеал. Коммунизм мог быть мечтой, идеалом для миллионов людей, а капитализм, несущий беду многим, идеалом и мечтой для них ну никак быть не может.

В. К.: Интересная мысль. Полностью согласен с вами, Виктор Сергеевич...

В. Р.: Я вижу: сейчас у общества, у государства нет идеи. Оно сейчас животное, наше общество. Весь смысл лишь в том, чтобы питаться. И ещё – обогащаться, обогащаться любым способом. А высокой идеи, идеала у наших сегодняшних правителей нет. Это самое ужасное. Отсюда и распад государства. Я уже не раз говорил, что этот распад переживаю страшно, как самое большое несчастье. Не только как русский человек переживаю. Вот я ехал недавно по Украине и думал: Боже мой, я еду по чужой стране... Сжалось сердце: а ведь это моя Украина! Я не захватчиком был в ней – это моя Родина, которую я защищал во время Великой Отечественной войны. Это моя Родина, как и весь Советский Союз – и Кавказ, и Средняя Азия, где я бывал не раз и где мне было прекрасно, где у меня много хороших, добрых друзей.

В. К.: А что, по-вашему, случилось с той частью ультрарадикальной нашей интеллигенции, которая, кажется, напрочь забыла о жизни народа, об интересах народа, в верности которым всегда вроде бы громогласно присягала? Да и носителем духовности в России интеллигенция претендовала быть. Что же сейчас с ней происходит?

В. Р.: А вы её спросите. Спросите тех яростных защитников насильственных методов внедрения капитализма в нашей стране. Что их побуждает к этому? То ли им грезится, что в перспективе мы станем Америкой... Но мы же станем в лучшем случае банановой республикой! К этому всё идёт. Много сил есть, очень много целенаправленных сил, которые хотят сделать из нашей страны государство второго, а ещё лучше – третьего сорта. Сил извне и сил изнутри. Сейчас сеются зубы дракона, и будут всходы.

В. К.: Очень больно всё это переживать... А тут ещё один за другим уходят из жизни крупнейшие корифеи российской культуры – Козловский, Наталия Сац, Елена Гоголева. Будто огромные культурные пласты опадают. Да и вообще с культурой у нас сегодня неблагополучно и крайне тревожно. Иван Семёнович Козловский сетовал в интервью незадолго до смерти: словно ветром уносимая, распадается духовная сущность России. Что вы думаете по этому поводу?

В. Р.: Произошла перемена ориентации ценностей. Это самое главное. И вот внедряется в сознание, что вся наша великая культура – ничто. Не только русская, а шире – та, которая была до революции и потом при Советской власти, в Советском Союзе, то есть все союзные республики я сюда включаю,

называя её нашей отечественной культурой. Думаю, всё это делается сознательно, вытраивается именно самая сущность нашей культуры — духовность, которая создала великих творцов: Мусоргского и Достоевского, Толстого и Чайковского, Пушкина и Рахманинова. А на такой бездуховности, которую сейчас внедряют, не может взрасти ничего хорошего.

В. К.: Вы со своим творчеством в моём представлении — неотъемлемая часть советской культуры. Понятие советской культуры как вы расцениваете?

В. Р.: Знаете, я расцениваю это так. Когда объявили метод социалистического реализма в приказном порядке, никто не понимал, что это такое, и никто не писал по методу социалистического реализма. Это была такая, я бы сказал, неудачная и преждевременная формулировка. Потому что литературное течение обозначают тогда, когда оно сильно развилось или когда оно кончается. Были в истории классицизм, романтизм, натурализм, когда течения эти широко себя показали. А тут литература и культура в целом как бы заранее объявили себя социалистическим реализмом... Однако теперь, когда целый исторический период нашего общества позади, мы, думается, вправе говорить о культуре эпохи Советской власти — со всеми её недостатками, но и с достоинствами.

Литература, может быть, менее богата была, чем другие виды искусства, хотя и в ней есть очень яркие имена. Причём всем республикам есть чем гордиться. Вспомните: киргиз Чингиз Айтматов, калмык Давид Кугультинов, аварец Расул Гамзатов, абхаз Фазиль Искандер... Широчайшей популяризации в стране и в мире советских литераторов, пишущих на национальных языках, много способствовали русские переводчики: они давали огромную аудиторию чтения, признание массового читателя.

Я не говорю уже о советском театре, о балете, в частности, над которым позволяли себе иногда иронически посмеиваться: дескать, тут мы впереди планеты всей. Но что же, так ведь и было: Марина Семёнова, Уланова, Лепешинская, Плисецкая, Максимова с Васильевым... Звёзды-то какие! Первой величины. А опера скольких дала? Тот же Иван Семёнович Козловский, Лемешев, Михайлов, Держинская, Обухова — потрясающая певица была. Ой, да разве всех переберёшь, сколько их было — изумительных артистов мирового масштаба.

В. К.: В общем, было, было кое-что. Нельзя сказать, что советская культура — это пустое место.

В. Р.: Были очень хорошие спектакли, огромное количество. При всех своих мучительных родах, но такой великолепный, блистательный, тончайший спектакль, как “Дни Турбиных” в МХАТе, вышел ведь при Советской власти. Сколько режиссёров появилось замечательных! Товстоногов, Ефремов, Эфрос... Все яркие и все разные. Можно ли об этом забывать?

В. К.: Виктор Сергеевич, в своё время вы написали прекрасную пьесу “Вечно живые”, и по ней кинорежиссёр Михаил Калатозов поставил столь же прекрасный фильм “Летят журавли”, который триумфально обошёл весь мир. Скажите, а мог бы быть создан, на ваш взгляд, такой фильм в теперешние дни?

В. Р.: Мне трудно сказать. Говорят, сейчас тоже создаются хорошие фильмы. Увы, их мало показывают. Совсем не показывают. И это очень печально, потому что для широкого зрителя отечественное кино как бы перестает существовать.

В. К.: Выдающийся кинорежиссёр Георгий Данелия в недавнем интервью “Российской газете” сказал, что, несмотря на наличие цензуры в нашем советском прошлом, реализовать свой талант тогда было проще, нежели теперь. Повальная коммерциализация губит искусство. Вот слова Данелии: продюсер даёт деньги, и его вкус, его прихоть — закон. По старой пословице: кто платит, тот и музыку заказывает. Государство же как бы бросило художников. Что вы об этом думаете?

В. Р.: Многих настоящих художников в нашем обществе постигла сейчас, по-моему, некоторая растерянность, и они пишут, творят очень мало. Отчего у них эта растерянность? Может быть, ещё и оттого, что те ценности, в которые они были влюблены и которые в той или иной форме воспевали, нынче кажутся неактуальными?

Но идеалы были, и культура великая была, что там говорить. Это авторы некоторых появившихся за последнее время мемуаров да чересчур ретивые

публицисты всё наше прошлое взахлёб порочат, как бы мстя ему. Напоминает мне это басню Крылова, в которой осёл лягает копытом умирающего льва. Тоже ведь очень горько! Мне совершенно непонятно, когда люди, получившие звания народных артистов Советского Союза, Государственные и Ленинские премии, снискавшие при Советской власти, клянут теперь эту самую власть, которая их родила, воспитала, дала дорогу в жизнь. Клянут решительно за всё. Это уж такая бессовестность, такое паскудство!

Они говорят, что, дескать, сами всего добились. Не сами! Талант – дар Божий, а условия, в которых он развивался, тоже ведь кое-что значат. Иметь возможность, скажем, окончить театральную, музыкальную или балетную школу, чтобы твой талант, отгранённый, имел широкое всенародное, а то и всемирное признание. И это всё дала тебе она, Советская власть! Так что погоди клясть её, наоборот – перекрестись и скажи спасибо. Да, ужасного было много, но тебе-то выпал счастливый билет...

В. К.: Увы, талант на поверку может оказаться безнравственным.

В. Р.: Верно. Это, я бы сказал, всё равно что ругать отца, который тебя воспитал, кормил, поил, но отец пил. И вот ты, ставши всенародно и всемирно признанным, начинаешь кричать на весь свет: отец мой – пьяница! У меня в своё время был разговор со знаменитым Сартром – в начале 60-х годов в Париже. Я как раз прочёл тогда его книгу автобиографическую, где он, между прочим, написал: “Я родился, когда мой отец, к счастью, уже умер”. И я сказал ему: “Как вы могли написать такое – “к счастью”? По-моему, это ужасно безнравственно”. Позволил себе откровенно сказать это великому писателю и философу, потому что безнравственная его фраза меня потрясла. Не могу принять подобное и в устах отечественных культуртрегеров, поливающих отца-мать грязью.

В. К.: А вот ещё одна больная тема, связанная с сегодняшним состоянием нашей культуры. “Правда” недавно опубликовала заметку “Оставьте России хотя бы голос Марины”. Речь о талантливейшей молодой певице, выпускнице Московской консерватории Марине Ивановой – бриллианте чистой воды. Не оскудела земля русская самородками! Но... радость знакомства с новым ярким дарованием была омрачена известием о том, что в ближайшие два с половиной года россияне не смогут услышать Марину. Оказывается, вскоре после окончания консерватории она стала победительницей конкурса оперных певцов в Германии – и ей тут же предложили работать в одном из немецких театров. И сколько фактов подобных сегодня!

В. Р.: Да, к величайшему сожалению, продолжается и даже усиливается утечка не только умов, но и талантов. Это серьёзная угроза для будущего Родины как процветающего государства – отъезд больших учёных и больших талантов. Это ведёт к оскудению, которое может обернуться для страны духовной немочью. Таково горькое, обидное порождение времени, очень грозный и зловещий симптом для перспективы государства, которое не может дома достойно обустроить своих талантливых детей, бросая их, по существу, на произвол судьбы.

В. К.: Вы умудрённый годами, жизненным опытом человек, многое пережили и повидали на своём веку. Как, по-вашему, сможет ли всё-таки Россия спасти, вернуть свою духовность и культуру? Или мы обречены навсегда распрощаться с этим бесценным достоянием?

В. Р.: Знаете, у меня, кроме надежды, мало на чём основанной, ничего нет. И, как ни больно сознавать, в последнее время всё больше появляется неверие в свою собственную надежду. Никогда, замечу, такого не было в моей жизни.

В. К.: С чем же это связано, Виктор Сергеевич?

В. Р.: Это связано с изменением нашей среды обитания.

В. К.: А когда началось?

В. Р.: Пожалуй, впервые особенно остро я ощутил, что надежда моя гаснет, где-то уже с полгода назад, а после расстрела Дома Советов я совсем испугался, что погибнет наша страна, раз её вожди прибегают к таким методам, когда люди в центре Москвы расстреливают других людей. Понимаете, я боюсь, я не хочу никакой гражданской войны, никакого насилия и вместе с тем не вижу мирных путей нашего возвращения к исконным духовным ценностям. Образовался какой-то тупик...

Я объехал несколько стран. И что же там сохранилось? Сохранился Пар-

фенон в Афинах, сохранились египетские пирамиды и сфинксы, сохранились в Иерусалиме святыни религиозные. То есть всё, что связано с великими идеями. Скажем, Парфенон — это храм в честь древнегреческой богини Афины. Она миф, так ведь? Но что этот миф создал! Всё искусство древней Греции, древнего Рима, всё искусство Возрождения в конце концов, да и многие другие духовные ценности, можно сказать, мифом вдохновлялись. Я вспоминаю Пушкина: “Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман”.

Люди, воздвигавшие пирамиды, верили, что те, кому эти памятники посвящаются, будут вечно живы. А вот разбойничающие сейчас в нашем государстве думают, что жизнь, которой они живут, есть единственная жизнь. Однако их ведь ждёт, как говорят все религии (все!), ещё и загробная жизнь! И она будет определяться по жизни, прожитой здесь, на земле.

*Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждёт,
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смаете всей вашей чёрной кровью...*

А они думают, что живут вот в этой жизни — и им абсолютно всё можно делать. Типичное, о чём я уже писал и говорил, “всё дозволено”. Они, по-моему, и церковь поддержали только для удобства правления своего. На самом же деле, убеждён, не верят в Бога. Если бы верили, не творили бы такое.

В. К.: Значит, оптимизма у вас поуменьшилось, Виктор Сергеевич?

В. Р.: Да, к сожалению. Поскольку я вижу, что творится вокруг. А под конец хотел бы поделиться одним своим очень глубоким огорчением самого последнего времени. Дело в том, что начало работы Государственной думы и всего Федерального собрания я представлял себе так: депутаты встанут и почтят минутой молчания память безвинно погибших при защите своего предшественника — Верховного Совета. Должно было встать на колени всё правительство и поклясться устами любого из своих членов, что никогда ничего подобного не повторится. Произошла же национальная катастрофа, свершилось великое народное бедствие! Нет, не встали, не поклялись... А ведь они должны знать и всё время обязательно помнить, что возникли они на человеческой крови!

РУДОЛЬФ ПАНФЁРОВ

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!

ГИБЕЛЬ СОВЕТОВ

21 сентября по Центральному телевидению выступил Ельцин. Ошарашенным гражданам он объявил, что подписал указ № 1400 “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации”. Гарант законности оповестил о прекращении функций Съезда народных депутатов, Верховного Совета и об их досрочном роспуске. На 11-12 декабря 1993 г. назначались выборы в Государственную Думу. Вот так руководитель страны совершил государственный переворот. А за десять дней перед этим Ельцин организовал преступный сговор, персонально заручился поддержкой министра обороны Грачёва, министра внутренних дел Ерина, и. о. министра безопасности Галушко и министра иностранных дел Козырева. Эта могучая кучка и подобрала подходящую дату объявления указа – 19 сентября, воскресенье, когда в Доме Советов (“Белый дом”) депутатов нет. Ельцинские “путчисты” решили захватить здание, а утром в понедельник не пустить туда никого. Однако просчитались. Руководство Верховного Совета организовало дежурство депутатов, так что в воскресенье в здании оказалось много народу. Это и заставило отодвинуть срок осуществления переворота на 21 сентября. Маховик был раскручен.

Между тем, не теряя времени, действовали депутаты. Была проведена запись выступления Председателя Верховного Совета Р. Хасбулатова по телевидению, где он обоснованно заявил, что указ № 1400 – не что иное, как свержение конституционного строя, и может квалифицироваться как государственный переворот. Это обращение удалось показать по телевидению в начале одиннадцатого вечера. Оперативно собравшийся Президиум Верховного Совета без колебаний констатировал: президентский указ – это грубое и откровенно-циничное попрание Конституции, ведущее к расколу и распаду российской государственности. Такие действия инициаторов подпадают под статью 121-6 Основного закона: **“Полномочия президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно”**. Объявив незаконный указ, Ельцин автоматически утрачивал президентские полномочия. Никакого другого варианта Конституция не допускала.

В этот же день, 21 сентября, в 21.30 началось экстренное заседание Конституционного суда. Тринадцати его судей, от которых многое зависело. Благодаря исключительному профессионализму председателя суда В. Зорькина

удалось принять единственно правильное решение: констатировать нарушение президентом целого ряда статей Конституции, за что он должен быть отрешён от должности. “За” проголосовало 9 судей, “против” – 4. Судьи точно зафиксировали факт попрания Конституции, государственного переворота, совершённого Ельциным.

Ночью – в 0 часов 15 минут 22 сентября – состоялось экстренное заседание Верховного Совета. Большой зал был переполнен, появилось много журналистов, особенно иностранных, прибыли представители близлежащих регионов. Прозвучала информация о ситуации в стране: сессии Советов 29 регионов квалифицировали указ как противозаконный и осудили его. А руководители Приморского края заявили о возможности отделения от России. Черномырдин, Филатов – приближённые Ельцина – разразились угрозами.

Потом пропрезидентская, точнее, купленная пресса наводила тень на плетень, навязывала и внедряла мысль о “парламентском мятеже”. Тогда далеко не все поняли, что **Верховный Совет не отстранял Ельцина от должности, лишь зафиксировал конституционное отрешение его от президентских обязанностей, которое вытекало из его антиправового указа. И Конституционный суд не отрешал президента-мятежника. Он сам отрешил себя.** Полномочия президента автоматически переходили к вице-президенту А. Руцкому. Таков закон.

В расколоте и одуроченном обществе оценки “кремлёвского путча” были самыми противоположными. И всё же большинство граждан не взирали безучастно на происходящее.

А народные депутаты всё прибывали и прибывали на съезд. Чувствуя, что Ельцин будет неизбежно отрешён, “путчисты” пытались “купить” хотя бы 300–350 народных избранников особыми привилегиями. Гарантируется всем, кто покинет съезд, сохранение служебных квартир в Москве, а также пособие в размере 75 процентов от ежемесячного оклада. Депутаты должны всего лишь отказаться от своих полномочий – и никакого предательства! Главное, чтобы не набралось кворума! Лишь сто депутатов после интенсивной обработки, торговавшись, “клюнули” на приманку, предали товарищей и своих избирателей. Но сорвать съезд всё-таки не удалось. Кворум был обеспечен, несмотря на угрозы и шантаж.

Каковы же цели переворота? Это стремление президента и его окружения уйти от ответственности за развал страны, за национализм и сепаратизм, резкое ухудшение жизни народа. Попытка переложить ответственность за себя на представительную власть, сохранить бесконтрольный авторитарный режим. Главное, спасти себя и криминальных нуворишей, опору власти, то есть тех, кто награл богатства, созданные поколениями советских людей. И ещё, предавая национальные интересы, получить карт-бланш, согласие Запада на своё существование. Международные финансовые и промышленные корпорации уже всюду запустили руки в огромные природные богатства России.

К этому времени 82 региона России в той или иной форме осудили переворот, поддержали решения Конституционного суда, Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Федерации. Среди органов государственной власти субъектов Федерации значился и Совет народных депутатов Калужской области. А председатель Курского областного Совета В. Лихачёв заявил: “Практически всё центральное Черноземье осудило кремлёвский переворот и готово создать свою республику с приглашением туда любых органов власти, запрещённых Ельциным”.

Однако невменяемые “путчисты” не собирались возвращаться в лоно закона. 22 сентября последовала угроза, а на следующий день были отключены водо-тепло-энергоснабжение и телефонная связь. Войска блокировали все подъезды и подходы к “Белому дому”. Продолжались шантаж, угрозы, поддачки, провокации. Готовился захват здания и расправа с депутатами.

Начались блокадные дни и ночи. Съезд депутатов принимает закон “О федеральных уполномоченных съезда”, который предусматривал привлечение депутатов всех уровней для восстановления конституционного строя. Эта акция вверх Ельцина и его сторонников в шок, им теперь приходилось вступать в конфликт с региональными Советами. И ельцинисты решили использовать “шахтёрский ресурс”. В Кузбасс прибыл Станкевич с группой агитаторов. Они стараются поднять шахтёров и те... едут, чтобы стучать касками на “гор-

батом мосту”, с пролетарской прямоотой угрожать депутатам и ещё более де-стабилизировать обстановку.

В это время в некоторых регионах России главы администраций, назначенные Ельциным, пытаются перехватить власть у Советов, которые поддержали Верховный Совет. Силовой захват власти произошёл в Брянске. Омоновцы ворвались в здание Совета, избили сотрудников и депутатов. **Команда Ельцина приступила к репрессиям. Этот любитель независимости не оставался ни перед чем, если прикажут заокеанские хозяева. Им был нужен Ельцин-марионетка, который безропотно открыл все кладовые и все госсекреты, крушил в угоду новым хозяевам ВПК и ядерный щит страны.**

Как подавить ельцинский мятеж, почему молчат рабочие заводов и фабрик, труженики села, “свободолюбивая” интеллигенция, особенно чуткая к “правам человека”? Ведь они уже почувствовали на себе итоги грабительской приватизации, методы бесчеловечной шокоотерапии.

Закончился золотой век пролетариата. У властного руля встала невиданно самоуверенная и наглая популяция “режиссёров”, злобных диссидентов и прочих “детей Арбата” с большой дороги “цивилизации”.

Неслыханная ранее геббельсиада с её патологией чудовищной лжи царилла на ТВ и радио. Народ покорно-равнодушно принял правила игры такой “демократии”, когда за словами о свободе следует расстрел. Со всех сторон нагрянули, как писал Рубцов, “иных времён татары и монголы”.

В Москву прибывало подкрепление к 40 тысячам войск, стянутых вокруг парламента. Три тысячи омоновцев прибыли из Северной Осетии, других мест. Но были и другие факты: солдаты и их командиры из дивизии имени Дзержинского отказались выполнять преступный приказ. Их заменили бойцами резерва ОМОНа.

Вот уже неделю у стен Дома Советов несменяемо стояли москвичи и защитники Конституции, прибывшие их регионов. Их не пугала жестокая блокада: скудное питание, холодные утреники в примитивных палатках, рёв милицейских громкоговорителей, свистопляска лакейских СМИ. Днём на площади митинговало до 10 тыс. человек – ветераны, женщины, зрелые мужчины, отцы семейств, молодёжь и совсем ещё подростки. Цвет нации, истинные герои. Озябшие, голодные, усталые, но не дрогнувшие перед лицом циничного всевластья узурпаторов, которые, ещё недавно свергая власть “партократов”, кричали: “Вся власть Советам!”

Интеллигенция изменила своему народу. Не захотела быть народом. Один сочинитель с русской фамилией заявил: “Этих сволочей надо было стрелять”. Сократы курилок и Спинозы кухонь выродились в лакейство, приняв денежное содержание из-за “бугра”. И до сих пор сводят счёты с Россией. Вынужденная эмигрантка М. Розанова назвала их “порчаками” и псами кудлатыми. Не все, конечно, были такими ушлыми. Мы помним “Слово к народу” представителей истинной интеллигенции, которые несли и несут крест “своего особого предназначения”, как говорил Пушкин.

...В субботу 25 сентября я был на Краснопресненской набережной на подходе к Дому Советов. Вот он, совсем рядом. Да не тут-то было. Все подходы к зданию заблокированы заграждениями, солдатской и милицейской массой, грузовиками и противопехотной колючей проволокой, спиралью Бруно, остервенело рассекающей тело человека, рискнувшего преодолеть её. Поэтому она запрещена международной конвенцией. Понятно, что ради удержания захваченной власти отрешённый от неё Ельцин с пособниками пошли ва-банк. Какая-то гнетущая зловещая тишина царилла вокруг...

Огляделся. Как-то надо пробиваться в лагерь осаждённых, всё увидеть своими глазами. Заметил суетливую группу телевизионщиков со вскинутыми на плечи переносными телекамерами, они спешили к подъезду жилого дома. Я – за ними, думаю, эта братия знает все ходы и выходы. И точно, подъезд оказался сквозным. Пересекли тесный дворик и оказались на задах Дома Советов, нас разделяет всего-то метров семьдесят ухоженного газона. Но и он оцеплен густыми солдат и ОМОНа. Как говорится, семя и овам. Пока оценивал обстановку, телевизионщики просочились через узкую щель наскоро сооружённой калитки, которую буквально держали в руках солдаты в форменных бушлатах. Обращаюсь к ним:

– Ребята, я депутат Калужского городского Совета народных депутатов, журналист областной газеты “Знамя”.

Показываю удостоверение одно, другое... Смотрят с некоторым недоумением, как-то тушуются. Пригляделся к одному из них, что постарше, слабая живинка дрогнула на его лице. Спрашиваю, сам не знаю почему:

– Откуда родом, сержант?

И он вдруг отвечает:

– Тамбовский...

– Так ведь и я жил в Тамбове на улице Августа Бебеля, знаешь такую?

– Знаю, в школе учился...

– Вот-вот, в самом конце улицы, здание старинное из красного кирпича.

Сержант утвердительно кивнул, понял, что я не обманываю. И указывает мне на едва приметную будку, притулившуюся тут же в углу за огромными бочками, мотками проволоки, ведрами и лопатами. Подхожу и по-военному так обращаюсь к почти такому же парнишке, но уже лейтенанту. Всё повторю сизнова, кроме улицы Бебеля. Показываю удостоверения:

– Меня депутаты командировали... очень нужно...

А он в ответ:

– Да слышал, слышал...

Лейтенант идёт со мной к калитке. И вот я спешу вдоль газона к каменной громаде здания. Кого вокруг только нет! Надрывно трещит спецмашина. Люди небольшими группами передвигаются в самых разных направлениях, оружия не видно, но повсюду стоят зелёные контейнеры под охраной омонцовцев, они здесь хозяева. Многочисленные двери здания то и дело отворяются, входят люди, почти никто не выходит. В одну из дверей вошёл и я.

И сразу почувствовал несвежесть холодного здания. В коридоры медленно вползал дурной запах. Остановился, куда же пойти? “На пятый этаж, на пятый...” – сообщил мне проходивший мужчина, видимо приняв меня за вновь прибывшего добровольца-защитника. Лифт не работал, и я по широким пролётам лестницы поднялся на пятый этаж. Вскоре очутился в большом вестибюле, набитом разнообразным, порой экзотическим людом. Мелькали казачьи френчи, сюртуки с газырями, пиджаки и куртки. На стульях и спинках скреплённых кресел лежало живописное разнообразие верхней одежды, шапок, кепок, фуражек, папах. Тут же в простенке у пустой торговой витрины женщина в белом фартуке наливала в одноразовые стаканчики сок и выдавала маленький бутерброд с сыром – всё, чем можно было подкрепиться в осаждённой депутатской твердыне.

В зале заседаний шла нескончаемая сессия Верховного Совета. На балконе допускали представителей СМИ, да и активно желающих посмотреть, как идёт работа. Пошёл и я взглянуть, что происходит... Тишина и глубокий полумрак. Микрофоны не работают, на столе президиума несколько свечек да кое-где по краям проходов зала тусклые огоньки застывшего пламени.

Едва слышный говор доносится до балкона. Кворум обсуждает проекты законов, постановлений, обращений. Суровая блокадная обстановка. Как-то не верилось в реальность происходящего, тягостная гнетущая тишина, скорбная и безжалостная. Походило на театральное действие не только здесь, но и вокруг цитадели российского парламентаризма.

Вернулся в вестибюль. Кое-что изменилось... Заметно прибавилось телевизионщиков и активных дам с мобильными телефонами, которые тогда были редкостью. Дамы что-то выкрикивали, и табунчики операторов с “взхвэсками” куда-то спешно топали, подхватывая провода и раздвижные треноги. Были среди них иностранцы, которые выделялись джинсовой униформой и вальяжной манерой довольного лакейства. А что если взять интервью у самих жрецов самой объективной и оперативной продукции?... Подошёл к корреспонденту “Голоса Америки” (он был с табличкой на шнурке) и тут же без обиняков поинтересовался: а как вы лично относитесь ко всему происходящему в Доме Советов и на подступах к нему? А в руке держу блокнот с карандашом. Мой американец опасливо взглянул на мой блокнот, как-то сразу сник, засуетился и на чистом русском языке произнёс: “Подождите минуточку, я сейчас...”. Напрасно я терпеливо ждал, сбежал поборник свободы слова.

Между тем сессия прервалась, объявили перерыв до вечернего заседания. Господи, какой вечер! – у них и днём ночь в зале. Я решил пойти по кабинетам, в надежде попасть к кому-нибудь из начальства. Ни к Руцкому,

ни к Хасбулатову меня не допустили на милицейском посту, кстати, освещённом настольной лампой. (Значит, у кого-то электричество было!) Нельзя, они заняты... И никаких разговоров. Тогда я повернул по коридору влево, вправо, пока не добрёл до таблички: “Р. Г. Абдулатипов. Председатель Совета национальностей”. Зашёл в приёмную, представился. Помощник сказал, что надо подождать, у председателя посетитель. Минут через десять посетитель вышел, а помощник зашёл в кабинет. Через минуту я услышал “входите”.

За столом у окна сидел знакомый мне по кадрам телевидения горец с глубоким спокойным взглядом. Он привстал, поздоровались. Я сказал, кто я и откуда, и тут же спросил, какого содержания телеграммы, сообщения поступают в эти осадные дни от парламентов Европы, других краёв света, где наверняка внимательно наблюдают за происходящим в России.

— Почти ничего не поступает, — ответил председатель. — Так, две-три телеграммы за всё время. Из Молдавии, из Болгарии... Европа делает вид, что ничего не происходит, а если и происходит, то это их не касается.

Я рассказал о случае в вестибюле с исчезнувшим американцем. Абдулатипов рассмеялся:

— Вот видите, всё одно к одному. Они политкорректны... Он не журналист, а политтехнолог. Я так полагаю, что развязка будет похожей, как в Чили при Пиночете. А их молчание — знак одобрения.

Поговорили ещё минут около десяти. На прощание Абдулатипов сделал надпись “Защитнику Конституции” на своей визитке и вручил её мне. Она и сейчас, сильно выцветшая, лежит в моём столе.

Я ещё походил по зданию. В одном месте второго этажа с балкона, выходящего во внутренний дворик, депутаты говорили с собравшимися. Кто они? Увидел пенсионеров, среди них двух калужанок, знакомых по митингам и клубу избирателей. Они помахали мне руками. Я ответил им тем же... Депутат, кажется из Пскова, говорил, что сдаваться они не собираются, чувствуя поддержку народа и зная свою правоту. В общем — до победы!

Я вышел из здания. Во дворе всё так же надрывно трещала спецмашина, видимо подавая электричество на посты охраны пленников и заложников ельцинской демократии. Отряды мирных защитников-добровольцев поспешали куда-то. Как будто что-то готовилось, назревало и вскоре должно было произойти.

На Краснопресненской набережной явно прибавилось машин оцепления, всё туже стягивалось кольцо колючей проволоки, живой цепи солдат внутренних войск, милиции. На их лицах ни малейшего утреннего благодушия. Как видно, поступил новый приказ.

Я пошёл по пустынной набережной к метро. У самого тротуара — два “жигулёнка”, из которых буквально выскочили какие-то люди в униформе неопределённого покроя. Машинально заглянул через стекло дверцы: на заднем сиденье лежали два автомата — “калашников” и короткоствольный израильский “узи”...

Ровно через неделю добровольцы-офицеры со знанием дела прицельно стреляли из танковых пушек по зашторенным окнам Дома Советов, словно по вражеским амбразурам. Стреляли вакуумными снарядами представители так называемой гвардии президента — кантемировцы и таманцы, бригады из Тёплого Стана. Тогда героем выглядел на экране телевизора лейтенант Русаков, давая интервью после содеянного преступления. И каким же жалким предстал он, попав в Чечне в плен в ноябре 94-го! Есть Божий суд!..

Утром в огне штурма 4 октября свой подвиг творили священники, причащали, крестили, исповедовали игумен Никон и протоиерей народный депутат России Алексей Злобин, направленные в Дом Советов с патриаршего благословения. “Мне предлагали уйти, но я остался, — вспоминал отец Алексей, — потому что не мог бросить верующих без последнего причастия. Когда пули стали залетать в нашу церковь, мы с отцом Никоном перешли в другую комнату и там во время боя читали Акафист”. Сколько погибло людей в дни преступного ельцинского расстрела, до сих пор доподлинно не известно. Власть тщательно скрыла кровавые итоги установления нового порядка.

Юрий Михайлович Воронин осенью 93-го был первым заместителем Председателя Верховного Совета России, одним из главных руководителей обороны Дома Советов и защиты конституционного строя. Позднее написал честную книгу о тех героических и трагических днях. Приведу из неё заключительные слова: **“Ельцинизм, как общественное явление, как синоним**

власти, претендующей на новую геополитическую роль, войдёт в историю Российской государственности чёрным несмываемым пятном. Как криминально-мафиозная система, коррумпированная на всех уровнях управления”.

Через год после расстрела Дома Советов системный русоненавистник Бжезинский констатировал: **“Россия побеждённая держава, она будет раздроблена и под опекой”**. Это указание обретало всё более реальные очертания. На сайте пресс-центра миллиардера М. Ходорковского (того самого!) в 2004 году обсуждался “план спасения России”, заключавшийся в её присоединении к США. А ещё ранее был организован фонд “Открытая Россия”, в совет директоров вошли представители русофобствующей элиты. Цель фонда – консолидировать в “надёжных руках” богатства России. В этом и состоит их план “модернизации”. От имени всех россиян они обратились к США с призывом “придите и владейте нами”.

Вскоре война в Чечне накрыла чёрным крылом Россию, заслонила ещё более тяжкими преступлениями те трагические дни, но забыть их нельзя.

ПУШКИНСКИЙ ДОМ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Олег Викторович Творогов принадлежит к той замечательной плеяде петербургских филологов, которая сложилась в 1950–1960-е годы в легендарном отделе древнерусской литературы Института русской литературы РАН. Его исследования памятников русской хронографии составили отдельное направление в науке. Помимо собственных трудов, учёный активно участвовал во всех коллективных изданиях родного отдела, составляющих гордость и славу отечественной филологии, — “Памятники литературы Древней Руси” (12 томов), “Библиотека литературы Древней Руси” (20 томов, выпуск продолжается), “Энциклопедия “Слова о полку Игореве” (5 томов), “Словарь книжников и книжности Древней Руси” (7 томов).

На правах старейшего сотрудника Пушкинского Дома и, что немало важно, увлекательного рассказчика, Олег Викторович вспомнил в интервью свой путь в науку, поведал о жизни в альма-матер, дал яркие и живые портреты коллег по филологическому цеху.

— Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, о ваших корнях, о вашей военной юности и послевоенной молодости.

— Мой отец и дед — петербуржцы. Бабушка (урождённая Момырёва) из духовного звания. В 1936 году их как бывших выселили из Ленинграда на Онегу. А отец работал в управлении шоссейных дорог, которое, страшно сказать, входило в НКВД. Но ему гордо сказали, что дети за отцов не отвечают. Дед умер в ссылке, а бабушка вернулась патриоткой и умерла в декабре 41-го.

В начале войны нас эвакуировали в Ярославскую область, затем мы переехали в Устюжну, где вскоре моя мать умерла. Я остался один. Отец был в Тихвине, тогда прифронтовом городе. И вот что сделали. Меня запихнули в грузовик, забросали сверху ватниками и привезли в Тихвин, а потом задним числом оформили вызов. Там я сразу устроился счетоводом. А в декабре 43-го нас с отцом перебросили в ещё осаждённый Ленинград. Я не считаю себя блокадником, так как застал её конец, однако успел досыта наесться обстрелами. Последние месяцы до снятия блокады немцы обстреливали город с особым ожесточением. Помню, я шёл по Кировскому мосту, и начался сильный обстрел. Я остановился посреди моста (во мне жила романтика) и сказал себе: “Я должен запомнить это на всю жизнь!”. Не было секунды, чтобы над мостом не пролетал снаряд. Воздух был весь наполнен зловещим гудением, а с Петроградской стороны глухо доносились разрывы снарядов...

В другой раз во время обстрела меня спасло чудо. Я шёл вдоль Лебязьей канавки и вдруг чувствую, что меня кто-то поднимает и переносит через канавку. Приземлился я на рыхлый снег, поэтому ударился несильно. Очнувшись, я пошёл посмотреть, как это получилось. Оказалось, что снаряд попал... в открытый люк. Представляете, какая случайность!

В апреле 1944 года я ушёл на военный завод и пять лет проработал там токарем, а затем слесарем. Помню, к нам вернули двух генералов из лагеря, присвоив им при этом звание главного конструктора боеприпасов Советского Союза. Мы разбирали адские машины, которые немцы, отступая, оставляли в разных городах. Как-то раз приносит мне инженер мину и испуганно говорит: “Слушай, в mine включился часовой механизм, а разобрать не можем. У тебя есть ключ?” – “Есть, оставляйте”. Он оставил мину и, счастливый, убежал. Я быстро нашёл ключ, а вот сам часовой механизм найти не могу (второпях я заслонил его чертежом). Время идёт, в любой момент может быть взрыв. Тогда я отвернул детонатор, и буквально через минуту раздался удар, капсюль воспламенился, взрыв... Не успею я вовремя отсоединить детонатор, не сидел бы я перед вами.

Параллельно с работой на заводе я учился в вечерней школе. Потом я служил три года в армии; вернувшись, доучился в “вечёрке” и уже будучи 25-летним молодым человеком поступил в педагогический институт имени Герцена. Конечно, тогда там не давали такого сильного образования, как в университете, но с другой стороны, в институте я был сталинским стипендиатом (это едва ли было бы возможно в ЛГУ), что позволило мне сводить концы с концами.

– А как вы оказались в Пушкинском Доме?

– Меня взял туда Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Это было в 1961 году, я учился в аспирантуре в ЛГУ (моим научным руководителем был Борис Александрович Ларин). Одна московская дама, тяжело больная, взялась составлять словарь “Слова о полку Игореве”. Ей нужен был помощник. А у меня к этому времени был уже некоторый опыт в подобном деле (я составил словарь “Повести временных лет”), и Дмитрий Сергеевич, зная об этом, пригласил меня в Пушкинский Дом для работы над словарём.

– Вы работали вместе с Лихачёвым почти 40 лет. Что вы можете сказать о его научной и общественной деятельности?

– Лихачёв – фигура сложная. С одной стороны, он очень много сделал для древнерусской литературы. Благодаря ему она стала общеизвестной и общедоступной. Заседания отдела, которые вёл Лихачёв, были колоссальной школой. Мы видели его эрудицию, его умение разбираться в самых разных вопросах: языковых, искусствоведческих, историографических и так далее.

Не могу не упомянуть и о том, что я многим ему обязан в отношении устройства моего быта. Дмитрий Сергеевич хлопотал за меня, чтобы мне от Академии наук предоставили жильё в знаменитом академическом доме на 7-й линии. Тогда как раз пропадала квартира академика Крачковского: делить её было жалко, а больших семей не было. А у меня было на тот момент 9 человек (две дочери, их мужья и внуки). Так я оказался в этой квартире.

И совсем другое дело Лихачёв, как общественный деятель. Здесь, я считаю, его деятельность носила порой неоднозначный характер. На этой почве у нас были довольно серьёзные разногласия. Я ему прямо говорил: “Дмитрий Сергеевич, когда я слышу по радио, как вы выступаете не о древнерусской литературе, я выключаю радио. Мне стыдно за вас!”

Как мне представляется, Лихачёву было присуще некоторое тщеславие, кроме того, ему было свойственно переоценивать отдельных политических деятелей. К примеру, он мог часами восторженно рассказывать о Горбачёве, о Раисе Максимовне, о том, как глубоко и тонко она понимает литературу, искусство. Как-то я устроил ему мини-спектакль, разыграв роль Раисы Максимовны, посетившей художественную выставку: “Посмотрите, как хорошо написана эта картина: небо голубое, а листья, они зелёные...” Лихачёва это привело в ярость: “Олег Викторович, сейчас же прекратите, что вы себе позволяете!” Те же самые иллюзии он питал и к нашему “первому президенту России”. Помню, когда его принял Ельцин, он с восторгом рассказывал: “Олег Викторович, вы не поверите, он умнейший человек!” А как он был очарован Собчаком! “Анатолий Александрович провёз меня в открытой машине по всему году. Теперь мне открыты все двери в городской администрации!”

Но, как и следовало ожидать, когда понадобилась помощь Пушкинскому Дому, Собчак ничего не сделал.

И всё же, несмотря на некоторые с ним расхождения в оценках людей и событий, Лихачёв является для меня одним из немногих людей, которые сыграли в моей жизни значительную роль и оказали большое влияние.

– **Вы являлись ответственным секретарём монументальной 5-томной энциклопедии “Слова о полку Игореве”. А кто был инициатором этого уникального издания?**

– Идея принадлежала Лихачёву. Но от непосредственной работы над изданием он устранился, и основной груз лёг на мои плечи. На презентации этой энциклопедии мне пришлось заявить: “Если вы увидите, что ответственный секретарь написал 240 статей, то не думайте, что это из тщеславия, – это от отчаяния”. Дело в том, что писать было некому. Москва дала менее десяти статей. Сроки поджимали, и мне пришлось в срочном порядке писать за москвичей недостающие материалы.

– **Вы, наверное, знали историка Александра Зимина, который написал нашумевшее в своё время исследование о “Слове”, где доказывал его поддельность.**

– Знал и, более того, способствовал изданию его книги “Слово о полку Игореве” (она вышла в 2006 году), хотя я не разделяю зиминской точки зрения по этому вопросу. Когда я писал к ней предисловие, вдова Зимина просила меня, чтобы я согласился с зиминской гипотезой, чего я, конечно, не мог сделать. Я написал о своём несогласии, но указал, что это наиболее серьёзная работа скептика. К слову, москвичи обвиняли нас, что мы во главе с Лихачёвым не даём ходу книге Зимина. Но ведь именно мы первые её издали, хотя, повторю, я всегда был оппонентом зиминской версии (не могу здесь без улыбки вспомнить, как после моего выступления на дискуссии по поводу Зимина академик Рыбаков при всех обнял меня и воскликнул: “Вот спаситель России!”).

Вообще, я должен вам признаться, что мы потратили на “Слово” невероятно много времени и сил. Было написано очень много пустой, ненужной литературы. В то же время надо понимать, что в советскую эпоху, пожалуй, только через “Слово” (изучение которого официально было разрешено на самом высоком уровне) можно было “проникнуть” в древнерусскую литературу, не боясь при этом быть обвинённым в чрезмерных православных симпатиях. Я хорошо помню, какой поднялся скандал, когда в 79-м году мы опубликовали статью “1000-летие русской литературы”, где обосновывали возникновение литературы приятием на Руси христианства.

Конечно, я вовсе не хочу умалить значение ни самого “Слова”, ни исследований о нём. Много здесь ещё загадочного. Например, есть точка зрения, что “Слово” было написано и произнесено княжеским певцом на некоем торжественном мероприятии, и мы должны быть счастливы, что оно вообще было записано.

– **Всё-таки кажется странным, что такой серьёзный историк мог поверить в поддельность “Слова”. Есть мнение, что таким образом Зимин фрондировал против тогдашней официальной исторической науки.**

– Нет, он был буквально зациклен на своей идее позднего происхождения, на том, что он нашёл автора “Слова” – архимандрита Иоиля (Быковско-го). Однажды я был у него в гостях. Посидели, выпили, и вдруг он мне говорит: “Олег Викторович, вы же умный человек, вы же понимаете, что я-то прав! Но я понимаю, что если вы признаетесь в этом, Лихачёв вышвырнет вас как котёнка из Пушкинского Дома!” И тут я понял его трагедию: он был совершенно уверен, что ему удалось убедить в своей правоте и нас, оппонентов, но только мы, карьеристы, боимся в этом признаться.

– **Как возникла идея выпустить 12-томник “Памятники литературы Древней Руси”?**

– Всё началось с “Изборника”, который вышел в “Худлите” в знаменитой серии “БВЛ”. Это книга произвела большое впечатление в верхах; вскоре оттуда поступило предложение издать свод памятников древнерусской литературы в расширенном виде. Лихачёв сразу ухватился за эту идею. Было, конечно, много трудностей и цензурных препон. Например, руководство издательства нам прямо говорило: “Будете печатать “Слово о законе и благодати” – закрываем серию!” В итоге это замечательное творение XI века удалось опубликовать только в последнем, 12-м томе.

– **В чём, по вашему мнению, отличие петербургской филологической школы от московской?**

– Москвичи обвиняют нас, что мы буквоеды. И это действительно так. Да, мы текстологи, источниковеды, а у них больше присутствует стремление к теоретическому осмыслению. На мой взгляд, всё-таки надо начинать с источниковедения. Вот, например, у Лихачёва есть замечательная книга “Человек в литературе Древней Руси”, которая читается, как роман. Но ведь она, к сожалению, с фактической стороны уже устарела. Потому что там “Хронограф русский” отнесён к XV веку (и на этом строится концепция книги), а мне удалось выяснить, что он написан в XVI веке.

– **Вашими коллегами по институту были Варвара Адрианова-Перетц, Лев Дмитриев, Александр Панченко. Какими они вам запомнились?**

– С Варварой Петровной Адриановой-Перетц я был в хороших отношениях. Когда я защитил кандидатскую, она прислала письмо, где была такая строчка: “Особенно поздравляю, что у вас диссертация собственная”. Я отдал её письма в архив с просьбой в течение 50 лет не открывать их. Дело в том, что в переписке она была очень откровенна и весьма нелицеприятна в оценках многих филологов и деятелей культуры.

Лев Александрович Дмитриев – исключительно работоспособный, скрупулёзный исследователь и в высшей степени порядочный человек. Я его очень уважал. Он первый начал разрабатывать тему древнерусских житий и своё членкорство вполне заслужил. У нас иногда происходили забавные диалоги с его женой, которая любила своего мужа и очень ревновала к нему: “Олег Викторович, вы опять написали статью, вы всё хотите обогнать Льва!” – “Руфина Петровна, что вы такое говорите, мне просто интересно писать!” – “Так вам я и поверила!” – недовольно ворчала она.

Панченко – талантливейший человек; у него было две блестящие книги, а третью написать уже не смог, хотя и мечтал об этом. Увы, пристрастие к спиртному сгубило его. Был он честлюбивый человек, ревновал к Лихачёву. Помню, когда меня, Панченко и Дмитриева выдвинули в членкоры, и прошёл Дмитриев, Панченко звонит мне, уже несколько подвыпивший, и кричит: “Олег, ну почему не ты, почему не ты!” Но в его интонации чувствовалось другое: ну почему не я!

– **Я знаю, что вы довольно критически относитесь к Юрию Лотману. С чем это связано?**

– Лотман, пока занимался XVIII и XIX веком, был на своём месте, а когда пошёл в структуралисты, тут его, что называется, понесло. Как человек он мне казался избалованным и тщеславным. А после одной истории я даже стал его презирать. Это произошло в Венеции на международной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси. Российскую делегацию представляли писатели, филологи, православные священники. И вот дошла очередь выступать Лотману. В зале сразу собирается толпа из иностранцев, впрочем, принадлежащих одной национальности. Говорит увлечённо, интересно, но совершенно не по делу. Проходит 20 минут. Председатель останавливает и говорит: “Юрий Михайлович, ваше время истекло” – “А я ещё не начинал. – отвечает Лотман. – Это я просто так размышляю”. Дают ему ещё 20 минут. И опять то же самое. Председатель снова останавливает. Зал возмущён: как это так – знаменитого Лотмана прерывают. Дают в виде исключения ещё 20 минут...

Так как я не специалист по Пушкину, то по приезде в Ленинград спрашиваю у пушкиниста Сергея Фомичева: “То, о чём говорил Лотман, это действительно важно?” В ответ Фомичёв начинает дико смеяться и рассказывает мне следующую историю. Однажды Лотман приносит к нему для печати статью, которую он уже опубликовал где-то лет 30 тому назад. Фомичёв говорит: “Юрий Михайлович, вы же публиковали это?!” – “Нет!” Тогда Фомичёв берёт с полки “Временник Пушкинской комиссии” за такой-то год и показывает. “Что вы говорите! – без тени смущения восклицает Лотман. – Совершенно не помню!”. Так вот, с этой же статьёй он выступал на конференции в Венеции.

А насчёт структурализма, самым активным сторонником которого в России, как известно, был Лотман, у меня есть такая эпиграмма:

*Язык неведом, правил тоже нет;
В машину заложу пустую перфокарту, —*

*И что ж? Машина выдала ответ:
Сначала долго бормотала бред,
Потом устало выдохнула — Тарту!*

Структуралисткой была и его супруга, Зара Минц, любившая составлять частотные словари. Один из них был посвящен Блоку. В частности, она выяснила, что в его поэзии частотность слова “любовь” от книги к книге увеличивается. Меня это заинтересовало, и я не поленился проверить. Оказалось совершенно наоборот: если учитывать объём текстов (что совершенно обязательно), то частотность уменьшается. Вообще, эти частотные словари – разговор особый. Я о них даже написал статью, где рассматривал частотность как сигнал, как начало литературоведческого исследования; а некоторые структуралисты на ней всё и заканчивали.

В связи с конференцией в Италии мне сейчас вспомнилась ещё одна сценка. По Венеции мы ходили вчетвером: я, писатель Дмитрий Балашов, дирижёр Владислав Чернушенко и митрополит Кирилл (нынешний патриарх). И вот однажды мы зашли в магазин. Митрополит – обаятельный человек! – галантно спрашивает у необычайно красивой продавщицы, на каком языке она желает изъясняться: на английском, французском или немецком. Она выбирает какой-то язык, они разговаривают, и уже после того как мы вышли, владыка говорит мне: “Дорогой профессор! Я видел, с каким восторгом вы смотрели на очаровательную продавщицу, но я должен вас огорчить: она с таким же восторгом смотрела на красные сапожки Балашова”. А Балашов ходил по Риму и Венеции в атласной белой рубашке, подпоясанной ремешком, и ярко-красных сафьяновых сапожках. . .

– **Как бы вы оценили состояние науки о древнерусской литературе?**

– Ещё лет 15 назад я оптимистически смотрел на будущее нашей науки. У нас тогда в отделе появились очень талантливые молодые люди, но ведь сейчас им под 50 или за 50, а новое поколение на смену не приходит.

– **Кто ваш любимый ученик?**

– Евгений Водолазкин. Он сейчас занимается интересной вещью: делает историю палеинных текстов.

– **Какими работами вы больше всего гордитесь?**

– У меня была мечта реконструировать древнерусскую литературу, какой она дошла до нашего времени, то есть перечислить все памятники XI–XIV века с указанием всех списков. И я осуществил её. Когда я начинал работу, Лихачёв спросил меня: “Олег Викторович, но ведь там, наверное, не будет “Слова о полку Игореве” – “Да, не будет, потому что списки “Слова” отсутствуют”. – “Тогда это нельзя публиковать!”. Несмотря на его недовольство, я всё же опубликовал. На мой взгляд, без такого перечня филологу нельзя плодотворно работать. Вообще описание рукописей очень важная вещь. Ведь на сегодняшний день описано только около 25 процентов.

Кроме того, ставлю себе в заслугу издание нескольких памятников русской хронографии, в частности, “Летописца Еллинского и Римского” (издание текста по всем спискам и комментарии). “Летописец Еллинский” – это всемирная история в изложении древнерусских книжников по состоянию на середину XV века. Поражает интерес наших предков к всемирной истории. Они знали, когда мир начался и когда он закончится. Перечислены все византийские и римские императоры, в том числе малоизвестные. Ещё сто лет назад Шахматов говорил, что надо издавать “Летописец”. Приятно вспомнить, что за его издание и исследование я получил престижную Шахматовскую премию.

*Беседа вёл Илья Колодяжный
г. Санкт-Петербург*

ИРИНА МОНАХОВА

ЖИВОЙ ИДЕАЛ ПРАВДЫ И ЧЕСТИ

К 200-летию со дня рождения Н. В. Станкевича

В 2013 году (27 сентября по старому стилю, 9 октября – по новому) исполняется 200 лет со дня рождения Николая Владимировича Станкевича (1813–1840) – философа, поэта, просветителя, создателя и руководителя знаменитого “кружка Станкевича”, оказавшего большое влияние на культурную и общественную жизнь России в XIX веке. Это общество молодых литераторов и философов, объединенных научными интересами, любовью к искусству и, главное, стремлением к познанию истины, к самосовершенствованию. Среди участников кружка были В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский, К. С. Аксаков, А. В. Кольцов, В. П. Боткин, Я. М. Неверов, А. П. Ефремов, И. П. Ключников, В. И. Красов, М. Н. Катков и др.

Кружок Станкевича был одним из самых замечательных явлений в интеллектуальной и духовной жизни своего времени. Участники кружка – в основном студенты и выпускники Московского университета. Им были тесны рамки “официальной” учености, они стремились по-новому осмыслить литературу, искусство. А философия для них была не только наукой, но и, может быть, самой живой частью их жизни, проникавшей в их эстетические взгляды и сопутствовавшей в их поисках смысла всего происходящего и жизни человека, в осмыслении истории и роли и места личности в обществе и мироздании. И это было не отвлеченным умозрением, а самым насущным делом.

Здесь молодые люди обсуждали, спорили, делились новыми знаниями из области философии, но не повторяя университетскую программу, а приобщаясь к последним достижениям европейской философской мысли – к идеям Гегеля, Канта, Фихте, Шеллинга и стремясь творчески развивать их. Кружок Станкевича для его участников стал фактически вторым университетом, причем образовывавшим не только их умы, но и души. Как отмечает Ю. В. Манн, “в двадцать лет с небольшим Станкевич встал вровень с лучшими умами Европы, выражая своими запросами и тревогой самые последние искания научной мысли. <...> Перед русской философией и эстетикой вставала в то время труднейшая задача – освоить все богатство гегелевской мысли, для того чтобы, преодолев ее слабые стороны, двигаться дальше”¹. По словам Станкевича, преподававший ему и Т. Н. Грановскому философию в Берлине профессор Вердер “сознался, что до сих пор он увлекался общим мнением о русских, что они способны только одеваться в чужое образование – а теперь видит самостоятельные мысли”².

Именно Станкевич привлек внимание членов кружка к философскому познанию действительности, считая, что научное познание – это не самоцель, а основа для “постройки жизни”, по его выражению: “Философия есть ход к абсолютному. Результат ее есть жизнь идеи в самой себе. Наука кончилась.

Далее нельзя строить науки и начинается постройка жизни³). Во многом под его влиянием сформировался у них пристальный интерес к философии, в том числе у В. Г. Белинского и М. А. Бакунина. Станкевич стоял как бы у истоков их дальнейшего философского пути и идейного развития. Особенно их роднило непосредственное, жизненное отношение к философии не только как к отвлеченной схеме, но и как к основе для преобразования жизни и человека.

Станкевич, на первый взгляд, мог показаться оторванным от жизни ученым (особенно по сравнению с В. Г. Белинским, да и с М. А. Бакуниным тоже). Некоторые друзья даже называли его “небесным”, так же как Виссариона Белинского — “неистовым” (по словам П. В. Анненкова, “Станкевич был служителем истины в чистой, отвлеченной мысли, в примере своей жизни, и никогда не мог бы служить ей на буйной ярмарке современности⁴). Однако, по существу, им двигал вовсе не абстрактный интерес к науке, а стремление претворить в жизнь и передать людям плоды своего таланта, но путь к этому был для него слишком сложен и не вполне ясен, и Станкевич постоянно его искал: “Философию я не считаю моим призванием, — подчеркивал он. — Она, может быть, ступень, через которую я перейду к другим занятиям, но прежде всего я должен удовлетворить этой потребности. И не столько манит меня решение вопросов, которые более или менее решает вера, сколько самый метод как выражение последних успехов ума. Я еще более хочу убедиться в достоинстве человека и, признаюсь, хотел бы убедить потом других и пробудить в них высшие интересы⁵”.

Даже религию он пытался постичь путем философии (“искал еще в философии опоры своему живому религиозному чувству⁶, по словам П. В. Анненкова) — такова была надежда на разум человека и его просвещенность. Поначалу осознанная религия как нечто неосознаваемое умом (“между бесконечностью и человеком, как он ни умен, всегда остается бездна, и одна вера, одна религия в состоянии перешагнуть ее, она одна способна заполнить пустоту, вечно остающуюся в человеческом знании. Но та система хороша, которая не мешает верованиям, составляющим интегральную часть человеческого существа, и содержит побуждения к добрым подвигам!⁷”), он в дальнейшем в познании этого бесконечного явления надеется на разум (“Да и чем передается тебе религия? не умом ли? Разве верование не есть мысль, мысль, одобряемая целым разумением, которое невольно и безотчетно сознает свое единство с нею?⁸”; “Кто бескорыстно ищет истины, тот уже очищает душу и приготавливает ее к принятию божества. Царство истины — царство Божие; оно в мире, но не от мира⁹), признавая, однако, что состояние души — еще более верный путь к вере. Это “невольная вера, основанная на знании разумного начала¹⁰, да и знание здесь уже, по-видимому, тоже имеется в виду “невольное” — “знание” души: “От внутренней гармонии необходимо рождается вера в самом даже невыгодном положении, и отчаяние есть знак больной, разодранной противоречием души¹¹”. Даже в смерти Станкевич боялся именно прекращения мысли.

Философский взгляд отличает и его стихи. Вот стихотворение 16-летнего Станкевича:

Надпись к памятнику Пожарского и Минина

*Сыны отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли, — вам слава достоянье!
Вам лучший памятник — признательность граждан,
Вам монумент — Руси святой существованье.*

[1829 г.]

Важной идеей была и новая эстетика, новое понимание сущности искусства, включая художественную литературу, и его отношения к жизни. Об этом шла речь в неоконченной работе Станкевича “Об отношении философии к искусству”. Поиск Станкевичем новой эстетики, способной стать основой для понимания искусства в новую эпоху, — это представляло насущный интерес и для Белинского, ярким результатом которого стала его статья “Литературные мечтания”. В ней основательно запечатлелся дух кружка Станкевича — отрицание всего фальшивого, напыщенного, “ложновеличавого” в литературе и поиск истинной поэзии (“рожденной”, а не “смастеренной”) и истинной народности (выражающей дух народа, а не внешние атрибуты его быта).

Станкевич во многом способствовал созданию той интеллектуальной среды, которая, с одной стороны, сфокусировала запросы и устремления молодых ученых и литераторов, а с другой стороны — послужила для них питательной почвой для их дальнейшего творческого роста.

Велика роль Станкевича и в судьбе поэта А. В. Кольцова и вообще в том, что в русской литературе существует это поэтическое имя и его творчество. Вряд ли поэт-прасол смог бы самостоятельно, без участия Станкевича преодолеть тяжелое притяжение своей среды и вырваться на столь высокую орбиту всеобщего признания.

Станкевич называл своих товарищей — «братия», и одной из замечательных особенностей кружка было то, что в нем легко объединялись люди совершенно разные по происхождению, имущественному положению, образованию. Они были кто из помещиков, кто из купцов, кто из мелких чиновников. Некоторые из них были весьма обеспеченными, а некоторые — бедными, почти нищими. Одни окончили университетский курс, другие — нет, а Кольцов вообще почти не имел образования. Конечно, всем им открыто было (не без помощи Станкевича) нечто большее, что было над сословностью и принадлежностью к определенному роду деятельности, на которую, казалось бы, каждый из них был «обречен» от рождения. А. И. Герцен писал в «Былом и думах» об этой особенности кружка Станкевича: «Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие — свою бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, *humanitas*¹² — поглощает всё»¹³.

Таким образом, кружок Станкевича (действовавший с начала до конца 1830-х годов) — это своего рода прообраз русской интеллигенции, которая в то время начала формироваться. И уже в середине 1840-х годов в статье «Мысли и заметки о русской литературе» Белинский отмечал как развивающуюся тенденцию создание определенного слоя общества («образованной общественности» — так он именовал тех, кого позже назовут интеллигенцией) на основе общности духовных и интеллектуальных запросов и устремлений людей из разных сословий: «В наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин, — кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге просто людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданное у нас литературою! Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтоб эта общественность росла и увеличивалась не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри!»¹⁴.

Особенно большое значение кружок Станкевича — это общество Любоумов, искателей истины — имел для Белинского, для его идейного развития, для его творчества, которое, в свою очередь, оказало огромное влияние на самосознание и нравственное развитие русского общества. Для Белинского этот круг друзей и единомышленников стал воплощением всего лучшего в его московской жизни. В 1839 году в письме к уехавшему за границу тяжело заболевшему чахоткой Станкевичу он ностальгически восклицал: «О, если бы ты опять стал жить в Москве, и мы, разрозненные птенцы без матери, снова слетелись бы в родимое гнездо!»¹⁵.

Действительно, он был центром и вдохновителем созданного им кружка, обладавшим какой-то необыкновенной силой притяжения. Белинский замечал в письме М. А. Бакунину (1838 года): «Станкевич никогда и ни на кого не налагал авторитета, а всегда и для всех был авторитетом, потому что все добровольно и невольно сознавали превосходство его натуры над своею»¹⁶. Т. Н. Грановский вспоминал о Станкевиче: «Никому на свете не был я так обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно»¹⁷; «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый ему чем-нибудь обязан. Я больше других»¹⁸.

Личность Станкевича значила для его друзей нечто гораздо большее, чем просто надежный друг, наставник и интересный собеседник. Обладая по природе своей необыкновенным душевным тактом и внутренней (а не только внешней) красотой, он был как бы нравственным камертоном кружка. По за-

мечанию его первого биографа П. В. Анненкова, “Станкевич действовал обя-зательно всем своим существом на сверстников: это был живой идеал правды и чести, который в раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чувствующею свое призвание”¹⁹, а главная наука, в которой они нуждались и которую получали от него (наряду с философией и эстетикой и, наверное, прежде них), была “доблестная наука сбережения души, воспитания воли, неослабного бодрствования в благих помыслах”²⁰, поэтому все знавшие Станкевича при его жизни “были нравственно подняты им и были, хоть на мгновение, *выше себя*. А не есть ли это настоящая и важнейшая за-дача всякого деятеля”²¹.

П. В. Анненков также замечает: “Искусство и философия сделали Станкевича человеком, которого одно присутствие настраивало окружающих на правду, на презрение к темным деяниям грубости и произвола, на сохране-ние в моральной целостности души своей и на созерцание всего мира, как еди-ной жизни, исполненной смысла, поэзии и глубокого поучения”²²; “Поэтиче-ский элемент у Станкевича <...> сосредоточился <...> внутри его души, проник в характер его, осветил его мысли, побуждения, инстинкты, определил самые поступки его и даже внешнюю форму их: Станкевич, благодаря ему, обратил-ся сам в полное поэтическое существо. <...> Философско-поэтический эле-мент, присутствовавший в Станкевиче, был именно тем деятелем, который волновал сердца и выводил их из летаргии. Куда бы животворный элемент этот ни обращался в течении своем, он увлекал за собою даже самые упор-ные, самые ленивые натуры. <...> Поэзия и мысль чувствуются попеременно или в одно и то же время, как основной мотив, почти во всех его поступках, словах и начинаниях. <...> Одно его присутствие сообщало окружающим не-что похожее на теплое, радостное чувство: его можно было и тогда сравнить с подземным ключом, существование которого узнается по одной роскоши зелени, распространяемой им в круге своего влияния?”²³.

Как вспоминал И. С. Тургенев, “во всем его существе, в движениях была какая-то грация и бессознательная *distinction*²⁴ – точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении. <...> Невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение. <...> Станкевич отто-го так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовал-ся каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за со-бою в область Идеала”²⁵.

“Разговор его, в сущности, был ничто иное, как искание той благодатной искры, которая способна озарить душу человека, – приводит П. В. Анненков единодушное свидетельство близких знакомых Николая Владимировича. – Разговор со Станкевичем всегда был делом, о чем бы он ни шел, <...> бесе-да его обыкновенно подымала множество вопросов в глубине сознания, и <...> после каждой такой беседы слушатель чувствовал как бы приросток но-вых нравственных сил”²⁶.

И даже через десятилетия не знавший его лично Л. Н. Толстой, прочитав его биографию и письма, написал о Станкевиче поразительные слова: “Вот человек, которого я любил бы, как себя”; “Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел. Что за чистота, что за нежность! что за любовь, которыми он весь проникнут”²⁷ (из писем Л. Н. Толстого Б. Н. Чичерину и А. А. Толстой, 1858 год).

Сам же Станкевич признавался в одном из писем: “Для одних любовь – забава, для других – наслаждение духовное, как наслаждение искусства; для меня она – религия; для меня она – жизнь, жизнь такая, какую будет жить преображенное человечество, воздух, которым будет дышать оно”²⁸. Вот это удивительное свойство ощущать гармонию жизни несмотря ни на что – это не только философский склад ума, но и особенный, редкий склад души, который так много значил для всех даже самим своим присутствием в их судьбах. “Как неистребимо это суеверное упование на судьбу, которая холодно и неумоли-мо разрушает лучшие мечты наши! – восклицал он. – И, может быть, в са-мом деле ведет она, но ее руководством пользуются те, которые переживают нас; ее забота в том, чтоб мы не вырывались из звеньев этой цепи, которую кует она от первого человека, – и это еще лучшая участь быть ее орудием, и за это еще должны мы благодарить Бога!”²⁹.

Характерной чертой Станкевича была необыкновенно высокая требова-тельность к себе. Имея явное литературное и философское дарование, он не

стремился быть литератором, вдруг перестал писать стихи в довольно юном возрасте, не спешил излагать на бумаге свои мысли о тех главных философских вопросах, которые его интересовали и волновали, — не спешил перейти от научного познания к “постройке жизни”. Он считал, что прежде всего нужно образовать себя, основательно выстроить систему мышления (“Я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать. Пусть другие больше моего знали, может быть, я буду знать лучше — и тут нет лишнего самолюбия. Пришло время. Лучше — я понимаю — отчетливее, в связи с одной идеею, вне которой нет жизни”³⁰), не подозревая, что короткий срок его жизни (неполные 27 лет) не оставит ему возможности для того, чтобы применить на практике все свои таланты.

Правда, в последний период жизни он пришел к необходимости продолжения своих философских занятий уже и в виде научных публикаций. Явно следующим этапом его жизни должна была стать та научная и просветительская деятельность, к которой он готовился. Примерно за два месяца до смерти, находясь за границей (где он сначала учился в Берлине, а затем лечился в Италии), он в письме М. А. Бакунину пытался узнать у него о возможностях в России таких публикаций: “Что делается в литературе? Нет ли какого-нибудь журнала, где б можно было, не пачкавшись, напечатать статью? У меня их много — в голове; журнал не шарлатан и не продажный, вот всё требование — разумеется, читаемый, а то противное хуже двух первых”³¹. В планах Станкевича, кроме статей, была работа над историей философии.

Но в то же время он щедро делился своими познаниями, мыслями, энтузиазмом с близким кругом людей, и это влияние было действительно и благотворно. То, что для своего кружка он был и наставником и нравственным примером, — это было уже вполне практическим делом, которое он вовсе не откладывал на потом, а исполнял его с рвением до последних дней жизни. И относился к этому своему призванию очень серьезно и основательно. Как-то он заметил в письмах 1836 года: “Мне предстоит большой труд — отвечать Грановскому на его сомнения в самом себе, когда я сам, когда мы все так часто подвергаемся этому недугу”³²; “Мне надобно мужаться, встать и дать ответ Грановскому на его сомнения в себе и отчаяние. Никто не может отвечать лучше того, который находится сам в его положении”³³. Но в главном он не сомневался: “Счастье, достойное человека, может быть одно — самозабвение для других; награда за это одна — наслаждение этим самозабвением”³⁴.

Как заметил по поводу Станкевича П. В. Анненков, “на высокой степени нравственного развития личность и характер человека равняются положительному труду и последствиями своими ему несколько не уступают”, подчеркнув, что “гораздо важнее литературной деятельности Станкевича были его сердце и его мысль. <...> В Станкевиче отразилась юность одной эпохи нашего развития: он как будто собрал и совокупил в себе лучшие нравственные черты, благороднейшие стремления и надежды своих товарищей”³⁵.

Он готовил себя к значительной деятельности, считая главными задачами просвещение народа и освобождение от крепостного права. По воспоминаниям Я. М. Неверова, Станкевич незадолго до смерти взял обещание с него и Т. Н. Грановского посвятить все силы и деятельность этой высокой цели.

И. С. Тургенев, много общавшийся со Станкевичем в конце его жизни, вспоминал об этом в письме М. А. Бакунину: “Как для меня значителен 40-й год! Как много я пережил в 9 месяцев! <...> В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет — начало развития моей души! Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение Истине своим примером, Поэзией своей жизни, своих речей! <...> Станкевич! Тебе я обязан моим возрождением: ты протянул мне руку — и указал мне цель. <...> Благодарность к нему — одно из чувств моего сердца, доставляющих мне высшую отраду”³⁶.

Благотворное и сильное влияние Станкевича сказало и на всех участниках его кружка, и в целом на культурной и идейной жизни России той эпохи. “Благороднейшим и чистейшим эпизодом истории русской литературы”³⁷ назвал кружок Станкевича Н. Г. Чернышевский. Он писал: “Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станке-

вич, <...> вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева³⁸. Как подчеркивал А. И. Герцен, «влияние его (кружка Станкевича. — И. М.) на всю литературу и на академическое преподавание было огромно»³⁹. В. В. Зеньковский выделял особенное значение Станкевича для утверждения «эстетического гуманизма» и «действенного идеализма» как основных черт идеологии русской интеллигенции⁴⁰.

Ю. В. Манн в книге «В кружке Станкевича» отмечает: «Станкевич так и не успел создать ни одного из тех произведений, к которым упорно себя готовил, но сама его жизнь, запечатленная в общественной памяти, стала великим произведением. А тот «благороднейший и чистейший эпизод», в который вылилась жизнь его кружка, навсегда превратился в неотъемлемое звено отечественной культуры»⁴¹.

* * *

В Белгородской области в селе Мухоморова, вблизи которого была усадьба Станкевича и где он похоронен, создан музей Станкевича. Здесь ежегодно осенью проходит литературный праздник «Удерецкий листопад», издается одноименный литературно-краеведческий альманах.

В Воронеже 2013 год объявлен Годом Н. В. Станкевича, запланированы посвященные ему выставки, лекции, экскурсии, публикации и доклады на краеведческих чтениях.

Но самая яркая часть биографии Н. В. Станкевича связана с Москвой. Здесь он учился в университете и создал кружок единомышленников. Кружок Станкевича в Москве в первой половине 1830-х годов собирался на улице Большая Дмитровка, где он тогда жил (этот дом не сохранился), а в 1836–1837 годах – в Большом Афанасьевском переулке, в доме 8. Этот дом является объектом культурного наследия, который так и называется – «Дом Станкевича», однако здесь нет ни мемориальной доски, ни какой-либо таблички, напоминающей об этом. Необходимо почтить память выдающихся людей, пребыванием которых отмечен этот дом. Это особенно актуально, так как в 2010-х годах отмечается 200 лет со дня рождения В. Г. Белинского (2011 год), Н. В. Станкевича (2013 год), М. А. Бакунина (2014 год), К. С. Аксакова (2017 год). На мемориальной доске можно было бы написать: «В этом доме жил и работал Н. В. Станкевич, видный философ, поэт, просветитель первой половины XIX века. Здесь неоднократно бывали великий русский критик В. Г. Белинский, выдающийся философ М. А. Бакунин, выдающийся историк и публицист К. С. Аксаков».

Кроме того, в этом доме, одном из немногих в Москве зданий, связанных с пребыванием Белинского, можно было бы создать музей великого критика и его окружения в московский период его жизни. Экспозиция такого музея могла бы рассказывать, в частности, о Н. В. Станкевиче, М. А. Бакунине, К. С. Аксакове и в целом о кружке Станкевича как выдающемся явлении идейной, научной и духовной жизни России XIX века.

В Москве раньше, до 1990-х годов, неподалеку от улицы Белинского (рядом с университетом и «ректорским домом», где он жил в середине 1830-х годов) была улица Станкевича, связанная с его биографией, – это переулок, идущий от Тверской улицы и расположенный рядом со зданием мэрии. Дом № 6 на этой улице принадлежал брату Н. В. Станкевича, и Николай Владимирович здесь бывал. К сожалению, ни того, ни другого названия на карте Москвы в 1990-е годы не стало. И зря. Беспамятство в отношении выдающихся людей не украшает ни нас всех – их далеких потомков, ни улицы города.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1998. С. 280, 285.

² Письмо Л. А. Бакуниной от 16 декабря 1837 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 182–183.

³ Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 223.

- ⁴ Там же. С. 129.
- ⁵ Письмо Я. М. Неверову от 2 декабря 1835 года// Н.В.Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 134.
- ⁶ Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 41.
- ⁷ Письмо В. Г. Белинскому от 30 октября 1834 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 111–112.
- ⁸ Письмо Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 года// Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. М., 1914. С. 365.
- ⁹ Письмо Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 145–146.
- ¹⁰ Письмо Е. П. и Н. Г. Фроловым от 7 апреля 1840 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 215.
- ¹¹ Письмо Л.А.Бакуниной от 2 июня 1837 года// Н.В.Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 167.
- ¹² гуманизм (*лат.*).
- ¹³ Герцен А. И. Былое и думы. М., 1973. [Т. 2]. Части 4–5. С. 37.
- ¹⁴ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. IX. М, 1956. С. 435–436.
- ¹⁵ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. XI. М, 1956. С. 367.
- ¹⁶ Там же. С. 339.
- ¹⁷ Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. М., 1897. С. 404.
- ¹⁸ Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. М., 1897. С. 101.
- ¹⁹ Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 119.
- ²⁰ Указ. соч. С. 9.
- ²¹ Указ. соч. С. 11.
- ²² Указ. соч. С. 115–116.
- ²³ Указ. соч. С. 22, 58–59, 119.
- ²⁴ благовоспитанность (*франц.*).
- ²⁵ И. С. Тургенев. Собрание сочинений. Т. 12. М., 1979. С. 297–298.
- ²⁶ Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 125–126.
- ²⁷ Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949. С. 272, 274.
- ²⁸ Письмо М. А. Бакунину от 24 ноября 1835 года// Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. М., 1914. С. 592.
- ²⁹ Письмо Я. М. Неверову от 15 февраля 1836 года // Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. М., 1914. С. 138.
- ³⁰ Письмо Т. Н. Грановскому от 29 сентября 1836 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 149–150.
- ³¹ Письмо М. А. Бакунину от 19 мая 1840 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 219.
- ³² Письмо Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 145.
- ³³ Письмо М. А. Бакунину от 21 сентября 1836 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 147.
- ³⁴ Письмо Я. М. Неверову от 21 сентября 1836 года// Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982. С. 145.
- ³⁵ Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 4–5, 236.
- ³⁶ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти т. Письма в 18-ти т. Т. 1. М., 1982. С. 162–163.
- ³⁷ Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. М., 1984. С. 235.
- ³⁸ Там же. С. 235.
- ³⁹ Герцен А. И. Былое и думы. М., 1973. [Т. 2]. Части 4–5. С. 33.
- ⁴⁰ Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2011. С. 241.
- ⁴¹ Манн Ю. В. В кружке Станкевича. М., 1983. С. 317.

ИРИНА ОРДЫНСКАЯ

ПУТИ ПОДЛИННОЙ СВОБОДЫ

*О книге “Тайна человека” и тайна истории” Б. Н. Тарасова**

Вышла в свет новая книга Бориса Николаевича Тарасова, известного писателя, публициста, философа, в которой он, изучая духовный опыт трёх мыслителей прошлого – Чаадаева, Тютчева и Достоевского, – исследуя их философские поиски, всматривается в настоящее.

Трудно не заметить, что в наши дни многие даже очень старательные исследователи законов развития человеческой личности с большой неохотой ссылаются на авторитетных мыслителей прошлого. Можно сказать, что отказ от авторитетов – это печальная тенденция современной философии, которую можно воспринимать как часть презрения наших современников к отеческим традициям. Этот процесс дошёл до того, что в наше время нужно обладать немалым мужеством, чтобы признать без постмодернистского ёрничества правоту мудрецов ушедших времён. Теперь, когда в статьях публицистов слово **авторитет** чаще всего берётся в кавычки, а труды великих русских писателей, мучительно, со страданием познававших человека, становятся лишь почвой для измышлений в угоду современному миру в его бесконечном стремлении к материальному царству, нужно обладать отвагой, чтобы признать христианскую основу русской культуры и найти в современности духовные язвы, о которых она говорила всегда.

На первый, поверхностный взгляд таких разных мыслителей, как Чаадаев, Тютчев и Достоевский, ничего не объединяет. Почему же автор собрал размышления об их творчестве в одной книге? Наверное, потому что эти люди прошли сложнейшие пути духовного развития, проанализировав которые, можно многое понять в том, что сейчас происходит вокруг нас. И самое главное, спастись от исторических и личностных ошибок, мучивших нашу несчастную Родину последние два века, которые вот-вот полностью повторятся в современной России.

“Непрочитанный Чаадаев”. Первый русский философ, в судьбу которого всматривается Б. Н. Тарасов, – “загадочный мыслитель” П. Я. Чаадаев, всю жизнь находившийся в непрерывном поиске истинных ценностей, основ бытия и связи их с верой в Бога. Многие исследователи предпочитают выбирать из его наследия отдельные куски, близкие их собственным взглядам, совершенно забывая, что этот человек трагической судьбы прошёл в своих исканиях путь от восторга перед Западом до глубокого понимания значения православного христианства не только для России, но и для того же Запада. Философ

* СПб, Алетея, 2012.

пережил страшные повороты судьбы: от блестящей карьеры до тяжёлого психического заболевания и попыток самоубийства, и чтобы понять его, нужно принять его истерзанную душу целиком. Б. Н. Тарасов исследует духовную биографию Чаадаева, показывая нам, как шаг за шагом шло “рождение философа”, как, перебирая различные варианты решения проблемы отношения человека и Бога, он искал главную для себя истину, как “на скрытых корнях” шло вызревание “духовного “древа”. Вокруг философа бушевал мир, обсуждавший в который раз “формы благотворного изменения действительности”, обожествлявший “разум”, “просвещение”, “конституцию”, “закон”; но увлекаясь на время всеобщим движением, Чаадаев до конца не мог остановиться на сиюминутных обольстительных задачах, ему нужна была “вечность”. Мучительные поиски Бога, невозможность “отказаться от рассудочных доводов”, попытки “объяснить необъяснимое” терзали его. Б. Н. Тарасов скрупулёзно изучает работы Чаадаева, его письма, заметки на полях книг (которые постоянно делал философ) и т. п., разворачивая перед нашими глазами картину нечеловеческих душевных терзаний в поиске человеком Бога. На обложке одной из религиозных книг Чаадаев написал: “Спасение? Как?. . . Как оно происходит, как зарождается?” Такие вопросы часто повторяются в его записях, письмах, они изводят его невозможностью объяснить доводами разума Благодать и Воскресение, святость и Божью любовь.

Б. Н. Тарасов “проводит” читателя своей книги вслед за духовными поисками Чаадаева, “пропустившего” через себя труды практически всех европейских философов, всё в них подвергая сомнению. Кант, Шеллинг, Марк Аврелий, Монтень, Спиноза, Лейбниц, Фихте, Сен-Симон. . . у всех философов настоящего и прошлого он ищет истоки своего страха перед смертью и рецепт исцеления от него. Б. Н. Тарасов называет поиски Чаадаева “духовно-интеллектуальной лабораторией”, в которой рождалась его “христианская философия”. И с прискорбием разбирая публикации современных исследователей творчества философа, приходит к печальному выводу о “короткомыслии” истолкователей, которые позволяют себе “лепить из Чаадаева “своего” или “чужого”, “хорошего” или “плохого”. Забывая, что “предметом философии для Чаадаева является “дело христианства, перенесённое или продолженное на почве чистой мысли”.

Прошло почти два века, но по-прежнему процветает “укороченное” просвещение, пренебрегающее уроками истории и “благородством”, что существовало во времена Чаадаева и так всегда его волновало. Б. Н. Тарасов, всматриваясь в настоящее, в своей книге с печалью разбирает воззрения современных реформаторов, публицистов, философов, находя в их убеждениях те же заблуждения, которые так томили трагически беспокойную душу Чаадаева. Вновь обожествляется “прогресс”, “цивилизированное общество” и общество наживы — “опошлилось само время”. И как не ужаснуться вместе с автором книги: “предоставленный самому себе человек, не покорный “истинам откровения” и злоупотребляющий собственной свободой, всегда идёт по пути беспредельного падения”.

Что, казалось бы, проще: не нужно проходить длинный путь анализа человеческого общества, его культуры и политики, который прошёл до нас Чаадаев, а стоит поверить великому страдальцу и философу и, выбирая между верой в ум человека и высшей правдой Евангелия, признать веру в науку, прогресс, демократию дорогой в очередной тупик. Так хочется разделить надежду Б. Н. Тарасова на то, что “философия Чаадаева способна внести свой вклад в замедление превращения современной цивилизации в “истлевший труп”.

Вторую часть книги — “Неопознанный Тютчев” — Б. Н. Тарасов посвящает историософии Ф. И. Тютчева, в которой видит прозорливость поэта, умение в политических событиях замечать “ожидающие будущие поколения исторические повороты”, и приходит к выводу, что “за оболочкой зримой” событий и явлений поэт пытался увидеть “историю, в которой “без Бога” и без следования Высшей Воле тёмная и непретворённая основа человеческой природы никогда не исчезает, а лишь принаряживается и маскируется”. “По Тютчеву, — пишет Б. Н. Тарасов, — революция — это не только и не столько волнения, восстания, баррикады, смена правительств. . . а когда религиозные догматы замещаются рационалистическими и прагматическими ценностями. Тютчев раскрывает в истории фатальный процесс дехристианизации личности и об-

щества”. И ещё: “Поэт опять-таки одним из первых, если не первым, выделяет “характерную черту нашей эпохи” — “умственное бесстыдство и духовное разложение”. Тютчев как будто видел будущее мира, к примеру, когда писал о “политике, доводимой до края во что бы то ни стало, которая, ради достижения своих целей, не стесняется никакой преградой, ничего не щадит и не пренебрегает никаким средством...” Или: “Последствия борьбы, завязавшейся теперь в Германии, — последствия, важность которых способна... повести Европу к состоянию варварства, не имеющему ничего себе подобного в истории мира...” Пророческими кажутся слова поэта о том, что, отказавшись от веры в Бога, люди оказываются в положении Иуды, которому “предавши Христа... остаётся лишь одно: удавиться”.

Б. Н. Тарасов, исследуя методологию Тютчева, рассматривая под её углом прошлое, обращается и к современной истории, делам наших дней. Находя в спорах политиков, деятелей культуры и науки всё то же вечное противостояние “христианской и языческой государственности”. И вполне последовательным видится вывод из этого анализа: “Борьба между Христианством и Революцией продолжается и идёт не между правыми и левыми, капиталистами и социалистами, националистами и интернационалистами и т. д., не за права и привилегии, а, как писал Гоголь, за человеческую душу. Следует трезво-сознательно отнестись к тому, что “злая ирония истории”, “демоническое начало”... склоняют ход истории ко “вторичной животности”, неоварварству... через “тёмную основу нашей природы” и ослабление “нравственной пружины”.

После прочтения первых двух частей сборника кажется естественным и обоснованным то, что завершает свою книгу Б. Н. Тарасов исследованием творчества самого философского из русских литераторов — Ф. М. Достоевского. Произведения великого писателя позволяют увидеть скрытые тайники души человеческой, в которой идёт борьба между божественным и материальным, святым и низким. Поиски, которые изучал Чаадаев в себе и окружающем мире, процессы, которые анализировал Тютчев в истории общества, Достоевский скрупулёзно с гениальной прозорливостью “разбирает” в душах людей, раскладывая перед глазами изумлённых читателей всю подноготную борьбы двух составляющих каждого человека: божественного и материального, — объединяя затем разрозненное в целое, как пишет Б. Н. Тарасов: “Для Достоевского народы в такой же мере существа нравственные, что и отдельная личность”.

Б. Н. Тарасов, рассматривая отношение не только Достоевского, но и других великих русских писателей к развитию общества, приходит к выводу, что “лучшие русские писатели не сомневались в том, что нравственные начала являются основой всему, в том числе и правильному, гармоничному, одухотворённому развитию науки и прогресса”. Исследователь пишет: “Только высшее, самое высшее, не устаёт настаивать писатель (Достоевский), только христианский идеал, его духовная красота, нравственная глубина и смыслополагающая сила освобождают человека из рассудочно-торгашеских низин жизни и спасительно преображают его жизнь”. Перед нами возникают два направленных к одной цели вектора: христианство, преображающее человека, и “одухотворённые наука и прогресс”, которые сливаются в своём движении, и тогда у мира появляется надежда на выживание.

Каждому из великих романов Достоевского Б. Н. Тарасов посвящает отдельную главу. В первой он исследует христианской мерой поступки Раскольникова как грехи против Евангельских истин, часто цитируя самого писателя, его Дневники и наброски романа: “Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием”. Во второй главе основное внимание фокусируется на идее романа “Идиот” — “старинной и любимой” идее Достоевского: “изобразить положительно прекрасного человека”, который страдает, по определению Б. Н. Тарасова, в “обезбоженном дехристианизированном мире”, любовь которого к людям не может преодолеть “тёмную основу” их природы. В главе “Отцы и дети в романе “Подросток” речь идёт о показанном Достоевским “разложении родовых, семейных и общественных связей в капитализирующейся России”, которое не щадит будущее общества — детей. У родителей нет нравственного стержня, чтобы помочь своему потомству, “лишённая прочного религиозно-нравственного фундамента культура “отцов” при определённом стечении обстоятельств “срывается с корней”,

перерождается и вырождается, и тем самым прокладывает русло для нигилизма “детей”.

“Вечное предостережение в “Бесах” — так называется глава, в которой Б. Н. Тарасов анализирует описанный Достоевским в романе “Бесы” “существенный парадокс, когда величественные и великодушные, святые и нравственные “новые идеи” оборачиваются мраком и ужасом, хаосом и разрушением”. “Творческий опыт “Бесов” учит, — пишет он, — везде и во всём искать нравственный центр, шкалу ценностей, которые руководят помыслами и действиями людей, определять, на какие, тёмные или светлые, стороны опираются разные явления жизни”.

Роман “Братья Карамазовы” Б. Н. Тарасов называет художественным завещанием Достоевского, собирающим “воедино фундаментальные проблемы предшествующих четырёх романов”, и указывает на пристальный интерес писателя “к нарождающимся идеалам, ценностям и поступкам людей в изменяющемся мире”. Каждый из братьев Карамазовых по-своему ищет “полного осмысления собственной человечности и осознания своего пребывания в мире”, переживая разные отношения к вере, которые остаются актуальными и в наши дни. Ивану “не нужны миллионы, а надобно разрешить мысль об источниках добродетели и порока”, и он “страдает от “рациональной тоски”, от невозможности “оправдать Бога” при наличии царящего в мире зла”. Алёша “проникается убеждением в существование Бога и бессмертия души и решает для себя: “Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю”. Дмитрия терзают философские вопросы: “А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет?.. Если его нет, то человек — шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то?”

В общую систему рассмотренной в романе свободы выбора, которую человеку дал Бог, входит и образ Великого Инквизитора, этакого “скорбящего гуманиста”, восставшего “против Бога и свободы во имя любви к человеку и всеобщего счастья”, логика которого ведёт к типизации “безбожного жизнеустройства”. Парадоксальным кажется (но только на первый, поверхностный взгляд) вывод Б. Н. Тарасова о том, что нет большой разницы между государствами “на непреображённой земле”, по существу они окажутся одинаковыми — “теократическое, социалистическая утопия или так называемое цивилизованное общество”, — потому что “следствия душевного мрака и своекорыстия, до конца не искоренимые в людях, невидимыми путями распространяются вокруг нас. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки незримо отпечатываются в сердцах окружающих, подталкивая кого-то к зависти или гордости, рабству или тиранству”.

Есть в романе и ещё один путь свободы — путь старца Зосимы, в образе которого собран “многовековой опыт православной культуры, сосредоточившийся на Руси в монастырях”. Это ведь тоже свобода: от души молиться святому и высшему и “деятельно любить ближнего”. “Лучшие люди, — настаивает Б. Н. Тарасов, — святые и праведники, а также близкие им герои Достоевского... обвиняют и переделывают не внешний мир, как Иван Карамазов или Великий Инквизитор, а самих себя...”.

Вчитываясь в поиски героев романа, в их попытки найти гармонию в душе, мы невольно всматриваемся и в свой жизненный путь, решая извечные проблемы главного выбора. Повторим ли мы вслед за Дмитрием Карамазовым: “Слава Высшему на свете, слава Высшему во мне”? Давайте согласимся с талантливым русским философом Борисом Николаевичем Тарасовым, который, понимая мучительные поиски христианской истины Достоевским, пишет в конце своей книги: “И пока свет неугасимой лампы светит во тьме, до тех пор жива спасительная надежда на воскресение и обновление... на обретение высшей свободы, которая горит даже в сердце Великого Инквизитора по целуем Христа”.

Так что же объединяет вместе три части книги Б. Н. Тарасова “Тайна человека” и тайна истории”? В чём тайны великих мыслителей Чаадаева, Тютчева и Достоевского? Не в истовом ли поиске ими Бога в своей душе, в истории и в мире? Часто читаешь духовные книги и на многих страницах не встречаешь в них имени Иисуса Христа. Кажется, авторы рассуждают о духовном, о вере, а имя Господа будто неловко им называть. И вот вскоре появляется неведомый “абсолют”, или “единое начало вселенной”, или что-то ещё по-

добное. Современный философ чаще всего такой верующе-неверующий, старается усидеть на всех стульях сразу, считая это мудростью. А на прямой вопрос о вере затягивает долгую речь о сложностях бытия, из которой снова ничего понять нельзя. Так вот это всё не о Борисе Николаевиче Тарасове. В его книге есть имя Христа, есть христианская любовь к людям, доходящая до признания за нами свободы выбора и веры во всех нас, в нашу “деятельную любовь”, способную спасти нас самих и Россию.

Редакция журнала с глубокой скорбью сообщает своим читателям о трагической гибели нашего постоянного автора, члена Союза писателей России, лауреата Всероссийской литературной премии имени братьев Киреевских Александры Ивановны Баженовой. Её статьи всегда были желанны на наших страницах, а за статью “Поиск единства славян, единства русских корней” Александра Ивановна в 2010 году была удостоена ежегодной премии “Нашего современника”.

Светлая ей память!

Редакция приносит извинения поэту Геннадию Фролову за несогласованные с ним сокращения в его стихотворной подборке, опубликованной в № 6 за 2013 г.

АНДРЕЙ РУДАЛЁВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЖЧИНЫ

Фиолетово

Давно занимал вопрос: что стало с мужчиной на излёте восьмидесятых, в девяностые? Когда новые реалии растапывали людей, причём зачастую на иболее достойных. Многие спивались, опускали руки или накладывали их на себя, так как перестали понимать, что происходит вокруг. Шагренево́й кожей сжималась продолжительность их жизни, всё меньше стали зачинать детей. Тогда им внушили “умную” формулу: “Зачем плодить нищету?” – и они обречённо её повторяли. И уходили тенями в пустоту, и пропивали скупые подачки, которые швыряли им новые хозяева жизни. Ещё совсем недавно эти хозяева слыли проходимцами, жуликами, ворами и спекулянтами – отбросами общества, а теперь стали чуть ли не новыми его аристократами.

У писателя Романа Сенчина есть ранний рассказ-миниатюра “В новых реалиях”. Его герой по фамилии Егоров делал отличную карьеру в привычных условиях жизни: последние пять лет был замначальника цеха завода, жена, дочки. Но вот последние несколько месяцев завод стоит, семья отправлена к деревню к теще – “там легче прокормиться”. Жизнь потекла по руслу, которое можно обозначить словом “хреновенько”.

Однажды Егорова пригласил в гости на небольшое торжество давний друг, с которым пару лет они не виделись. Друг этот сумел приспособиться к новым реалиям, окунулся в них, как рыба в воду. Он “пополнел, порозовел”, живёт в достатке, женат, но детьми не обременён. Во время дружеского застолья он показал Егорову видеокассету, которую раздобыл у немецкого репортера. На ней – перестроечная демонстрация 1989 года, и в рядах демонстрантов несколько раз можно было разглядеть Егорова с женой. У него в руках плакат с надписью “Прошу слова! Гражданин”, у жены – картонка на груди “Долой 6-ю статью!” Вокруг такие же люди, и развевается на ветру триколор.

Там у Егорова “глаза были большие, светящиеся”. Уже тогда он был замначальника, и, собственно, ему было что терять. Теперь, через четыре года, он будто потух, и терять ему особенно нечего – всё отобрали “новые реалии”, в которые он уже совершенно не вписывается. Относительно политики теперь ему всё “фиолетово”: “слова” не просит, о “гражданине” не поминает. Осталось главное: чтобы дочки “меня человеком считали”...

Егоров спешно ушёл от приспособившегося друга, от недавних воспоминаний и в ту же ночь повесился. Рассказ этот у Сенчина датирован 1993 годом...

“Ватный богатырь”

“1993” — таков заголовок нового романа Сергея Шаргунова. Главный герой книги — Виктор Брянцев, само появление такого героя — момент знаковый. В прежних реалиях — он отличный технарь, приложил руку к луноходу, мастерил приборы наведения. В реалиях новых — работает в аварийной службе, ремонтирует трубы под землёй. Раньше он космические приборы делал, а теперь ушёл под землю, будто червяк, латает расплзающуюся по швам инфраструктуру уходящей в небытие советской цивилизации. У него жена, пятнадцатилетняя дочь, живут за городом в дачном поселке.

Если у сенчинского Егорова демонстрации, политика были в прошлом, как и горящие глаза вкупе с романтическими надеждами на что-то лучшее, то Брянцева волна политики захлестнула только сейчас. Брянцев чувствует, что в “новых реалиях” он заброшен на периферию жизни, и перспектив выбраться из-под земли — практически никаких. Человек его формации плохо ориентируется в этих самых реалиях, у него нет шанса приспособиться. Он не может вписаться в логику “срубить бабла” и мастерит из консервных банок телескоп, смотрит на него в небо, мечтает о бессмертии. “Бабло” и тяга к бессмертию плохо сочетаются друг с другом. Соучастие в политике, сначала через просмотр телепередач и трансляций заседаний Верховного Совета, потом — выход на улицу становится для него попыткой прочувствовать пульс жизни, преодолеть печать аутсайдера.

В многолюдье октябрьских событий 93-го Виктор “почувствовал, что не совсем себе принадлежит, он стал частичкой стихии, которая его не отпустит”. В сражении “он чувствовал себя воином, которому теперь — только побеждать”.

Виктор, не сделавший карьеру в прикладной науке, ищет выход в политике, которая и погубила его науку, а сейчас рушит и любовь: вбивает клин в их с супругой отношения, а в финале останавливает его сердце 4 октября — в день, когда танки в прямом эфире расстреливали Парламент, а с ним — остатки прежних реалий. Бессмертие и смерть ходят рядом...

Если поколение Виктора можно считать загубленным, переломленным через колено, то поколение его дочери Тани можно назвать шаблонным эпитетом “потерянное”. Отличная иллюстрация этого — случайный отец её ребенка, от которого она “залетела” — местный 20-летний отморозок Егор Корнев. В итоге он сгинул после совершения “мокрого” дела.

1993 год, наверное, можно назвать поворотным. Если до этого времени ещё горели у людей глаза, и они верили, что от них ещё многое зависит, что они сами — деятели истории и пребывают в своей идеалистически-романтической перестроечной, августа 1991 года эйфории, то после октября 93-го все эти иллюзии стали растворяться. Против пушек нет приёма, особенно когда они бьют по своим. Люди вдруг увидели, что всё вокруг “фиолетово”, а значит, и им, собственно, ни до чего нет дела, что их самих не касается.

Вот ювелир Янс, отец двух девочек-подростков, сосед Брянцевых, покрыл крышу золотом. Позже, когда ему стали угрожать, обзавёлся оружием. По его словам, он “одному рад: свобода есть!” Свободный 20-летний Егор застрелил его, а потом пропал и сам. Вот и получается, что ни у кого из них — ни у богатея, ни у нового флибустьера, ни у романтического работяги — нет шансов перебороть нахлынувшие новые реалии. Через месиво, в котором идёт борьба за выживание, никто из них не пройдёт.

Если рассказ Сенчина не оставляет шансов его герою, и он попадает в полное небытие, то у Шаргунова небытие героя всё же с потенцией бытия (если воспользоваться терминологией неоплатоников). После смерти Виктора появился его внук Пётр, который в 2012 году вышел на Болотную площадь всё с той же искрой бессмертия в груди, что и его дед. И услышал он там слово “Победа”, как эхо из прошлого, которое слышал в своё время и Виктор Брянцев. Пётр — ‘камень’, Апостол жертвенной смерти. Кстати, подобный мостик в будущее через поколение есть и в творчестве Романа Сенчина. В романе “Елтышевы” после череды всей жизненной жести, которая сопровождала семью, после того как сгинули все мужчины в ней, остался один ребёнок — внук, носящий совершенно другую фамилию, но у него есть шанс...

Троя и её обитатели

“Новые реалии” выливаются в апокалиптическую антиутопию. В сборнике прозаика из старинного русского города Каргополь, первого лауреата премии “Чеховский дар” Александра Кирова “Последний из миннезингеров” есть рассказ “Троянос Деллас”.

Место действия – пилорама возле деревни Астафьево. Окно в мир – экран старого “Рекорда”, только здесь не идут политические дебаты или трансляции заседаний Верховного Совета, а на зелёных полях гоняют мяч футболисты, которые воспринимаются чуть ли не как античные герои. Вместо брянцевского телескопа или егоровского плаката – пластиковый стаканчик. Вместо эпической и героической Трои – другая “Троя” – лосьон для лица и тела. Убийственная смесь, но годная для внутреннего употребления. Вместо Ахилла – Алик Чекушин. Место Эллады – деревенька Астафьево – “одна из самых пьющих в мире”. Одним словом, “глубинка”. Если Троя шла к краю гибели через всплеск героизма, то эта деревенька поражена “новыми реалиями”.

Рядом с деревней находится пилорама, куда перетекают все отчаявшиеся. Она является практически единственным местом, где можно получить хоть какую-то работу. Туда пришёл и “молодой странноватый” учитель Олег Алексеев, ставший позже Аликом Чекушиным, будто переродившимся в новое качество.

Рассказ начинается с двух путей отечественной интеллигенции: выезд на ПМЖ в эдемскую заграницу (старший брат-медик Алексеева уехал в Норвегию) и уход в народ (сам Олег Алексеев отправился в русскую глубинку учительствовать). Старший звал его в свои райские кущи, но младший сознательно сжёг все мосты: порвал письмо брата. Через несколько лет ученики в деревеньке Астафьево иссякли. Алексеев заколотил школу и двинул на пилораму – единственное “градообразующее” предприятие, дающее работу, адаптированное, в отличие от школы, к новым реалиям.

С другой стороны, в том же направлении шёл другой представитель русского культурного дискурса “физики-лирики” – инженер сельхозпредприятия Берроуз, у которого встал и остался без движка последний трактор. Так соединились в общей точке нового прагматического мира гуманитарии и технари – носители клейма аутсайдерства.

Хозяин пилорамы Мирза взял их в сторожку за еду и одежду. Другая достопримечательность этого нового мира – дом Тугрика, находящийся на окраине деревни, ставший местом своеобразного паломничества: этот Тугрик торговал спиртом, его сюда привёл и дал ярлык на торговлю Мирза.

На самой пилораме, которая далеко не “город Солнца”, окружённой практически пустыней, складывается, как принято говорить, тоталитарное общество. Мужики работают круглосуточно, на их территорию извне никто не посягает, внутри через террор установлена жёсткая дисциплина. Режим постепенно ужесточался. Через какое-то время пилорама “была обнесена колючкой, в четырех углах её стояли вышки”. Был разработан Устав пилорамы, по которому все рабочие объявлялись “изначально порочными и греховными существами”, которые обязаны были возмещать ущерб. Был утверждён паёк: вермишель быстрого приготовления и ёмкость из-под одеколна “Троя” с разведённым спиртом... И как итог всего – естественно, трагедия: череда смертоубийств, как в финале шекспировских пьес. Людоедская улыбка новых демократических реалий?..

Уродливость реальности Александр Киров в своём рассказе развил до фантазмагии, притчи, передающей ощущение тотальной пустоты жизни, лишённой какого бы то ни было содержания. Жизни, насыщенной тенденциями распада, где даже воспоминание о героическом прошлом трансформируется в пузырьёк со смертоносной жидкостью. В рассказе показано развитие уродливого проекта, обречённого на неминуемое разрушение, откуда бежит и спасается только человек, умеющий выживать.

Нереализованность

– Почему ваш отец пил?

– Почему пил? Ну, как почему... Все пили. Пил потому, что... А я думаю, что есть там одна причина, она самая распространённая, она сегодня нереализованностью называется: он не стал знаменитым – ни художником, ни поэтом, ни музыкантом.

– То есть не будь той искры, он бы пил, как все, но рано не умер?

– Пил, как все, – смеётся. – Мы же потом переехали в город Дзержинск, и там он уже допил. Допился до того состояния, что сердце у него остановилось. Он никогда не был алкоголиком, он бы интеллигентным человеком, и, как многие в среде интеллигенции, он сердце своё надорвал...” Это цитата из интервью Захара Прилепина журналу “Русский репортёр” (<http://rusrep.ru/article/2013/07/08/prilepin>).

Нереализованность – важное замечание. Но зачастую она имеет далеко не личные причины, например, неспособность человека себя проявить, лень, трусость и так далее. Проблема нереализованности может вовсе и не зависеть от тебя. Почему не реализовался Виктор Брянцев и из конструкторских бюро и лабораторий ушёл в аварийку – под землю? Почему замначальника заводского цеха Егоров стал аутсайдером, не способным прокормить свою семью? Почему у деревенского учителя Алексеева иссякли ученики, а сам он трансформировался в Алика Чекушина? Естественный отбор – убывают слабейшие? Или все они были “изначально порочны”, как работники кировской пилорамы? В какой-то момент мужчину лишили возможности действия, цели, обрезали все перспективы, оставили затухать. Испугавшись его проявленной воли, нарочито стали унижать. Плюс надо было уничтожить формуляцию прежнего человека, которого обозвали “совком”. Ему предоставили выбор: либо стать аутсайдером, либо сломать себя – приспособливаться, мимикрировать, идти на сделку с совестью, заниматься тем, что ранее было постыдным, то есть, по сути, перестать быть мужчиной. . .

Герой романа “Санька” Захара Прилепина Саша Тишин похоронил отца и в поисках смысла жизни, в обретении себя пришёл к осознанию необходимости действия, изменения, исправления мира. Пётр – внук Виктора Брянцева из нового романа Сергея Шаргунова – никогда не видел своего деда, но решил продолжать начатое им. Пётр думал о нём, о его судьбе с детства.

В своё время в ходу было любопытное определение: “поколение БМП”. Аббревиатура расшифровывается довольно просто: “без меня победили” (в другой редакции – “поделили”). Это поколение, выросшее на обломках некогда великой страны. Период начального накопления капитала прошёл, всё разобрано и прибрано к рукам. Молодым людям этого поколения остаётся, в лучшем случае, сделать карьеру какого-нибудь менеджера среднего звена, экономиста, юриста.

Если говорить штампованным языком, целый пласт молодых людей, полных энергии, оказался *на обочине жизни*, но это отнюдь не аутсайдеры, не безликие, уныло бредущие тени. Общество их отторгло, оно заставляет их играть по своим правилам. Оформившаяся элита навязывает им свою систему ценностей, своё мировоззрение. Уже сама попытка вырваться из этого тотального смога, очнуться от непрекращающегося гипнотического сеанса – шаг решительный и смелый, говорящий о большом достоинстве личности. Личности нового формата, зарождающейся на сломе эпох, гибели и зарождении цивилизаций, сформировавшейся сквозь хаос и анархию безвременья. Это период, как писал Герман Гессе в “Степном волке”, “когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищённость и непорочность”.

Внешнему и явному бунту героя прилепинского романа “Санька” предшествует внутренняя брань, преодоление опустошённости, душевной пустыни молодого человека, выросшего в новой России, личность которого формировалась вместе с корчами, муками становления ещё не до конца оформившейся, во многом уродливой государственности. Однажды Саша Тишин проснулся с вопросом: “Какой я?” И после формулирования этого вопроса он пошёл по пути обретения воли.

Ещё в самом начале романа колонна митингующих скандировала: “Любовь и война!”, а Саша изменил этот лозунг и кричал: “Любовь, любовь!” О необходимости любви постоянно говорит шаргуновский Виктор Брянцев. Это поколение претендует на то, чтобы продолжить то, на чём сломали, надломили мужчину в девяностые. Претендует на то, чтобы преодолеть состояние “ватного богатыря” (так жена называла Виктора Брянцева) и заявить о себе, проявить свой реальный голос, а не автоматически сбрасывать его в урну для голосования. С этим поколением может произойти “возвращение масс”, обретение им воли, о чём пишет Александр Казинцев.

г. Северодвинск

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

Наша (“Общеписательская”) литературная газета в статье “Ложь должна быть чудовищной, чтобы в неё поверить” (№ 6, 2013) подробно и доказательно уличила поляковскую частную “Литературную газету” в многочисленных фактах лжи и клеветы, касающихся событий вокруг писательского городка Переделкино. Нам казалось, что Поляков и его борзописцы не то чтобы устыдятся или извинятся, но, в крайнем случае, прекратят эту позорную для них свару, промолчат, что было бы вполне естественным выходом из положения, в которое они сами себя загнали. Ан, нет! Они продолжают, буквально вылезая из кожи, преумножать эту ложь.

Ну, разве можно считать нормальной полемикой то обстоятельство, что в течение нескольких месяцев, начиная с 20-го номера “Литературной газеты” за этот год и до 36-го номера, то есть в 16 еженедельных номерах подряд, публикуются материалы, в которых потоки вранья, провокаций и глумления низвергаются на МЛФ, на МСПС, на СП России, а персонально – на В. Ганичева, В. Середина, на С. Куняева, на И. Переверзина, на Л. Котюкова, на В. Бояринова, на Ю. Коноплянникова, на В. Иванова-Таганского и т. д. В иных номерах публикуются по 2, а то и по 3 подобных материала. А всего в 16 номерах, начиная с июня и по сентябрь, опубликовано их аж 24: фельетоны, письма, лживые комментарии, разнужданные репортажи и т. д., преследующие одну цель – разжечь “гражданскую войну” в писательском сообществе. Даже в самые мрачные времена 1937 года кампании против “врагов народа” начинались и заканчивались в трёх-четырёх номерах тогдашней “Литературной газеты”. А наши – как с цепи сорвались и остановиться не могут. Патология. Больны они, что ли? И каков диагноз болезни?

С их точки зрения, он таков: **“Многолетняя непрекращающаяся свара вокруг остатков писательского имущества рассорила и развела по разные стороны баррикад писателей-патриотов, когда-то бывших соратников”** (“ЛГ” № 32). Но это лукавая оценка событий. В борьбе с нами письма в “Литературке” часто подписывали Евтушенко, Битов, Ахмадулина, Гранин, Евг. Сидоров, Нуйкин, Искандер, Вяч. Иванов, Вознесенский, Лиснянская и др. Однако многие из этого списка подписали в октябре 1993 года позорное расстрельное “письмо 42-х”. Вот что развело нас задолго до “свары вокруг остатков писательского имущества” по “разные стороны баррикад”. Как после этого считать их патриотами? А какие уроки патриотизма, а также советы по управлению **“остатками писательского имущества”**, находящегося на территории России, могут нам дать Сулейменов, Оразалин, Абдуллаев, Султанов и прочие “советчики” из иных государств? Мы, русские писатели, ведь не вмешиваемся же в их литературно-общественные и хозяйственные дела и проблемы!

Впрочем, надо признаться, что, крича на всех углах, будто нынешнее руководство МЛФ жаждет “распродать Переделкино”, авторы “Литературки” употребляют слово “собственность” не случайно. Да, борьба за собственность идёт. Но не за мифическую, которую в каком-то будущем Куняев с Переверзиным якобы будут “распродавать” направо и налево, а за очень конкретную, ту самую, которой сегодня владеет бывшая поляковско-кузнецовская команда. Вспомним, что Поляков с помощью лжесвидетельницы отсудил у Литфонда, как и Евтушенко, одну дачу и незаконно построил на литфондовской земле вторую; что он судился с МЛФ, чтобы “узаконить” эту дачу с участком, но проиграл судебный процесс; что Ф. Кузнецов тоже судился с нами, чтобы мы ему вернули 3 с лишним миллиона рублей, которые он вложил якобы в “капитальный ремонт” своей дачи, и тоже проиграл процесс. Вспомним, что ближайшие коллеги Ф. Кузнецова, крича о том, что в старых дачах надо про-

вести необходимые для жизни ремонтные работы, на самом деле преследовали совсем другие цели.

В. Куницын, получивший в своё время, после смерти своего отца, дачу площадью в 57 м², расширил её для своего куницынского клана до 250 м².

Кондакова “пристроила” к своей даче второй этаж и светёлку. Зайцев, помимо капремонта, выстроил на своём участке баню. Хлебников пристроил к сторожке целый дом. Олеся Николаева тоже пристроила дом к своей даче. Дмитрий Жуков под видом ремонта старой дачи выстроил двухэтажный особняк. Обман был узаконен Ф. Кузнецовым.

Две переделкинские дамы, М. Кудимова и Т. Набатникова, тоже бросились в Видновский суд с целью повернуть поляковско-евтушенковскую махинацию. Но то ли потому, что рядом с ними не было Кондаковой, то ли времена с 2003 года (когда удача “улыбнулась” Евтушенко и Полякову) стали другими и судейского “беспредела” стало меньше, обе проиграли свои иски к Литфонду.

Дачный посёлок Переделкино после того, как Кузнецов попытался воплотить в жизнь свой план о заключении с арендаторами долгосрочной аренды (в зависимости от потраченной арендатором суммы на ремонт, до 49 (!) лет с правом приватизации), стоял на грани катастрофы: более двадцати арендаторов к весне 2008 года уже принесли в МЛФ заявления на долгосрочную аренду с правом приватизации и сметные стоимости работ, взятые “с потолка” и якобы подтверждающие фантастические суммы их расходов.

Однако почти никто из них не представил проекта реконструкции (то есть “расширения” арендуемой дачи-мастерской), согласования проекта с собственником – то есть с руководством Литфонда, договора со строительной организацией, акта выполнения работ, акта приёма нового расширенного строения местными властями, как и разрешения на строительство от местных властей, поскольку все земельные участки Переделкино находятся в собственности государства, от которого и нужно получать разрешение на строительство. Это и есть самострой.

А между тем, статья из Гражданского кодекса гласит: **“Самовольной постройкой является жилой дом, другие строения, сооружения или иное имущество, созданное... без получения на это необходимых разрешений... Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё права собственности... Самовольная постройка подлежит сносу совершившим её лицом за свой счёт”**.

Представляете, какой ужас поселился в душах “незадачливых приватизаторов-самостройщиков”, когда они узнали, что новое руководство Литфонда отменило на своей конференции мошеннический план Кузнецова, в реализацию которого они уже вложили немалые средства. Дрожит Кондакова, неистовствует проигравший суд Поляков, чуть ли не рыдает Куницын, посыпают пеплом головы Зайцев и Кудимова с Набатниковой... А тут ещё судебный процесс во Внуково, где вдова писателя Никольского его проиграла, и её обязали снести апартаменты, которые она пристроила к внуковской квартире. А тут ещё в августе месяце руководство Литфонда, узнав, что член МЛФ Мусаев, которому в своё время была выделена для жилья сторожка, без всякого разрешения вырубил на участке деревья и заложил фундамент для особняка, приняло жёсткое решение снести этот самострой, что и было сделано. Вот на какой “собственности” завязана переделкинская свара, вот почему со страниц каждого номера “Литературной газеты” в течение всего лета стекает навозная жижа лжи. “Вот где собака зарыта”!

* * *

Из статьи о событиях в Переделкино (“ЛГ”, № 20): **“...только в этом году случилось три пожара”**.

Неправда. В этом, 2013 году в “Переделкино” случился лишь один пожар. Вам что, мало одного несчастья? Хочется, чтобы их было как можно больше? Как говорится, “чем хуже – тем лучше”?

В том же номере борзописцы из “Литературной газеты” называют апрельскую конференцию 2008 года, когда их “компашка” была отстранена от руководства МЛФ, “переворотом”. Неправда. Наша конференция прошла строго

по уставу МЛФ, итоги её были зарегистрированы в Минюсте, а впоследствии они были признаны абсолютно законными и в Московском городском, и в Верховном судах.

Вспоминая о пожаре 2012 года, “Литературная газета” пишет: **“Дотла сгорела дача, которую занимали два фронтовика: Артём Анфиногенов и Анатолий Рыбаков”**. Чтобы поразить воображение читателей, “ЛГ” изображает дело так, будто именно фронтовики лишились переделкинского жилья.

Но на самом деле Рыбаков умер за 10 лет до пожара, а Анфиногенов – за два с лишним года. И на момент пожара на дачах жили их невестки и внуки, которые и устроили пожар.

А вот ещё одна ложь: **“В огне погиб архив А. Н. Рыбакова: рукописи, письма”**. Однако на совещании у министра культуры выступила зам. директора РГАЛИ Г. Злобина и удивилась литгазетовской лжи, сказав, что Рыбаков сам ещё при жизни сдал всё ценное, что хранилось в его архиве, в РГАЛИ.

В следующем, 21-м номере “ЛГ” некто Макаров добавил к этой лжи ещё несколько ложек своего варева: **“Международный Литфонд в течение ряда лет применял в Переделкино универсальный метод хозяйствования: “Не тронь – само развалится” (“сгорит, утонет в нечистотах”... Да, при Гюлюмяне, Огневе, Ю. Полякове, Ф. Кузнецове так оно и было. Ни одной дачи за счёт Литфонда при них отремонтировано не было. Ремонтировали за свой счёт те, кто надеялся, что надежные в ремонт средства – верный путь к приватизации дач. Зато нынешнее руководства МЛФ постановило не разрешать арендаторам за свои средства капитального ремонта со всякого рода “расширениями” и “пристройками”, дабы не давать им шансов на приватизацию, и отремонтировало за литфондовские средства уже 12 дач, не говоря уже о том, что не менее 15 миллионов рублей вложено нами в ремонт Комарово, где новым забором огорожена вся территория Дома творчества, где все старые коммуникации заменены новыми, где отремонтированы котлы отопления, где столовая и жилой корпус отделаны по высшему разряду и вот уже два года принимают жильцов. Возрождённый Дом творчества был сдан в эксплуатацию два года назад в присутствии нескольких десятков приглашённых на этот праздник Санкт-петербургских писателей, а “Литературка” в мае 2013 года лжёт напропалую: **“До полного разрушения и упадка доведён знаменитый Дом творчества писателей “Комарово” под Санкт-Петербургом**. Ну, просто пробы ставить негде!**

Если кто-то спросит, почему всё это не делалось при Огневе, Полякове и Кузнецове и куда при них уходили деньги, получаемые Литфондом за аренду помещений, то выяснить это, видимо, возможно только через прокуратуру. Во всяком случае, старые работники Литфонда помнят о том, что Кузнецов ездил на лечение и отдых в Европу за счёт Литфонда. Возможно, что не один раз.

Макаров в том же 21-м номере “ЛГ” уверяет читателей, что **“отремонтированы только строения, отданные под дачи членам бюро МЛФ”**. Ничего плохого в этом нет, члены бюро такие же писатели, как все, но главное, что это неправда, потому что лишь за последние два года отремонтированы дачи, отданные в аренду Андрею Дементьеву, Игорю Волгину, Валентину Устинову, которые не являются членами бюро, подписаны договора на аренду дач с вдовой Вознесенского, с дочерью Ахмадулиной, предоставлены дачи во Внуково Александру Сегеню, Марине Струковой, Бронтою Бедюрову, а в Голицино – поэту Григорию Калужному. Никто из них никакими “начальниками” не является.

Но “ЛГ” лжёт без устали: **“По мнению Куняева, жители Переделкино несут единоличную ответственность за возгорания дач”**. Опять литгазетовец, как шулер, передёрнул слова Куняева, который на встрече у Мединского заявил: **“В договорах, которые подписывают все писатели, арендующие дачи в Переделкино, сказано: “Арендаторы несут ответственность за пожарную безопасность помещений”**. Да, дирекция писательского городка тоже заботится о пожарной безопасности, но, как правило, после того, как арендаторы обратятся с опасениями и предложениями по этому поводу, ибо им, живущим на своих дачах, известнее состояние электросетей и газовых коммуникаций”.

В том же 21-м номере “Литературка” врёт, говоря о том, что **“ни одна из существующих писательских организаций не является правопреемни-**

ком СП СССР и Литературного фонда, а следовательно, законным собственником остатков имущества этих некогда мощных структур”.

Это неправда, потому что в распоряжении от 23.03.1992 года Минюст РФ зарегистрировал и новый устав, и новый статус Международного литературного фонда в качестве правопреемника ЛФ СССР. Но если вы, господа, убеждены, что МЛФ “незаконно” владеет собственностью, то зачем тогда вы проводили свою конференцию в мае 2008 года и рвались к тому, чтобы этой “незаконной собственностью” распоряжаться? Совсем вы запутались в сетях собственной брехни.

В том же номере газеты чёрным по белому озвучена ложь о том, что **“Куняев и К^о распространяет слухи, будто министр культуры Мединский, член-корреспондент РАН Кузнецов и “Литературная газета” сообщают хотят отнять у писателей и продать Переделкино”**.

Никакой подобной глупости С. Куняев не говорил, а на совещании у Мединского в ответ на утверждение Полякова и Пожигайло, что навести **“порядок в Переделкино способно только государство”**, заявил, что **“ельцинско-чубайсовское государство”** один раз уже **“навело порядок”** в писательском хозяйстве, обобрав писателей до нитки, и добавил: **“Мы знаем, чем это кончится. Государство уже разработало план второй волны приватизации, и Переделкино, попав в эту волну, будет приватизировано, как наши дома творчества, издательства, поликлиники и прочая собственность”**. Но и по мелочам вы тоже лжёте глупо, когда пишете, что Валентин Устинов получил дачу Сергея Алексеева, но **“имеет мастерскую в Доме творчества писателей “Внуково”**. Устинов получил дачу в Переделкино лишь после того, как отказался от дачи во Внуково, переданной другому члену Литфонда.

В номере 22 “Литгазета” оскалилась на В. Ганичева: **“Считаете ли Вы себя вправе, полностью деморализовав в последние годы деятельность СПР на посту председателя, стать теперь почётным председателем, и кому предлагается передать пост председателя действующего?”**... **“Уверены ли Вы, что кандидатура Переверзина будет поддержана писателями России?”**... Но это не “вопрос”, а “допрос”. Откуда в воспалённом воображении Полякова возникли мысли, что Ганичев **“деморализовал деятельность СПР”**, что он мечтает стать **“почётным председателем”** и **“предполагает”** посадить на своё место Переверзина? Рассуждения хамские и провокационные. Это всё равно, что задать вопрос Полякову: **“А не Вы ли избili свою жену в ночь на 25 декабря 2009 года?”**. И зачем язвить на тему: **“Будет ли кандидатура Переверзина поддержана писателями России?”** Никто пока никого никуда не выдвигал. Во всяком случае, мы точно знаем, что кандидатура Полякова не будет писателями поддержана никогда, поскольку однажды он несколько лет тому назад пытался пролезть в руководство Союза писателей России, но с треском провалился.

В следующем, 23-м номере “ЛГ” со статьёй “Под рейдерской пятой” выступает Ф. Кузнецов, цитирующий письмо **“известных писателей России и стран СНГ”** Абдуллаева, Сулейменова, Оразалина на имя “Президента Медведева”: **“Усилим группы дельцов во главе с бывшим директором МЛФ Переверзиным осуществляется откровенный захват этой организации с целью незаконной эксплуатации имущества и с конечной целью – её полной распродажи”**. Феликс Феодосьевич! Зачем врать, что Переверзин – **“бывший директор МЛФ”**? Он законный директор, избранный на этот пост V конференцией. Неужели Вы до сих пор считаете себя председателем президиума МЛФ и руководителем МСПС? Но Вы совершенно справедливо пишете, что **“рейдер в сегодняшней реальности – это охотник за чужим имуществом”**, может быть, Вы имеете в виду таких удачных “охотников”, как Поляков и Евтушенко? Тогда мы с Вами согласны.

В этой же статье Вы берёте себе в союзники Евтушенко и с восторгом цитируете его слова из “Российской газеты” о нынешнем руководстве МЛФ: **“Считаю, что должна быть создана независимая правительственная комиссия по расследованию их деятельности, не соблюдающей никаких норм законности”**.

Неужели Вы не знаете, что “законник” Евтушенко в 2003 году присвоил литфондовскую дачу с земельным участком, хотя, получив разрешение от Литфонда на расширение своей дачи, подписал договор, где был пункт:

“Пристройка, надстройка кухонного и мансардного помещения в дачном строении по улице Гоголя, дом 1 в городке Переделкино передаются в собственность Международного Литфонда в качестве благотворительного взноса” (соглашение от 29.12.2000)?

А через два года этот “благотворительный взнос” обернулся с его стороны иском в суд, после которого и земля, и дача были переданы в собственность “благотворителя”.

Вы, Феликс Феодосьевич, разве не помните, что этот “законник”, захвативший в августе 1991 года власть в СП СССР на Поварской, тут же настроил мэру Москвы г-ну Попову доклад, в котором Ваших тогдашних соратников – Бондарева, Распутина и Проханова, – подписавших “Слово к народу”, назвал **“государственными преступниками”** и потребовал закрытия нашего Союза писателей России? Ведь при Вас на Комсомольский проспект после этого письма ворвались самозванные “национальные гвардейцы” с распоряжением префекта Музыкантского о закрытии нашего Дома. Ведь на Ваших глазах (Вы сидели в президиуме рядом с Бондаревым) и на глазах более чем 100 участников Пленума СП СССР, сидевших в зале, Станислав Куняев разорвал эту гнусную бумажку, после чего мы воодушевились и отстаивали наш Дом. Об этом писали “Московский комсомолец” и “Независимая газета”, а “Литературная Россия” воспроизвела даже на своих страницах эту “ксиву” Музыкантского, разорванную пополам.

А теперь Ваша любимая “ЛГ” пишет пером профессионального дезинформатора по фамилии Макаров о том, что сегодня Станислав Куняев **“заявляет, будто это он порвал предъявленный “комиссарами” мандат, тогда как множество свидетелей утверждают, что это сделал Бондарев!”** (№ 30, 2013).

Феликс Феодосьевич! Как “свидетель”, подтвердите своим академическим авторитетом, что Бондарев, мужественно заявивший, что уйдёт из Дома писателей **“только в наручниках”**, тем не менее, документ Музыкантского не разрывал, что Вы сами, испугавшись куняевского поступка, подбежали к нему со словами: **“Стасик, что ты наделал?”**, что Василий Белов подобрал две половинки “распоряжения” и крикнул всем, кто сидел в зале, что едет в Верховный Совет, где расскажет депутатам о произволе московских властей... Подумайте, стоит ли Вам печататься в “ЛГ” рядом с Макаровым, так опозорившим газету, что закрадывается мысль: уж не тайный ли он агент Литфонда, посланный к Полякову Юрием Конопляниковым? Во всяком случае, эту “спецоперацию”, в результате которой коллектив “Литературки” выглядит скопищем идиотов, он провёл блистательно. Надо бы ему за особые заслуги выделить дачу в Переделкино рядом с Вашей творческой мастерской...

В “ЛГ” № 24 в материале “Дом и клан” пропечатано, что Н. Кондакова является **“вдовой”** поэта Бориса Примерова и хозяйкой его литературного наследия. Но сам Борис Примеров так не считал, поскольку в заявлении о даче в Переделкино писал: **“Мои жилищные и семейные обстоятельства таковы, что я фактически лишён возможности спокойно жить и работать. В трёхкомнатной квартире, кроме меня, проживают ещё две семьи: мой сын с женой и моя бывшая жена (член Союза писателей – Кондакова Надежда Васильевна) с мужем... Получение какого-либо жилья в “Переделкино” для меня единственная надежда на выживание...”**

Никакой “вдовой” после этого заявления Примерова Кондакову считать нельзя.

В № 27 “ЛГ” опубликовала статью под заголовком **“Подохли соловьи в скворечнике”**, где в предисловии речь идёт о **“незаконных конференциях”** Переверзина (все три конференции признаны судами законными), о **“публичном избиении женщины”**: **“прямо в зале суда Переверзин избил известную поэтессу – Надежду Кондакову”** (эту выдуманную историю сочинила “Литературка” ещё в 2010 году), о **“попытке выкупить по дешёвке и потом перепродать вторично заповедную землю”**.

Насчёт **“перепродать”** – это большая фантазия литгазетовцев. А вот **“выкупить землю”** мы действительно планируем, чтобы спасти её от всякого рода хищников, вроде Евтушенко и Полякова, “сумевших отхватить” у писателей два дачных участка только потому, что переделкинская земля Литфонду не принадлежит и арендуется у государства. По этой самой причине Литфонд потерял в 90-е годы 13 гектаров переделкинской земли, изъятые у него местными властями под самыми разными предложениями.

Клевреты Полякова пишут в том же предисловии, что **“ЛГ” внимательнейшим образом читают “от Москвы и до окраин”**. В том числе, и в **далёком Ленске, где наш горе-герой начинал свою карьеру**”. Они хотят уверить нас, что статья эта, написанная ленским журналистом Москвитиным и выложенная в интернете, является стихийным откликом на публикации “Литературки” о Переверзине.

Но это лукавство, потому что статья была 4.03.2011 опубликована в “Лит. России”, и сегодня “Литературка”, видимо, истощившись в своей нескончаемой брехне, просто перепечатала жалкие поношения в адрес Переверзина его земляка, никому не известного стихотворца из Ленска. Бедный автор, явно завидующий творческой судьбе Переверзина, пытается доказать, что это плохой поэт, потому что злоупотребляет глагольными рифмами. Москвитин даже подсчитал, что в книге “Избранные стихотворения” Переверзин аж 448 раз употребил **“глагольные рифмовки”**! Ну, смех и грех! Неужели никто из нынешней “Литературки” не помнит знаменитого стихотворения Александра Блока:

*Превратила всё в шутку сначала,
Поняла – принялась **укорять**,
Головою красивой **качала**,
Стала слёзы платком **вытирать**.*

*И, зубами дразня, **хохотала**,
Неожиданно всё **позабыв**.
Вдруг припомнила всё – **зарыдала**,
Десять спилек на стол **уронив**.*

*Подурнела, пошла, **обернулась**,
Воротилась, чего-то **ждала**,
Проклинала, спиной **повернулась**,
И, должно быть, навеки **ушла**...*

*Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело **своё**.
Неужели и жизнь **отшумела**,
Отшумела, как платье **твоё**?*

Все “слабые и никудышные” рифмы подчёркнуты нами. Рифмы “своё” и “твоё” с точки зрения знатоков из “Литературки” примитивны. Но стихотворение это навсегда останется в числе гениальных лирических шедевров русской поэзии. Объясните, господа Поляков и Москвитин, почему?

В 28-м номере “ЛГ” Макаров в хамской манере издевается над пленумом СП России, который прошёл этим летом в Барнауле: **“Хорошо закусили на гостеприимной алтайской земле. Почти наверняка и выпили неплохо”**. Глумятся над Валерием Ганичевым, которому, по словам литгазетовцев, **“удалось окучить ряд государственных структур”**, а в конце своей статейки Макаров даже советует губернатору Калужской области **“не попадаться на ту же удочку”** и **“не спонсировать так называемый Союз писателей России”**.

Однако наибольшую ярость у литгазетовцев вызвал сопредседатель СП России, замечательный прозаик, лауреат патриаршей литературной премии Владимир Крупин. Макаров даже называет его не иначе, как **“бесогоном”** (знает кошка, чьё мясо съела!), и, впадая чуть ли не в истерику, цитирует слова Крупина, якобы произнесённые им в Барнауле на собрании литературной молодёжи: **“Где гуманизм – там безбожие, и где человек во главе угла – там непременно будет фашизм”** (“ЛГ”, № 28, 2013).

Прочитав эту литгазетовскую статейку, Крупин написал на имя Полякова следующее письмо:

“Выступление призрака

Высокоцитимый Юрий Михайлович, по всем правилам я просто обязан ответить на несправедливый выпад в мой адрес. В “ЛГ” номер назад была статья об Алтайском пленуме СП России. И в ней написано о моём

там выступлении. Но в это время меня не было ни в Москве, ни на Алтае. И вот, вернувшись, читаю цитирование своих слов в своём якобы выступлении на этом Пленуме. Двойника у меня нет, какой же это тогда призрак выступал?

Но слова, которые в статье издевательски критикуются, действительно принадлежат мне. Я не только от них не отказываюсь, но их повторяю: да, я утверждаю: где гуманизм, там безбожие, а где человек во главе угла, там будет фашизм. Разве не так? Я продолжу этот ряд: где Конституция, там безправие, где не наследственная власть, а выборная, там склоки, подкупы, там вхождение во власть мафиозных структур, где надежда на деньги, там кровь... Вообще демократия для России – как корове седло. Вот её базисные ценности: диктатура воровства, проституция, наркота, вконец охамевшее чиновничество, убийство образования, низведение культуры до кормушки, её серость и пошлость, продолжать? Дошло до того, что в России (!) есть люди (люди ли?), оправдывающие содомский грех.

Куда еще? Надо быть толерантным? А толерантность в переводе терпимость. А она царствует в домах терпимости. Надо быть политкорректным в высказываниях? Но политкорректность – это трусость. То есть надо блудливо молчать и называть, например, мерзость разврата свободой личности, а войны – локальными конфликтами? Политики и дипломаты политкорректны, спасибо им от матерей погибших солдат.

Не знаю, откуда автор статьи вычитал мои высказывания. Скорее всего, из статей самого начала 90-х и далее. Тогда они у меня назывались: “Мы без России – пыль придорожная”, “Горе-горькое”, “Глас вопиющего в пустыне гласности”, “Я в ваши игры не играю”, “До чего, хриstopродавцы, вы Россию довели?” и другие. Тогда же я исследовал: откуда демократия (по латыни – республика). Происхождение искусственно: демократию по заданию плутократов изобрели в школах демагогии. Были такие школы. И софисты были тогда, а в средневековьи – схоласты, сейчас вот – юристы. Видимо, в награду за эти изыскания у меня с 91-го по 2001-й годы не вышло ни одной книги. Но вот благодаря “ЛГ” узнал, что, оказывается, меня читают не только мои читатели, которые, слава Богу, у меня есть, но и те, с кем, по народному выражению, не хотел бы сидеть на одном гектаре.

Владимир Крупин

Р. С.: Спустя два месяца: Так и не дала мне слово для реплики сильно демократическая трибуна – “ЛГ”. А на что я надеялся? Разве когда либералы могли признать свою ошибку или извиниться? Да и хорошо, что не напечатали – страницы “ЛГ” оскорблены корыстью, и мало чести появиться на них. А вот “Наш современник” – это то, что нужно.

Да, выскажу к случаю отношение к созданию якобы элитного Союза писателей России. Якобы единого и неделимого. А кто ж будет стоять у его дверей? Да всё те же либералы, тот же “пень-клуб”. Обещают материальное обеспечение “золотой тысяче”? Ну, уж вот тогда-то точно литературу загонят в службу режиму, и стоять сытым писателям на стороне униженных и оскорблённых не получится.

Не деньги делают литературу, а талант, сердце и голова. И “Последний поклон”, и “Привычное дело” писались полунищими писателями в предбанниках и на кухне. Но кухня была не политическая, в этом всё дело.

Ещё скажу вот что: русскоязычные писатели торопятся при жизни своей ухватить и славы, и денег, и очень торопятся. Почему? Очень просто: кому они будут нужны после смерти? А русских писателей долго будут помнить. Потому что они любили Россию, они владели русским языком. И торопиться нам некуда”.

Ну, что сказать? Залгались так, что дальше некуда. Приписали Крупину выступление в Барнауле, куда он не приезжал и где, естественно, ничего не произносил. Полное позорище! В советские времена даже уголовники о такого рода беспредельщиках говорили: “суки отвязные”. Грубовато, но, как говорится, не в бровь, а в глаз.

В том же номере Иван Сабилло льёт слёзы, вспоминая о том, что Михалков в своё время назначил Переверзина первым секретарём Исполкома МСПС **“вместо несправедливо уволенного с этой должности Ф. Кузнецова”**. Но вспомним, что наш членкорр, будучи правой рукой Михалкова в МСПС, был уличён в том, что использовал чистые бланки с его подписью в своих корыстных интересах, посылая нужные ему письма от имени ничего не подозревающего об этом Сергея Владимировича. Так что всё было справедливо.

В 31-м номере “ЛГ” за этот год Кузнецов опубликовал очередную анти-переверзинскую “галиматью” **“Продавец долгосрочного воздуха”**, в которой с помощью “русского американца” или “оклахомского русского” опять пытается свести счёты с Переверзиным: **“Евгений Евтушенко писал в “Российской газете” о тяжелой болезни, охватившей нашу литературу, – “графоманизации”**. В подтверждение он привёл имя якутского сельхозработника Переверзина”.

Далее Кузнецов вспоминает историю появления в советской литературе драматурга Анатолия Сурова, обретшего **“все мыслимые награды и должности, но вскоре выяснилось, что пьесы, за которые он дважды получил государственные премии, писали за него “литературные рабы”**. Разразился страшный скандал. Можно ли было вообразить, что он с точностью до деталей повторится в XXI веке? Может, мятежная душа Сурова переселилась в Переверзина?”

Ах, Феликс Феодосьевич, конечно, Вы лучше всех знаете, что такое “литературный раб”? Ведь многие историки литературы находили целые абзацы из Ваших статей в тексте известной русофобской статьи “Против антиисторизма” “архитектора перестройки” пресловутого А. Н. Яковлева... И не Вы ли не сколько раз тому назад писали о Переверзине отнюдь не как о **“якутском сельхозработнике”**, и не сравнивали его с Суrowым, и не поддавались евтушенковским оценкам творчества Переверзина, а, наоборот, с неподдельным и искренним восторгом, как соловей, заливались в напутствии к диску песен, написанных композитором Морозовым на слова поэта:

“Поэтическая песенная стихия, которая звучит в стихах Ивана Переверзина, конечно же, являет собой развитие есенинской традиции. Но не только. Не в меньшей, а может быть, и в большей степени это развитие традиции тютчевской, когда на первый план выходят самые глубокие вопросы духовного состояния человеческой личности, проблемы не быта, но – бытия, осмысленности человеческого существования и людской совести и, конечно же, любви как в высшем, бытийном, так и человеческом её проявлении. Об этом такие песни и романсы на стихи Ивана Переверзина, представленные на его первом диске “Сияние”, как “Тополиный пух”, “Воробушки”, “Верни...”, “Мрамор”.

Природа поэтического дарования Ивана Переверзина такова, что его слово просится на музыку, становясь песней, романсом естественно и органично, и, положенное на музыку талантливейшим национальным композитором современности Александром Морозовым, звучит как отдохновение души.

**Феликс Кузнецов, литературный критик,
действительный член РАН”**.

Мы не осуждаем Вас за эти восторги, наоборот, хотим добавить, что кроме Вас, поэзию И. Переверзина высоко оценили Лев Аннинский и Владимир Бондаренко, Лев Котюков да и многие другие известные деятели культуры, в числе которых особенно ценно мнение Ильи Глазунова: **“Сегодня мы ощутили великий духовный призыв. Слава вам, композитор Александр Морозов и поэт Иван Переверзин. Вы оба символизируете единство двух начал: великой музыки и великой поэзии”**.

Вспомним, что стихи Переверзина не раз публиковал в “Нашем современнике” неподкупный и строгий ценитель поэзии Юрий Кузнецов.

Вспомним и о том, что Переверзин ещё в Якутии вступил в Союз писателей России благодаря тому, что его заметил и поддержал Валентин Распутин. Это факт, как и то, что на Ваших, Феликс Феодосьевич, литературных убеждениях негде ставить пробы. Поскольку Вы – достойный ученик Александра Николаевича Яковлева, уроки ренегатства которого, видимо, усвоили с успехом.

В заключение — несколько комментариев к **“Открытому письму членов Союза писателей России”**, опубликованному в 32-м номере “ЛГ” за этот год, суть которого состоит в том, что группа писателей попыталась объяснить руководству СП России, где, когда и на каких условиях следует проводить наш писательский съезд. Занятно, что письмо это в числе других подписали Александр Проханов, Сергей Есин, Святослав Рыбас, Юрий Козлов, Глеб Горбовский. Это по праву известные всей России писатели, известные ещё и тем, что никто из них никогда не интересовался серьёзно судьбой и жизнью Союза писателей, никто и никогда не слышал их голосов на наших съездах, юбилеях, пленумах и секретариатах... С чего бы именно сейчас они, как сказано в письме, **“предлагают взять подготовку съезда под общественный писательский контроль”**? Ей-Богу, трудно себе представить, чтобы эти обязанности взяли на себя, к примеру, Глеб Горбовский или Александр Проханов.

Мы позвонили в Казань Ренату Харису, подписавшему письмо, и спросили его, читал ли он текст, на что Ренат с досадой сказал: **“Нет, мне по телефону объяснили, что в письме предлагается тщательно подготовить съезд и провести его не в Калуге, а в Москве и в другие сроки, и я решил звонившим поставить свою подпись. Но когда я прочитал в “ЛГ” абзац о Переверзине, как о “главном виновнике смуты, охватившей наши ряды”, я был возмущён. Я считаю его толковым руководителем, талантливым поэтом. Он — лауреат нашей премии имени Державина, в Татарстане вышла книга его стихотворений, где есть и том “Переводы”...** Когда же мы напомнили Ренату, что писательская организация Татарстана не входит в Союз писателей России, и в этих условиях стоило ли ему вообще ставить подпись под ультимативным текстом, то Ренат на мгновение задумался и добавил: **“Пожалуй, что не стоило. Я думал, что подписываюсь под одним письмом, а оно оказалось другим...”**

Что же касается других подписантов, то В. Шемученко и Ю. Щербаков — соборы “ЛГ” в Питере и Астрахани, то есть подчинённые Полякова. Куда им деваться? А Магомед Ахмедов, когда его спросил один из работников аппарата СП России, из каких соображений он поставил свою подпись, ответил: **“Но ведь Поляков дал мне премию в миллион рублей!”** Такой же премией Поляков, видимо на всю жизнь, купил голос Личутина... А все остальные — Баир Дугаров (Бурятия), Канта Ибрагимов (Чечня), Виктор Балдоржиев (Чита), Василий Харысхал (Якутия), Булат Аюшеев (Улан-Удэ), Михаил Щукин (Новосибирск), — конечно же, никто текста письма не только не писал, но и не читал. И, подобно Ренату Харису, писатели простодушно доверились подлинным сочинителям этого лукавого документа.

Итак, дошли мы от 20-го номера “ЛГ” за этот год до 32-го, и в каждом люди Полякова радовали нас своей глупостью. И хотели мы уже передохнуть, а тут, как назло, ещё два материала! Один принадлежит перу Саши Боброва, написавшего в статье “Кто возглавил развал”, что Переверзин, **“претендующий на эту высокую роль** (руководителя СП России. — **Прим. ред.**), **не годится”**... Но неужели, Александр, он Вам говорил об этих претензиях? Мы от него ни разу нигде — ни в печати, ни на службе — таких слов не слышали. Может быть, Вы тайно встречались с ним, и у Вас ведутся особые переговоры? Ну, и в центр бобровской статьи вмонтировано фото: Ганичев в ЦДЛ стоит рядом с Борисом Леоновым и держит в руках бокал неизвестно с чем. Подпись: “И снова банкет”. Но если бы собрать все фотографии с банкетов, где бывали Александр Бобров или Юрий Поляков с бокалами в руках, — толстенный фотоальбом бы вышел!

А второй материал в этом номере 35-м — беседа Жоры Зайцева с корреспондентом “ЛГ” Чернышовым о проблемах книгоиздательства, которая ни с того ни с сего заканчивается требованием Зайцева **“очистить”** Союз писателей **“от таких руководителей, как В. Середин”**... А может быть, будет лучше очистить Перedelкино от таких арендаторов, как Жора Зайцев? Но что тогда мы будем делать с незаконно возведённой Зайцевым на своём участке банькой? Скорее всего, её надо будет подарить Личутину, ведь он так любит в ней париться!

Ст. Куняев и пресс-служба МСПС

ВСТАТЬ РЯДОМ С МАЯКОВСКИМ

Здравствуйте, дорогой Станислав Юрьевич!

Пишу, чтобы поблагодарить за своевременную и полезную публикацию к 120-летию со дня рождения В. Маяковского статьи Я. Смелякова “Я обвиняю” (№ 7). Конечно, эссе А. Воронцова “Маяковский и его железные книги” (№ 8) тоже весьма оригинально и хорошо, даёт немалую пищу для ума, но статья Смелякова – подлинное если не откровение, то очень убедительное расставление всех точек над “і”.

Начну с того, что фигура Маяковского всегда была и есть чрезвычайно близка мне. Читал о нём с раннего детства всё, что попадалось под руку. И признаюсь, что ряд моментов неизменно вызывал недоумение. Некоторые факты не вмещались в канонические рамки. Искал ответы и не находил их, всё больше запутываясь. И только сейчас, с прочтением работы Я. Смелякова, недостающие звенья оказались найденными.

Обрывочные сведения вдруг обрели ускользавшую до этого стройность, а внешние случайности оказались встроенными в чёткую систему. В частности, меня всегда удивляли воспоминания М. Алигер о Маяковском.

То она едва ли не оправдывает травлю поэта чуть ли не генетической предрасположенностью к борьбе: “Маяковский никогда не был “гонимым” поэтом в прямом смысле этого выражения. Он всегда был бойцом, искусно и решительно отражающим всякие нападки, сопротивляющимся им с силой прямо пропорциональной”. Этаким мазохист!

Наконец, всё-таки проговорив тот момент, что травля поэта имела место, “нападки были нещадные, и справа, и слева”, Алигер не может не признать простого факта нелюбви к посмертному Маяковскому тех, кто не любил его при жизни. Однако и тут она находит отговорку, зачисляя вчерашних врагов поэта в стан тех, кто теперь стал насаждать его, “как картошку”.

Произведя виртуозную подмену понятий, она плавно переходит к обличению “насаждателей картошки от Маяковского” и концентрирует весь свой удар на статье Ярослава Смелякова, напечатанной в “Литературной газете” 30 мая 1940 года. Дотошно М. Алигер разбирает текст Смелякова, спорит с ним, с этим текстом, убеждает в неправоте, упрощённости этого текста.

В итоге создаётся впечатление, что статья Б. Эйхенбаума “Дело жизни” о Маяковском – это, в числе другого, “глубоко, серьёзно и значительно”. Также: “Появились интересные воспоминания о Маяковском Сергея Спасского, Василия Каменского. Новые работы о нём опубликовал Корней Чуковский. Как всегда, блестящ и остёр был Семён Кирсанов...”.

Но почему-то критике подвергается только Смеляков. В единственном числе. обстоятельно, подробно: "...попадаете мне на глаза статья Ярослава Смелякова "За подлинно большую поэзию". И в следующем номере под той же рубрикой ("Поговорим о лирике". — А. К.) моя собственная статья "Во весь свой голос", в которой я с первых же строк не соглашаюсь, спорю со Смеляковым. Да, да, восстанавливаю в памяти, это было, был спор, даже какой-то конфликт, из-за которого я почти поссорилась с одним из самых близких друзей моей юности.

(...) Он (Смеляков. — А. К.) энергично призывал всех советских поэтов, всю советскую поэзию учиться у Маяковского, не боясь того, что он задавит их своим величием, подавит собой их индивидуальности.

"Мы потому и боимся учиться у Маяковского, — писал Смеляков, — что он — как лев — подомнёт нас под себя и раздавит всей громадой своего гения, всей своей неповторимостью, а мы больше всего боимся потерять своё лицо, свои, — пусть маленькие, но свои — чёрточки, приёмы, манеры. Но ведь другого выхода в будущее нет, ведь надо же когда-нибудь слезать с насиженного насеста, надо же вылетать из этих со вкусом меблированных скворешен. Попробуем, товарищи, пойти на это очертя голову — ведь мы же не горьковские ужи, а горьковские соколы, ведь мы-то знаем, что в полёте есть великолепная радость, есть ощущение подлинного человеческого счастья. А всё не раздавит, и перед нами, если мы станем рядом с ним и, даже больше, преодолеем его, откроются такие возможности, что когда только думаешь о них, и то дух захватывает".

Вот на таком порыве написана вся статья, и что-то меня в ней решительно не устроило, показалось глубоко ошибочным, и я спорила и возражала против смеляковского...".

Невольно подумалось, что подшивка "ЛГ" была взята критиком лишь для исторического интереса. Дескать, вот какие мы были молодые да азартные, спорили, конфликтовали, а сейчас и не упомнишь из-за чего. Однако ни спор, ни конфликт со Смеляковым не прекращается: "И сегодня, как и в давнюю пору, я не согласна с утверждением Смелякова: "Десять лет прошло со дня смерти Владимира Владимировича, а мы, советские поэты, соблюдая видимость движения, всё топчемся на месте. Давайте вспомним: что мы сделали принципиально нового за эти десять лет? Конечно, у нас были написаны за эти годы хорошие и даже отличные стихи. Но заглянул ли кто-нибудь из наших лучших поэтов дальше Маяковского, прошёл ли на один шаг дальше, чем он? Нет и нет...". — Это, по-моему, запальчиво и наивно и к поэзии неприемлемо — она категория другого измерения, отнюдь не линейного, и не может измеряться шагами. У каждого истинного поэта свой путь, и совсем разным масштабом измеряются пути Твардовского и Пастернака, Заболоцкого и Смелякова. Я бесконечно люблю замечательную советскую поэзию, для меня в ней бесконечно дорого вечное присутствие Маяковского, огромно место, занимаемое им, и негасим свет его имени, звук его голоса, но она им только многократно усилена и умножена, а вовсе не ограничена" (Тропинка во ржи. — М.: "Советский писатель", 1980, с. 73–74).

И так далее. Теперь уже с похвалами Асееву, который написал перед войной "самое зрелое и умное поэтическое произведение" — поэму "Маяковский начинается".

Не сразу и сообразишь, что за такой манерой архивариуса, перекалывающего старые газеты, скрывается весьма жёсткая сценаристика текста. Признав "нещадные нападки", М. Алигер почему-то нигде не называет тех, кто эти нападки осуществлял. Позже, опять-таки схематично переведя "нападавших" в разряд — наводящих "хрестоматийный глянец", который всегда был глубоко чужд и решительно противопоказан поэту революции", всё ограничивается общими словами.

И только восторженная и наивно-влюблённая статья Я. Смелякова почему-то и, теперь уже вторично, начинает критиковаться. За что? — За то, что Смеляков очень любит Маяковского и не боится в той любви признаться? За то, что десять лет после ухода Маяковского Смеляков считает топтанием на месте?

Собственно говоря, неведомые противники Маяковского так и остаются у М. Алигер неведомыми, и невольно получается, что только влюблённый идеалист Смеляков и был главным тормозом, главным выразителем, главным

знаменем тех, кто творил “нещадные нападки”, и тех, кто “насаждал поэта, как картошку”.

Мargarита Иосифовна в запале даже не думает, что приведённая ею цитата про десятилетие топтания на месте невольно работает только на Смелякова. Потому что в 80-е годы двадцатого столетия было уже ясно, что с масштабом (не уровнем дара, а масштабом!) Маяковского из четырёх названных ею фамилий можно сравнивать разве что фигуру Твардовского, но до 1940 года он, действительно, ещё не раскрылся! “Страна Муравия”, что ли, имеется в виду, когда даже в исторической перспективе очевидная правота Смелякова затушёвывается?

Короче, очень многое из того, что в советское время можно было прочесть о Маяковском, отличалось крайней запутанностью и минимумом фактического материала. Текст М. Алигер вспоминается не потому, что он самый худший, а потому что он предельно откровенен, нарочит даже в своей противоречивости. Во всяком случае, меня в момент прочтения он ничуть не убедил.

Ясность позиций и настоящая логическая стройность пришли только сейчас, с публикацией статьи “Я обвиняю” Ярослава Смелякова. Статья эта, возможно, чересчур задириста и безапелляционна, но её явный и очевидный плюс в том, что автор старается не убежать от неудобных вопросов и обстоятельств, а выстраивает последовательную линию, где каждая деталь не противоречит другой, а лишь дополняет её.

Спасибо, Станислав Юрьевич, за эту возможность многое объяснить для себя в жизни и творчестве великого поэта В. Маяковского!

Также хотел бы отметить очень важную мужественную, человеческую, наполненную не показным, не лубочным, а деятельным мужским православием публикацию К. Душенова “Ремесло окаянное” в № 4. Воплощённая сила духа сквозит там в каждой фразе и каждом слове!

Андрей Борисович Канавщиков
г. Великие Луки